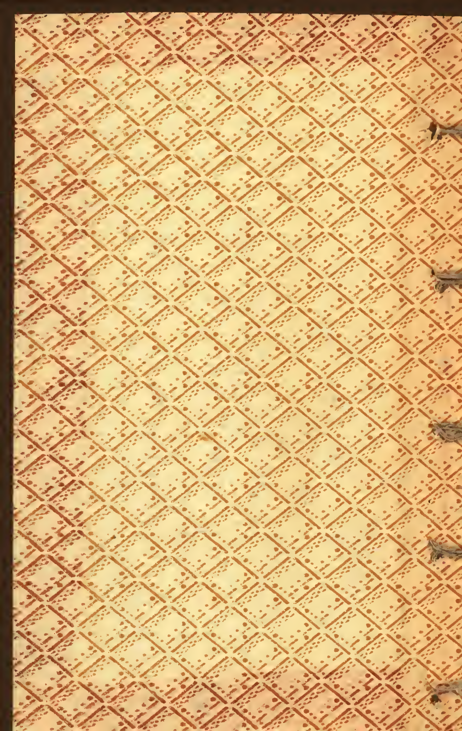
Подвиг



БИБЛИОТЕКА

ГЕРОИКИ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
"СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ"

5

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ "МОЛОДАЯ

В. ПИКУЛЬ
Б. РЯХОВСКИЙ
С. РОДИОНОВ

ГВАРДИЯ"

МОСКВА 1985

В. ПИКУЛЬ

РЕКВИЕМ КАРАВАНУ PQ-17

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ТРАГЕДИЯ

В этой давней истории мало беспристрастных свидетелей — еще меньше объективных судей.

Но слезы не высохли...

По вечерам еще скорбят старухи матери на берегах Волги, Темзы и Миссисипи.

Но сначала мне хочется сказать...

Мой отец начал жизнь матросом на балтийских эсминцах, а закончил ее комиссаром морской пехоты в руинах Сталинграда. От него я перенял любовь к флоту и юношескую тягу к стремительным кораблям. Сейчас мало кто знает, что с 1942 по 1945 год в нашем флоте существовало воинское звание — *юнга*. Оно присваивалось подросткам, которые освоили флотскую специальность, дали воинскую присягу и могли наравне со взрослыми нести самостоятельную вахту возле механизмов. К числу таких счастливцев принадлежал и я. Мне было 15 лет, когда я стал рулевым на эскадренном миноносце. Удивляться тут нечему: война — время большого доверия к юности.

Нам, юнгам, очень хотелось попасть в самую заваруху морской войны, и мне здорово повезло — я служил на Северном флоте. Наши эсминцы охотились за подлодками противника. В составе союзных эскортов они конвоировали караваны с поставками по ленд-лизу. Не все еще в нашей стране отчетливо представляют, какой длинный и страшный путь проделала через океан простая банка свиной тушенки, пока ее где-нибудь в окопах под Курском не вскрыл штыком наш героический солдат...

О том, что все виденное было историей, я понял гораздо позже — к сожалению! Сумбурные восприятия флотской юности легли в основу моего первого романа (кстати, не

совсем удачного), и я думал, что уже никогда не вернусь к этой теме вторично: меня надолго увлекла русская история. Помню, что в 1969 году я готовил к печати очередной исторический роман «Пером и шпагой» — роман о секретной дипломатии XVIII столетия, — и вдруг — в самый разгар работы! — меня властно заполонила тема каравана PQ-17; я отложил наше давнее и взялся за наше ближнее.

Это была как бы встреча с юностью...

В памяти возникли бензиновые пожары на танкерах; казалось, я снова вижу, как стонуще умирают транспорты, а на их палубах танки и паровозы, словно обезумев, расшибают грузовые контейнеры. С первых же слов я понял, что у меня получается *реквием* — вроде последнего «прости» всем тем, кто с палубы корабля шагнул прямо в бездну.

В сокращенном варианте «Реквием» был напечатан сразу же после написания. Ленинградский журнал «Звезда» опубликовал его в майском номере за 1970 год, посвященном 25-летию Дня Победы. Я никак не ожидал, что больше всего откликов получу от читательниц. «Реквием каравану PQ-17» женщины почему-то восприняли гораздо острее, нежели читатели-мужчины. Здесь же позволю себе выразить глубокую благодарность всем, кто указал мне на недостатки и явные промахи, которые я постарался исправить, готовя книгу к отдельному изданию.

Естественно, в такой краткой вещи, как эта, немыслимо отразить всю полноту описываемых событий, и потому более подробную картину судьбы PQ-17 читателю следует искать в специальных работах.

По ночам в Атлантике, этой извечной колыбели флотов всего мира, жутко становилось иногда человеку...

Ты встречал мертвецов с пропавших кораблей, и волна несла их на своем ликующем гребне, а мертвецы не тонули, раздутые, как и бушлаты на них, насыщенные капкой и воздухом.

Ты слышал, как во мраке вдруг начинали работать дизели, питая током опустошенные за день батареи подлодки, а вот и она сама — низкая длинная тень с бульбой рубки.

Ты видел, как проносилась растворенная в ночи теплая громада крейсера, а куда он идет — об этом зачастую не ведали даже те люди, что несли вахту на его мостиках.

Ты невольно вбирал голову в плечи, когда из ночных туч, с воем поглощая пространство, падала тяжелая «каталина» на двух звенящих моторах, из фюзеляжа ее рушилось что-то похожее на бочку — это еще одна мина прибавилась в океане.

И чаще всего погибал человек в Атлантике самой худшей из всех смертей, которая зовется безвестной. Это не та общедоступная смерть, когда тебя подберут, накроют шинелью и уложат в братскую могилу. У этой смерти нет даже могилы...

Моряки предельно точны в своих докладах:

— Срок автономности вышел... в эфир на связь с базою не выходит... позывные — без ответа!

Ну, значит, конец.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

АТЛАНТИКА

— Нет, сэр, — невозмутимо ответил Брукс. — Но я бы хотел отметить один факт, о котором часто забывают.... Страх может подавить человека. По-моему, нигде это чувство не проявляется с такой силой, как при проводке конвоев в Арктике.. Знаете ли вы, адмирал Стар, каково приходится людям там, между островом Майен и островом Медвежьим, в февральскую ночь? Это тяжелая, мучительная борьба, каждая ваша мозговая клетка напряжена до предела... Вы находитесь как бы на грани сумасшествия... Знакомы ли вам эти ощущения, адмирал Стар?

Ол. Маклин.
«Корабль его величества «Улисс»

Май 1941 года

В мае 1941 года британские станции радиоперехвата нащупали в эфире учащенную работу самолетов германской метеоразведки. Лаборатории службы погоды, летящие над океаном, взяли под наблюдение колоссальный район — от Исландии, где уже высадились англичане, до сплоченных ледников Гренландии, где недавно стали хозяйничать американцы. Немцев интересовало состояние паковых льдов, плотность туманов, скорость ветра и сила волнения на море...

Начальник английской морской разведки предстал перед Дадли Паундом, первым лордом Адмиралтейства.

— Сэр, — сказал он, — у меня такое предчувствие, что Берлину неспроста понадобился долгосрочный прогноз погоды. Хочется верить, что мы уже держимся за хвостик веревки, с другого конца которой вьется петля для висельника.

Дадли Паунд отреагировал на это без улыбки:

— Надеюсь, Годфри, вы не дадите меня повесить?

— Нет, сэр! Мы приложим все старания, чтобы сунуть в петлю вашего берлинского коллегу — гросс-адмирала Редера.

— Благодарю вас, Годфри, вы всегда так любезны...

Восемнадцатого мая 1941 года германский линкор «Висмарк» отвалил от пирса оккупированной польской Гдыни. Гарнизон-

ный оркестр исполнил при этом печальную мелодию, прозвучавшую в это тихое утро траурно-щемяще. Впрочем, гитлеровский адмирал Лютьенс рассчитывал, что операция под кодовым названием «Рейнское учение» завершится благополучно.

— Если бы не эта грустная баллада, совсем некстати сыгранная в нашу честь, никто бы и не заметил нашего отплытия. Я надеюсь, — говорил Лютьенс на мостике «Бисмарка», — что, пока мы не вырвемся на простор океана, в Англии даже кошка не шевельнется. Смотрите, как пустынно море: все корабли задержаны в портах, чтобы нас никто не заметил...

Но «кошка» шевельнулась в другом углу Европы — в тихом нейтральном Стокгольме, где британский атташе Дэнхем встретил в клубе своего приятеля — офицера шведского флота.

— Кстати, — как бы между прочим сказал швед, сдавая в игре трефового туза, — сегодня на рассвете наш крейсер «Готланд» случайно разглядел в тумане «Бисмарк»! Судя по мощному буруну под форштевнем, он куда-то здорово поторапливался.

Дэнхем тут же покрыл туза козырной мастью:

— Вы проиграли пять марок и вряд ли уже отыграетесь, ибо посол просил меня не задерживаться сегодня в клубе...

Скорой походкой он отправился в посольство. В три часа ночи в Лондоне разбудили начальника морской разведки:

— Депеша из Стокгольма под грифом «весьма секретно». Атташе Дэнхем сообщает, что «Бисмарк» проскочил проливы...

Но шведский крейсер «Готланд» был замечен и на «Бисмарке», отчего настроение адмирала Лютьенса испортилось.

— Придется радировать в Берлин, что нас, кажется, уже рассекретили... Эти проклятые нейтралы шляются где хотят, и никак нельзя заткнуть им глотку одним хорошим залпом!

Гросс-адмирал Эрих Редер вчитался в полученную от Лютьенса радиоквитанцию расшифровки и тоже расстроился:

— Неприятная встреча! Впрочем, шведов вроде бы и нельзя упрекнуть в излишней болтливости. Будем надеяться, что они хотя бы два дня подержат язык за зубами.

Однако рано утром 21 мая флотские радиостанции Германии уже стали перехватывать приказы Британского адмиралтейства об активном воздушном поиске «Бисмарка».

— Но, — сказал Редер, не теряя хладнокровия, — как докладывает наша агентура, британские линкоры метрополии еще околачиваются на рейдах Скапа-Флоу, а «Хууд», если верить остолопам из авиаразведки Геринга, застрял на ремонте в Гибралтаре... Нет, мы не станем отменять операцию!

В расстановке сил британского флота Редер ошибался.

Несколько дней подряд внимание всего мира было приковано к северной Атлантике, где Гитлер решил опробовать мощь своего суперлинкора на самом рискованном оселке — на английском! В мировой печати совсем не замеченным проскочило краткое сообщение, которое в другие времена могло бы стать газетной сенсацией: где-то между Африкой и Южной Америкой

германская подлодка торпедировала американское судно «Робин Мур»... Фашистский флот наглел от нечаянных успехов.

Теперь слово за английской воздушной разведкой!

. . . .

— Джонни, Джонни, мы теряем высоту, Джонни... Разве ты не слышишь нас, Джонни? Машину трясет... мы разваливаемся... но я вижу... хорошо вижу *его*, Джонни... это *он*, Джонни!

Британский самолет, разбрасывая по кускам свои крылья, с воем врезался в норвежские скалы. Офицер корпуса горных егерей поднял руку, останавливая бегущих солдат своей роты:

— Не лезьте туда, ребята! Лучше подождать гестапо...

До чего же сладко дышится по утрам в фиордах Норвегии, вот и первые ландыши проклюнулись в траве... Гестаповцы разбили фонарь кабины стрелка-радиста, внутри которой, скорчившись, лежал англичанин, почти мальчик. А глаза потухшие...

— Во, бесстыжие глаза! Они, кажется, успели разглядеть именно то, что вся Германия сейчас прячет от Англии.

— Меня волнует другое, более насущное, — отозвался старший в команде. — Успел он радировать или не успел?..

Он уже мертв, этот англичанин. Через три дня на далекой родине между полоской жидкого клевера и бурым торфяным полем проедет на велосипеде скучающий мальчишка-почтальон и будут над ним распевать в небе жаворонки. Почтальон постучится в старый дом и с поклоном вручит родителям похоронную...

Все будет именно так. Но он — *успел!*

А в коридорах Британского адмиралтейства — сквозняки, как и на эсминцах, что просвистаны штормами.

— Сэр! Кажется, мы его обнаружили.

— Опомнитесь, Хью, не совсем-то мне верится...

Первый морской лорд Уайтхолла даже рассмеялся. Солнечный свет за окном был так ярок. Серый костюм безукоризнен. Он задержал спичку возле сигареты — выждал подтверждение.

— Именно так, сэр! — сказал офицер-оперативник. — Наша воздушная разведка засекла его в Корсфьорде.

Спичка обожгла пальцы. Беглый взгляд на карту: Корсфьорд — это уже близ Бергена. «О, как далеко забрались эти паршивцы!» Но голос лорда спокоен:

— Это все, что вы знаете, Хью?

— Да, сэр. Но и это дорогой ценой, сэр...

Так англичане установили место новой стоянки гитлеровского линкора «Бисмарк». Позже один из посланных к Бергену самолетов, сумев остаться не замеченным для немцев, произвел аэрофотосъемку. Расшифровка снимков показала, что рядом с «Бисмарком» базируется и тяжелый германский крейсер «Принц Эйген»...

Адмирал Лютьенс перед выходом в море сказал в узком кругу своих офицеров:

— Вот уже два опытных адмирала ушли со своих постов, и я не желаю быть третьим! Я стану выполнять не партийные

программы фюрера, а лишь прнказы оперативиого руководства...

Не все понятно нсторикам второй мировой войны. В этой фразе Лютьенса, оброненной как бы случайно, онн пытаются отыскать некий потаенный смысл. Мы же этого делать не станем.

2—1=1

Их было у Гитлера всего два, всего два лннкора, неповторимых по своей мощи: «Бнсмарк» и «Тнрпитц». Почти блнзиецы, от одной матери — Германии, от одного отца — фашизма. Они были спущены на воду недавно, с официальным водоизмещением 35 000 тонн.

Впрочем, это — для дипломатов, для мнриых конгрессов...

Предвоенная гонка вооружений имела свои злокачестеиные тайны. Риббентроп заверил Англию, что водоизмещенне «Бисмарка» и «Тнрпитца» составит 35 000 тонн, длина нх почти четверть километра, а ширина — 36 метров; так что Англия может спать спокойно. Но брнтанские адмиралы сразу заметнли подозрнтельное иесоответствие в цифрах: «С шнрнной корпуса у немцев что-то неладное. Очевндно, онн задумали раскатать свон линкоры в плоский блин, сделав их мелкосидящими, как сковородки». Берлин подтверднл, что осадка линкоров всего 7 метров (плюс какие-нибудь сантнметрики). А это значнт, что Гитлер готовнт линкоры для мелководной Балтикн — против СССР! Такое положенне вполне устраивало политнков мюнхенского сговора с Гнтлером, н Англия вроде бы успоконлась...

Но Москва побочнымн каналамн дипломатин уже дала понять Уайтхоллу, что ширниа линкоров образовалась от резкого увеличеиия тониажа, а глубииа их осадкн превысит 10 метров, так что в Фннском залнве им нечего делать, зато в Атлантнке... да-а, на этой стариииой английской кухне оии могут переколотить всю посуду. Начальнику брнтанской морской разведкн его офнцеры ие раз советовали:

— Сэр! Это ведь так просто — снять трубку телефона и позвонить советскому военно-морскому атташе. Россин иет смысла скрывать от нас подлнниый тоннаж лннкоров Гитлера...

Пленные гитлеровские моряки в один голос уверяли аиглнчан, что «Бнсмарк» н «Тирпитц» имеют водонзмещенне не больше 42 тысяч тонн. Но они называлн не полное, а стаидартное водонзмещение. Германскне архивы, вскрытые после войны, показалн полный тониаж лннкоров в 52 700 тонн, н эти данные точно совпадалн со сведеинями, которые добыла перед войной советская разведка...

«Бисмарк» и «Тирпнтц», два велнкана, могли развивать скорость до 30 узлов, обладая при этом дальностью плавания в 17 500 миль; лиикоры неслн иа себе по 8 башенных орудий сокрушающего калнбра, имели в аигарах самолеты, торпедное вооружение и команды в 2400 человек.

Геббельсовская пропагаида считала их иепобедимыми.

Это в какой-то степени правда, ибо ни один флот Европы не имел тогда таких могучих и совершенных кораблей...

Сейчас «Бисмарк» отстаивался в оккупированной стране, на зеркальной тиши рейда, уже готовый к «прыжку пантеры» на просторы Атлантики, чтобы начать планомерный разгром всего и вся, что встретится ему по курсу. В содружестве с крейсером «Принц Эйген» «Бисмарк» должен был стать могучим рейдером в океане. Иначе говоря — разбойником-одиночкой!

Адмирал Лютьенс уже имел в подобном разбое немалый опыт. Совсем недавно на линкорах «Шарнхорст» и «Гнейзенау» он совершил дерзкий прорыв к берегам Америки, где ему удалось пиратствовать по всем правилам большой дороги...

Двадцать первого мая 1941 года якоря были выбраны...

. . . .

В глубоком Датском проливе, что огибает Исландию с севера, в канале между минным полем и кромкой пакового льда, на английском крейсере «Суффолк» работал радар. Экраны локаторов заранее отметили приближение гитлеровского флагмана. «Суффолк» по радиопеленгу наводил на цель корабли флота метрополии. Они подошли и вцепились в «Бисмарк» клыками своих орудий.

Огонь был открыт противниками почти одновременно. «Бисмарку» удалось сразу же поразить «Хууд»; броня, принесенная в жертву скорости, пропустила через себя немецкий снаряд, и он лопнул внутри погребов. Адский взрыв потряс один из лучших кораблей британского флота — из 1400 человек команды в живых остались только трое.

Немцы немедля перенесли огонь на новейший линкор англичан «Дюк-оф-Уэллс», и, сильно дымя, тот беспомощно отвернул в сторону. «Бисмарк» уже имел два прямых попадания. Один из снарядов вскрыл в его носу обширные нефтехранилища, и теперь длинный жирный хвост тянулся по морю. Турбины в 138 000 лошадиных сил, прокатывая гребные валы винтов, сейчас уносили «Бисмарк» от преследования курсом на зюйд.

Подоспели британские крейсера и всадили в него первую торпеду. Огрызаясь огнем, «Бисмарк» уходил на Брест, и стрелки тахометров в его рубках указывали полное количество оборотов. К вечеру англичане опять настигли линкор, снарядами они разворотили ему надстройки... Карта боя рисует поразительную дугу: обогнув Исландию и Британские острова, «Бисмарк» лежал теперь на курсе, прямом как стрела, — на Брест, только на Брест (уже дымилась его крупповская шкура, которую надо было спасать).

А берлинские фанфары завывали на весь мир: радио Геббельса трубило о легкой победе над «Хуудом», о той страшной угрозе, которая нависла теперь над Атлантикой — этой главной военной артерией англичан. И тогда Британское адмиралтейство бросило против «Бисмарка» самые значительные свои корабли. От баз метрополии отошли линкоры «Кинг Георг V» и «Родней», авианосец «Викториуз», крейсера, эсминцы, подвод-

иые лодки. От Гибралтара устремился в битву линейный крейсер «Ринаун», от берегов Африки спешил линкор «Рамилиуз», летели в океан авиаиосец «Арк Ройял», крейсер «Шеффилд» и дивизионы эсминцев.

Англичане хотели спасти престиж своего флота. Но они сами не заметили, что, бросая почти весь свой флот протнв одного линкора, они невольно теряли этот престиж. Самолеты-торпедоносцы, поднятые с палуб авиаматок, нанесли по «Бисмарку» удар, и удачный: наконец-то линкор захромал, гася свою предельиую скорость. Дождевые шквалы забушевали над Атлантикой, и на рассвете 25 мая британские крейсера потеряли «Бисмарка». Дальнейшие поиски его и погоия за ним быстро истощили топливиые цистерны британских кораблей.

«Принц Эйген» пропал за пеленою дождевой мглы. Вся ярость травли обрушилась на «Бисмарк». Британские торпедоносцы в спешке свалили боевой груз на свой же крейсер «Шеффилд», который с большим искусством увернулся от попаданий. Наконец одна из торпед заклинила рули на «Бисмарке»; при сильном шторме линкор развернуло лагом к волне, и турбины бешено выли от усилий котельных установок. Экраны локаторов на «Бисмарке» отмечали появление британских эсминцев еще за 10 миль — и огонь башен линкора отгонял их прочь.

Насосы британских кораблей уже дохлебывали последние тонны горючего, когда «Бисмарк» сумел вторично оторваться от погони. Брест был уже недалек: казалось, еще немного, и спасение придет. Но над волнами пролетела косая тень британского «норфолка» — эфир вздрогнул от призывов крейсера: «Он здесь, он тут, я его вижу...» И горизонт снова ожил. Башни линкоров дрогнули, орудия безжалостно и точно нащупывали цель.

На дистанцию в 50 кабельтовых к «Бисмарку» подскочил «Родней», и частыми залпами — в упор! — англичане лихо расстреляли его орудийные башии. Главная посудина Гитлера (искромсанная, пылающая, недвижимая) погибала, еще продолжая работать машинами, но орудия ее уже молчали. При погружении в воду раскаленные докрасна надстройки линкора окутались клубами шипящего пара, и это шипение скоро перешло в резкий протяжный свист. А в задраенной боевой рубке тонул обгорелый труп адмирала Лютьенса. Это произошло 27 мая в 11 часов утра в Атлантическом океане, всего в 400 милях от оккупированного немцами Бреста.

Англичане успели подобрать из воды лишь немногих. А потом, когда победители — все в ожогах и пробоинах — ушли по домам, поверхность моря взбурлила. Оттуда, из глубин океана, выскакивали лоснящиеся, как тюлени, рубки подводных лодок, украшенные пауками свастик. Подлодки имели приказ снять с «Бисмарка» журнал его боевых действий и, если это окажется возможным, спасти адмирала Лютьенса с его штабом... Подводники истошно призывали уцелевших, но океан безмолвствовал.

...Английские историки пишут: «Отныне немцы больше не

возвращались к честолюбивым планам, характерным для весны 1941 года, а использовали оставшиеся в их распоряжении надводные силы только на Балтике и против судов, доставлявших снабжение на север России».

. . . .

Именно в день потопления «Бисмарка» выступил по радио Ф. Рузвельт, объявив о «чрезвычайном положении нации».

— Война, — сказал президент США, — приближается к берегам западного полушария. Подходит к нашей родине... Битва в Атлантике теперь идет на всем протяжении от арктических вод Северного полюса до мерзлоты континента Антарктики...

Рузвельт умел предвидеть события. Он еще раньше предупредил свой народ: «Пусть никто из вас не думает, что Америка избежит войны, что она найдет пощаду, что на западное полушарие не нападут...» Тогда же США начали накопление стратегического сырья и дефицитных товаров. Богатейшая в мире страна жадно заполняла свои кладовые на случай войны.

В нашей стране потопление «Бисмарка» не вызвало сильной реакции; странные и не всегда объяснимые ситуации этого боя изучались лишь офицерами флота. Было ясно, что Home Fleet в борьбе с «Бисмарком» совершил немало грубейших просчетов, весьма постыдных для чести моряков Англии... По авторитетному мнению советского адмирала А. Г. Головко, *«случай с «Бисмарком» весьма характерен для понимания дальнейшего, вплоть до истории с PQ-17»*.

«Топи их всех!»

Историческая справка

Протокол Лондонской морской конференции от 1930 года был признан и подписан Германией в ноябре 1936 года.

Там в 22-й статье сказано:

> *«...Подводная лодка не имеет права потопить или вывести из строя судно, предварительно не обеспечив безопасность пассажиров, команды и судовых документов. Корабельные шлюпки не могут считаться средством, гарантирующим безопасность, если поблизости нет другого судна, которое взяло бы на борт и пассажиров и команду»*.

Прошло три года. Ровно через 12 часов после объявления войны пассажирский лайнер англичан «Атения» был взорван германской подлодкой «U-30» (командир Лемп). 112 пассажиров, среди них женщины и дети, так и погибли в море, наверное, даже не зная о 22-й статье Лондонского протокола. Гитлер при этом нагло заявил, что англичане сами, невзирая на детей и женщин, потопили свой пароход, чтобы их пожалели добрые американские дядюшки. В бортовом журнале «U-30» была вырвана страница с целью замести это первое преступление фа-

шистских подводников, а команде внушили, что они должны «изгладить из своей памяти все события этого дня»[1].

Двадцать третьего сентября, когда догорала разбомбленная Варшава, Гитлер с Редером издали приказ: все торговые суда, которые начнут радиопередачу в эфир при встрече с германской подводной лодкой, должны быть безжалостно потоплены. А так как любой корабль, встретив подлодку со свастикой, неизбежно начинал взывать по радио о помощи, то это значило — приговор экипажам судов уже подписан *заранее!*

В ответ на вооружение британцами своих торговых кораблей гросс-адмирал Эрих Редер объявил, что теперь в мире вообще не существует судов торговых.

— Мы будем топить всех, — сказал он.

С болью в сердце гросс-адмирал согласился с Гитлером, что топить суда нейтральных стран пока еще рановато.

— Но мы будем топить и нейтралов, если они идут в море без яркого освещения!

Тогда же адмирал Карл Дениц (главарь подводных сил Германии) издал приказ расстреливать из пулеметов людей, спасающихся после торпедирования их судна.

В сентябре 1940 года англичане, нуждаясь в кораблях, обменяли свои базы в океане на 50 старомодных эсминцев США. Эти корабли с четырьмя чадящими трубами были ужасное барахло: семь из них перевернулись в Атлантике кверху килями, так и не повидав берегов Европы. Но гитлеровские адмиралы вдруг проявили беспокойство:

— Кажется, пришло уже время нашим подлодкам навести порядок в американских водах...

Ретивых адмиралов одернул Гитлер:

— Перед великой Германией сейчас иные задачи: нам нельзя ссориться с США, пока не завершится поход на Восток...

Двадцать второго июня 1941 года начался поход гитлеровских полчищ на Страну Советов, но Гитлер еще колебался.

— До середины октября, пока не возьмем Москву, — убеждал он адмиралов, — не должно быть никаких морских инцидентов с США...

Шестого декабря при сильной вьюге, когда мороз достигал 38 градусов, наши войска под Москвой обратили хваленый вермахт в бегство, а на следующий день японцы учинили разгром американского флота в Пирл-Харборе, и эти два известия застали Гитлера врасплох... Но, оправившись от потрясения, он тут же спустил собаку с цепи. Адмирал Дениц полностью разделял идеологию нацистов. Он очень любил провожать в море свои подлодки такими словами:

— Вперед, мои небритые мальчики! Фюрер верит вам, он

[1] Это первое преступление фашизма на море детально описано в 3-й главе книги лорда Э. Рассела «Проклятие свастики», которая вышла в русском переводе в 1954 г. *(Здесь и далее примечания автора.)*

следит за каждым вашим шагом... Атакуйте! Преследуйте! Топите всех!

Тогда же, в январе 1942 года, Гитлер принял в своей ставке японского посла Осиму и заверил его, что германский флот еще задолго до объявления войны США уже немало испортил крови американцам, поглощенным любовью к наживе. Осима молчал. Гитлер говорил, что американцы вообще не способны к войне, ибо они спят и видят во сне лишь доллары. Осима молчал. Гитлер сказал, что его подлодки давно топят американские корабли, где бы они ни встретились. Осима молчал, и это выводило фюрера из себя. А в таком деле, как война на море, утверждал Гитлер, придерживаться гуманных взглядов преступно... Осима, черт его побери, молчал.

— Желаю и кораблям вашего флота, — говорил Гитлер, — чтобы они тонущих в плен не брали! После торпедирования противника подлодки должны всплывать и расстреливать не только шлюпки, но и тех паршивых неудачников, которые кувыркаются среди обломков, отыскивая доску понадежней. Обучение новых команд обходится противнику дорого — это же чистая экономика!

Осима обнажил в улыбке квадратные зубы и сказал, что японцы только так и поступают с врагами.

. . . .

С самого начала война на море приобрела характер войны «неограниченной» (то есть беспощадной). Наша страна вступила в эту войну, когда варварство уже было введено в систему. Жестокость врага особенно проявилась при столкновении с нашими кораблями.

Гросс-адмирал Эрих Редер был сторонником крейсерской войны на широких океанских театрах.

Адмирал Карл Дениц являлся яростным, убежденным апологетом войны подводной.

Между этими двумя доктринами крутился на сухопутье Гитлер, пока не понимая, кому верить — Редеру или Деницу?

От Флориды до Бреста

Операция по разбою близ побережья Америки носила громкое название «Paukenschlag», что в переводе на русский язык означает — «Удар в литавры»...

Вот когда настали веселые денечки! До чего же приятно с торпедами в аппаратах шлепать на дизелях с открытыми люками вдоль побережья Флориды. Райские кущи видит молодой зверь, наблюдая за чужой мирной жизнью, утонувшей в сиянии неоновых огней. На много миль протянулись красочные курорты и чудесные пляжи Майами... Стук дизелей сменился утробным рычанием моторов — подлодка ушла в глубину. Ральф Зеггерс в шелковой безрукавке и трусиках, беспечно насвистывая мелодию из Массне, брал через перископ пеленги на ярко освещенные маяки. Если подойти к берегу поближе и всплыть, то

можно бесплатно слушать музыку негритянских джазов, которые отлично работают по вечерам. И — вдруг...

— Что за наваждение? — удивился Зеггерс. — Берег пропал!

Только что ярко горевший неоном и блиставший огнями высотных зданий берег США вдруг почернел, как уголь. В действие пришел приказ Ф. Рузвельта о затемнении, и он вызвал яростную, почти дикую реакцию среди американцев:

— Нам сорвали великолепный курортный сезон! Если этого не понимает Адольф Гитлер, то наш президент мог бы и понять...

Богатые дельцы из окон своих отелей теперь наблюдали факелами сгорающие танкеры. Женщины в купальных костюмах, лежа под зонтами, лениво посматривали вдаль, где подлодки топили транспорты. На золотые пески Майами океан стал выбрасывать трупы — обезображенные мазутом, изъеденные соляром...

США организовали оборону побережья слишком поздно, когда вражеские подлодки уже свободно шныряли возле Гаваны и Ньюфаундленда, их видели даже в устье Амазонки, они шлялись у берегов Мексики и Гвианы. Это был своего рода «блицкриг» — молния, блеснувшая из-под воды, и могучая активная страна оказалась на грани растерянности. Дело дошло до того, что Рузвельт просил Черчилля вернуть в США несколько кораблей, которые американцы столь щедро подарили англичанам, и Англия... вернула.

— Эти янки не знают, что им делать, — сказал Черчилль.

. . . .

— Я знаю, что делаю, — ответил Зеггерс штурману. — Упреждение на ноль тридцать с интервалами в десять секунд... Носовые аппараты, к залпу... Внимание, ребята... пли!

Подводную лодку сильно тряхнуло на залпе, первый отсек доложил в центропост:

— Торпеды вышли!

Отработали рулями на погружение, чтобы субмарина, облегченная от груза торпед, не выскочила наверх. В руке штурмана, обвитой массивным браслетом, уже стучал секундомер.

Ральф Зеггерс, крепко зевнув, невозмутимо заметил:

— Секунд двадцать — не больше, и поросята отыщут свое любимое корыто...

Он не ошибся: на двадцать первой рвануло взрывами.

— А теперь посмотрим на дела рук божьих, — весело сказал Зеггерс, и мотором он поднял перископ из глубин шахты.

Цветная испанская косынка облегала его жилистую шею. Сильная цейсовская оптика приблизила судно, тонущее с резким дифферентом на корму. Видеть обросшее ракушей и водорослями днище корабля было так же неприятно, как рассматривать обнаженные скальпелем внутренности человека...

Штурман раскрыл бортовой журнал:

— Диктуй, Ральф... Каков тоннаж? Куда попадание?

Ударом руки Зеггерс переключил реверс, и тяжеленная тру-

ба перископа медленно, как обожравшийся удав, уползала обратно в шахту.

— *Нейтрал!* — сказал Зеггерс, морщась, как от запаха падали.— Триста килограммов тротила мы залепили в нейтрала. Поверь, сейчас, на закате солнца, все в мире кажется красным, и я принял флаг Португалии за британский... Не отмечай в журнале!

Штурман, вскинув острые волосатые колени, долго хохотал, пачкая белые шорты ржавью и мазутом рифленого настила.

— Извини, Ральф, но так редко выдается веселая минутка... То-то сейчас там бегают эти чесночные португальцы!

Корветтен-капитан косынкой вытер вспотевшее лицо, от самого кадыка до глаз заросшее густой бородой.

— Продуть балласт к чертовой матери! — прогорланил он, и воздух с шипением ринулся в цистерны, выгоняя прочь за борт стылую океанскую воду. — На всплытие! Абордажную партию с двумя ручными пулеметами — наверх... Быстро, быстро, ребята!

Из пушки по гибнущему кораблю всадили для верности три снаряда, чтобы тонул поскорее. В руках полуголых матросов долго трещали автоматы. Крики людей, убиваемых прямо в лицо, постепенно стихли. Последним спустился с мостика командир, долго возился с кремальерой главного люка.

— Принять балласт, — велел он. — Свидетелей нашей ошибки не осталось. Они что-то орали, эти нейтралы: видать, хотели сообщить, что их война не касается... Это было смешно!

— Ральф, — построжал штурман, — а что мы скажем нашему «папе» Деницу, когда вернемся?

— Так и скажем, что виноват дурацкий закат...

Расстреляв все торпеды и опустошив топливные цистерны, субмарина Зеггерса отходила к Бермудским островам — там с судна снабжения лодка накачивалась горючим «до пробки», грузила боезапас — и снова шла за добычей. Наконец они сдали позицию другой подлодке и не спеша потянулись через Атлантику на базы Лорнана. Из Бискайя, где корабли Франко снабжали немцев горючим и апельсинами, лодка вышла на связь с Килем. Главный штаб отдал приказ: экономическим режимом следовать на подходы к Бресту, занять там удобную позицию, чтобы действовать сообразно обстоятельствам.

— Брест блокирован англичанами, а в гаванях Бреста — весь наш большой флот открытого моря, — призадумался Зеггерс. — Очевидно, кильские умники решили вклеить нас в какую-то секретную операцию... Что бы это могло быть?

Урча под водой моторами, субмарина заняла место у входа в Ла-Манш. Воздух внутри корабля был ужасен, а всплыть они не могли. Усталые батареи теперь интенсивно выделяли водород, замыкание рубильников стало взрывоопасным.

— У меня гудит в башке, — простонал Зеггерс. — Третий уже месяц болтаемся в море...

Среди ночи акустик попросил соблюдать на лодке тишину.

— Что ты там услышал? — спросили его.

— Шум... необычный шум со стороны Бреста.

— Винтов?

— Да! Но такие винты несут только очень большие корабли. Слышу и винты эсминцев! Они визжат, как мокрые тарелки, когда их протирают... Очень много кораблей идет из Бреста!

Зеггерс не выдержал напряжения и в рубке под мостиком выкурил сигарету. Потом, словно в оправдание своей слабости, он разбил оксилитовый патрон регенерации воздуха (дышать стало легче).

— Кто-нибудь... нажмите кнопку тревоги, — наказал он через люк внутрь поста. — Кажется, наш флот собрался прорваться из Франции обратно на родину через эту английскую канаву.

— Безумие, — прошептал штурман. — Так шутить с англичанами нельзя. Разве дуврский барраж пропустит наши крейсера через Ла-Манш и Па-де-Кале? Они же расстреляют флот батареями...

Зеггерс жадно хлебал кофе из горлышка термоса.

— Я думаю, — сказал он, — фюрер знает дело не хуже нас...

На рассвете через глаз перископа Зеггерс восхищенно отсчитывал идущие на прорыв корабли... Да! Немцы проводили одну из самых дерзких операций своего флота. Из «мышеловки» Бреста сейчас рвались на волю «Шарнхорст» и «Гнейзенау», с ними шел и «Принц Эйген» — из пределов оперативного простора они рвались на простор стратегический!

. . . .

Хроника ТАСС (февраль 1942 года)

12 — Сражение в проливе Па-де-Кале между английской авиацией и германской эскадрой. В составе эскадры линкоры «Шарнхорст» и «Гнейзенау», бежавшие из Бреста в Северное море.

15 — Капитуляция Сингапура.

22 — ТАСС опровергает вымышленное сообщение газеты «Ници-Ници» о том, будто бы какой-то представитель советского посольства поздравил японскую императорскую ставку по случаю падения Сингапура.

24 — В Анкаре с провокационной целью инсценировано покушение на германского посла в Турции Папена.

25 — Сообщение Совинформбюро о том, что в районе Старой Руссы войсками Северо-Западного фронта окружена 16-я немецкая армия. Разгромлено несколько дивизий противника, оставивших на поле боя около 12 тысяч убитыми.

26 — Посол СССР в США т. Литвинов выступил в Нью-Йорке в клубе иностранных журналистов: «Мы хотели бы, чтобы все силы союзников были введены в действие...»

ТАСС разоблачает очередную ложь германского информационного бюро о том, что турецкий пароход «Чанхая» был якобы атакован советской подводной лодкой...

Хроника ТАСС мало говорит о положении на наших фронтах. После победы под Москвой наступило вроде бы предгрозовое затишье.

«Не делай этого, Дадли!»

Еще никто не знал, куда перегоняет Гитлер свои крейсера и линкоры, но англичане об этом уже догадывались. Гитлер недавно заявил, что Норвегия вскоре станет «зоной судьбы».

— Любой немецкий корабль, — сказал фюрер в ставке, — если он не находится сейчас в Норвегии, значит, он находится не там, где ему следует быть...

Центр морской войны в Европе недолго блуждал по зыбким водам — сейчас он быстро (подозрительно быстро!) перемещался в полярные районы, прямо к рубежам Советского Союза.

Теперь, когда с «Бисмарком» было покончено, Британское адмиралтейство трясло ознобом при одном лишь упоминании о другом линкоре Гитлера — «Тирпитц». Английский флот не мог быть спокоен, пока «Тирпитц» бродит по морям и океанам. История с «Бисмарком» воспитала в верхах Британского адмиралтейства страх перед гитлеровскими линкорами! Это и понятно: «Бисмарк» пошел на грунт, имея погреба пустыми, — он дрался до последнего снаряда, и бесподобная живучесть линкора наводила англичан на грустные размышления...

Разведка сбилась с ног, разыскивая теперь громаду «Тирпитца», который и был обнаружен англичанами на якорной стоянке в Аас-фьорде близ Тронхейма — на самом краю Европы, возле берегов СССР. Попытки бомбить его с воздуха оказались безрезультатны, а с воды «Тирпитц» был окружен сетями...

Из дальнейших событий почти незаметно, путем сцепления различных обстоятельств, с неумолимой последовательностью сложилась трагическая судьба каравана PQ-17.

. . . .

«Не делай этого, Дадли!» — по-английски звучит так: «Don't do it, Dudley!..»

Именно так в годы войны называли в Англии сэра Дадли Паунда, который в чине адмирала руководил главным штабом Британского адмиралтейства и был, таким образом, ближайшим соратником премьера У. Черчилля. Писать об этом как-то даже неприятно, но все-таки придется. Дело в том, что первый лорд Адмиралтейства Дадли Паунд был лодырь и... трус.

Я не стал бы сообщать здесь об этих его качествах, щадя самолюбие англичан, но сами же англичане говорили об этом, никого не таясь. Дадли Паунд жил по принципу «как бы чего не вышло», и потому-то сначала матросы, затем офицеры королевского флота, а потом уже и вся Англия окрестили его «Не делай этого, Дадли!».

Над гаванями Бреста, где дымили корабли гитлеровского рейха, постоянно велся воздушный барраж. Англичане знали если не все, то почти все о перемещении вражеских кораблей, и в этом им отважно помогали герои французского Сопротивления.

Десятого февраля 1942 года, начиная с 9 часов вечера, англичане бомбили Брест и его гавани. Потом самолеты улетели до-

мой через Ла-Манш. Оставленный в небе разведчик недолго крутился над Брестом: неисправность в радаре заставила его вернуться на аэродром. Какое-то время гавань Бреста осталась вне наблюдения английской разведки.

И тогда она, эта гавань, стала наполняться дымом.

Немцы ставили густую дымзавесу, скоро темное облако нависло надо всем Брестом, заслоняя с воздуха ковши гаваней. А за час до полуночи под командованием вице-адмирала Цилиакса гитлеровские крейсера и линкоры пошли на прорыв... После их ухода, когда дым относило ветром, химслужба зажигала новые шашки. А потому, когда британский разведчик прилетел снова, то за плотной стенкой дыма он не мог разглядеть, стоят ли там корабли, и тревога в Англии объявлена не была.

Между тем германские корабли шли на максимальных оборотах. Лишь на следующий день, в 11 часов утра, на траверзе Соммы британский разведчик с неба *случайно* обнаружил гитлеровскую эскадру. По радио он тут же известил об этом Лондон, а Лондон не поверил, что немцы способны на проведение такой дерзкой операции.

«Не делай этого, Дадли!» узнал обо всем после полудня. Он узнал о прорыве линкоров, когда немецкая эскадра уже прошла самую узость проливов, между Кале и Дувром, и лишь тогда соблаговолил объявить по флоту тревогу. Вот, кажется, настал выгодный момент бросить на немецкие корабли все силы Home Fleet и покончить с ними одним крепким ударом...

«Не делай этого, Дадли!» — наверное, сказал себе Дадли.

Но были причины более веские, почему Дадли не сделал того, что обязан был сделать... Вот что пишет западногерманский историк Фр. Руге, в прошлом адмирал гитлеровского флота:

> *«Хотя это предприятие привлекло к себе большое внимание... оно означало тем не менее окончательный отказ от океанской войны и облегчило (!) положение британского флота в особенно тяжелое для него время».*

Наверное, именно потому-то «морской лев» сладко вздремнул, когда германская эскадра прошла под самым носом его, не боясь потрогать этого «льва» за кончики усов. Правда, с большим опозданием англичане бросили против эскадры торпедоносцы, катера и эсминцы, но все их храбрые атаки закончились впустую, и можно считать, что Гитлер провел свои корабли *беспрепятственно*... Гросс-адмирал Редер и его штаб записали в актив себе «тактический успех», а над Англией пронеслась волна негодования; даже консервативная «Таймс» с большим неудовольствием пробурчала, что «начиная с XVII века во внутренних водах Англии еще не случалось ничего более позорного для морской гордости англичан».

Честная трудовая Англия в каске и с противогазом через плечо была возмущена. Эта Англия спрашивала тогда:

— Почему? Почему дали немцам прорваться?..

На самом же деле все ясно: из Северного моря путь гитлеровского флота лежал в Скандинавию, а оттуда — через гавани Тронхейма и Нарвика — онн, эти корабли, направляли свои жерла против русских коммуникаций в океане. Именно поэтому Черчилль, выступая в парламенте, откровенно тогда заявил, что он «с величайшим облегчением приветствует уход германских кораблей из Бреста».

Это был сознательный тактический проигрыш Уайтхолла ради призрачных политических целей!

Правда, угроза для Англии продолжала существовать. Но она была отведена от берегов самой Англии. Теперь угроза направлена прямо против русских. И если англичане встретят корабли большого флота Германии, то эта встреча может состояться уже в русских водах... Тут уместен вопрос: стараясь перехитрить очень хитрого противника, не перехитрили ли англичане самих себя?

Советский посол в Англии Иван Михайлович Майский (ныне академик) в те дни очень часто встречался с Черчиллем.

Черчилль ему говорил тогда:

— Врага надо обманывать всегда. Можно иногда обмануть и широкую публику для ее же пользы. Но никогда нельзя обманывать союзника...

Это были только слова. Черчилль обманывал.

— Don't do it, Dudley!

И пошли караваны

Скапа-Флоу — «собственная спальня» флота его величества, хотя в этой «спальне» уже побывала германская лодка «U-47», взорвав дремлющий на рейде линкор «Королевский дуб». Впрочем, сейчас тут спокойно... За сетями минированных бонов, за извечным недосыпом брандвахты, за частоколами свай, заколоченных в грунт, отстаиваются корабли Home Fleet. Здесь живет, красит борта, грузит торпеды, отсиживает сроки в карцерах, ремонтируется и колобродит «домашний флот» короля — флот метрополии, флот открытого моря, под килями которого дно в Скапа-Флоу выстлано на два фута пустыми консервными банками.

Иногда в гаванях режут слух горны. На палубах в четких каре, белея гетрами, строятся отряды морской пехоты. Равняясь побортно, корабли поют хвалу тем, кто водит их в океан. Там, в кабинетах мрачного Уайтхолла, сидят стратеги и политики, которых флот не знает. А этих он знает по именам: Товей... Фрейзер... Хамильтон! Сухощавые люди без возраста, с лицами цвета кирпича, мундиры их мешковаты, манеры резкие, — эти адмиралы водят конвои далеко, вплоть до берегов СССР, где вода закипает в откатниках орудий, где она смерзается на броне палуб крейсеров в глыбы серого пузырчатого льда.

А по воскресным дням в Скапа-Флоу от молов и пирсов идут на берег, отчаянно галдя, многотысячные толпы матросов. Тре-

пещут на ветру черные траурные ленты, завязанные флотом Англии один раз и уже навсегда — в день гибели Нельсона. Кабаки и бары мгновенно рассасывают матросов, и толпа вчерашних докеров, клерков, слесарей, кондитеров и шахтеров — эта толпа, шагающая враскачку, быстро редеет. Теперь они до утра будут шуметь здесь, в своей «спальне», как дома.

. . . .

Двадцать второго июня 1941 года Англия издала вздох облегчения...

«Для многих англичан, — писал Ральф Паркер, — война за одну ночь 22 июня сразу отодвинулась куда-то далеко. Бомбардировки английских городов прекратились. Возвращались эвакуированные, и в это лето Лондон, заполненный английскими и колониальными войсками, веселился почти беззаботно, отдыхая после напряжения прошлой зимы. И все это потому, что *Россия приняла на себя основной удар...*»

Многие из англичан не сомневались тогда, что Гитлер победит. Однако русские выдержали первое, самое тяжкое испытание «блицем». Тогда же (почти с первых дней войны) и возник вопрос об открытии второго фронта в Европе!

Первым прорвался в СССР полярным маршрутом Гарри Гопкинс, один из близких друзей Рузвельта, понимавший необходимость дружбы американского и советского народов. Мужественный и решительный американец, он на «каталине» пролетел вокруг Скандинавии в Архангельск, откуда быстро добрался до Москвы, где имел две беседы со Сталиным; содержание этих важных бесед Гопкинс тут же сообщил своему президенту. Закон о ленд-лизе, введенный США ранее только для Англии, Рузвельт распространил вскоре и на СССР — цепь взаимопомощи в борьбе Объединенных Наций против фашизма, таким образом, замкнулась!

Путь караванов в Россию лежал, как и в первую мировую войну, через арктические воды. Путь опасный, но самый короткий и уже проверенный. Трансиранский маршрут был надежнее, зато гораздо длиннее, а несовершенство дорог в Иране надолго задерживало доставку грузов. Существовал еще третий путь — через Владивосток, но было почти невозможно «перекатить» грузы через всю Сибирь до фронта, и сам этот путь вскоре закрылся (Япония вступила в войну с США).

В декабре 1941 года арктическим путем прошел в Мурманск британский крейсер «Кент», секретно доставив министра иностранных дел Идена, который выехал в СССР для дипломатических переговоров. Как раз на пути «Кента» в 1916 году загадочно погиб английский крейсер «Хэмпшир», на борту которого плыл в Россию лорд Китченер. С Иденом же ничего не случилось: с палубы корабля он пересел в бронированный дипсалон Кировской железной дороги.

Британский министр посетил освобожденный от оккупантов город Клин, где в музее Чайковского наблюдал следы вандализма гитлеровцев. Иден заметил тогда:

— Все это ждало бы и Англию, если бы немцы высадились на наших островах... Это настоящие подонки человечества!

Поездка на фронт укрепила в Идене уверенность в несокрушимости Красной Армии, и при отъезде он заявил:

— Теперь я собственными глазами видел, что немецкая армия может терпеть поражения, отступать и бежать... Миф о германской непобедимости взорван *вами!*

Тем же морским путем — от Мурманска до Скапа-Флоу — Иден благополучно вернулся на родину, и хотелось верить, что этот путь в СССР почти безопасен. Гораздо рискованнее показалась англичанам операция по возвращению на крейсере «Адвенчур» делегации ВЦСПС, гостившей в Англии. Дело в том, что число советских делегатов было 13, среди них две женщины, к тому же выход в море пришелся на черную пятницу. Как бы подтверждая все эти дурные приметы, из тумана вывернулся бродяга танкер и своим носом рассек борт «Адвенчура». Однако просвещенные мореплаватели не растерялись. Англичане спасли положение тем, что к тринадцати делегатам подсадили четырнадцатого (совсем не делегата), и тогда все опять пошло как по маслу...

Казалось, караваны будут идти и идти! Первый караван назывался «Дервиш»; под литерами PQ-00[1] он пришел к нам в августе 1941 года — вскоре после визита Г. Гопкинса в Москву.

. . . .

А над судоверфями Кельна, Готенхафена (Гдыня) и в базах Киля — сплошной лязг и грохот; рабочие давно на казарменном положении. Идет небывалое по размаху строительство подводного флота. Дениц желал превратить войну из-под воды в решающий фактор победы. Помогал ему в этой гонке автомобильный эксперт Меркер, в жизни своей моря не видевший. Но зато Меркер осуществил на практике поточный метод: подлодки собирали на верфях, как автомашины, — посекционно, отсек к отсеку. Широко применялась электросварка, и каждые три дня стапеля Германии сбрасывали в море по две новые субмарины. Подводников пугал теперь при погружениях страшный треск сваренных корпусов, чего не знали на лодках при заклепочной системе.

Флот Германии настойчиво уходил под воду — уже не хватало кадров для замены погибших, для комплектации новых экипажей. Тенденция заполнить все коммуникации мира «волчьими стаями» заразила и Гитлера; сейчас фюрер носился с идеей создания подводных транспортов и танкеров. Его подстегивал пример японских подлодок, которые, прорывая блокаду, приходили

---

[1] Литерация караванов буквами PQ (пэ ку, пэ кью) объясняется тем, что в Англии оперативным планированием конвоев в СССР ведал офицер флота *P. Q.* Edwards; от его инициалов Британское адмиралтейство и взяло название для караванов, идущих к русским берегам через арктические воды.

в Германию с грузом олова и хинина, а в Японию увозили секретную диппочту и новейшее немецкое радиооборудование...

Весной 1942 года, оправясь после поражения под Москвой, Гитлер развернул новое наступление на советском фронте. Наши войска были сброшены с Керченского полуострова, мы потерпели тяжкое поражение под Харьковом, где врагу удалось окружить нашу армию, враг шел через задонские выжженные степи на Кавказ, на Сталинград.

— Или мы закончим войну в этом году, — утверждал Гитлер, — или ее будут кончать за нас другие...

Стихии мира были поделены при нацизме: земля — Гитлеру, воздух — Герингу, а вода — Редеру. Гитлер был недоволен своим флотом, особенно надводным (он считал линкоры «дорогими игрушками»). С позиций ефрейтора он оскорбительно третировал надводный флот и его командование. Гросс-адмирал Эрих Редер не раз выслушивал обидные упреки.

— Мне осталось одно! — кричал на него Гитлер. — Все ваши хваленые линкоры и крейсера переплавить в мартенах ради драгоценного металла. Вы угробили мне «Бисмарк», так берегите же, словно глаз свой, хотя бы «Тирпитц»! Я уже изнемогаю от ваших дорогостоящих акций, которые всегда бесполезны...

Теперь, когда Гитлер развертывал новое наступление на Восточном фронте, в Берлине обратили особое внимание на полярные конвои. Союзная артерия ленд-лиза тянулась через Атлантику до причалов Архангельска. *Прервать* эту артерию, *лишить* советский народ связи с союзниками, *обескровить* русских в полной изоляции — такая задача встала в 1942 году перед большим флотом Германии. И этот флот был решительно отодвинут Редером на самые крайние рубежи — к берегам СССР...

На Тронхейме базировался флагман «Тирпитц». Несли в Нарвике вахту «Шарнхорст», «Адмирал Шеер» и «Лютцов». Рыскали во мраке полярной ночи шакалы первого ранга — «Кельн» и «Нюрнберг». Число новейших миноносцев было увеличено до 20. Свора подводных лодок блуждала у границ пакового льда, а 428 самолетов прочесывали русские полярные небеса... Армада!

Эрих Редер знал, какой панический страх испытывают англичане при появлении «Тирпитца». И адмирал умел использовать этот страх как главный козырь в той отчаянной игре, которую вел с флотами противников и в борьбе с самим фюрером... Редер понимал: случись хоть одна неудача с «Тирпитцем», получи он хоть одну пробоину, и тогда Гитлер действительно поставит флот открытого моря на консервацию, а на смену Редеру, естественно, придет Дениц...

Пятого марта 1942 года немецкий самолет случайно обнаружил в океане караван PQ-12, идущий в Россию, а на следующий день Редер отдал приказ, выстраданный им в ночной бессоннице: «Тирпитцу» выйти в море на перехват каравана PQ-12. Сопровождать его эсминцам под общим командованием Цилиакса... С конвоями, идущими в Россию, следует кончать в этом году!»

В углах треугольника

Заранее в Норвегию поступало много горючего из Германии для «Тирпитца» и его эскадры. Корабли пожирали топливо с такой быстротой и в таких дозах, что становилось страшно за весь «тысячелетний рейх». Сейчас они, стоя на рейдах, лишь слегка закусывали, а что будет, когда в море их желудки-котлы разовьют чудовищный, неистребимый аппетит?

И вот они тронулись...

Три эсминца сопровождения заливало волной до мостиков, ветер сбивал с антенн солевые хрупкие сосульки. Над узким носом «Тирпитца» постоянно нависало белое облако пушистой пены. В отсеках линкора — спертая духота, синий маскировочный свет, как в покойницких. Подвахту качало в гамачных сетках, по трубам отопления, сипло клокоча на изгибах, рвался раскаленный пар. Им еще ничего, а вот эсминцы вице-адмирала Цилиакса треплет так, что на них страшно смотреть.

А в кают-компании «Тирпитца» на широких круглых столах уютно поскрипывают приборы для офицерских тарелок, на дне которых плещется янтарный жир норвежского супа. Свежий номер «Марине рундшау» переходит из рук в руки. Любопытно, что этот официоз немецкой военно-морской мысли сейчас заговорил внятно и убедительно... «Все силы флота Германии, — призывал журнал, — на завоевание полярных коммуникаций!»

Вот туда и шел сейчас «Тирпитц», чтобы вдрызг разнести корабли союзного конвоя PQ-12.

. . . .

Конвой PQ-12 был сформирован в Лох-Ю (Шотландия), откуда он и вышел 23 февраля, имея два корабля в ордере под флагами СССР. 14 транспортов шли в охранении крейсеров, а в океане — в полной готовности — блуждал флот метрополии под брейд-вымпелом опытного адмирала Джона Товея...

Средн ночи Редера вызвал вдруг к телефону Гитлер.

— Адмирал, — испуганно спросил он, — а не случится ли так, что наш «Тирпитц» напорется в океане на англичан, у которых в запасе окажется хорошенький авианосец?

— Да, мой фюрер. Силы прикрытия англичан, помимо трех линейных кораблей, могут иметь и авианосец...

— Тогда, — вмешался Гитлер, — разрешаю нашим кораблям вступать в соприкосновение для боя только в том случае, если прежде вам удастся ликвидировать этот авианосец.

— Мой фюрер, — отвечал Редер, — вы не учли морального фактора. Одно лишь известие о выходе «Тирпитца» сломает всем англичанам шею... Вы увидите, как это будет ловко!

— Посмотрим, — неуверенно хмыкнул Гитлер...

Воздушная разведка немцев засекла PQ-12 еще на подходе кораблей к вулканическому острову Ян-Майену, что одиноко и печально стынет, нелюдим, в океане. Именно туда, на перехват каравана, и стремился сейчас «Тирпитц». Поразив конвой PQ-12,

гитлеровцы рассчитывали иметь двойной успех, ибо потеря союзных кораблей отражалась и на Англии, и на СССР...

Шторм усиливался. С неба косо летел дождь пополам со снегом. Метеосводки были отчаянно безнадежны. Днем 6 марта британская подлодка «Сивулф», которая базировалась на советских базах, держала свою позицию как раз невдалеке от Тромсе. Пронзительный вой сирены внутри ее отсеков разбросал матросов, как резиновые мячики, к приборам, к маховикам, к манипуляторам.

Рыжебородый командир поднял перископ, его худое, изможденное лицо свела судорога страшного напряжения:

— Я вижу черного кота на крыше, он чешет спинку о трубу!

Это значило, что сейчас он ничего не видит. Но с «асдика» акустики исправно подавали все данные — и пеленг, и курс, и скорость противника. Значит, кто-то ползет сейчас рядом.

— Продвинемся... на двух моторах! — решил командир лодки.

Скоро из баламути океана выступили борта кораблей, прошедших столь близко, что пробитая заклепками сталь заполнила весь объектив перископа. Это было ужасно...

— Ныряй! — Командир вытер с лица холодный пот. — Нам, — сказал он на спасительной глубине, — предстоит сообщить сенсацию на Скапа-Флоу, иногда невредно попугать нашего Дадли!

Выждав прохождение эскадры, «Сивулф» всплыла и дала сообщение на базу, что «Тирпитц» вышел в океан. Корабли PQ-12 сразу же получили приказ из Лондона — изменить генеральный курс. «Тирпитц» между тем, поглощая тонны горючего и смазочных масел, продолжал резать волны. Все его гидро- и радиощупальца находились в движении, как пальцы рук слепца. Однако он ничего не ощущал перед собой — ни одного корабля противника. Гидролокаторы «нибелунги», отчаянно пища, прозванивали под килем океан до самого грунта; нет ли угрозы оттуда, из этих глубин, что сдавлены мраком и холодом?..

Офицеры линкора давно побросали журналы «Марине рундшау» — теперь они были сильно озабочены другим:

— Летчики Геринга дурно воспитаны, они взяли за правило обманывать флот... Где же он, этот PQ-12?

— Да, герр капитан-цур-зее, я только что спустился из локаторного гнезда. На экранах — ни одной блохи в океане!

Нет, океан не был пустынен, хотя встреча противников и не состоялась. Морские специалисты позже проанализировали:

> *«В шторм и туман противники разминулись, хотя 8 марта обе боевые группы и конвой находились в одно время в углах равностороннего треугольника, стороны которого имели в длину всего 80 миль...»*

Проще говоря, и «Тирпитц», и союзный конвой слепцами прошли рядом, влажно и жарко дыша в лицо друг другу жерлами своих орудий и аппаратов. Но «Тирпитц» не один: у него есть ловкие поводыри, в данном случае — эсминцы Цилиакса.

— Ищите, — приказал им Цилиакс, и они, как послушные псы, сорвались в разные стороны, чтобы найти себе жертву...
Вот их имена: «Фриц Ин», «Герман Шенман» и «Z-25».

. . . .

Советский лесовоз «Ижора», груженный досками в Архангельске, производя ремонт в машине, отстал от обратного конвоя QP-8[1], который уже семь дней пробирался из СССР в Англию. Лесовоз — скромный труженик, неказистый и старательный, каких немало блуждает по морям. В его холодной кают-компании над столом, что накрыт кухонной клеенкой, висел еще довоенный плакат: «Все на борьбу за сокращение сроков стоянки! Дадим стране самые высокие показатели труда!»

Вот эта «Ижора» имела несчастье напороться в океане прямо на «Тирпитц» — флагмана всего гитлеровского флота. Цилиакс обратился к командиру линкора с просьбой:

— Капитан-цур-зее, не откажите в любезности дать один залп из главного калибра по этим бревнам.

На что получил презрительный ответ Топпа:

— Вам известно, во что обходится Германии один бортовой залп моего «Тирпитца»? Мы же стреляем чистым золотом...

Столь драгоценный верзила не пожелал связываться с робким лесовозом, а поручил это дело миноносцам. Мы не знаем, что именно переживали советские люди на борту «Ижоры», когда увидели, что беспощадный противник уже выходит на дистанцию залпа... Во всяком случае, верно одно: они не спустили флага, хотя надеяться на снисхождение врага им никак не приходилось.

Цилиакс вел переговоры с эсминцами через радиофон:

— Подойдите к нему ближе, начинайте прямой наводкой... Снарядов десять, я думаю, вполне хватит для такого корыта!

Выпустили десять, двадцать, тридцать...

«Ижора», которую рвали снарядами в куски, не тонула.

Вдруг истошный вопль раздался в наушниках Цилиакса:

— Русские начали радиопередачу... кодом!

Дело принимало дурной оборот. Но тут во всю свою мощь заработали на «Тирпитце» глушительные установки. Сильными помехами немцы забивали сигналы советского корабля.

— Рассадите им радиорубку! — командовал Цилиакс.

Флот британской метрополии уловил трепетные сигналы. Адмирал Товей, державший флаг на линкоре «Кинг Георг V», принял с вахты свежую квитанцию. Он был удивлен:

— Их топят, но... где же координаты этой «Ижоры»?

— Радист оборвал передачу. Видимо, убит за ключом, сэр...

Прошло полчаса. «Ижора» не тонула. Орудийные площадки эсминцев вдруг замолчали, словно в недоумении.

— Продолжайте, — велел им Цилиакс.

«Фриц Ин», «Герман Шенман» и «Z-25» снова открыли

[1] Караваны, идущие из СССР, именовались в обратном порядке — не PQ, а QP.

огонь. Элеваторы таскали и таскали к орудиям свежие снаряды, но вдребезги разбитая «Ижора» не сдавалась. Наконец обессиленный Цилиакс понял, что эта бесподобная живучесть корабля вызвана наличием на нем нетонущего груза.

— Все дело в том, — заметил при этом Топп, — что у русских повышенный коэффициент прочности. Их изделия неказисты на вид, но зато они подвержены разрушению на самых высоких нормах международных стандартов... Увы, этот лесовоз превосходит все нормы!

Цилиакс, уже взбешенный, распорядился на эсминцы:

— Пожалейте свои погреба... Если не взять снарядами, так черт уж с ним, разоритесь на две торпеды!

Начался красивый и точный заход «Фрица Инна» в атаку на неподвижную цель. Дело простое — как на полигоне. Но красотой все и закончилось. Две торпеды выстелили свои следы мимо заколдованной «Ижоры». Командир «Тирпитца» кривил в усмешке губы:

— Кажется, этот русский пароход, весь в дырках, обойдется Германии намного дороже одного моего бортового залпа...

Цилиакс через радиофон велел эсминцам подойти к нему.

— Я хочу видеть краску стыда на ваших лицах! — сказал адмирал командирам.

Возле борта флагмана закачались, черпая воду низкими палубами, три неудачника эсминца. А еще дальше дымила «Ижора» со своими архангельскими досками.

Цилиакс выждал, когда притихнет рев вентиляторов.

— Где ваша доблесть! — заорал он. — Неужели вы не способны разломать даже этот плавающий сарай?

С мостика «Z-25» гаркнул в рупор молодой командир:

— Мы не виноваты, что сарай не горит и не тонет.

— Вы дождетесь, что он еще и вас потопит, — ответил Цилиакс.

«Фриц Инн», описав циркуляцию, вдруг поднял сигнал, чтобы все перед ним расступились и не мешали. На полной скорости, выбрасывая из труб пламя и копоть, он пошел прямо на «Ижору». Сближение росло стремительно: «Фриц Инн» целился курсом так, чтобы пройти впритирку с бортом русского лесовоза. Рискованный маневр, но он удался противнику...

Когда борта кораблей поравнялись, с эсминца сбросили за корму серию глубинных бомб, поставленных на кратчайшую дистанцию взрыва. Эти бомбы, едва коснувшись воды, сработали. Мощные взрывы, убивающие подлодки насмерть, ударили «Ижору» под самое ее днище, почти выталкивая корабль из моря, и только тогда лесовоз затонул...

Помните, люди, эту «Ижору»!

. . . .

В бесполезных поисках каравана PQ-12 эсминцы сопровождения сожгли все топливо, и с «Тирпитца» последовал приказ отойти для заправки нефтецистерн на Тромсе. Линкор, уже покрытый панцирем льда, двигался теперь в одиночку — как рей-

дер (согласно излюбленной теории гросс-адмирала Редера). Немецкие офицеры молчали, боясь ушей гестапо даже на мостике линкора. Но каждый из них понимал, что сейчас «Тирпитц» ступил на ту дорожку, на которой погиб «Бисмарк»...

Страх витал над колоссальными мачтами!

Страх следует расшифровать до конца: гитлеровцы боялись встречи с линкорами англичан ничуть не меньше, чем англичане боялись немецких линкоров. А потому, лишь только радиоперехват обнаружил в море не транспорты, а британскую эскадру, «Тирпитц» сразу же отвернул обратно, чтобы не связываться с «большими дядьками» из Home Fleet'а. Белое облако воды, взбитой от скорости в пену, теперь дробилось под форштевнем в мельчайшую сетку водяной пыли.

Спешили...

Но 12 британских «альбакоров», поднятых с палубы авианосца «Викториуз», возле Лофотенских островов все же настигли противника. Каждый самолет нес под крыльями по две торпеды. Рядовые труженики войны в этом случае оказались намного смелее своего высшего командования. Ведущий покачал крыльями, чтобы ведомые обратили внимание на его действия, и швырнул свою машину в атаку прямо на «Тирпитц» — прямо в... *ошибочную* (!) атаку: заходя на линкор с кормы, против ветра. Ведомые исполнительно и точно повторили ошибку своего ведущего.

Огонь немецкого флагмана был страшен. 84 зенитки линкора, казалось, в мгновение ока выстроили в небе непрошибаемую стенку огня и стали. Британские торпедоносцы рушились в море, рубя волны плоскостями, море рвало их фюзеляжи, вскрывая кабины, из которых людей, как ошметки, выбрасывало прочь при взрывах. Надо отдать должное мужеству британских экипажей: ни один из них не отвернул — каждый сбросил свой груз у цели.

Но... все 24 торпеды прошли мимо «Тирпитца»!

Английские историки признают, что экипажи «альбакоров» имели очень много мужества, но очень мало боевой подготовки...

В самый разгар атаки на ходовом мостике линкора возник неприличный инцидент. Вице-адмирал Цилиакс велел «на руль к повороту», чтобы укрыть «Тирпитц» в гавани. Но капитан-цур-зее Топп вырвал штурвал из рук рулевого, ставя его обратно:

— Я имею приказ фюрера: не рисковать!

— А я исполняю приказ гросс-адмирала Редера: рискнуть!

Да, Берлин очень дорожил своим «Тирпитцём» — Гитлер берег его.

Операция закончилась ничем: «Тирпитц» укрылся в фиордах Норвегии, а Джон Товей привел свою эскадру в Скапа-Флоу. Используя паузу в боевых действиях, немцы быстро и решительно перебазировали в Тронхейм и тяжелый крейсер «Адмирал Хиппер». Германская эскадра на Севере снова усилилась... В это время лондонские газеты справедливо писали: *«Битва за Арктику началась. В ближайшие недели она может стать даже более важной, нежели битва за Атлантику»*. Это правда: на коммуни-

кациях к Мурманску сам собой завязался исключительно сложный стратегический узел.

. . . .

Против флота Германии стоял героический Северный флот.

Флот совсем небольшой. По сравнению с британским он был просто незначительным...

Там, на аспидных скалах (которые зимой в снегу, а по веснам их забрызгивает полярная сирень и черемуха), жили и воевали удивительные люди. Они уходили от этих родных скал в море Баренцево.

Прямо в Ледовитый океан! Прямо в необъятный...

Очень много этих людей ушло и больше не вернулось.

Мы уже не встретим их на нашей зеленой земле.

В синем море мы их тоже не повстречаем.

Но для нас они живы в каждой капле океанской воды.

Мы слышим их голоса в порывах океанского ветра.

Совместная работа

Советские эсминцы типа «семерка» — прекрасные корабли с отличными боевыми качествами. Они были вооружены по принципу «кашу маслом не испортишь», иностранные справочники иногда относили их к классу легких крейсеров. Артиллерийская автоматика наводки «Б-13» вызывала законное восхищение у наших союзников. Огневая мощь «семерок» была намного выше, чем на союзных эсминцах. Но эти корабли, построенные для внутренних морей СССР, плохо выдерживали океанскую волну, которая часто ломала шпангоуты, мяла борта, от груза обледенения проседали их палубы. Впрочем, к чести наших моряков, они в любую заваруху выводили свои эсминцы без боязни. Война изменила нормы требований живучести, а так называемый «запас прочности» вполне удовлетворял наших миноносников. Для большей остойчивости днища «семерок» были обложены слоем обыкновенных печных кирпичей, и эти кирпичи выводили наши эсминцы из гибельных критических кренов...

Шторм и сегодня заливал палубы. От ветра и скорости антенны выгибало в дугу. Их было три — «Гремящий», «Сокрушительный» и британский «Орнби», три союзных эсминца 28 марта вышли для встречи каравана PQ-13.

На наших кораблях вахта наружных постов была одета в ватники и полушубки; комендоры возле пушек стояли в валенках, поверх которых краснели большие галоши. В рацион команд для обогрева входила и водка — в «наркомовских» дозах. Британские экипажи одевались хуже: матрос натягивал на себя 5—6 комплектов теплого белья, столько же пар носков, а сверху реглан, который на морозе ломался по сгибам, как ржавая жесть. Чтобы подкрепить силы команды, на камбузе «Ориби» выпекали особо калорийные пудинги — из муки, мяса и почек. Обычный грог англичане считали негодным для та-

ких собачьих условий, и матросам выдавался крепчайший ром...

Шли хорошо. За приседающими на разворотах кормами эсминцев виднсь высокие буруны, словно глыбы сверкающего расплавленного фосфора.

Конвой возглавлял британский крейсер «Тринидад», который сообщил на корабли сопровождения, что им перехвачено немецкое радио: где-то поблизости рыскают германские эсминцы «Z-24», «Z-25» и «Z-26», но увидеть их невозможно в этой свистопляске, когда один снежный шквал следует за другим.

Впрочем, на «семерках» уже знали о присутствии в океане германских миноносцев, об этом их оповестила еще на выходе из Ваенги воздушная разведка флота. Караван — до встречи его с североморцами — уже имел потери: из 19 транспортов 4 были потоплены с воздуха, один взорван подлодкой; погиб и конвойный тральщик «Сулла». Теперь, на подходах к Кильдину, следовало ожидать нападения врага. Здесь, вблизи Кольского залива, когда до Мурманска уже считанные мили, немцы всегда прилагают бешеные усилия для своих последних атак...

Советские эсминцы заняли место в конвойном ордере. «Сокрушительный» (под брейд-вымпелом комдива-1 П. И. Колчина) вышел на левый траверз конвоя, «Гремящий» вступил в охранение на правом, «Орибн» переместился в замыкающие конвой. В отдалении море трепало союзные эсминцы «Фьюри» и «Эклипс»...

Антон Иосифович Гурин, командир «Гремящего», в потемках мостика вырвал из зажима микрофон трансляции:

— Внимание, внимание... Мы вступили в охранение. Будьте бдительны на вахте. Лишних передвижений по палубе не производить. Поздравляю всех с началом операции...

Ночь как ночь. Вахта как вахта. Ничего особенного.

Ночные визиры на крыльях мостиков чутко проглядывали ненастье и мрак. Время от времени с «Гремящего» видели, как стремительная тень «Тринидада» неслась, прижатая к воде, пропадая опять в небывалой ярости воды и снега. Гурин велел осмотреться по отсекам, и доклад был малоутешителен: вода, которая появляется непонятно откуда, уже гуляет по кубрикам...

— Нам не привыкать, — сказал на это Гурин.

С высоты мостика виден остроконечный полубак эсминца, и два орудия то глядятся в пропасть между волн, то их вметывает кверху — и тогда они целятся в низкие тучи. Потоки воды летят через людей даже на ходовом мостике. Люди освоились. Пригляделись к мраку. Внизу, на полубаке, поверх мерцающего льда, копошатся фигуры людей. С ломиком в руках вышел боцман: еще раз проверить крышки клюзов, заглушки вентиляции. За боцманом тащится длинный трос, привязанный к полубаку.

— Осторожный у нас мичман, — смеются на мостике. — Словно акробат в цирке... лонжей страхуется!

Впрочем, и все сколько бы ни смеялись, а без троса на

полубак не сунутся. Спасенных тут нет! Еще не было человека, которого бы удалось спасти, если его смоет море. Здесь тебе не Сочи, тут тебе не Ницца... Опомниться не успеешь, даже не вскрикнешь, как тебя уже не стало. И мимо пройдет корабль, внешне почти равнодушный к твоей пропащей судьбе...

С мостика Гурин следит, как боцман укрывается под срезом полубака.

— Сигнальщики! Внимательней смотреть!

— Есть — смотрим...

. . . .

После неудачного выхода «Тирпица» состоялась конференция командования германским флотом, в работе которой принял участие и Гитлер... На фразу гросс-адмирала Редера: «У англичан нет повода для восторгов» — фюрер выкрикнул:

— У меня тоже нет повода к восторгам! Довольно-таки стыдно ограничить победу линкора одним русским лесовозом, стоимость которого гораздо ниже стоимости истраченного эскадрой топлива!

Гитлер на листке из блокнота начертал магическую цифру истраченных тонн нефти — 8100 и передвинул листок Герингу, которого просто колотило от бешенства, когда речь заходила о флоте... Геринг и сейчас задохнулся от гнева.

— Обжоры! — сказал он морякам. — Еще один такой выход «Тирпица» в море — и моя авиация останется без горючего.

Гитлер далее говорил о форсировании строительства сверхмощного авианосца «Граф Цеппелин»[1]. Район действия авиации, базирующейся на береговых аэродромах, фюрера уже не удовлетворял. Гитлер мечтал иметь палубную авиацию, чтобы расширить сферу ее пиратских полетов от Нордкапа до Шпицбергена... Редер сомневался: Германия способна построить авианосец любых размеров, но Германия никогда не сможет обеспечить его опытным экипажем, ибо это дело для немцев новое, незнакомое... «Разделение стихий» между боссами фашизма не располагало их к единодушию, и вражда Геринга к заправилам германского флота была хорошо известна.

— Все то, что летает, это *мое!* — внушительно заметил Геринг, грозя Редеру своим толстым пальцем...

Конференция приняла решение об активизации борьбы с северными конвоями. Было оговорено, что караваны следует подвергать «обработке» из-под воды и с воздуха, начиная от берегов Исландии до самого Кильдинского плеса вблизи Мурманска. Пока все надежды Гитлера строились на блицкриге, он пропускал караваны в Россию почти беспрепятственно...

— До сих пор вы только торчали там в русских воротах Арктики, — обругал конференцию Гитлер, — а надо было ломиться в эти ворота, пока они не слетят с гнилых русских петель!

[1] Этот авианосец Гитлера не был достроен из-за нехватки стали.

Теперь для союзных моряков наступали трудные времена.

. . . .

Тридцатого марта до 11.00 караван PQ-13 шел в неведеиии обстановки, слепо доверя свою судьбу кораблям союзного эскорта. Но в 11.24 три иемецких миноносца, вырвавшись из сутолоки воли, пришли иа дистаицию залпа. Одна из торпед взорвала борт «Триинидада» между трубой и мостиком. Подбитый крейсер открыл огонь. Эсминец «Z-26» был поражеи им сразу и быстро ушел под воду.

Противник на выходе из атаки не стал подбирать тонущих, англичанам тоже было сейчас не до них...

Гурии принял радиограмму от комдива-1.

— Пчелин, — приказал рулевому, — разворачивай на...

И тут сигнальный старшииа Фокеев доложил:

— Пять всплесков! «Сокрушнтельный» под обстрелом...

Над морем вдруг пронесло — в ряд! — горящне факелы. Это из труб миионосцев отлетали иазад багровые сгусткн пламеии. «Z-24» и «Z-25» шли на полном ходу после атаки на «Триндад», чтобы теперь поразить караваи веерами торпедиых залпов. «Сокрушительный» резко отвернул влево, давая залп всем бортом — сразу из четырех стволов. Жахиул по врагу и главиый калибр «Гремящего». Со второго же залпа оии накрыли противника.

— Попадание... в машину! — разом заголоснли сигнальщикн.

— Ясно вниж, — ответил Гурин, даже не троиув бинокль.

Эсмииец врага запарил машнной, ускользая в заряде липкого снега. Третий корабль протнвника полыхнул яркой вспышкой огня н тоже побежал прочь, сбивая с надстроек зелеиое пламя. «Семерки» ие дали немцам прорваться к судам караваиа.

— Ох и врезали! — радовались матросы. — Прямо в примус... аж кастрюлькой накрылнсь и побежали!

Бой был краток, как удар меча. За эти считаиные мгиовения, что насыщены ветром и скоростью, противник успел дать по советским эсминцам *пять* залпов. «Гремящий» и «Сокрушительный» ответили *семью* залпами. Видимость сократилась до трех кабельтовых — все вокруг серое, вязкое, сырое, промозглое. Вот из этой слякоти вырвался на пересечку нашего курса британский эсминец «Фьюри». Его ухающие, как филины, автоматические «пом-помы» развернулнсь на «Сокрушительный». К обоюдному счастью, иа «Фьюри» быстро обиаружили свою ошибку, а огонь союзников оказался неточиым (убитых и ранеиых у нас ие было). Горячка англичаи даже поиятиа: «Тринидад» торпедирован, а иа «Эклипсе» противник снес за борт две пушки, покорежив снарядами рубки.

Теперь иадо было выручать союзников, и Гурии поспешил на помощь британскому крейсеру. Это была печальная картина. Раиеный торпедой «Трииидад» медленно двигался в неразберихе шторма с креном иа левый борт. А рядом с инм, словно желая поддержать старшего собрата, рыскали верткне корветы. Из про-

бонны под мостиком «Тринидада» валил дым. Потом оттуда выметнуло язык оранжевого пламени.

— Котельный отсек залит, — прочел сигнальщик сообщение с «Тринидада», — имею на борту много раненых...

С борта «Сокрушительного» комдив-1 П. Колчин «писал» на «Гремящий», что получена шифровка из штаба: противник выставил на Кильдинском плесе пять подводных лодок. До Мурманска оставалось еще 150 миль. В 11.30 англичане ушли, ведя пораженный крейсер, и теперь весь караван встал под защиту только двух наших эсминцев. О том, чтобы спать или есть, уже не могло быть и речи. Все насущное происходило на мостике. Судьба каравана — это наша судьба: каждый такой транспорт — это десять железнодорожных эшелонов с оружием.

— А шторм усиливается, — обеспокоенно заметил Гурин своему помощнику Васильеву. — Александр Михайлович, будьте любезны, обойдите еще раз нижние палубы...

Крепчал и мороз, началось опасное обледенение. Многотонный груз льда, твердо закоченевший на полубаках, мог задержать эсминцы в губительном крене, и тогда корабли способны перевернуться.

— Людей — на обколку льда! — последовал приказ.

На подходе каравана к Кольскому заливу волны окончательно взбесились. Кстати, эти же волны и помогли сейчас «Гремящему». В глубокой распадине между высоких волн море вдруг обнажило рубку гитлеровской подлодки, словно показывая: «Вот она, смотрите скорей, сейчас опять я захлестну ее волной!»

— Бомбы — товсь! — И Гурин приказал «полный» в машины.

Васильев потянул рукоять — над океаном завыла сирена.

«Гремящий» пошел на таран...

Шторм не вовремя подбросил эсминец на гребень: «Гремящий» пронесло над подлодкой. Таран не удался! Но котельные машинисты и все те, кто нес вахту в низах, слышали, как днище корабля все же скрежетнуло килем по субмарине... Левая машина — вперед, правая машина — назад: разворот! — теперь глубинная атака...

Гурин мельком глянул на корму: по низкому юту свободно ходили волны, обмывая стеллажи бомб, заранее обколотых ото льда. Минеры уже сбрасывали цепи креплений. За этих людей было страшно сейчас: их могло смыть при атаке в любую секунду.

— Первая серия — пошла!

На крутом развороте полубак принял на себя лавину воды. И волна, взметнувшись, хлобыстнула по мостику, выбила в рубке ветровые стекла. Люди были сброшены с ног. Гурин заметил, что усатый рулевой Игорь Пчелин манипуляторов все же не выпустил.

— Молодец! — сказал командир, снова глянув на корму...

Нет, кажется, из минной команды никого не смыло, и те-

перь там, в бешеистве шторма, колотили глубину взрывы. На двадцать первой бомбе Гурин приказал «дробь атаке» — и стало тихо. Сигнальщики и комендоры выливали воду из кармаиов полушубков.

— Один взрыв, двадцать второй, был лишиий, — доложил командиру его помощник Васильев.

— Лишний — не наш! — ответил Гурии. — Видать, на лодке разнесло к черту батареи, а это зиачит... Смотри!

На поверхности океаиа, глухо урча, лопались гигантские пузыри. Океан отвоевывал лодку для себя, вышибая напором воды остатки воздуха из ее душных отсеков. Сейчас там — на глубине — растворились во мраке жизни тех, кто пришел сюда, чтобы иести смерть другим. Вместе с воздухом море выбросило и какую-то сумку из парусииы. Подцепить ее с борта «Гремящего» ие удалось — оиа тут же опять затоиула...

Телеграф иа мостике отработал движение вперед. Пошли дальше. Напор волн при атаке был столь велик, что сорвало крышки клюзов, в кают-компании согнуло пиллерсы. Это обычиая история — иа «Гремящем» даже не удивлялись. Последний транспорт каравана уже втяиулся в тесииу Кольского залива. Два советских эсминца довели PQ-13 без потерь. Кажется, мы и дома, и не так страшеи черт, как его малюют...

. . . .

Корабли каравана разгружались в Мурмаиске. Раненые английские матросы поступили иа излечеиие в госпиталь Северного флота. «Тринидад» дотащили до судоверфи, и мурманские корабелы теперь зашивали его пробоину. Это были настоящие добрые отношения, и тогда иам казалось, что такие отношения будут продолжаться всегда, как и положеио среди друзей-союзников...

Волки бегут на север

Вожак всех «волчьих стай» с завидной роскошью проживал то в Париже, то в Лориане. Забота Деиица о своих «волках» простиралась до того, что он личио встречал свои лодки, идущие с океана иа базы. Он украшал подводников лаврами и крестами. В голодающей Европе подводники как сыр в масле катались. Дениц устраивал для них лукулловы пиры. Особо отличившиеся экипажи проводили свои отпуска в Ницце и в Монте-Карло. Дениц фамильярничал с подводниками, позволяя матросам называть себя «папой», командиров лодок Дениц зиал по именам. Подводные лодки «встречали огромиые толпы людей иа пирсах с оркестрами, венками, микрофонами... Торжественная встреча записывалась на пленку и передавалась широковещательными радиостанциями в такой же шумиой и выразительной форме, которую используют в наше время телевизионные комментаторы».

Порядок на базах Лориана был такой: если вернулись живы, адмирал давал 27 дией, из которых 9 — для работы, 9 —

для разгула, 9 — для поездки домой. Лориан был не только базой подводников Гитлера — здесь фешенебельные бордели пропускали всех прибывающих с моря, чтобы в диком распутстве они стряхнули с себя все ужасы и кошмары похода. Англичане не раз бомбили Лориан, надеясь накрыть «волков» поближе к ночи, когда они разбредаются по притонам. Но предусмотрительный «папа» Дениц заранее вынес публичные дома из Лориана за черту города, а железобетонные навесы, под которыми стояли подводные лодки, как лошади в стойлах, фугаски не могли пробить...

Однако команде Ральфа Зеггерса пришлось распрощаться с веселым Лорианом — по вине самого Деница. Как всегда, отметив возвращение лодки пиршеством, адмирал сказал потом:

— Ральф, время родовых схваток на верфях кончилось, Германия скоро завалит океан своими лодками. А тебе предстоит прогуляться к берегам России. Сейчас я произвожу перестановку береговых сил, чтобы вмешаться в борьбу с конвоями в Арктике...

Зеггерсу очень не хотелось плавать у берегов СССР.

— У меня, — возразил он, — ослабел корпус. Появилась фильтрация, и при погружениях внутри лодки течет, как в ду́ше.

— В каком отсеке? — спросил Дениц с улыбкой.

— Даже в центральном, — приврал Зеггерс.

— Ерунда, — утешил его Дениц. — На Тромсе у нас отличная база по ремонту — заклепки тебе подтянут на пневматике, и я верю: ты вернешься оттуда с рыцарским крестом.

Было ясно — не увильнуть, и тогда Зеггерс спросил:

— Мне подсадят гувернантку? Или пойду самостоятельно?

— Без гувернанток! — отрезал Дениц. — Стажироваться на район плавания уже некогда. Знакомиться с условиями будешь сразу на месте. И... не огорчайся: ты уходишь сегодня же!

По ступеням веранды они спустились в сад. Где-то вдалеке сонно ворчала Атлантика. Со стороны Лориана доносился гул: это множество компрессоров заряжали лодки воздухом высокого давления. Пышная акация белела в ночи... «Что сказать?»

— Мой адмирал, я согласен прыгнуть хоть в пропасть!

Дениц дружески отпихнул его от себя!

— Молодчага, Ральф! Вопросы у тебя есть?

— Есть. Скажите, там ли находится лодка Фрица Пройсса, с которым мы большие друзья?

— Пройсса уже нет, — поморщился Дениц.

— Он погиб за великую Германию?

— Пройсс — большая свинья. Ты никому не говори, Ральф, что дружил с этой скотиной... Пройсс сделал лишь один выход к берегам Новой Земли, а потом что-то стряслось у них на лодке с гирокомпасом. «Аншютц» все время замыкало на корпус, гиросфера крутилась в глицерине, как яйцо в кипятке. Долго не могли понять, пока не дознались, что виноват твой приятель.

— Не может быть! — удивился Зеггерс. — Я знаю Пройсса...

— Ничего ты не знаешь, — отмахнулся Дениц. — На допросах в гестапо он сознался, что портил гирокомпас умышленно, чтобы не выходить в море... Ну! — и Дениц протянул руку. — Заклепки вам подожмут. Рыцарский крест за мной! Можешь заранее поднять над перископами грязную вонючую метлу — в знак того, что твоя лодка выметет русских из Баренцева моря...

На рассвете полярный океан покатил им волны навстречу. Комбинезоны, вязанные из белой шерсти, уже не спасали от холода. Давно ли, кажется, изнывали от жары, несли вахту в трусиках, словно дачники. А сколько было свежих яиц и апельсинов! Теперь же лодку покрывало инеем изнутри, голые скалы на берегу наводили уныние. Постели мокрые от конденсационной влаги, а одеяла на койках — хоть выжми... Ужасно, ужасно! В плохом настроении Зеггерс дал в Киль шифровку, что они дошли до Нарвика.

Здесь команде выдали особое полярное обмундирование и талоны розового цвета на посещение скромного дома терпимости. Дефицитные проститутки вблизи Арктики тоже выдавались по карточкам — вроде мармелада или маргарина. А перед выходом на позицию к пирсу подъехал грузовик снабжения:

— Эй, на лодке! Принимайте «пакеты спасения»...

«Пакеты спасения» выбрасывались, как торпеды, через аппараты. Это были мешки, заряженные воздухом, мазутом, щепками, обрывками берлинских газет и обыкновенным человеческим калом (самым свежайшим, отлично законсервированным). В случае если русские начнут слишком нажимать, Зеггерс должен выстрелить таким пакетом, который, всплыв на поверхность, имитирует гибель подлодки. После чего — так подразумевалось — русские отстанут...

В тихую ночь, когда за поворотом каждого мыса мерещится всякая чертовщина, Ральф Зеггерс повел свою пиратскую субмарину в рискованный рейс. Опять потекло с переборок, электрогрелки мало помогали. Чулок фиорда кончился, и вот уже первая волна шибанула подлодку в скулу, будто кулаком. Вторая — легко, словно играючи, влезла на палубу и диким зверем быстро добежала до самого мостика... Полный рот воды! Глаза разъедает от соли и ветра! Неужели так будет теперь всегда? Да, всегда...

— Здесь нам придется жить, — сказал Зеггерс штурману, — на кофе, на коньяке, на сигаретах из испанской махорки... Черт бы побрал этого «папу»! Сам-то он сидит по макушку в акациях! Ах, Лориан, Лориан... Шесть часов в электричке — и ты уже в Париже... Нам, кажется, не повезло!

До Нордкапа лодка шла в позиционном положении, выставив над морем только свою отточенную черную рубку. Приближался рубеж, за которым можно встретить русские корабли, и Ральф Зеггерс велел задраить на кремальеру крышку главного люка.

— Принять балласт, — апатично распорядился он. — Дизели долой. Левым мотором средний. Лишнего шума не произ-

водить. Движение по отсекам ограничено. Мусор бросать в ящики. Боцман! Продуйте гальюны и следите, чтобы бегали пореже... Строгое радиомолчание! Я уже убедился, что есть научный способ продления жизни — для этого надо как можно реже выходить для связи в эфир!

...Их ждала встреча с обратным караваном QP-11.

Русское золото

Хроника ТАСС (апрель 1942 года):

4 — В Москве состоялся Второй всеславянский митинг.

8 — По сообщению германской печати, государственный долг Германии за время войны увеличился до 140 миллиардов марок.

14 — В советской печати опубликовано обращение к германской армии, подписанное 805 пленными немецкими солдатами.

17 — Англичане разрушили нефтепромыслы в Бирме.

22 — В Лондоне открыт памятник В. И. Ленину.

26 — Речь обер-палача Гитлера в рейхстаге, в которой он потребовал усиления репрессий.

27 — Нота народного комиссара иностранных дел СССР о чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков в оккупированных советских районах...

. . . .

Обратный караван QP-11 готовился в путь на родину.

Накануне войска НКВД патрулировали дорогу, ведущую в бухту Ваенга, где стоял английский крейсер «Эдинбург». С наших эсминцев наружная вахта видела, как по дороге, спускаясь с сопок, пошли грузовые машины, задернутые чехлами. Всю ночь на «Эдинбурге» шла какая-то возня, там мелькали огни фонарей, слышались свистки команд и хохот... Разгруженные машины отошли обратно в сопки, и разом исчезли с дороги патрули НКВД.

А завтра как раз праздник — 1 Мая... Колокола громкого боя и призывные выкрики горнов возвестили для нас походную жизнь. Еще с ночи громадный караван транспортов-обратников потянулся из Кольского залива. Самая сильная единица охранения, крейсер «Эдинбург», обгоняя медлительных «купцов», развил скорость и вырвался на Кильдинский плес — в яростный блеск моря.

Опять для «семерок» началась конвойная служба: качайся, наблюдай, стой у машин, будь готов. «Гремящий» и «Сокрушительный» мотало на зигзагах — правила обязывали срезать курсы зигзагами, чтобы подлодки противника не могли рассчитать верного угла для атаки. По радиотрансляции было объявлено:

— Леера в районе торпедных аппаратов срублены. Ветер усиливается, товарищи! По верхней палубе передвигаться осторожней...

В общем-то, если говорить честно, конвойная служба всегда скучновата. Ты весь в адском напряжении, и ослабить это напряжение никак нельзя, ибо сейчас спокойно, а ты не знаешь,

что будет через минуту. С тебя течет вода. Ты не ведаешь сна и покоя, а... все же скучновато. Не эта ли самая скука заставила крейсер «Эдинбург» покинуть походный ордер, не связывая себя хлопотами охраны, и уйти бороздить океан в одиночестве?..

На мостике «Гремящего» приглушенные разговоры:

— Его вчера чем-то там загрузили... по секрету!

— Какую-нибудь хреновину для Черчилля.

— Ну да! Много ты понимаешь. Он коньяк пьет только наш. Армянский. Вот и посылают несколько ящиков...

— Сигнальщики, не отвлекаться! — приказ с вахты.

Усатый Игорь Пчелин, со взглядом, обращенным на репитер гирокомпаса (а руки на манипуляторах), хмуро брякнул:

— Молодые все, салажня такая... поболтать охота!

Да, скучновата конвойная служба. Но Гурин отлично знает, что уходить с мостика все равно нельзя. В штурманской рубке диван дает командиру отдых на полчаса, а потом — снова на крыло мостика, к машинному телеграфу.

. . . .

— Курсовой сорок пять... Дистанция... Шум винтов!

Акустик сдвинул наушники на виски и заметно помрачнел.

Зеггерс передал по трубам в отсеки:

— Соблюдать полную тишину, передвижение прекратить...

Все ждали теперь нежного, как звучанье гитарной струны, позвякиванья по корпусу лодки, когда по металлу барабанит модуляция британских «асдиков». Но теперь, кажется, англичане не играли на своих страшных и чутких струнах...

— Не будем прятаться, — сказал Зеггерс, хлопнув горизонтальщика по плечу. — Отработай рулями на подвсплытие.

С глухим воем перископ пошел наверх, и своим жутким всевидящим глазом он проткнул поверхность моря.

— Шум винтов растет... идут быстро, — докладывал акустик с «нибелунга». — Даю пеленг: сто сорок пять... сто сорок... сто тридцать пять. Давать дальше?

— Не надо, — ответил Зеггерс, склоняясь у перископа.

Сначала — муть, плеск, глаз перископа выхватывал то гребень волны, то кусок неба. Цели было не видать.

— Подвсплыви еще: перископ захлестывает водой...

Теперь он разглядел пролетающий в одиночку британский крейсер, который быстро входил в пересечение нитей прицела.

— «Эдинбург»! — ахнул Зеггерс и тут же опустил перископ.

— Если он дает узлов двадцать да еще лежит на курсовом зигзаге, то мы промахнемся, — сомневался штурман.

— Да нет! — почти злобно выкрикнул Зеггерс. — Он шпарит, как король на прогулочной яхте: напрямик...

Скорость крейсера обязывала Зеггерса очень быстро приготовить расчеты для атаки. Время от времени поднимая перископ, он снова кидался локтями на планшет, штурман, морща лоб, помогал ему в тригонометрических вычислениях.

— Это такой прекрасный торт, — сказал Зеггерс, — что нам не стоит жалеть сладкой подливки... Будем давать залп из всех

труб! Виимание — в носовом, слушайте меня: все четыре трубы — все четыре к залпу...

В носу подлодкн откинулись четыре крышки, и море, еслн бы оио могло видеть, сейчас увидало бы четыре тупые, как свиньи головы, торчащие наружу рыла торпед. На залпе из четырех труб субмарину дериуло кверху носом так, что электролит из батарей плесиуло через края баков.

— Включаю, — сказал штурмаи и, расслаблеииый, сел.

Секундомер — механизм, ои страха ииогда ие ведал.

Секунда... секунда... секунда... секуида...

— Мимо! — отчаялся Зеггерс, потяиувшись к бутылке с коньяком. — Все четыре мнмо, и, конечио, я не виноват: на такой скорости даже наш «папа» сплоховал бы, навериое...

Ои прижался губами к горлышку бутыли, и тут рвануло двумя взрывами сразу. Зеггерс, кося глазами на стрелкн приборов, делал глоток за глотком, потом протяиул бутылку штурману:

— Наши свииьи проскочилн мимо, ио кто-то попал в это английское корыто. Ясио, что поблизости была иаша лодка, и ее торпедам повезло больше, чем нашим... Выпей н ты, все равио победа! Нами, — передал Зеггерс по отсекам, — торпеднрован сейчас «Эдинбург», который во всем мнре считается одним из лучших крейсеров... Хайль Гитлер, ребята!

И сдавленные в иапряжеиии отсеки ответили ему мертвыми голосами, как из-под земли:

— Хайль... Хайль... Хайль...

Всего шесть отсеков — н шесть возгласов через шесть труб, концы которых выведены в центральиый пост лодкн, собраииые тут в пучок у самого носа комаидира...

. . . . :

Придерживая замасленную фуражку, на мостнк поднялся командир БЧ-5 (старший механнк) «Гремящего» — М. С. Ротеифельд. Человеку из душиых и горячих низов эсминца, где ярко пылают лампы, на мостнке всегда особенно холодно.

— Антон Иосифович, топливо иа исходе. Перехожу иа питаиие из носовых цистерн, а там нефть, сами знаете, — ие ахти!

— Дотянуть до Ваеиги хватит?

— Подсосем с диища, — ответил механик, зябко ежась, а руки ему сводило от ледяного обжига траповых поручней.

— Тогда все отлично. Скоро сдадим свое место в ордере аигличанам. Они — дальше, а мы — домой...

Но тут из радиорубки поступил приказ командующего Севериым флотом: *Если можете, окажите помощь «Эдинбургу»...* Оставив корабли каравана, «Гремящий» рванулся на спасенне союзиика. Оказывается, на «Эдиибурге» (ужасная беспечиость!) наружная вахта ие заметила ии перископа, ни даже следа торпед. И теперь изувеченный «Эднибург» снльно било на волие, разворачивая бортом в океан, — одиа из торпед угодила под корму.

С мостнка «Гремящего» хорошо было видно, как широкий

лист стальиой палубы крейсера завериуло, будто бумагу, иакрыв этим листом орудия башни. Отсекн крейсера заполияло водой...

Гурни позвонил Ротеифельду в пост энергетики:

— Вынужден огорчить: подсасывайте с днища, откуда угодно, ио хотя бы малый ход эсминец должен давать... Поняли?

Отчаянио дымя, из гавани Мурманска сорвались трн британских тральщика — пошли на спасенне крейсера. А иа мостиках советских эсминцев стучали шнрмы прожекторов. Сигиальщики писали союзникам: «Дотащим... дотянем... доверьте спасение крейсера нам!»

Но англичаие молчали. Оии упорно молчали.

. . . .

Командующий Севериым флотом вице-адмирал Арсений Григорьевич Головко, опытиый флотоводец, человек высокой культуры, большой знаток русской поэзии, перенживал сейчас трудные дни в своей жизни. Арсеиию Григорьевичу приходилось не только «вести войну» иа гигаитских просторах океана, ио еще и быть дипломатом в постоянных сиошеииях с союзииками...

После прорыва германской эскадры через Ла-Маиш обстаиовка на полярном театре заметно усложнилась, и в блнжайшее время можио было ожидать самого худшего. Еще тогда, в феврале, Головко ие раз спрашивал у британской миссии — как могло случиться, что линкоры противиика вырвались из Бреста, но в ответ офицеры Home Fleet'a, приходящие в Полярное на своих кораблях, стыдливо отводили глаза: им тоже была непонятиа оплошность Уайтколла...

Ночь была бессонной. Вот уже и четыре часа утра. Рассвет.

— Там, — сказал Головко, заслоняя ладонью глаза от яркого света иастольной лампы, — там наши эсмиицы, иавериое, уже добирают в котлы остатки топлива. Передайте через оперативииков, чтобы они возвращались. Пусть придут иа заправку к танкеру «Юкагир», и затем мы снова пошлем их в море...

Метеосводки — ой-ой-ой! В море корабли бьет на волне. Видимость — хуже не придумаешь. Но тянуть «Эдинбург» до базы иеобходимо, ибо *груз* — ответственнейший груз — покоится сейчас в отсеках этого крейсера. Начальник британской военно-морской миссии, коитр-адмирал Беван, тоже провел эту ночь на ногах. Войиа вытащила его с фермы, где он разводил кур, война сделала его морским атташе при Севериом флоте. Старый моряк и честный человек, Беваи тяжело переживал общие союзные неудачи.

Между двумя адмиралами, советским и британским, установились нормальиые деловые отношеиия. Сейчас, когда в море погибал «Эдиибург», им говорить не хотелось...

Головко очень деликатио лишь напомнил Бевану:

— Крейсер, если ие считать развороченной кормы, остался боеспособен. Он еще может постоять за себя!

Но доклад с моря был иеутешителен: 740 матросов покинули «Эдинбург», перейдя иа палубы кораблей охраиеиия. Беда пришла очень скоро: три гитлеровских эсмииа под комаидой опыт-

ного вояки Шульце-Хинрнкса, появясь внезапно, дерзко вышли в атаку. Англичане пыталнсь спастись за дымовой завесой, но сильный ветер тут же разорвал ее в клочки. Шульце-Хинрикс в упор расстрелял крейсер торпедами. Одии из немецких эсминцев («Шеимаи») поплатнлся прн этом гибелью. Немцы особыми сетками успели подхватить из воды его экипаж и скоро скрылись в тумане...

— Теперь конец, — сказал Беван, страдая.

Последняя страница трагедии была перевериута самими же англичанами: их эсмиицы дали торпедный залп, чтобы «Эдинбург» потерял остаткн плавучести, и крейсер быстро затонул.

— В утешение, — добавил Беван, — могу сообщить, что никто нз команды «Эдинбурга» не взял личиых вещей... Пятьдесят человек из комаиды крейсера пропалн безвестно в этой суматохе. Очевидно, вам ие следует объяснять, что в нашем моряцком деле «пропасть» — значит «погибиуть»...

Арсений Грнгорьевич устало вздохнул:

— Я вас поннмаю и сочувствую... Надеюсь, вы ие будете возражать, если я вериу с моря наши эсмнцы?

— Я не возражаю, — выпрямнлся Беваи. — Вашн морякн сделалн для нас много, и Англия останется благодарна им!

Дело прошлое, и честного Бевана жаль; скоро его заменят опытиым моряком Фншером, недавиим командиром линкора «Бархэм», ио контр-адмиралу Фншеру тоже прндется краснеть немало... Больше, чем Бевану!

. . . .

Что же грузили ночью под охраиой НКВД на борт погибшего «Эдинбурга»? Уже тогда, весной 1942 года, Советское правительство стало расплачиваться с союзииками за поставки по лендлнзу. В трюмах крейсера, уходившего с караваном QP-11, лежало десять тонн золота в слитках.

Всего на сумму в 100 000 000 рублей.

Теперь все это состояине покоилось вечиым сном иа груите. Недаром так настойчиво стучали тогда шнрмы прожекторов на мостнках наших великолепных «семерок»!

Телеграмма Сталина

Под мощным прикрытнем флота адмнрала Дж. Товея караван PQ-15, замаскированный полярным туманом, иемало пострадал на пути в Россию от ошибок самого эскорта. Сначала английский линкор «Кинг Георг V» лихо разрезал свой же эсминец «Пенджаб», а потом британские кораблн взялись за уиичтожение подводной лодки «Ястреб», плывшей под флагом непокоренной героической Польшн. Командир этой лодкн, Болеслав Романовский, жестоко израненный, дважды командовал «на всплытие», давая позывные союзникам. Но англичане с упрямством, достойным лучшего применения, продолжалн атаковать поляков бомбами и снарядами. На мостике лодкн — труп на трупе! — лежали убнтые польскне матросы... Суд в Лондоне выяснил, что

командиры английских кораблей, затоптавшие «Ястреба» в пучину, скверно ориентировались в обстановке и не знали собственных опознавательных сигналов. Но караван PQ-15 все же дошел до СССР, потеряв из 25 судов лишь три транспорта, торпедированных с воздуха.

А отправку следующего каравана PQ-16 англичане *явно затягивали...* 27 апреля Рузвельт раздраженно писал Черчиллю в том духе, что США не затем посылают помощь СССР, чтобы Англия заблокировала на своих базах в Исландии эти нужные для русских грузы. 2 мая пунктуальный Черчилль отвечал президенту! «Несмотря на глубокое уважение к Вам, выполнить Ваше предложение мы не в силах...»

Это призрак «Тирпитца» блуждал в океане...

Шестого мая Сталин обратился с посланием к Черчиллю.

«В настоящее время, — писал он, — скопилось в Исландии и на подходе из Америки в Исландию до 90 пароходов с важными военными грузами для СССР. Мне стало известно, что отправка этих пароходов задерживается на длительный срок...

Тем не менее я считаю возможным обратиться к Вам с просьбой сделать все возможное для обеспечения доставки этих грузов в СССР в течение мая месяца, когда это нам особенно нужно для фронта».

Теперь, когда немцы вновь повели сильное наступление на широком фронте, каждый самолет, каждый танк и каждая тонна алюминия были особенно нужны стране. Важные промышленные центры были оккупированы врагом, а большинство наших заводов, вывезенных в глубь России, еще не развернуло свою производственную мощность. Вся наша страна замерла в страшном напряжении... Ленинград — в блокаде, враг еще не ушел далеко от Москвы, а гитлеровская армия, грохоча гусеницами танков, двумя железными бивнями устремилась на Кавказ и на Волгу. В этих условиях лишить СССР помощи было бы преступно, и Черчилль был вынужден признать:

— Русские сейчас ведут очень тяжелые бои, и они ждут от нас, что мы пойдем на риск... Операция будет оправданной, — диктовал он прямо на телетайп, — если к месту назначения дойдет хотя бы половина судов!

Черчилль ускорил отправку очередного каравана, который вышел в океан под кодовым названием PQ-16... Тогда же в фиордах Исландии стал формироваться следующий караван с военными грузами — PQ-17.

Этому каравану уже не придется следовать обратно на родину под обнадеживающими литерами — QP: ему приготовлена иная судьба, которую мы никому не пожелаем.

«Ничего, проскочим!»

При отправлении конвоя PQ-16 Британское адмиралтейство откровенно признало возможность уничтожения каравана. Черчилль писал тогда Сталину, что погибнет, по всей вероятности,

половнна всего каравана. Однако 35 транспортов все-таки пошли в СССР, потери же составили лишь 8 кораблей...

Я этого ннкогда не вндел, но мне об этом рассказывали... Над океаном вдруг растет большой «гриб», верхушка которого почтн касается туч. Это значнт, что далеко за горнзонтом торпедирован транспорт, груженный взрывчаткой. Его разиесло буквально в атомы, но сила взрыва и гром его неслышио растворнлнсь под куполом иеба. Проходнт минута, вторая... вода вдруг на много мнль покрывается неприятной рябью, и слышится тихий шелест, будто ты попал в парк, где опадают осеиние листья. В этом шелесте невольно чудится шепот — ощущенне такое, будто погибшне за горнзонтом торопятся что-то договорить жнвым — свое последнее, очень важное. Так гибнут люди, везущие взрывчатку. И дьявол побери эту взрывчатку! — ведь даже взрыва не слыхать — только тихий шелест, только нежный шепот, только рябь на воде, тревожиая и пугающая...

К чему я все это здесь рассказал?

А к тому, что английское командование *доверило* везтн взрывчатку нашим советским морякам!

Вот теперь, чнтатель, все ясно...

В мае уже светло над океаном, и враг обрушнвал иа PQ-16 свои самолеты с бомбами и торпедами. Англичаие противопоставили эскадрнльям Герннга только *один* свой самолет, выбрасываемый в небо с катапульты транспорта. Брнтанскнй летчнк мог сделать лишь *один* боевой вылет. Мало того, этот отважный парень был прнговорен еще на взлете с катапульты, ибо вернуться ему было некуда. Катапультироваиный просто садился в океан, самолет тут же тонул, а пилот оставался на резиновом плоту, где весла, банка тушенки и компас были его едннственными друзьями. Надежда на то, что его заметят и подберут, практическн была очень слабой... Здесь мы сталкнваемся со своего рода камнкадзе — только на европейскпй лад!

Впрочем, этот британский летчнк с PQ-16 успел свалнть две немецкие машины, после чего погиб сам, уничтоженный по ошибке собственной артнллерней.

Прощай, парень, ты свое дело сделал!

PQ-16 прошел. Его провелн. Его протащнлн через смерть.

. . . .

Удивительная судьба выпала на долю скромиого теплохода «Старый большевнк», который в составе PQ-16 тянулся к родным берегам от самой Америки. Капнтаном корабля был Иван Иванович Афаиасьев, любившнй в критические моменты повторять:

— Ничего, ребята, проскочим...

Теплоход доставил в Нью-Йорк безобидиую апатнтовую руду, а в обратный рейс на роднну прннял 4130 тони груза — самого опасного: авнацнонный бензнн в бочках, динамнт, взрыватели для авнабомб, снаряды... По сути дела, корабль уподобился плавучему арсеналу со взрывчаткой.

Воду он еще мог принять — страшеи для иего был огонь!

Как назло, все мины, будто заговоренные, лезли именно под нос «Старого большевика» — тридцать штук их попалось по курсу, и только искусство капитана Афанасьева спасло теплоход от неизбежной, казалось бы, гибели. Потом появилась подлодка противника. И опять торпеда в гуще транспортов выбрала не кого-нибудь, а именно «Старого большевика».

— Боря! — кричал Афанасьев рулевому. — Лево руля... а теперь право клади!

Рулевой Аказенок увернул тяжелый корабль от торпеды. Первый помощник капитана Петровский посмотрел на небо.

— Вот, — сказал, — сейчас и навалятся.

— А ты не каркай, — пробурчал капитан.

Один торпедоносец они сбили прямым попаданием в бензобаки. Другой сбросил торпеду, но «Старый большевик» отшвырнул ее прочь за корму сильным буруном винтов. Я, как бывший рулевой, понимаю всю ювелирность этого рискованнейшего маневра. По сути дела, Борис Аказенок работал на штурвале архиточными движениями — так химики в лабораториях передвигают реторты с гремучей ртутью...

С палубы они проследили, как во мгле торопливо скрылся вражеский торпедоносец.

— Сбросил-то, паразит, одну торпеду, — догадался Петровский, — а под брюхом у него вторая болталась... Значит, сейчас вернется, чтобы продублировать атаку!

— Ничего, проскочим, — утешил капитан своего помощника.

Жить и плыть на тоннах взрывчатки, когда из воды бьют по тебе торпедами, а с неба, будто крупой, посыпают бомбами, — такая жизнь не по нутру была даже капитану Афанасьеву, человеку чрезвычайно выдержанному.

— Но жить-то надо, — рассуждал он. — Черта всем нам в рот немытого, но выспимся, когда всю эту баланду сгрузим...

Семь союзных транспортов немцы уже отправили на дно.

Команды поврежденных транспортов тут же переходили на суда эскорта. А затем британские миноносцы огнем орудий беспощадно уничтожали покинутые корабли.

Иногда случались даже анекдотичные ситуации: сверху транспорт бомбит немец, а с воды его расстреливает англичанин. Работали так, будто сговорились.

— А сколько добра гибнет, — переживал Петровский. — Ведь один такой транспорт дивизию может снабдить для боя...

Непонятно почему, но противник вдруг дружно навалился на наш теплоход. Может, их разведка пронюхала о том чудовищном грузе, который скрывался в трюмах «Старого большевика»? Вот когда началась работа! Зенитные автоматы, установленные на спардеке транспорта, обойму за обоймой выстреливали в небеса. Первые сутки в бою... вторые... вот уже и третьи!

Вахтенный журнал был наспех исписан заметками об атаках. *Сорок семь* атак с воздуха на один гражданский корабль,

с палубы которого стреляют штатские люди в ватниках и ушанках, а на ногах — валенки... Присутствие же в трюмах взрывчатки, конечно, не украшало их жизни!

— Зато смерть у нас будет легкая, — говорили матросы. — Как пшикнет разом, и мы все — сразу в дамках!

Люди команды отлично сознавали, что *никто* из них не спасется и все они, случись взрыв, превратятся в пар, который тут же легким облаком растает над бездонностью океана.

Каждый понимал, что прямое попадание бомбы — смерть. И это попадание — прямое!!! — случилось...

Крупная немецкая бомба взорвала бак транспорта. Вспышка пламени ослепила всех стоявших на мостике. И грянул взрыв — вот, кажется, и конец... Но храбрецам всегда отчаянно везет: взрывчатка не сдетонировала. Зато начался пожар, огонь уже облизал надстройки. Немецкие пикировщики, привлеченные дымом, усилили натиск своих атак. От страшного сотрясения корпуса на теплоходе сами собой остановились машины...

— Теперь крепко стой, ребята! — горланил из дыма Иван Иванович. — Здесь тебе мамок нету... давай, черти, работай!

Когда «Старший большевик», казалось, уже погибал — вот-вот взорвется на собственном грузе, к нему подскочил британский корвет и направил на него свои орудия.

— Читай, что пишут, — велел Афанасьев сигнальщику.

Корвет передал решение флагмана конвоя PQ-16: пока не поздно, покинуть судно, а команде перейти на корабли эскорта.

— Вот те на! — удивился капитан. — Отвечайте на флагман: «Спасибо, но мы не будем хоронить свое судно...»

На кораблях конвоя возникло некоторое замешательство. Тут было сейчас уже не до вежливой дипломатии, и корвет в азарте, рискуя собой, подошел к самому борту «Старого большевика».

— Мы не можем ждать вас! — прогорланили с мостика прямо в дым, прямо в треск огня. — Мы еще раз предлагаем... прыгайте все на нашу палубу. А судно мы расстреляем.

Англичане наблюдали непривычную для них картину: в то время, когда мужчины сражались с огнем, за пулеметами сидели русские женщины в ватниках, обвешанные пулеметными лентами, возле пушек на подаче снарядов тоже стояли женщины...

— Нет, — отвечал союзникам Иван Иванович. — Большое спасибо, но расстрелять меня и немцы могут. Не затем перли мы груз, язви его в корень, от самого Бостона, чтобы здесь потерять.

— А тогда, — объявили им с корвета, уходящего прочь, — дайте хоть радио своим, что вы от нашей помощи отказались.

— Дадим радио! Ваша совесть чиста... Доброго пути вам!

Водяные пушки корабельных гидрантов с гулким выхлопом били столбами воды по пламени. Презрение к смерти, которое проявил капитан, передалось и его команде. Дружно (даже раненые) все бросились на тушение пожара. Охваченный огнем корабль с грузом аммонала — что может быть страшнее? И корабли спешили пройти мимо. Скоро из видимости пропали послед-

ние суда каравана. Долго еще виделись в небе колбасы аэростатов, привязанных к мачтам конвоя. Потом и аэростаты исчезли с горизонта.

Караван PQ-16 ушел, а теплоход остался в океане один. *Один в огне!* На нем, конечно, поставили крест.

Такие не возвращаются.

Это не люди, это уже покойники...

Медленно, день за днем, миля за милей, тянется караван. Быстрым эсминцам и вертким корветам такой темп не по душе — они рвутся в стороны от тихоходов; пишут восьмерки и зигзаги, слушая воду «асдиками» — не крадется ли враг?.. PQ-16 приближался к советским водам, и смерть отлетала от кораблей. Команды эскорта и транспортов в напряжении следили за горизонтом. И вдруг — тревога! — замечено неизвестное судно.

— Оно нагоняет нас, сэр!

Черный от ожогов корабль, почти уже неживой, развивал предельные обороты. Казалось, мертвец восстал со дна океана. А кто он — почти не узнать в этом обгорелом скелете. Но он двигался. Он спешил. Он был жив. Он мигал прожектором... Ревом восторга огласились корабли конвоя PQ-16, когда в этом пришельце с того света узнали корабль, брошенный в океане.

— Вы подумайте, сэр: они не только сбили пламя, они умудрились запустить машину... Как они смогли отыскать нас?

Флагман конвоя PQ-16 поднял на мачтах сигнал:

ВОСХИЩЕН МУЖЕСТВОМ ВАШЕЙ КОМАНДЫ

И все корабли каравана расцветили свои мачты букетами флажных приветствий. «Старый большевик», весь в рубцах и ожогах, скромно просил по семафору, чтобы ему показали место в ордере. Весть о подвиге теплохода тут же по радио дошла до Лондона, и Британское адмиралтейство переслало морякам свое восхищение и теплую благодарность за небывалое в истории мужество.

Заняв свое место в походном ордере, «Старый большевик» приступил к тяжкой обязанности прощания с павшими. Они лежали сейчас на корме, одинаково завернутые в казенные простыни, в ногах каждого — груз, ускорявший падение в бездну, и погибших женщин было не отличить от мертвых мужчин...

Был тих, неподвижен в тот миг океан,
Как зеркало, воды блестели.
Явилось начальство, пришел капитан —
И вечную память пропели.
Напрасно старушка ждет сына домой.
Ей скажут — она зарыдает.
А волны бегут...

В мужской хор вплетались женские голоса: подруги хоронили своих подруг, падавших сейчас в океан. А песня была старая, как и русский флот. Песня — еще в «мужском» варианте. О женщинах, павших в бою посреди океана, такой песни в нашей стране пока не сложено...

. . . .

Известие о трудном положении, в какое попал (и еще попадет) конвой PQ-16, дошло до Москвы, и Ставка Верховного Главнокомандования приказала Северному флоту усилить воздушный барраж над кораблями конвоя. Наши эсминцы вышли для встречи союзников, когда в караване из 35 транспортов осталось лишь 27, и английские историки не забыли отметить, что «с подходом трех советских эсминцев дышать стало *легче*»! За последние дни противник бросил против них 208 своих самолетов. В небе от разрывов стоял трескучий ад. После отражения каждой атаки командир британского эскорта передавал на наши эсминцы: «Благодарю за прекрасный огонь!»

Обстановка в океане действительно нелегкая. Много кораблей горело, выстилая по небу исполинские шлейфы дыма. Немецкие же самолеты, сбросив торпеды, поворачивали на заправку, и через полчаса их опять видели висящими над мачтами. Блестяще проявил себя миноносец «Гарланд» под флагом героической Польши (командир Генрик Эйбель). Экипаж был уже наполовину выбит, корабль горел, но из пламени израненные поляки продолжали отражать все атаки с воздуха...

День 30 мая 1942 года, когда PQ-16 уже был на подходах к Кольскому заливу, — этот день выпал хмурым, низкооблачным, почти нелетным... Полковник британской авиации Ишервуд, френч которого был украшен орденом Ленина, завтракал в столовой авиаполка, стоявшего на аэродроме Ваенги. Провожая в полет Бориса Сафонова, Ишервуд честно признался:

— Американские «китти-хауки» имеют в подшипниках немало серебра. Но это вряд ли делает их моторы лучше...

Полк должен совершить вылет, чтобы разогнать самолеты врага над караваном. 45 «юнкерсов» и «мессершмитты» (число которых не установлено) бомбили корабли PQ-16. А эти вот «китти-хауки» и «хауккер-харрикейны» барахлят некстати, и в небо можно выпустить только считанные машины...

Малиновая ракета взлетела над аэродромом, призывая к подвигу!

Командир авиаполка Борис Сафонов, Герой Советского Союза, сел в кабину. Всему дальнейшему, что произошло в этот тяжелый день, немало очевидцев, но зато осталось чрезвычайно мало подробностей. Известно, что в это роковое утро Дмитрий Селезнев, ас полярного неба, тоже уходил в море. Но шатун оборвался в моторе, и летчик врезался в гранит сопок... Сейчас против 45 «юнкерсов» (и неизвестно, сколько там «мессершмиттов») уходили в бой всего четыре наши машины.

Вот имена людей, державших штурвалы в руках:

Борис Сафонов (подполковник),

Александр Кухаренко (майор),

Павел Орлов (капитан),

Владимир Покровский (старший лейтенант).

Под крыльями самолетов, утяжеляя их, висели дополнительные бензобаки на 500 литров, чтобы летчикам после боя хватило

горючего добраться до Ваеиги. Шли почти над волнами, без ориеитиров — по компасам. Слепая мгла висела над океаном. Когда до конвоя осталось совсем иемиого, стал давать перебои мотор Кухаренко... Борис Сафоиов передал ему кратко:

— Алеша, ты возвращайся. А мы потянем дальше...

Теперь их осталось только трое, и скоро с высоты в две тысячи метров перед нимн открылась обшириая паиорама каравана. В небе стоял плотный аградительный огонь англичаи и иаших зенинток с эсминцев — «семерок» н «новиков».

— Ребята, будем внимательны, — напомнил Сафонов.

На глазах всего каравана они дали бой противнику, когда тот выходил из пикировання. Сразу же образовался рискованиый строй растянутого пеленга в таком невыгодиом для иас порядке:

«Ю-88», еще «Ю-88», затем летел Сафоиов;
«Ю-88», за инм самолет Покровского;
«Ю-88», машииа Орлова, следом еще два «Ю-88»...

Вся эта кавалькада машин, треща пулеметамн, стремительио отлетала прочь от коивоя. Перед тройкой смельчаков стояла в небе хваленая 30-я эскадрнлья пикирующих бомбардировщиков, летчики которой были опытны и мужественны, подготовлеиы для схваток над безбрежием океана. На фюзеляжах немецкнх машии были иамалеваны огромные рыжие псы, в зубах у которых — маленькне истребнтели «И-16» (именно на таком «И-16» и творил в небе чудеса Борис Сафоиов!)...

Скоро вдали от места боя, иа комаидном пуикте в бухте Ваеига, по радио были приняты слова Сафоиова:

— Одиого свалил...

Через иесколько мииут Сафоиов выкрикнул в азарте боя:

— Еще двух срубил! Бью третьего...

Покровскнй с Орловым успелн сваднть по одной машиие.

Пока все складывалось отлично. Перед Сафоновым выросла обтекаемая серебристая тень еще одного врага.

— Прикрой с хвоста! — уловили его голос в эфнре. — Бью третьего... — Пауза, н вот результат: — Готов и третий!

Третий, раскидывая крылья, сорвался вниз.

— Прикрой с хвоста! — настойчиво проснл Сафоиов.

Это был момент, когда его стал расстреливать воздушиый стрелок германского нстребнтеля. Покровскнй и Орлов были связаны тяжелым боем с другими машииами врага, и они бились в стороне, пока враг не был ими уинчтожен... В отвесном пике, уходя вниз, Сафоиов прощался с жизнью, которую так любил!

Дежурные в Ваеиге уловили его последние слова:

— Мотор!.. Мотор!.. — выкрикивал он в эфир.

Слово «мотор» было условным сигналом: значнт, он выиужден садиться. Не саднться, а падать! Не летиое поле под ним, а *волны*! Сафонов в своем падении устремился к эсмннцу «Куйбышев» (очевидно, в массе кораблей ястребиным оком он узнал его). И теперь тянул, тянул, тянул... Из последиих сил он тяиул машину, чтобы упасть как можно ближе к «Куйбышеву».

К месту боя уже спешили наши истребители дальнего действия, и наушники пилотов уловили Сафонова.

— Где ты?! Где ты?! — кричали они, спрашивая у неба. — Как ты чувствуешь себя?

Всего 25 кабельтовых не дотянул Сафонов до эсминца и рухнул в океан, высоко взметнув каскад пены. Моряки с «Куйбышева» передавали, что на месте падения они видели быстро тонущий пакет парашюта, который был уже отстегнут...

Три смельчака сорвали атаку на конвой PQ-16: самолеты Геринга ушли на свои аэродромы, не потопив ни одного корабля. А в гибель Сафонова, которого все любили на флоте, никто не верил. Эсминец «Куйбышев», исполняя приказ адмирала Головко, целых два часа ходил на контркурсах — искал его. Потом возник слух, будто Сафонова подобрали англичане. Подходящие с моря корабли PQ-16 встречали летчики — спрашивали.

— Ноу Сафон... ноу, — отвечали им англичане.

И долго ждали подводную лодку, которая (уж это точно!) вырвала Сафонова из волн и тут же погрузилась на глубину. Не оказалось его и на лодках. И долго ждали все... чуда!

Памятники

Караван PQ-16 вызвал к жизни два Указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза — из команды теплохода «Старый большевик»:

капитану — И. И. Афанасьеву,
первому помощнику — К. М. Петровскому,
рулевому — Б. И. Аказенку.

Сам же теплоход был награжден орденом Ленина.

Второй Звездой Героя Советского Союза посмертно награжден подполковник морской авиации Борис Феоктистович Сафонов (впрочем, указ о присвоении ему второй Золотой Звезды был подписан еще за четыре дня до его гибели!).

После войны много памятников украсило полярные скалы. На скупом и жестком пейзаже они выделяются особенно четко и выразительно.

. . . .

Теперь мы, открывающие битву за Сталинград, с нетерпением ожидаем прихода PQ-17 — этот караван нужен нам особенно сейчас, в грозное лето 1942 года, когда железная машина врага на полных оборотах моторов несется, вся в пыли, к Волге...

Мы закончили первую часть подвигом наших асов в небе.

Вторую мы посвящаем асам другой стихии — глубины!

Мурман, в нагромождении бурых скал, засыпанных снегом, в хаосе бурь и штормов, — это ведь старинная русская земля с богатейшей историей... Сейчас она — плацдарм!

Кто сказал, что здесь задворки мира?
Это край, где любят до конца,
Как в произведениях Шекспира,
Нежные и сильные сердца...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ИДУ НА ФЛАГМАНА

В мирное время на подводных лодках действовало много различных сигналов, в которых даже старослужащие подчас не могли разобраться. Война из всех сигналов оставила лишь один — «срочное погружение!»...

Мы все время внизу. Мы за все плавание никогда не увидим ни моря, ни солнца, ни звезд. Мы знаем только свой отсек с его низким сводчатым потолком, холодным светом электрических ламп и неизбежной духотой.

И нам всегда холодно...

Мичман-североморец Л. Власов. «В отсеках тишина»

Великодушие

Ну, кажется, все. Еще несколько миль, и подлодка войдет в сектор действия своих батарей. Тогда можно всплыть, дышать ветром на мостике. Сейчас в центральном посту, под вырезом люка, соберутся курящие и впервые за много дней будут до одурения сосать самую сласть самокруток. Трудная позиция в водах Варангер-фьорда выдержана. Два транспорта и тральщик противника они отправили на грунт...

Вот наконец долгожданные слова:

— Продуть балласт... на всплытие!

Стрелка указателя глубины потянулась к нулю. Всплыли. Командир лодки отдраил рубочный люк. За ним на мостик выскочил сигнальщик, прижимая к груди фонарь «ратьер». Почти сразу же оба свалились обратно в пост.

— Бери балласт... ныряй! Боцман, циркуляция влево...

Ахнул первый разрыв, и лодку качнуло на киле.

— Неужели свои так встречают? — удивился штурман.

Командир отряхнул реглан от воды, объяснил:

— Всплыли... а там сторожевик наш дымит. Вчерашний рыбник! Ему, видать, только что пушку поставили. Вот он и обрадовался: без привета кидать стал. Даже позывные не дали, не успели!

Акустик, услышав взрывы, по собственной инициативе привел в действие свою аппаратуру. Лицо его стало озабоченным:

— Наверху идут на нас... стараются!

— Рыбы им мало, — буркнул боцман. — Нас глушить будет...

В посту появился флагманский врач Подплава, совершивший этот поход, чтобы испытать новейшие приемы регенерации воздуха. Тихий и робкий человек, пришедший на флот с научной кафедры, он спросил очень вежливо (даже неподобающе вежливо для такой обстановки):

— Простите, а что тут в данный момент происходит?

— Шарахнут вот нас сейчас, — неласково ответил боцман.

— Не понимаю, по какому поводу... Мы же дома!

— Родные всегда больней лупят.

Акустик доложил морщась:

— Первая серия... пошла!

Режущий шум винтов корабля пронесся над подлодкой, и со звоном лопнули бомбы. Лодку сильно встряхнуло, с переборок полетела пробка, раскрошенная в труху. Где-то с визгом разлетелись плафоны, стоял глухой стук — это бились электролампы.

— Разворачивается для второго, — доложил акустик.

— Ну разве не паразит, а? — спросил боцман. — Видать, ему эта работа понравилась. Конечно, кидай себе — это не рыбу ловить!

Бомбы легли рядом. В соседнем отсеке что-то загрохотало.

— А товарищ попался серьезный, — сказал командир, мрачнея. — Эй, в носовом... что у вас там лопнуло?

— Ничего не лопнуло, — ответили из носа торпедисты. — Это бочка из-под сушеной картошки развалилась...

Корабль наверху разворачивался для следующей атаки.

— Вы бы ему посигналили, — подсказал наивный врач. — Мол, мы свои, идем домой, бомбить нас не надо...

— Чем же я ему посигналю? — наорал на него командир. — Или мне палец ему из-под воды выставить?

— Витя, — с укоризной сказал врачу штурман, — то, что ты советуешь нам сейчас, это называется бесплодной утопией.

— А утопия — от слова «утопили», — разъяснил всем боцман.

— Пошла серия за борт, — доложил акустик. — Бросает!

Падающие бомбы издавали на глубине гул и бульканье.

— Знать бы — какую он ставит глубину? — сказал штурман.

Но тут же людей стало бить, бросая одного на другого, отсек был наполнен туманом и мелкой пробкой.

— Правильно ставит, собака! — ответил командир. — Уж больно дельно кидает... Ну, как ты, Витя? Потрясываешься?

— Да, видите ли, — ответил флаг-врач, — все дело заключается в том, что трясись или не трясись, а бежать тут некуда!

— И будут, — добавил боцман, — за здорово себе живешь, молодые и красивые покойнички украшенные орденами и медалями...

— Опять разворачивается, — доложил акустик.

— Будем уходить, — решил командир. — Ничего тут иного и не придумаешь. Он, видать, не отстанет... Вытянемся в море, подзарядим там батареи и уже во всплывшем положении пойдем на базу, чтобы товарищ этот — наверху! — за чужих нас не принимал.

Так и сделали. Когда со стороны моря показалась подлодка, идущая на дизелях, сторожевик принял с нее опознавательные и точно по уставу дал на нее свои.

— Спроси его, бомбил ли он недавно лодку?

Сигнальщик отмахал вопрос на сторожевик флажками.

— Читай, что он пишет нам в утешение.

— Сознается, — сказал сигнальщик. — Пишет, что бомбил...

— Отвечай ему так: «Сукин сын, ты бомбил нас», — и потом, когда очухаются, ты им добавь следующее: «Желательно встретиться на берегу для обмена боевым опытом».

Глаз прожектора сторожевика стыдливо промолчал. Сигнальщик понял это молчание на свой лад:

— Разве они ответят, товарищ командир? Ведь понимают, что за такие дела на второй год войны, да еще при обмене опытом, обязательно морду им бить станут...

. . . .

Подлодка завернула в гавань Полярного, приткнулась к родному пирсу. Береговые службы потянули на ее борт шланги с паром, водой, телефоном и электропитанием. Их встретил комдив. Возле пирса остановилась «эмка», из нее вышел командующий флотом Головко, молодо сбежал по сходне на лодку. Он и в самом деле был еще очень молод, этот командир самого молодого флота страны, и только седина на висках выдавала его переживания за судьбы тех кораблей и людей, которых он столь часто провожал в океан...

Выслушав доклад подводника, Арсений Григорьевич спросил:

— А чего не пришел в назначенный срок? Мы ждали...

Командир поведал вице-адмиралу, как его бомбила на плесе своя же брандвахта, пришлось оттянуться в море, подзарядиться там, снова возвращаться... «Волокитная история!»

— Это плохо, — сказал Головко. — Командир сторожевика понесет строгое наказание. Заставим его изучить силуэты наших подлодок и нести службу наблюдения в море как надо, по уставу!

Подводник вдруг представил себе, чтó, должно быть, испытывает сейчас незнакомый ему человек с мостика сторожевика, и он решительно вскинул руку к козырьку мятой фуражки:

— Товарищ вице-адмирал, позвольте два слова?

— Хоть сто... Я вас слушаю.

— Простите, что вмешиваюсь. Сторожевик (это же видно) недавно рыбу ловил... Где им сразу все тонкости изучить? Служба связи и наблюдения у них никудышная, это верно. Но если быть

честным, то командир сторожевика достоин большой благодарности.

— За что? За то, что вас бомбил на подходе к базе?

— Именно так, товарищ вице-адмирал... Уж сколько нас немцы бомбили, а такого не выпадало. Дельно он бомбы клал! Просто душа радуется, что наши корабли умеют бомбить врага отлично.

— Разберемся, — кивнул комдив. — А ты слишком уж добрый, Саня, — сказал он ему потом. — Лежал бы сейчас с водичкой в камбузе на плесе Кильдинском и... рот нараспашку!

Сторожевик вернулся с моря, и его известил командир подлодки. По внешнему виду пожилой команды, по тому, как неумело отдал у трапа честь подводнику вахтенный, командир лишний раз убедился, что эти ребята совсем недавно плавали под скромным флагом с двумя селедками на полотнище.

При появлении офицера, грудь которого была украшена Звездой Героя Советского Союза, командир сторожевика привстал со стула-вертушки. Это был человек преклонных лет, его натруженные руки слегка вздрагивали. Сейчас он имел звание лейтенанта. Над карманом его кителя неярко поблескивал орден Красного Знамени. Только не боевой славы — трудовой...

— Позволю себе заметить, — начал подводник, — что своих на войне бомбить не рекомендуется... Дайте-ка листок бумажки!

На листке, вырванном из тетрадки в клеточку, подводник сделал карандашом несколько стремительных росчерков.

— И вот цель! — сказал он, ловко обозначив свою лодку. — Первый заход вы пошли так. Одобряю. На развороте потеряли, однако, немало времени. Не одобряю. Вот если бы на контрольном бомбометании вы сбросили серию не в этой точке, а здесь...

— И... что? — спросил рыбак.

— Как что? — удивился подводник, смеясь. — Мы бы с вами уже не разговаривали сейчас... Вы поймите одно: вам повезло, как никому другому. Никто из наших людей, отбомбив противника, не имеет возможности встретиться с врагом, чтобы узнать, у него — *как* его бомбили? А вам повезло: перед вами сидит человек, который ускользнул от вашей атаки. Учтите же мои замечания!

Прослушав целую лекцию, старый моряк поднялся из-за стола, а в углах глаз, выцветших от соли и ветров, мерцали глубоко спрятанные слезы.

— Сынок, — неожиданно сказал он. — Прости уж нас. Видит бог, мы не хотели... Это так, святая истина! А за науку спасибо... мы учтем на будущее!

. . . .

Северные подводники были щитом флота и всего Мурмана. Причем этот щит был постоянно выдвинут на самые крайние рубежи. Враг не был в безопасности даже тогда, когда прятался от подводников в глубине фиордов за охраной цепей, сетей, мин, проволоки и строгой брандвахты... Они все равно прорывались!

Как люди они были по-человечески великодушны и щедры.

Опасная работа, гибель многих товарищей, звания Героев — это не сделало их жестокими и зазнавшимися. Они были люди в полном смысле этого слова. Умея ненавидеть, они очень много и очень многое любили в этом прекрасном мире... А далеко в океане на их подлодках тихо открывались крышки аппаратов, и через эти жерла, глядящие в сумрачные глубины, вылетала ненависть к врагу — длинными телами боевых торпед...

Сейчас они встанут на позиции — как *щит*, ограждающий PQ-17 от высшей точки Европы, от самого Нордкапа.

Большой риск

В апреле 1942 года фюрер сказал в рейхстаге: «Бои на Востоке будут продолжаться и далее. Мы будем бить большевистский колосс до тех пор, пока он не развалится!» Но, развивая успех на Востоке, Германия заодно уж нанесла Штатам несколько болезненных ударов, чтобы пошатнуть моральное равновесие американцев («...чтобы эти олухи, — говорил Геринг, — умеющие штамповать только автомобили и холодильники, поняли, с кем они имеют дело»).

Недавняя катастрофа Пирл-Харбора настолько ошеломила американский народ, что на фоне гибели целой эскадры явно померкло другое бедствие, испытанное Америкой у своих берегов в начале 1942 года. За очень короткий срок немецкие подводники — безнаказанно! — отправили на грунт сразу 150 кораблей. Действуя почти в полигонных условиях, мало чем рискуя, «волки» Деница выбирали по своим зубам любую жертву. Но бóльшую часть торпед они выстреливали в танкеры. Это создало панику среди команд, возивших сырую нефть из Венесуэлы, и матросы в ужасе покидали свои «лоханки». Засев в барах гаванн Кюрасао, они попивали крепкий тринидадский ром и лениво посматривали на танкеры, застрявшие возле причалов.

— Сгореть живьем всего за двести паршивых долларов, кому это понравится? — рассуждали они. — Ведь скажи кому-нибудь, что у нас при взрыве даже стекла становятся мягкими, словно пшеничное тесто, — так ведь никто не поверит...

Подлодки Деница обстреляли с моря нефтеперегонные заводы, и вскоре США (богатейшая страна!) ввела нормирование на бензин, на кофе, на сахар. Для борьбы с немцами был создан флот охраны из добровольцев, ищущих острых ощущений, который получил название «Хулиганский патруль» [1]. Моряки быстро подымались в цене, моряцких рук не хватало. Команды торговых кораблей зарабатывали большие деньги на риске...

. . . .

В одной из улочек Бостона, недалеко от порта, весело торговал шумный моряцкий бар, и здесь сидели два приятеля.

[1] В составе этого «патруля» был и Эрнест Хемингуэй, который от берегов Кубы уходил в море на своем личном катере, чтобы вести борьбу с германскими субмаринами. Об этой рискованной работе он до конца своих дней вспоминал с удовольствием.

— Большой риск, и оттого большие деньги, — призадумался Сварт. — Но *туда* берут ребят, которые умеют палить из «эрликонов»... Скажи честно: ты не боишься этого рейса?

Брэнгвин оглядел сутолоку бара и, сжав жесткие кулаки, прищурился, словно в авиаприцел «эрликона»:

— А знаешь, это даже нетрудно... По Адольфу и его сволочи я согласен стрелять с утра до ночи... Да и русских надо ведь понять тоже: им сейчас тяжело, и почему бы не помочь им?

Пропеллеры ревели под потолком бара, наращивая шквалы душного, горячего ветра. Сварт задумчиво посолил холодное пиво, спросил с недоверием:

— А стоит ли помогать русским? Гитлер уже заканчивает возню с ними... Разве ты не слышал, где сейчас немцы?

— Они прутся па Сталинград.

— А где этот Сталинград?

Брэнгвин честно признался:

— Не знаю. Кажется, на Волге. Говорят, она такая же длинная, как наша Миссисипи, и русские ее очень любят...

Матросы вышли на улицу. Сварт хмуро молчал.

— Я тебя подвезу, — предложил он, садясь за руль своего старенького «понтиака»; они доехали до порта, но из машины Сварт не вылез. — Доллары хороши, — сказал он. — Но для рейса в Россию пусть они поищут дураков в Техасе... Ясно?

Брэнгвин перекинул через плечо куртку, ответил так:

— Дело даже не в долларах! Подумай, что русским сейчас нелегко, и тебе станет стыдно...

— А почему мне должно быть стыдно за этих русских? Немцы лупят не меня! Пусть они придут сюда, тогда я им покажу...

— Тогда будет уже поздно что-либо показывать!

— Гитлер сюда не придет... — Сварт малость поколебался. — Послушай, — сказал он, — до Скапа-Флоу я бы еще сходил, у англичан конвойная служба налажена... Но дальше — не дури!

— Море одинаково, — сплюнул Брэнгвин. — Если дотянешь до Скапа-Флоу, так уже недалеко и до Мурманска.

— Э-э, нет, бродяга! Ты ведь там еще не плавал. А я бывал возле Шпицбергена. Самый лучший пловец в тихую погоду держится на воде минут пятнадцать. Учти, этот срок выдерживают только рекордсмены! А потом... — Сварт замолк.

— Ну а что потом? — засмеялся Брэнгвин.

— Потом любого Геркулеса закручивает от холода в поросячье ухо. Русским ты уже не поможешь: для них война проиграна.

— А деньги за страх? — вставил Брэнгвин.

— Страх там будет, а утопленникам деньги не нужны...

Сварт отъехал прочь от приятеля так медленно, словно участвовал в траурной церемонии. Брэнгвин затоптал сигарету и пошел в контору. В рейс его взяли. Аванс — какой ему и не снился в других рейсах! Моложавый клерк мрачно посоветовал:

— Напейся теперь как следует, чтобы ничего не помнить,

пока не очухаешься в море. Надо быть совсем иенормальным, чтобы решиться на такой гиблый рейс в Россию...

Наконец-то Брэнгвни вышел нз себя:

— Послушай... ты, вполне нормальныий! — сказал он клерку. — Ты — нормальный, н дальше копти здесь окна. А я вот ненормальный н потому хочу помочь России... Русские здорово дерутся!

— Другие были честней тебя, — ответил ему клерк.

— Это почему же?

— Онн честно говорили, что ндут иа риск лишь ради денег...

Покидая контору, Брэнгвин заметил, что в баре успел посадить пятио на свой новый костюм. Темное пнво трудио выводить. Оно оставляет ужасные пятна. Брэигвнн даже огорчился...

. . . .

Транспорт-сухогруз, иа который ои попал, — тнпнчный военный «десятнтысячннк», отчего многие такие корабли ломало на волнах. Оии строилнсь специально для поставок по ленд-лизу по прииципу: быстрее, проще, экоиомичнее. Совершив один рейс, траиспорта моглн уже больше не возвращаться к тем берегам, которые далн им жнзиь: одним рейсом они окупали все расходы иа свое стронтельство. Команду же собрали — как тысячу чертей! Бездомиый сброд депортнруемых, шантрапа ночлежек Сан-Пауло н Фрнско. Пятьсот долларов с процентамн за страх, который предстоит испытать, определяли всю «ндейность» этнх наемииков, не расстававшихся с ножами и кастетамн даже во сне. Офицеры носнли при себе длинноствольные страшные кольты. «А иначе с этой сволочью не справиться», — говорили оии. Не секрет, что союзное командование, не в силах обуздать свои экнпажн, иеоднократио обращалось за помощью в советские уголовные органы Архаигельска и Мурманска...

Здесь же, на корабле, Брэнгвин встретил прнятеля и наставника — боцмана-суперкарго по прозванию Хрнплый Днк.

— Дядя Дик, — сказал он ему, — нет ли у тебя в хозяйстве пятновыводителя? Смотрн, какое пятио посадил на штаны.

— Чем это ты так? — пригляделся старик через очкн.

— Как будто пивом.

— Щенок! Или не знаешь, что, когда иастоящие моряки пьют пнво, они снимают перед этнм штаны и аккуратно вешают их на спинку стула? Будь я проклят, но пятно это не вывести...

Ночью они уже были в море. Заступив на ходовую вахту к рулю, Брэнгвни откорректнровал курс н сказал штурману:

— А зиаете, сэр, я разбил иа корабле три огнетушителя, пока четвертый не брызнул пеной мне иа штаны.

— Зачем вам это было нужно, Брэнгвни?

— Здорово эта жидкость выводит пятиа, сэр. Только секрет был известен до меия. Три пеногона трахнул об палубу, и только четвертый сработал, черт его поберн...

— Следите за курсом, — ответил штурман. Это иовые военные пеногоны. Тетрахлорметаиовые... Вы не сбилнсь с курса?

— Нет, сэр. Держу судно на восемьдесят пять, как и приказано вами... Кстати, а куда мы сейчас направляемся?

— Караван для России формируется в исландском Хвальфьорде. В конторе мне говорили, что туда уже нагнали полицин, чтобы на всех кораблях навести приличный порядок...

Брэнгвин долго смотрел в ходовое окно перед собой. Океан был величав и прекрасен, и даже не хотелось верить, что где-то лежит зачумленная фашизмом Европа и там сейчас идет жестокая битва...

— Простите за вопрос, — заметил Брэнгвин смущенно, — но, очевидно, мы не раз повибрируем от страха?

— Да как сказать, — флегматично отвечал штурман. — Один проскочит — ничего, а кто и торпеду слопает. Но я так думаю, что улицу в Нью-Йорке по нашим временам переходить гораздо опаснее, нежели Атлантику... Вчера на моих глазах раздавило еще не старую даму с собакой, великолепным догом! Смерть в море, на мой взгляд, куда гигиеничнее и почетней, нежели тебя накрутит на грязное колесо частной машины... На румбе?! — вдруг выкрикнул он неожиданно.

Брэнгвин поспешно перекладывал штурвал на борт:

— Виноват, сэр! Сейчас у меня — девяносто три градуса...

— Вот вы и ошиблись, Брэнгвин, — позлорадствовал штурман. — Стоя на руле, нельзя вспоминать о девке.

— Простите, сэр, но я задумался сейчас о Европе.

— Нам ли, американцам, думать о тухлой Европе!

— Однако, сэр, наши войска уже в Лондоне, они в Исландии, наши самолеты кладут свои яйца на ледниках Гренландии.

— Ну, Брэнгвин, это мы погорячились... немножко погорячились. Что ни говори, а доктрина Монро остается в силе!

. . . .

Поздно ночью, сменившись с вахты, Брэнгвин в глубинах трюма слушал программу берлинского радиовещания. На кораблях США это строго каралось, но отребье из команды все же соорудило для себя самодельный приемник. Из далекого Берлина сейчас краснобайничал язвительный «лорд Хау-Хау» [1], который обращался непосредственно к ним.

— Надо совсем не иметь мозгов, чтобы рискнуть сунуться в Баренцево море. Подумайте сами, что вас ждет у берегов России... Когда вы будете барахтаться в воде океана, похожей на ледяную ртуть, никто не придет к вам на помощь. PQ-17 обречен! Мне вас жалко, ребята, — вкрадчиво нашептывали из Берлина, — всех вас, обманутых еврейскими плутократами с Уолл-стрита!

«Лорд Хау-Хау» замолк, и в трюме корабля, вязко его заполняя, вдруг запели торжественные фанфары. Один филиппинец с манерами гомосексуалиста подмигнул Брэнгвину:

[1] Лорд Хау-Хау (Вильям Джойс) — предатель английского народа, всю войну подвизавшийся на кухне Геббельса, будучи радиокомментатором политических событий. После войны по приговору суда повешен как военный преступник.

— А ведь этот немецкий лорд не дурак... Не лучше ли нам плюнуть на это дело? Мы же не коммунисты, чтобы самим соваться в петлю. Аванс получен и пропит — чего еще надо матросу?

Брэнгвин правой ногой, как заправский форвард, врезал по радиоприемнику хорошее пенальти. С треском разлетелись вороваиные лампы и конденсаторы. Берлинские фанфары жалко пискнули на прощание. Транспорт тяжело раскачивало на пологой встречной волне. Брэнгвин шагнул к трапу и, боясь получить нож под лопатку, полез наверх. Ему сейчас не хватало Сварта, чтобы отвести душу в разговорах за выпивкой.

...Немцы уже начали «обработку» каравана PQ-17 — пока психологическую. В это время фашистский листок «Милитерзиссеншафтлихе руидшау» писал откровенио, что «к разрушению костей, мускулов, артерий и вен прибавляется изматывание нервов». Советский флот в отличие от союзных флотов этой «войны нервов» не знал — пропаганда Геббельса не доходила до нас!

Обстановка

В полумраке громадного салона «Тирпитца» адмирал Шниивинд обдумывал то, что должно решить судьбу каравана, который тронется к берегам СССР между июнем и июлем... Размышления уложились в 15 страниц машинописного текста, который он и вручил гросс-адмиралу Редеру при свидании с ним в Тронхейме.

— Здесь все, что надо, — сказал Шнивинд, довольный собой. — Я учел даже подвижку паковых льдов к северу... Из Альтен-фьорда «Тирпитц» может на форсаже машин достичь каравана, мгновенно оставить от него то, что остается после съеденного яйца, и так же быстро, как крыса, юркнуть обратно в щель.. Донесите до фюрера нашу уверенность в успехе, и пусть он перестанет бояться мифических авианосцев противника.

— Сколько вам нужно топлива? — конкретно спросил Редер.

Шнивинд был готов к такому вопросу — весьма насущному для нефтяной экономики Германии.

— Каждая страница моего доклада обойдется фатерлянду в тысячу тонн, а их всего пятнадцать. Но, истратив это горючее, Германия сможет *изменить весь ход войны на Востоке...*

Это было веско сказано! В штабе флота на записке Шнивинда оттиснули красный штамп: «Ознакомить лишь минимум лиц». В этот ограниченный минимум попал, конечно, и сам Гитлер, который согласился на проведение такой операции при одном условии: выход «Тирпитца» в полярный океан возможен только с «личного одобрения фюрера».

— В этом году я заканчиваю битву против большевизма, и мне нужна уверенность, что флот проведет полезные акции,

которые изолируют русских от связей с их союзниками, — рассуждал Гитлер. — Вопрос об этом не может рассматриваться отныне в сомнительных плоскостях: или — или. Мне нужен решительный успех флота, чтобы ни один караван больше не проскочил к Мурманску!..

Кстати, гитлеровцы еще не сбросили ни одной бомбы на мурманские причалы и судоверфи. Этим они приводили в исполнение приказ фюрера: сохранить базу для использования ее германским флотом. Но Мурманск оказался неприступен для них — горные егеря и тирольские стрелки армии Дитла не прошли 80 километров и застряли в обороне на сопках. И вот теперь... теперь...

— Теперь Мурманск следует уничтожить! — распорядился Гитлер. — Под носом нашей группировки «Норд» работает мощный завод по ремонту кораблей, а портовая система русских идеально обеспечивает скорую обработку грузов... Операцию эту надо провести безоговорочно, невзирая ни на какие потери в авиации!

Шниввинд размышлял так: период штормов в полярном океане кончается в июне, паковый лед еще не успеет отодвинуться далеко к норду, а туманы начнутся позже. Следовательно, караван PQ-17 будет вынужден идти ближе к югу, — это значит, что немецким самолетам вполне хватит горючего, чтобы долететь до него, сбросить на корабли торпеды и вернуться на свои аэродромы...

В эти дни Редер сделал официальное заявление:

— Вопрос о снабжении северных портов России остается решающим для всего хода войны, которую ведут англосаксонские страны. Они, эти страны, вынуждены поддерживать мощь России, которая своим упорством удерживает занятыми на Востоке все главные германские военные силы...

Вскоре караван PQ-17 и судьба его поступили на обработку во флотскую группу «Норд», а вся операция по уничтожению этого конвоя получила у немцев кодовое название *«Ход конем»*.

Позаимствовав название из шахматной игры, гросс-адмирал начал перебазирование своих сил — подводных и надводных. *За весь период второй мировой войны немецкий флот еще не выставлял такой могучей эскадры, какую выставил сейчас против каравана PQ-17!*

— Мы включаем в «Ход конем», — планировал Редер, — целых пять активных группировок тактического значения. Первая из Нарвика пройдет для уничтожения транспортов каравана, основную силу ее составят тяжелые крейсера «Адмирал Шеер» и «Лютцов» с пятью миноносцами для побегушек. Вторая — из Тронхейма с «Тирпитцем» во главе, с ним же «Хиппер» и пять миноносцев — для борьбы с эскортом. Третья — подводные лодки, которые мы развернем с 10 июня к нордосту от Исландии. Четвертая — опять из подводных лодок, она будет размещена для нанесения ловких ударов между островами Ян-Майен и Медвежий. Пятая, заключительная группи-

ровка — разведка, наведение на цель и атака по обстоятельствам.

Штаб в Киле обработал все данные для перехвата, для разворота боевых сил по коммуникациям и сделал заключение:

— «Ход конем» вступает в силу с того момента, когда конвой PQ-17 начнет свое движение от берегов Исландии...

Семнадцатого июня в ставке Гитлера был утвержден план этой грандиозной операции германского флота. К этому времени уже довольно четко разграничились союзные сферы действия:

а) британский флот находился в постоянном перемещении на линии Исландия — Скапа-Флоу — Фарерские острова;

б) объединенные силы англичан и американцев плотно базировались на исландские фиорды и базы;

в) Северный же флот Советского Союза обеспечивал коммуникации в океане — все, которые лежали к осту от меридиана Нордкапа, включая и ледовые районы Карского моря...

Впрочем, «Ход конем» не мог избежать случайностей. Но случайности не учитываются. Гитлеровцы надеялись, что при боевом столкновении «Тирпитц» сумеет связать боем силы эскорта, а «Лютцов» и «Адмирал Шеер» тем временем успеют превратить караван в горящие обломки. Подводная эскадра (в 23 единицы) по плану должна добить совместно с авиацией корабли PQ-17...

Между прочим, остался в тени истории тот человек (или группа людей), благодаря которому (или которым) германскому флоту было известно почти все об обстановке в Исландии. Адмирал А. Г. Головко высказывает предположение, что разведка Канариса работала даже в Управлении британского флота... Возможно!

Кто он был? Предатель? Болтун? Опытный шпион?

Этого мы не знаем. Но он *был*...

Может, из окна исландского коттеджа, развернутого фасадом на Хваль-фьорд, он пересчитывал корабли союзных эскадр, а потом спокойно отправлялся в порт и до вечера чистил рыбу. Адмирал Канарис забрался и в эту страну, расположенную на самом краю света. Гитлеровская пропаганда здесь процветала. Исландская молодежь бесплатно училась в германских университетах. Некоторым исландцам, этим «провинциалам» Европы, глубоко импонировало то обстоятельство, что нацисты выводили свою историю из древних мифов Скандинавии, таким образом, черный мундир эсэсовца их не страшил...

Во всяком случае, Канарис знал многое из того, что творится в Исландии, этой главной перевалочной базе между Западом и Востоком. А караван — это тебе не иголка. Не спрячешь! Под боком Шиивиида сейчас вовсю громыхали штабные телетайпы, фиксируя поступающую с моря информацию. Внимание германских адмиралов было устремлено строго на север — к самой кромке паковых льдов. Туда, где раньше плавали только герои-одиночки!

. . . .

Это было горькое время, когда мы отступали...

Полезно напомнить, что отступала не только наша армия. Через пустыни Африки спасалась к Нилу от танков Роммеля разгромленная армия англичан, а на Тихом океане, через гряду атоллов и коралловых рифов, словно волна цунами, откатывалась — вплоть до Австралии! — морская пехота США, которую нещадно избивали японские самураи... Мы, читатель, слишком часто вспоминаем наши неудачи, но иногда не мешает освежить в памяти, как драпали от немцев и японцев наши союзники!

Хроника ТАСС за июнь 1942 года скупа и деловита, но за ее кажущейся сухостью мы чувствуем биение пульса всего мира. Ощущение такое, будто просматриваешь старый документальный фильм, до предела насыщенный борьбой, ужасами, победами, поражениями и опять победами...

10 — На харьковском участке фронта немецко-фашистские войска начали наступление.

Германские власти в Праге объявили о полном уничтожении чешского поселка Лидице, вблизи Кладно, в качестве репрессии за убийство Гейдриха.

11 — Широкое наступление югославских партизан в Боснии.

14 — День Объединенных Наций. Народы всех стран, ведущих борьбу против агрессии, продемонстрировали свою солидарность. В Лондоне и Нью-Йорке состоялись торжественные шествия.

19 — Германские оккупанты отдали приказ о выселении французского населения с побережья Северной Франции.

20 — На Севастопольском фронте напряженность боев усилилась ввиду того, что немцы ввели в бой новые части.

Тобрук в Африке капитулировал; в плен немцами взято 25 тысяч британских войск.

23 — Совинформбюро констатирует провал расчетов германских империалистов на военно-политическую изоляцию СССР.

25 — Генерал Эйзенхауэр, командующий американскими войсками на европейском театре войны, прибыл в Англию.

26 — Воздушный налет 1000 английских самолетов на германский порт Бремен, английские потери — 52 самолета.

27 — В Москве подписано соглашение между СССР и Великобританией о финансировании поставок и другой военной помощи британского правительства Советскому правительству...

...Именно в этот день (27-й день июня) караван PQ-17 и должен был тронуться в рискованный путь. Сейчас эта скорбная дата уже принадлежит истории. Она достойна того, чтобы в летописи событий того времени ее заключали в траурную рамку.

Твердая позиция

Не меркнет проклятое солнце над горизонтом, затихло и море! Такая погодка на руку врагу, только не нам... Для нас был бы хорош полный мрак, да еще штормяга! А здесь, в райской штилевой тишине, какая редко выпадает в этих широтах, не

смей перископа высунуть... Однако позиция есть позиция, и ее надо нести. И — несли.

Мы приближаемся к одному из ответственных моментов нашей истории, а для этого следует хоть краешком глаза заглянуть внутрь того корабля, который во многом решит судьбу дальнейших событий.

. . . .

Вот они — рыцари дальних коммуникаций: шесть торпедных труб в носу, четыре — в корме; две солидные пушки калибром в 100 мм да еще две сорокапятки. Таково было вооружение наших подводных крейсеров, которые плавали под литерами «К» (обычно моряки называли их «катюшами»). Корпуса этих лодок, вобравших в себя все лучшее от конструкции старых типов, были такой поразительной прочности, что в шутку на «катюшах» офицеры иногда говорили так:

— При виде противника — идем на таран!..

«К-21» вышла в море уже давно (еще 18 июня) под командованием Николая Александровича Лунина.

Он родился в Одессе над самой Арбузной пристанью, и возле колыбели его качалось синее море. Начинал службу матросом, управлял парусником «Вега», командовал танкерами и... стал подводником! Теперь у Лунина любимая присказка: «Плавать без дураков». В подводной войне успех или поражение решают подчас доли секунды, отчего матросы на «К-21» отрепетировали управление техникой до автоматизма. Один журналист во время войны писал, что трюмные машинисты даже во сне шевелили руками, управляя клапанами — на погружение, на всплытие. Таких сразу будили, говоря им:

— Очухайся, комик! Ты же не Чарли Чаплин в «Новых временах»!

Здесь, в насыщенной механизмами тесноте, где борта заметает изморозью, здесь бытует жестокий закон, облаченный в легкую тогу моряцкого юмора: «Один неверный жест — и уже никто не принесет цветов на нашу братскую могилу...»

Лунин был из плеяды славных «щукарей», и его «Щ-421» имела семь боевых побед. На «К-21» он заменил прежнего командира А. А. Жукова, который иногда злоупотреблял «наркомовской нормой». И хотя водка входила в постоянный рацион Подплава, а люди не безгрешны, но такие случаи, как пьянка, на Подплаве не прощались[1]. На подлодках Северного флота признавался только один вид «запоев» — это запойное чтение. Пройдись из отсека в отсек, когда лодка на глубине или ее валит с борта на борт в позиционном положении, и всюду ты увидишь подвахтенных с книгами в руках. Они уходили дер-

[1] А. А. Жуков впоследствии зарекомендовал себя отличным командиром тральщика. Но при первом боевом выходе, когда на его тральщик навалились самолеты противника, он по привычке скомандовал, как на подлодке: «Всем — вниз! Срочное погружение!»

жать позицию, забирая с собой наравне с торпедами целые библиотеки. Механики даже были озабочены этим: «Скоро у нас книги будут входить в расчет аварийного балласта!» Матрос, который не любил книг, считался непригодным для несения службы на боевых подлодках.

— Читай, балбес, — говорили ему с презрением.

— Не хочется, братцы...

— Ну тогда жди — без книг ты скоро спятишь!

«К-21» несла вахту во вражеских водах, возле острова Игней, но торпеды не израсходовала — не было достойной цели.

— Ну и позиция выпала, — говорили матросы. — Хоть ты тресни, а никак сухаря не размочить...

Позиция казалась безнадежной: ни один корабль противника не вылезал из фиордов. В один из дней, когда лодка шла под дизелями, работавшими в режиме «винт — зарядка» (сообщая ход лодке и заряжая батареи), Лунин спустился из «лимузина» мостика внутрь крейсера. Наверху остались нести вахту лейтенант Мартынов и четыре сигнальщика. Линзы их биноклей, прикрытые от солнца светофильтрами, следили за всем, что окружало лодку по горизонту. Разглядели чемодан с ручкой, плывущий в океане по своим чемоданным делам, будто так и надо. Никто даже не удивился.

— Это еще ерунда, — говорили. — А вот на «К-22», где Котельников командует, там портрет Гитлера видели.

— Где это они сподобились?

— В море, конечно, где же еще? Большой был, говорят. И рама дубовая. Плавал встояка... Чтобы всем видно. И, как положено хорошему г..., не тонул...

Совсем неожиданно с мостика прозвучал голос Мартынова:

— Передайте командиру просьбу выйти наверх...

Форма обращения — по уставу. Но уставная форма сейчас (в дни войны) прозвучала как излишняя вежливость. Уже изрядно обросший за время похода бородой, Николай Александрович Лунин нахлобучил шапку (ее звали на лодке «шапкой-невидимкой») и полез по трапу наверх, ворча себе под нос:

— Ну, что там у них еще случилось?

В центральном посту остался инженер-капитан 3-го ранга Владимир Юльевич Браман, который уже давно был флагманским специалистом, но по доброй воле пошел на понижение в должности, чтобы лично участвовать в боевых операциях (два ордена Ленина и три Красного Знамени — такова оценка его как инженера-подводника)...

Отряхивая брызги, по трапу вдруг кубарем посыпались сигнальщики. Сверху на них уже скатывался из «лимузина» Мартынов, послышался голос Лунина:

— А, черт бы тебя побрал с твоей вежливостью!

Прерывисто квакал ревун, возвещая: «Всем вниз! Срочное погружение».

Оказывается, самолет врага, появясь внезапно, сделал над лодкой «свечку» для пикирования. Дизели — на «стоп». Муфты

переключены. Двери задраены. Кто не успел добежать до своего места, оставался там, где его застало кваканье ревуна. Еще один жест руки (ставший уже автоматическим), и после стукотни дизелей лодку заполнило ровное гудение мощных электромоторов.

Самолет врага сбросил бомбы. Раздутые бока «К-21» быстро заглатывали воду океана. Крейсер проваливался в глубину. Ощущение такое, будто людей спускали в быстроходном лифте: палубу так и уносило из-под них! Бомбы взорвались рядом...

В боевой рубке Лунин отчитывал Мартынова:

— А ты что думал? Немец в самолете моей бороды испугается? Надо не меня наверх звать, а самому отрабатывать срочное погружение. Что ты меня звал? Или я самолета в жизни не видел?..

Затем — команда:

— В отсеках осмотреться...

Браман сразу заметил, что лодка ведет себя неустойчиво. «К-21», как говорят подводники, «намокла». Что-то стряслось в цистернах. Появился дифферент, от которого жди любой беды: электролит выплеснет через края баков, торпеды могут сдвинуться в аппаратах или выльется масло из подшипников...

Лунин выслушал доклад Брамана:

— Лодка плохо держит глубину. Она движется по синусоиде с дифферентом на корму. Цистерна срочного погружения самопроизвольно заполнилась забортной водой...

Николай Александрович на это ответил:

— Обычно с такими повреждениями лодке можно возвращаться с позиции, и никто нас на базе не упрекнет. Но у нас еще ни одна торпеда не израсходована по врагу, и... с какими глазами мы вернемся? Давай, Владимир Юльевич, собери своих ребят и — думайте.

Штопоры винтов буравили толщу океана, толкая крейсер в темной глубине. Лунин отвел глаза от стрелок тахометров, мягко дрожавших под стеклом, и сказал комиссару Лысову:

— Браман сделает... Я же знаю, каковы у нас специалисты! Недаром команды с британских лодок даже наших простых матросов считают переодетыми инженерами... Сделают ребята!

Шли в режиме ста оборотов. Воздух внутри лодки был вполне сносен. Влажность нормальная. Но знобящая глубина полярного океана уже объяла корпус крейсера, и стало холодно. Лунин натянул перчатки, его ладони плотно обвили каучуковые рукояти зенитного перископа. Глаз командира ослепила синяя вспышка — это значит, что высоко над ними верхушка перископа проткнула море.

— Улетели, паршивцы, — сказал Лунин, оглядывая небо; опустил зенитный перископ, поднял командирский. — И горизонт чистенький. Подвсплыть нам, что ли, комиссар? Давай продуемся...

С сильным помпажем, похожим на взрывы, воздух вышибал прочь воду. Палуба стала давить матросам в подошвы: подъем!

Лунин накинул реглан, выбрался через люк в мокрый «лимузин», где только что все было залито водой. Вода еще жила здесь, перекатываясь под ногами звенящими струями. Нос «К-21» мерно вздымало на волне, море билось пеной в решетках и в шпигатах. А ствол пушки кивал океану грозно-сосредоточенно...

Браман вскоре доложил свои технические соображения. Ремонт цистерн в боевом походе — случай, конечно, исключительный, почти небывалый в походной практике... Браман сказал:

— Лодка «намокла», сначала нам надо ее облегчить. — Он предложил откачать за борт всю пресную воду: — Это уже двенадцать тонн. Да еще восемь тонн смазочных масел. А ничего другого тут не придумать...

Лунин задумчиво поскреб свою бороду, оглядел океан:

— Вода — черт с ней! — сказал он. — Будем хлебать воду из опреснителей... не подохнем! Но вот масло? Оно оставит такое пятно, что размаскирует нашу позицию...

Вспоминая об этом случае, В. Ю. Браман пишет: «Вынуждены были совершить, с точки зрения подводников, совершенно непозволительный акт — оставить в море колоссальное масляное пятно. Но другого выхода у нас в то время не было. Мы должны были *остаться в море на боевой позиции*...»

Лунин подошел к удрученному лейтенанту Мартынову:

— Вот, лейтенант! Вся эта катавасия — на твоей совести...

Усиленный воздушный барраж, который вел в эти дни противник над своими же коммуникациями, наводил командира на размышления. 48 раз крейсер был вынужден уходить на глубину — 48 самолетов с ревом неслись над его перископами. И вот, как назло, сдала цистерна именно срочного погружения! А загнать лодку под воду не так уж просто, как это кажется. Если же перебрать балласта, то она камнем провалится на критическую глубину, чего тоже следует опасаться: где ляжешь — там и останешься!

— А самолеты неспроста, — сказал Лунин комиссару.

— Думаешь, что немцы скоро караван здесь протащат?

— Ну, караван не караван, а какая-нибудь зараза с иглой мордой вылезет на свежий морской воздух... Надо выходить на связь с базой. Доложим, что здесь позиция мертвая. Может, нас куда-либо переставят на живое место. Оперативникам виднее.

Лунин заметил закономерность в появлении вражеских самолетов над морем: они вели поиск в 8, 16 и 24 часа, как правило, появляясь от Альтен-фьорда...

— Штурман! — велел Лунин. — Ну-ка, возьми пеленги на эти самолеты, положи их на карту, и тогда по направлению мы узнаем, какой район моря интересует разведку противника...

Враг выдал сам себя: было ясно, что где-то здесь должны пройти корабли противника. К этому времени Браман с трюмными специалистами закончил переключение цистерн: отныне «К-21» с испорченной цистерной срочного погружения могла срочно погружаться.

— Обошлось без завода. Сами... Принимайте работу.

— По местам стоять — к погружению. Флага не спускать!

Надсадно разрывая тишину, опять квакал ревун, хлопали стальные пластины дверей и клинкетов. Дизели разом заглохли, со стоном провернулись моторы. Крейсер с развернутым флагом падал во мрак океанской ночи на полной скорости, охватываемый пучиной — властно и всеобъемлюще.

— Прекрасно! — сказал Лунин, следя за стрелкой. Лодка быстро набирала глубину. — Будто сошли со стапелей...

Двадцать седьмого июня «К-21» получила радиограмму. Штаб флота передал приказ переменить позицию, продвинувшись к острову Рольфсей, и — ждать! А при встрече с противником — атаковать! Подобный приказ касался не только лунинской лодки: Северный флот уже начинал развертывать свои силы для встречи каравана PQ-17, чтобы заслонить союзные корабли от нападений противника. Наши лодки должны были перехватить врага вблизи его берегов, а дальше — уже в открытом океане — протянулась вторая «завеса» из 9 английских подлодок...

Все, что произойдет далее, случится уже не по нашей вине. Северный флот свой союзный долг выполнит.

Враг обречен. Идем сквозь сталь и пламя.
Пускай бомбят. Посмотрим, кто хитрей.
И нет нам почвы тверже под ногами,
Чем палубы подводных кораблей.

. . . .

Обычная жизнь течет по расписанию, включенная в жесткий корабельный график. Жизнь по звонку, по радиотрансляции, по сигналу ревуна. Обычные разговоры — деловые и краткие. В боевой рубке Лунин собрал всех офицеров, предложил каждому высказать свое мнение о поставленной задаче — честно и открыто, без излишних лавирований.

Согласно старинной традиции русского флота сначала всегда выслушивалось мнение младшего. Первым говорил фельдшер — лейтенант Петруша, и хотя он только медик, но его тактические соображения были выслушаны со всем вниманием.

А сам командир Лунин говорил последним.

— Я принял решение искать врага в надводном положении, погружаясь лишь для отдыха команды. Для нас это, конечно, опаснее. Но зато с мостика мы увидим врага скорее, нежели через перископ. В любом случае, даже из-под воды, мы обязаны услышать или увидеть противника раньше, нежели он обнаружит нас. Если этого не случится, мы не моряки, а шляпы! — сказал Лунин. — И хочу предупредить вас, товарищи, что атака состоится, *если даже потребуется всплыть на виду у всей фашистской эскадры*... Я сказал. Благодарю вас всех за ваши мнения, которые и помогли мне прийти к таким вот выводам! Можете расходиться...

Хваль-фьорд

Исландия издавна была полуколонией Дании, а Дания, попав под гитлеровскую оккупацию, сама стала немецкой колонией (уже безо всяких «полу»). Но как только фашисты захватили Данию, так сразу же англичане захватили бесхозную Исландию. Потом на смену англичанам пришли сюда американцы, и тогда Исландия была превращена ими в свой «нетонущий авианосец». США имели уже немалый опыт по созданию в условиях Арктики гаваней и аэродромов. Война проходила как бы мимо Исландии, но своим черным крылом она задевала и эту далекую страну. Сначала англичане, а теперь американцы в свободное от службы время усиленно обольщали исландских женщин, что — не менее усиленно! — поощрялось самой Исландией, нуждавшейся в рождении бóльшего числа граждан, чтобы заполнить безлюдность острова. Несмотря на эту «интимность» отношений, население Исландии смотрело на союзников как на незваных пришельцев. Никакие «вечера дружбы», где танцевали, и никакие джазы, составленные из матросов, тут не помогали!

С весны 1942 года глубокий Хваль-фьорд, расположенный чуть севернее столицы Рейкьявика, стал местом сборища кораблей для отправки грузов в СССР. В далекий путь по маршруту PQ-17 собирались 37 транспортов, больше половины из них шли под флагом США, остальные — английские, голландские и панамские. Команды были смешанные — до 17 национальностей на борту одного корабля. Пока же караван формировался, пока волокитничали в штабах, пока составляли эскорт, пока ждали из США авианосец, а из Англии подхода эскадры во главе с адмиралом Твеем, экипажи транспортов ничем путным не занимались. В котловину скалистой бухты, названной англичанами Долиною кузнеца, прямо в туман и в яркое солнце рушилась с утра до позднего вечера музыка корабельных трансляций, а с берега ее заглушали мощные репродукторы, установленные на крыше неопрятного барака «Христианской ассоциации свободной молодежи»:

> Вы слышите — это не джаз,
> Это горнисты трубят нам приказ.
> Здесь вы на вахте, мистер Рэд,
> Здесь телефонов личных нет.
> Завтрак в постели, на кухне газ —
> Эти блага теперь не для нас...

Брэнгвин здесь — в Хваль-фьорде — впервые увидел русских. В составе конвоя PQ-17 были два советских корабля: «Донбасс» и «Азербайджан».

Делать в фиорде было нечего, и команды транспортов с утра уматывали на автобусах в недалекую столицу.

В одном из портовых баров Рейкьявика, сам того не ожидая, Брэнгвин вдруг встретил приятеля Сварта.

— А ты почему здесь околачиваешься?

Сварт был немного смущен при этой встрече:

— Знаешь, я тогда полаялся со своей стервой. Долго думал, чем бы ей отомстить, и решил зафрахтоваться куда-нибудь к чертям поближе: пусть она мучается, вспоминая. А доллары тоже не помешают... Но я не дурак, как тебе известно, и нанялся в рейс только до Скапа-Флоу... Чего ты смеешься?

— Ты здорово промахнулся дверью, Сварт.

— Да нет... Мы сюда забрели совсем случайно.

— Ты разве не на танкерах? — спросил его Брэнгвин.

Сварт даже обиделся:

— Я еще с ума не сошел, чтобы плавать сейчас на этих зажигалках, на которых и без войны-то никогда никто не знает, где можно выкурить сигарету... Стооктановый бензин для самолетов — с этим «брэнди» лучше не связываться! Нет, — закончил Сварт, почти довольный, — я пришел сюда на бывшем банановозе: турбинный ход и два дизеля, как в раю у всемогущего бога!

Брэнгвин откупорил бутылку и налил Сварту пополнее.

— Ты всегда умел устроиться лучше меня. На турбинах вы удерете от Гитлера, а нас — на индикаторных — он словит за хвост!

— Это верно: у нас скорость — ноздря в ноздрю с немецкими подлодками, когда они шпарят над водой.

Брэнгвин, скучая, зевнул. Оглядел галдящий бар.

— Вон там, — заметил, — двое британцев, кажется, затевают драку с нашим электриком... Не пойти ли мне помочь ему?

— Погоди. Успеешь.

— Если не сейчас, то будет уже поздно...

Когда Брэнгвин пробился через матросов, электрик уже валялся на полу с пробитым черепом. А двое британцев в широких клешах покручивали в пальцах большие бутылки из-под виски.

— Это разве твой молочный брат? — спросили они Брэнгвина.

— Я не пил с ним молока.

— А тогда чего ты вступаешься?..

Брэнгвин уложил первого страшным ударом в челюсть. На второго прыгнул, визжа индейцем, и сшиб ударами ног — лепешкой тот вклеился в стойку бара. Электрик сел, ощупывая свою голову.

— Кажется, русские обойдутся без меня, — сказал он. — Три лишних слова и одна бутылка завернули мою судьбу обратно...

Брэнгвин посадил раненого в такси, сказал шоферу:

— Туда же, куда и всех... до Хваль-фьорда, не дальше!

После чего вернулся за стойку и спросил:

— Слушай, Сварт, а ты и правда рассчитываешь смыться?

— К тебе сзади, — ответил Сварт, — заходят сразу пятеро.

— Кто они? — спросил Брэнгвин, не оборачиваясь.

— Эти ребята с «Лондона», что вчера стал на рейде. И сейчас они тебе покажут, как надо уважать Home Fleet...

Брэнгвин развернулся лицом к драчунам с крейсеров.

— Ну что, консервные ребята? — подзадорил он англичан. — Как вам нравится американская сельдь в томате, которую вы жрете согласно ленд-лизу?..

Очнулся он от голоса своего друга.

— Такси подано, — сказал ему в ухо Сварт...

Потом трое суток Брэнгвин валялся в каюте, а Хриплый Дик уснащал его лицо примочками собственного изготовления.

— Кажется, пойдем двадцать седьмого, — передавал он новости. — Электрика уже списали с сотрясением мозга... Великолепный праздник, День независимости нации, будем отмечать в море. Представляю, какой сумасшедший фейерверк устроят нам немцы!

На соседнем транспорте начался очередной бунт команды. В белых шлемах, опоясанная белыми ремнями, там белыми дубинками уже вовсю трудилась судовая полиция, загоняя матросов в тесноту трюмов. Теперь их будут держать взаперти, пока корабль не выйдет в море... Брэнгвин в иллюминатор видел мощный линкор «Вашингтон», на юте которого, под разворотом башен, с песней стронулась бравая бейсбольная команда; далее угадывался силуэт крейсера «Лондон» под вымпелом сэра Хамильтона. С рейдов Хваль-фьорда, взметая тучи брызг, поднимались в небо крутобокие «каталины»; однажды стали звонко хлопать зенитки.

— Говорят, — сообщил боцман, — сегодня летал «адольф».

— Откуда он взялся? Разве у немцев есть авианосцы?

— Да нет. Но ходят слухи, что «адольф» построил тайные аэродромы на Шпицбергене. В море сейчас погано. Говорят еще хуже: будто у немцев имеются секретные стоянки для подлодок на Земле Франца-Иосифа и даже на русской Новой Земле...

Скоро прислали нового электрика — Сварта; печальный, он втащил в каюту длинный, как колбаса, мешок с вещами.

— Твой корабль, — сказал Брэнгвин, — кажется, назывался «Винстон-Саллен»... где же он?

Не отвечая, Сварт разбирал вещи из мешка. Из банки с кофе он вынул черного, всего в кофейной пыли, таракана.

— Бедный мой! Неужели ты, бродяга, плывешь со мной от самого Галифакса?.. Вот ему можно позавидовать, — сказал Сварт, пустив таракана гулять по переборкам. — Вот его никто не обманывает...

— Тебя обманули, Сварт?

— Конечно! Я шел только до Скапа-Флоу, потому что я не последний мужчина и такому всегда нужны деньги. И сам не пойму, как забрались в этот холодильник. Теперь вдруг узнаю, что мой паршивый банановоз, загруженный танками, тоже идет в Россию. Меня обдурили ради секретов военного времени... Ну, не сволочи ли все эти люди в мундирах? И я решил: лучше уж буду рядом с тобой... Здравствуй, Брэнгвин!

— Здравствуй, Сварт... Но тебя никто не обманывал. Корабельные пути во время войны неисповедимы, как и пути господни. Сварт! Вон крючок — можешь вешаться сразу. Но даже твой труп все равно поплывет до Мурманска.

— Выходит, что идиоты растут не только в Техасе, — ответил Сварт. — Что я там не видел, в этом русском Мурманске? Может, ты думаешь, нас там ждут? И поставят выпивку?

— Ждут, Сварт, и поставят нам выпивку, Сварт, это верно. Пойми: не мы первые, не мы последние. Война продолжается, и Россия еще долго будет воевать... Если мы даже отправимся на дно, все равно: караваны поведут другие. Как-нибудь проскочим, — утешил его Брэнгвин. — Эскорт у нас что надо! Одна бейсбольная команда с «Вашингтона» берется со своими битами гнать «Тирпитц» до самого Берлина.

. . . .

Двадцать седьмого июня под яростным проливным дождем караван PQ-17 тронулся в путь.

Но кораблях эскорта долго трубили медные боевые горны.

Один очевидец оставил нам запись: «Словно большая стая неряшливых уток, корабли миновали боны, следуя в океан. Никаких почестей и салютов уходящим не оказывали. Но все до единого, кто провожал корабли в этот путь, каждый молча благословил их».

Была как раз молитвенная суббота...

После выбирания якорей Брэнгвин заступил на вахту. Отлично выбритый, по-мальчишески дурачась на трапах, на мостик поднялся штурман. Он весело сообщил:

— Имею неплохую новость, Брэнгвин.

— Мне позволено знать ее, сэр?

— Конечно! В этом году прекрасная ледовая обстановка. Граница паковых льдов отодвинулась намного дальше, и мы пойдем вокруг Исландии, огибая ее с севера. А это безопаснее для нас... Вы не находите, Брэнгвин?

Тяжело взрывая воду винтами, следовал в лучистый океан британский линкор «Дюк-оф-Йорк»; за ним, вкруговую вращая громадные крылья радаров, удалился американский линкор «Вашингтон»; высоко неся взлетную палубу, с шумом пролетел авианосец «Викториуз». Это были силы *главного прикрытия*, которые пойдут теперь в отдалении от каравана, всей своей мощью вселяя спокойствие в души слабых.

Брэнгвин поплевал на ладони, чтобы удобнее было держать рукояти штурвала.

— Никогда, сэр, — сказал он, — я не испытывал особого почтения к этим джентльменам-линкорам, на которых полиции полно, как на Бродвее. В церкви там идет служба, скупердяи матросы сдают деньги в банк, а лавки торгуют конвертами, расческами и презервативами. Все линкоры кажутся мне плавающими казармами, только без окошек. Я много бы дал, чтобы посмотреть, как они тонут. Ох, и пузырей же после них, наверное!..

— А вам не хочется домой? — вдруг спросил штурман.

— Сэр! — отвечал Брэнгвин, задетый за живое. — Если бы я хотел сидеть дома, я бы не выбрал профессии, которой сейчас горжусь. Так уж случилось, что мне с детства не сиделось у родного порога...

На кораблях разом защелкали наружные динамики общего оповещения. Нервы многих тысяч людей невольно напряглись, ибо из этих рупоров человек редко слышит что-либо приятное... Сейчас ошарашат их всех каким-нибудь «Тирпитцем».

— Доброй удачи всем нам! — возвестили динамики, трясясь над мостиками кораблей. — Задраить люки, клинкеты и горловины, проверить крепления трюмов. Мы выходим в открытое море, и... да благословит нас всемогущий бог, наш заступник!

— Выходит, линкоры уже не заступники, — хмыкнул Брэнгвин. — Я так и думал: на эти казармы рассчитывать не стоит...

Три часа хода, и штурман оторвал листок календаря. Он упорхнул из пальцев в иллюминатор. Первый день умер. Следующий день возник. Так будет всегда, пока человек жив.

. . . .

За день до этого Шнивинд сказал:

— Эфир возле Рейкьявика подозрительно затих, зато сразу оживилась работа русских радиостанций возле Мурманска. Кажется, выбирают якоря. Теперь надо подождать, когда PQ-17 сам проболтается о себе...

Ждать ему пришлось недолго. При построении каравана в походный ордер один корабль коснулся банки, не отмеченной на картах, и получил пробоину. Боясь, что в тумане никто не заметит его аварии, он панически выпалил в эфир пышный букет сигналов бедствия, которые тут же перехватили немецкие радиостанции Тромсе и Нарвика.

— Вот и все! — сказал Шнивинд, срывая с телетайпа донесение об этом случае. — На первое время мне больше ничего не нужно от них. Но *они уже в моих руках...*

Контакты

Английские корабли тогда много проигрывали по сравнению с американскими. «Владычица морей» имела неумытый вид. Борта грязные, вооружение устаревшее, всюду ржавчина, матросы расхристаны, словно пираты, тайком от союзников применялись телесные наказания (удары плетью по обнаженным ягодицам). Американский флот, напротив, имел ухоженные суда с мощным новейшим оружием. Матросы США с непокрытыми головами шлялись по мостикам в легкомысленных безрукавках. Правда, что в любых условиях американцы не забывали о сервисе — белоснежные стюарды обходили с подносами боевые посты, разнося вахтенным горячий кофе, виски, печенье...

Северный флот в отличие от других флотов нашей страны был в постоянном контакте с союзниками. Англичане сходились

с нами туговато. Зато американцы, наоборот, сразу шли запанибрата и, как волки, кидались на наш черный хлеб, который им безумно нравился. У пирсов Подплава в Полярном базировались английские лодки — «Тайгрес», «Трайдент», «Сивулф» и «Силайэн». Надо думать, что Британское адмиралтейство послало к нам не худшие свои лодки. Это были корабли с очень опытными, мужественными командами. Настроены же они были не особо дружески, что не мешало им стоять борт к борту с нашими «эсками», «щуками», «малютками», «декабристами» и «катюшами». Время от времени союзные лодки уходили на отдых в Англию, а возвращались с новыми экипажами. Один из английских офицеров за обедом с нашими подводниками случайно проговорился:

— Пусть это остается между нами, но мы ходим сюда не воевать, а изучать ваш театр... Потому и меняют экипажи, чтобы побольше людей освоило ваши условия!

С самого начала войны подлодки Северного флота вели активную жизнь на позициях и не имели потерь. К весне 1942 года противник оправился, резко усилил противолодочную оборону, и для нас наступил тяжелый период. Люди всегда остаются людьми, каждый хочет победить и выжить при этом, а теперь, когда шесть лодок подряд ушли за горизонт и навеки остались там, за этим горизонтом, — теперь каждый невольно задумался: «Оказывается, враг может топить и нас. А мы-то думали, что сами останемся неуязвимы...» Вице-адмирал Головко отметил в своем дневнике: «Все это сказывается на умах в бригаде. Командиры приуныли». Командир бригады Подплава И. А. Колышкин также отмечает, что «впечатление, которое произвели на подводников первые боевые потери, не следует преуменьшать». Но вся горечь этих поражений скоро переплавилась в ненависть к врагу, и над пирсами Подплава, как всегда, торжественно звучали слова:

— Сходню убрать... отдать носовые!

В эти дни на пороге кабинета вице-адмирала Головко появился британский военно-морской представитель в Полярном, контр-адмирал Фишер, сменивший на этом посту Бевана, и спокойно доложил, что караван PQ-17 уже находится в пути.

— Можете быть уверены, — отвечал ему Арсений Григорьевич, — что наш флот сделает все от него зависящее, чтобы PQ-17 не пострадал от противника. Выходы в океан мы преградили немцам, насколько это возможно. Помимо подводной «завесы», опущенной нами перед норвежским побережьем, мы усилили и воздушные эскадры... Вот, пожалуйста: готовы к старту в любую минуту сто девяносто один истребитель, шестьдесят девять бомбардировщиков и двадцать семь самолетов-разведчиков...

— Это замечательно! — И Фишер откланялся...

После ухода атташе Головко встретился с членом Военного совета флота дивизионным комиссаром А. А. Николаевым.

— Как дела, Арсений Григорьевич?

— Да неважно... Две наши лодки опять молчат. В эфир не выходят. Позывные без ответа... Печально! Очевидно, немцы в своей обороне стали применять какие-то методы, которые нам не до конца известны... А что Кучеров? Были у него?

Кучеров — начальник штаба Северного флота.

— Заходил. Как всегда, работает.

— У него, конечно, все готово к встрече PQ-17?

— Да, все... Ему надо связаться еще с Беломорской флотилией. Пусть она протралит фарватеры Северной Двины.

— Это к делу! Может, там и завалялась неконтактная мина... Ну, пойдем, — поднялся Головко, — проводим людей. Никто не знает, увидим ли мы их снова...

. . . .

В полдень 30 июня, еще не обнаруженный немцами с воздуха, караван PQ-17 миновал остров Ян-Майен, нелюдимо застывший в океане, где-то посередине между Гренландией и Нордкапом.

Шнивинд и гросс-адмирал Редер, два старых лошака в одной гитлеровской упряжке, были солидарны в том мнении, что мысли фюрера о морской войне не стоят и пфеннига. Его боязнь авианосцев просто смехотворна! Сейчас на базах в Норвегии было заранее сконцентрировано 16 000 тонн нефти, и это внушало чувство уверенности в исходе операции.

— Игра началась, — рассуждал Шнивинд. — Операция «Ход конем» не может знать срывов, ибо все продумано до конца. Памятник доблести нашего флота после войны поставят, конечно, не в Киле или в Гамбурге — место ему на скале Нордкапа!

Шнивинда пугали сейчас не английские авианосцы, а скорее авиация Геринга. Горький опыт содружества флота с люфтваффе приучил немецких моряков бояться своих самолетов. Хваленые асы Германии совсем не умели отличать корабли противника от своих кораблей [1].

Сейчас, чтобы пилотам все стало ясно, Шнивинд велел спешно красить на крейсерах орудийные башни в отчетливый рыжий цвет, а на палубе «Тирпитца» малярная команда рисовала гигантскую свастику — черно-бело-красную, чтобы ее сразу заметили с неба...

Редер из Киля запросил метеосводку.

— Отвечайте ему, — велел Шнивинд, — что в океане держится туман, как сливки. Мы не можем увидеть караван с воздуха. Однако синоптики пророчат в скором времени прояснение...

Самолет германской разведки вслепую оторвался от поля аэродрома. В полете — прямом, как полет одичалой вороны, — он стал опустошать подвесные бензобаки. Высосав горючее до дна, самолет бросал баки в океан; по инерции они еще дол-

[1] Примерно такое же положение сложилось и на флоте США: немало американских кораблей и моряков погибли под бомбами и торпедами, сброшенными на них своими же самолетами.

го летели рядом с крылом, потом, плавно оседая, начинали свое падение в бушующее море. Баки были устроены так, что сразу же тонули: никаких следов в море.

«Нет, здесь никто не пролетал!»

— Еще туман... туман, — докладывал пилот. — Вот уже лечу в разреженном. Вы меня поняли? Я говорю — здесь уже чище... Да, да! Скоро увижу караван... Вот он, я увидел его! *Контакт есть...*

— Облетайте караван по кругу, — приказали из Нарвика.

Как это бывало не раз, англичане вступили в радиопереговоры с самолетом противника. Обычно начиналось состязание в остроумии, и пальма первенства не всегда доставалась Англии.

— Эй, парень! — кричали радисты кораблей. — У нас закружилась голова от твоих петель. Покрутись немного обратно, чтобы у нас раскрутились шеи...

— Потерпите, — вежливо отвечал с неба немец. — Я не стану вам долго мешать. Сейчас улечу обратно, а вы ждите моих приятелей. Они уже начисто открутят вам головы.

Юмор неважный... А самолет-разведчик уже принес смерть! Полет этот был проделан немцами в полдень 1 июля.

Теперь, когда конвой обнаружен, англичане решили, что сохранять радиомолчание бессмысленно. Эфир взорвало каскадами длинных передач по нескольким адресам сразу. Немецкие перехватчики трудились в поте лица, все текущее с моря немцами тут же расшифровывалось (это был большой успех фашистской криптографии)...

С моря подошли германские субмарины и пристроились к тылам конвоя. Линейные силы эскадры Дж. Товея шли западнее; с лодок, помимо транспортов, видели сейчас только эсминцы сопровождения Брума; крейсера же сэра Хамильтона проходили севернее (еще не замеченные немцами). Иногда в тумане подлодки теряли караван, но жирные пятна нефти, оставленные на волнах, и задымленная атмосфера над морем помогали немцам снова находить караван в океанском безбрежии.

. . . .

Фишер снова появился на пороге кабинета Головко, и лицо британского атташе было теперь озабочено.

— Я, кажется, говорил вам, адмирал, что из Хваль-фьорда вышло всего тридцать семь транспортов с грузами.

— Да, да.

— Но, кажется, четыре уже вернулись — одни из-за поломок в машинах, другие не выдержали сжатия во льдах.

— Минус четыре. Продолжают движение тридцать три?

— Да, тридцать три... Маленькая неприятность, — поморщился Фишер, прищелкнув пальцами. — Дело в том, что PQ-17 уже засекла воздушная разведка противника.

— А точнее?

— Точнее, — отвечал Фишер, — немцы с этого момента не выпускают PQ-17 из поля своего зрения...

Помолчали. Где то вдали выла сирена подлодки.

— Простите, адмирал, — начал Головко, — а что докладывает ваша разведка о германских линейных силах группы «Норд»?

— О, за ними мы следим как курица за цыплятами, — отвечал Фишер с улыбкой. — Впрочем, когда нет новостей о противнике, то это уже хорошая новость...

— Не всегда так, — нахмурился Головко.

— Что делать, если нашей авиации мешает туман. Вся северная Норвегия словно закрыта белым одеялом. «Спитфайры» не могут разглядеть, что творится на якорных стоянках немцев...

Арсений Григорьевич пришел к выводу, что контр-адмирал Фишер действительно мало что знает. «Не делай этого, Дадли!» был далеко отсюда, и Британское адмиралтейство сообщит своему атташе лишь то, что сочтет нужным. И оно скроет именно то, что сочтет нужным скрыть от своих союзников.

— Ну ладно, — сказал Головко, пожимая руку Фишеру. — Пока у нас нет причин для опасений... Будем надеяться на лучшее!

В полночь радиостанция Полярного уловила трепетные сигналы из вражеских вод. Лунин сообщал, что его подводный крейсер новую боевую позицию занял, на лодке все исправно, настроение у команды ровное, деловое, хорошее. Впрочем, о настроении он мог бы и не докладывать — Лунин сделал это вроде бы умышленно. Казалось, он хотел этим сказать: после шести потерь моя «К-21» не считает себя кандидатом в седьмую...

Приняв текст от дежурного по штабу, Головко сказал ему:

— Идите. Ответа не будет. На «двадцать первой» и не ждут ответа... Для них все уже ясно!

. . . .

Севастополь—Мурманск

Первого июля наши войска оставили Севастополь...

В этот же день «все, что летает», было поднято Герингом с полярных аэродромов. Со стороны солнца на страшной высоте эскадрильи были развернуты на Мурманск... В их составе были экипажи, которые совсем недавно перебазировались в Норвегию из Сицилии, где они обслуживали армию Роммеля в Африке... [1].

Больно: наши войска оставили Севастополь!

Гитлеровская авиация начала приводить в исполнение приказ фюрера о полном уничтожении Мурманска. В небе над портом разгорелся воздушный бой. До последней капли бензина,

[1] Из-за переброски Гитлером из района Средиземноморья на восточный фронт 2-го воздушного флота танковые колонны Роммеля замерли как вкопанные лишь в 80 километрах от Нила, что спасло положение вдребезги разбитой английской армии в Египте. Об этом не следует забывать.

до последнего патрона дрались в этот день наши летчики. Город горел. Огромное черное облако гари и копоти нависло над крышами.

Зениток было мало. Очень мало. Били по врагу с кораблей. То здесь, то там в небе раскрывались комки парашютов — сбитые асы Геринга, с амулетами и орденами в дубовых листьях, теперь плыли прямо в пламя, прямо в свинец кольских вод...

Тяжело. Очень тяжело. Вчера мы оставили Севастополь.

. . . .

На другой день все повторилось сначала. Противник решил, невзирая ни на какие потери, доломать бомбами и дожечь зажигалками то, что сохранилось в целости после вчерашнего налета.

Несколько бомб попало в цехи судоверфи. В порту стали гореть склады, но их отстояли. Батопорт единственного на всем флоте дока был поврежден осколками.

Операция «Ход конем» заранее планировала уничтожение Мурманска. И город теперь лежал в золе, во прахе. Но порт, но верфи, но дорога *работали*...

А все-таки тяжело: мы оставили Севастополь!

. . . .

Британский контр-адмирал Фишер принес самые свежие данные своей разведки... Он был даже не озабочен на этот раз.

Английский атташе был предельно взволнован:

— Вы не поверите, адмирал! Одному «спитфайру» все же удалось проткнуть одеяло тумана. Но аэрофотосъемка вдруг перестала фиксировать «Тирпитц» и «Хиппер» в Тронхейме... Куда они делись, эти беби, нам неизвестно.

— Следует поискать их в Альтен-фьорде, — сказал Арсений Григорьевич. — Немцы очень любят этот фиорд, дающий им скорый и решительный прорыв на оперативный простор.

— Значит, и вы склонны думать, что германские линкоры готовятся выйти на наши коммуникации?

Сам в прошлом командир «Бархэма», Фишер понимал, какую страшную разрушительную мощь несут корабли этого класса. Он уходил из кабинета Головко, дергая плечом, почти возмущенный:

— Это ужасно... Это в корне меняет всю обстановку!

Британская миссия передала на караван PQ-17, что порт назначения — Мурманск — отменяется после бомбежек, кораблям теперь следует идти в Архангельск.

Они идут

Американцы приобщались к европейской войне (пока еще в подчинении у английских адмиралов). Проводка PQ-17 к берегам России — *первая* крупная операция на море, за которую США взялись под эгидою Англии. От того, как эта операция сложится, будет зависеть многое. Сейчас в утепленных

калорнферами рубках линкора «Вашингтон» работали мощные пеленгаторы системы «хаф-даф», которые перехватывали радиопереговоры противника в океане. Здесь, в клубах сигарного дыма, попивая виски, трудились хитроумные дядьки в очках, в расстегнутых жилетках, перечерченные подтяжками, — это криптографы-аналитики, постигшие тайны германской радиосвязи.

«Хаф-дафы» запеленговали кодовую шифровку с германского миноносца. Из текста после его раскодирования вдруг выяснилась печальная картина: PQ-17 уже давно под надзором противника... Об этом же знали и британские адмиралы. Но сэр Товей сказал: «Иес», сэр Хамильтон сказал: О'кэй», — и этим дело закончилось, как в швейцарском банке, где умеют хранить тайну любого вклада.

Иное дело американцы: они стали ругаться.

— Черт побери этих немцев! Как они умудряются все это делать, мы выясним лишь после войны, если доживем. Но еще труднее понять наших союзников. Ради чего, спрашивается, мы мокнем под дождем на задворках Европы, будто папа отлучил нас от церкви? Не проще ли подойти к «Тирпитцу» и по локаторному пеленгу раскатать его, словно на блюминге? Мы бы превратили этого верзилу в такой тощий конверт, что Редер уже завтра утром мог бы просунуть его под двери кабинета своего фюрера...

На американских крейсерах «Тускалуза» и «Уиччита», которые шли в составе крейсерского прикрытия сэра Хамильтона, офицеры акцентировали внимание матросов на баснословной стоимости грузов каравана PQ-17:

— Семьсот миллионов долларов — это такие деньжата, за которые стоит держаться на ринге, даже если выскочат зубы! Мы, американцы, не должны забывать, что в гражданской войне Штатов только одна Россия поддержала нас! Она прислала нам в помощь свою Балтийскую эскадру, а сейчас мы, правнуки Линкольна, оплачиваем русским старый непогашенный чек...

PQ-17 лежал на генеральном курсе, по широкой дуге как бы огибая всю Скандинавию, чтобы потом, от самой кромки паковых льдов, спускаться с севера на юг — прямо в порты России. На маршруте каравана иногда встречались перевернутые шлюпы, полузатопленные понтоны с мертвецами, плавали загустевшие от полярной стужи комки мазута, похожие на гнилое мясо, — это были следы прежних катастроф, печальные мемориалы тем караванам, которые прошли здесь раньше PQ-17. В таких мрачных местах корабли не задерживались, их проносило сейчас в тоскливом тумане, среди разбитых льдин и пугающих айсбергов. Черная, будто бархат, вода океана послушно размыкалась под корпусами. Мертвая тишина окружала их. Что-то уже щемило в сердцах, и люди старались улечься спать в отсеках, расположенных выше ватерлинии, поближе к дверям и люкам. Скапа-Флоу, не забывая о них, транс-

лировал на PQ-17 базовый концерт; далеко отсюда надрывались для них саксофоны и пела недоступная женщина:

Плыви, плыви, мой караван,
В далекий путь за океан.
Последний раз играет джаз,
Последний раз пою для вас...

Но сейчас, объятые тревогой и стужей, экипажи кораблей, кажется, уже не верили, что где-то полнокровно шумят волшебные города, грохочут джаз-бандами лиловые от угара рестораны, а по вечерам в свете неоновых огней на панели столиц выходят женщины с ярко накрашенными губами... Термометры на мостиках отмечали в эти дни всего минус три градуса!

Впрочем, пока все идет как надо. Только выяснилась неприятная подробность: корабли обнаружили нехватку боеприпасов. Предприимчивые американцы стали рвать пломбы с палубных контейнеров, в которых сумрачно дремали заиндевелые танки. Из трюмов были поданы снаряды. Башни 28-тонных громадин нехотя зашевелились, в беспокойстве оглядывая незнакомый для них пейзаж. Отрывисто и сухо застучали пробные выстрелы танков «Генерал Грант»...

— Так будет спокойнее, — говорили моряки. — Пусть уж русские получат товар без пломб и упаковки, нежели не получат вообще никакого!

Долго мешал туман, создающий чувство одиночества. Но временами он распадался, и тогда командам кораблей казалось, что они видят целый город, нежданно выросший в океане. Горизонт был задымлен девятью колоннами, которые шли с интервалами в два кабельтова между судами. Низко над ними плыли серебристые колбасы аэростатов заграждения.

Вне видимости каравана, где-то между Ян-Майеном и Шпицбергеном, курсировала эскадра дальнего прикрытия. Два союзных линкора — «Дюк-оф-Йорк» и «Вашингтон» — подминали под свои кили воды океана. Затаенной тенью скользил в окружении корветов и подлодок авианосец. Вдоль самой кромки льдов шли тяжелые крейсера типа «Лондон». Вездесущие миноносцы рыскали вокруг, вынюхивая врага. Факелы их труб проносило над морем, как вестники безопасности.

Пузатые корветы, будто гуси, важно плыли в боевом охранении, отлично вооруженные сетками радаров на мачтах. Палубы конвойных судов были оснащены многоствольными «ежами» и «мышеловками», сеющими бомбы над подлодками врага квадратами — по площадям. Танкера — для заправки кораблей на ходу (через шланги) — двигались в ряд с транспортами.

Эскадра не была слепа. Эскадра не была глуха.

Британские «асдики» и американские «сонары», выставив уши свои из корабельных днищ, вели неустанный гидролокаторный поиск противника под водой. Воздух над караваном и над силами ближнего прикрытия был уплотнен почти до пре-

дела быстрыми разговорами, которые корабли вели между собой через ультракоротковолновые телефоны (TBS).

Шли корабли ПВО (противовоздушной обороны).

Шли корабли ПЛО (противолодочной обороны).

Казалось, нет силы, способной сокрушить эту четко спланированную организацию обороны...

А на случай гибели кого-либо — вот и спасательные суда. С хирургами и запасами консервированной крови. На борту их — особые тралы, готовые выловить человека, даже ушедшего под воду. Здесь имелось все, что нужно для спасения. Даже сильнодействующие химикалии для очистки людей от нефти и соляра, которые неизбежно облипают тонущего при катастрофе, быстро разъедая кожу и внутренности.

И моряки каравана PQ-17 жили в полной уверенности, что защита от врага им обеспечена. Никто из них тогда не знал (и не мог знать), что все они уже *приговорены...* Да, все решено заранее, и жизни этих людей уже включены в громоздкий расход войны как печальные, но неотвратимые потери...

Но мы не станем опережать события...

. . . .

Берлин изнывал от жары. Два дня подряд Редер и его штаб совещались — в удушливом поту, в тревогах, в сомнениях. Подводились итоги наблюдения за PQ-17, делались далеко идущие выводы, выражались то уверенность, то сомнение в успехе. Белые рубашки офицеров Хохзеефлотте взмокли на лопатках. С океана к ним прилетали краткие радиоимпульсы: подводные лодки добывали информацию, и — самая свежая! — она неизменно лежала перед Редером... Раздернутые галстуки болтались на мокрых, багровых шеях.

— Кажется, можно приступать, — сказал гросс-адмирал. — Еще раз запросите Нарвик — все ли готово у Шнивинда?..

Шнивинд был обязан заблаговременно перебазировать линкоры и крейсера на Альтен-фьорд — как можно ближе к коммуникациям. Отсюда линкоры и крейсера в кратчайшие сроки могли выйти на театр войны; отсюда же, из Альтен-фьорда, Гитлеру было уже труднее вытащить корабли обратно на базы. Тогда фюрер должен считаться с тем, что линейные силы флота уже приведены в действие. Сейчас в океане перемещался обратный конвой QP-13, идущий из СССР в Англию[1], но Редер велел своему штабу закрыть на него глаза — пусть тащится куда хочет: *все силы флота устремлены только против PQ-17.*

Самолет германской разведки непрерывно завывал возле кораблей конвоя, вне досягаемости зенитной артиллерии, и радисты каравана часто прослушивали его сигналы, выбрасываемые в эфир по адресу Нарвика. Радиолокаторы конвойных

[1] Британское адмиралтейство дало этому обратному каравану неверный курс, и возле берегов Исландии QP-13 напоролся на свое же минное поле: флагман конвоя и еще четыре корабля взлетели на воздух.

тральщиков фиксировали на своих экранах пока только айсберги.

В это время немецкие корабли, покинув Тронхейм и Нарвик, уже двигались по фарватерам точно, как трамваи по рельсам.

«Тирпитц» и «Адмирал Шеер», «Хиппер» и «Адмирал Лютцов», а с ними и эсминцы сопровождения начали маневрирование в узостях фиордов, чтобы удобнее сосредоточиться для выхода в океан. Операция продумана с немецкой пунктуальностью — нельзя предупредить только случайности. Первым напоролся форштевнем на скалистую банку «Лютцов». Вслед за крейсером полезли килями на «сахарные головы» три миноносца сразу («Ганс Лоди», «Карл Галстер» и «Редер»). Это никак не входило в немецкую программу. Казалось, что, перекрывая сцену, вдруг рухнул тяжелый занавес.

— Но игра продолжается, — почти не огорчился Шнивинд. — Информация об авариях достигнет англичан лишь дней через пять, никак не раньше, а за это время мы успеем все обтяпать...

Теперь уже *пять* подлодок тянулись в нефтяном шлейфе PQ-17, но атаковать караван было немыслимо: идеально гладкое море сразу же выдавало белую косынку буруна, возникавшего от движения поднятого перископа. Конвойные суда пресекали любую попытку гитлеровских субмарин сблизиться для атаки. Англичане методично проводили контрольное бомбометание, и взрывы глубинных бомб отпугивали немцев, заодно вселяя бодрость в сердца союзных матросов.

. . . .

Вскоре немцы, по словам англичан, нанесли каравану первый «визит вежливости». Когда из розовой дымки вырвался самолет, неся под пузом торпеду, обхваченную когтями бугелей, американцы не сразу поняли, что это противник, — настолько они его не ждали! Сверхсрочнослужащий старшина-артиллерист со знанием дела поучал лопоухих резервистов:

— Вот появился и первый русский самолет. Нас встречают!

Когти самолета разжались, выпуская в море торпеду.

— Вот он посылает нам подарок от «дядюшки Джо»... [1]

На британских кораблях в исступлении уже трещали «эрликоны», изрыгая массу огня в небо, но и это не смутило опытного сверхсрочнослужащего:

— Все ясно: мы приветствуем русских салютом...

Увидев, что под водой уже рыскает узкое хищное тело торпеды, резервисты разбежались, как зайцы, оставив своего наставника в полном обалдении. Осознав, что надо делать, он кинулся к своей пушке, срывая с нее чехлы... «Визит вежливости» был краток. Караван остался цел, а немцы потеряли один самолет. Но разведчик, словно подвешенный к небу, все еще

[1] «Дядюшка Джо» — так в США во время войны называли И. В. Сталина.

гудел за облаками. Хамильтон, державший свой флаг на крейсере «Лондон», передал на эсминцы сопровождения Брума:

— Судя по всему, вас навестил дилетант-любитель. Вслед за ним следует ожидать опытных профессионалов.

Крейсера прикрытия ходили в отдалении острыми галсами, иногда спускались по меридиану к югу, срезая курс каравана, потом снова отбегали назад — в затишье черных полярных вод, где липкий туман окутывал их борта.

Ближе к ночи немцы засекли с воздуха присутствие крейсеров Хамильтона, и в Берлине, обдумывая возникшую ситуацию, временно задержали выход «Тирпитца» на океанские коммуникации...

Караван PQ-17 вступал в новые сутки — 4 июля, когда США празднуют День независимости. На американских кораблях в эту ночь опять подпольно слушали берлинское радиовещание. Лорд Хау-Хау, вроде бы сочувствуя американским матросам, говорил даже мягко, с душевной тоской в голосе:

— Я ведь предупреждал вас, ребята, чтобы вы не совались не в свои дела. Германия воюет с большевиками — и вы нам просто мешаете! Однако вы меня не послушались, теперь можете пенять на себя. Завтра по случаю праздника независимости мы устроим для вас веселые танцы с бесплатной музыкой!

...Ну, ладно. Посмотрим.

День независимости

Где-то слева остался Шпицберген, пробитый метелями и стрельбой диверсантов, справа — незримо — проплыл Медвежий, о котором даже лоция ничего доброго не скажет.

Крейсера Хамильтона, уже рассекреченные противником, теперь следовали в 10 милях впереди по курсу конвоя. На флагманском «Лондоне» была укреплена фальшивая труба, делавшая его похожим надали на линкор «Дюк-оф-Йорк», но даже эта заманчивая цель не соблазняла сегодня немецких мародеров — им было важно уничтожить *груз*... Потому что потеря груза отражалась на делах восточного фронта, на делах армии Паулюса, вступающей в битву за Сталинград.

. . . .

Всю ночь шли в тумане, волоча за кормами сигнальные буи, чтобы идущие в кильватере суда не наседали на передних. И всю ночь в небе ровно гудели немецкие самолеты, словно где-то роились шмели. Была ночь, повторяю, хотя над океаном светило солнце, блеск которого был разжижен плотным туманом. Никто ничего не понял — откуда и как, но вдруг над кораблями пронеслась молчаливая *тень*...

Выключив моторы, торпедоносец бесшумно спланировал на караван, и только у самой воды взревевшие моторы резко дернули его вперед. Торпеда проскочила несколько рядов кораблей, не найдя себе цели, пока не врезалась в американский «либерти» по имени «Кр. Ньюпорт». Удар! Упругий толчок вяз-

кого воздуха. Из пробоины выбило купол пламени — так, словно раскрылся красный парашют. И повалил дым...

— Что у вас за шум? — спрашивал Хамильтон с крейсеров.

— Одному янки не повезло, — отвечал Брум с эсминцев сопровождения. — Но он, кажется, заколдован и не тонет.

— Добейте его, — велели с крейсеров...

Англичане быстро сняли пострадавших. На некоторых были отличные выходные костюмы и чистые белые сорочки с аккуратно завязанными галстуками. Со спасательного судна англичане кричали американцам, державшим тяжелые чемоданы:

— Чемоданы — за борт! Еще чего не хватало...

Когда «Кр. Ньюпорт» получил от союзников торпеду, он только вздрогнул, будто не понимая, за что его бьют свои же, но тонуть не пожелал. Тогда англичане оставили его на волю божию и кинулись нагонять караван. Когда они ушли, из глубин выскочила немецкая подводная лодка «U-255». Приглушенно мурлыкая дизелями, словно сытая кошка возле миски со сметаной, субмарина обошла покинутый корабль по кругу. Немцы записали название судна, его тоннаж, прикинули на глаз, сколько груза на его палубе, потом аккуратно всадили в него третью торпеду. После чего «U-255» дала радиограмму о своей «геройской» победе, — гитлеровские подводники всегда славились фальсификацией фактов (недаром же «папа Дениц» проверял их работу по сводкам Би-би-си)...

Свергая за борт контейнеры, «Кр. Ньюпорт» нехотя расставался с жизнью.

. . . .

До этого караван шел строго на восток, но в 16.45 он развернулся на норд-ост (45° по компасу) — ближе к паковым льдам. Радисты с PQ-17 постоянно ощущали присутствие противника, не вылезавшего из-под облаков. Там, в поднебесье, сейчас творились какие-то загадочные дела. Над мачтами кораблей ветер трепал флаги сигнала: «Воздушная атака неминуема». Аэростаты поднимались все выше. Боевая тревога, объявленная еще с полуночи, держала прислугу на ногах. Измотанные до предела, с глазами красными, словно в лицо им плеснули кислотой, англичане из-под плоских блинчатых касок вглядывались в небо.

— Кажется, нас уже сажают на сундук мертвеца, — говорили они. — Этот чертов туман! Из-за него нам будет не упредить противника заранее...

Вдруг словно лопнула потаенная пружина. Все закружилось в вихре беспорядочного огня. Динамики корабельных трансляций колотило под мостиками, и они извергали над морем все то, что люди видели или чувствовали.

— Четкий пеленг на кормовых углах... Внимание!

— Насчитал одиннадцать... Летят над «Карлтоном».

— О, господь бог! Их уже двадцать... прямо сюда...

— Ребята, не пора ли просить прибавки к жалованью?

— К черту! Посмотрите, что творится по носу...
— Хэлло, на «Уэйнрайте»! Вы довольны праздником?
Американский эсминец «Уэйнрайт», открыв огонь, пошел навстречу торпедоносцам. Самолеты прорвали полосу тумана и дыма — в лицо германским пилотам брызнули яркое солнце и смерч огня. Не выдержав резких контрастов боя, летчики еще издали положили торпеды на воду. Доблестный «Уэйнрайт», выскочивший далеко вперед, оказался в центре хоровода множества торпед, шнырявших вокруг него, словно акулы возле кашалота. Над американцами со звоном лопнул фюзеляж одного торпедоносца, и это отрезвило пилотов — они отвернули назад. Но своей атакой с носа каравана они отвлекли внимание людей от обстановки на кормовых углах, а там...
Сразу 24 торпедоносца прорвались к каравану. Это были новейшие «Хе-111», из-под фюзеляжей которых неслись на корабли торпеды. С бреющего полета, в плюмажах рассыпчатой пены, срезаемой ветром, стервятники точной фалангой врезались в караван с кормы.
Когда на тебя, прямо в твою грудь, летит вражеский самолет с торпедой, а в раскаленном клюве его клокочет яркая точка огня и когда кажется, что все пули устремлены только в тебя, — вот тогда наводчику, которому осталось жить мгновенье, надо собрать свою волю в комок, привести врага в скрещение нитей прицела, и тогда... Допустим, ты не успел! Тогда над тобой (уже мертвым) с воем, истребляя на корабле все живое, несется черная тень смерти, и ты, наводчик, будешь отвечать за все — даже за то, что ты погиб раньше, нежели твой автомат успел заговорить: пом-пом-пом... пом-пом-пом!
Навстречу плотному огню кораблей самолеты выстреливали острые пучки трасс, убивая и калеча людей на палубах зажигательными пулями, горевшими еще в полете. Всюду разлетались стекла рубок, жестоко раня лица, выкалывая осколками глаза. Торпедоносцы мчались над самой водой — прямо между бортов кораблей, будто их несло вдоль неоконченных коридоров...
Грохот. Треск. Звон. Крики. Вой моторов.
С площадок стрельбы, будто с заводского конвейера, так и сметало в море сверкающую лавину отстрелянных гильз. Из растворенных ворот контейнеров гулко ухали танки. Это был парадокс войны — танки, плывущие в океане, били (и куда?) по самолетам! Торпедоносцы летели почти вровень с мостиками, и по ним стреляли сейчас из всего, что приспособлено для стрельбы, — даже фальшфейерами, которые красочно, но бессильно разбивались о кабины пилотов.
А под водой, отблескивая металлом, неслись торпеды, и теперь множество пушек и автоматов уставились за борт, силясь поразить уже не самолеты, сбросившие смерть, а сами капсулы смерти, в которых заключено полтонны тротила. Трассы перепутались в воздухе, будто разноцветная пряжа. Наводчики уже плохо ориентировались в этом безумном пекле. Часто переводя

огонь слева направо (или сверху вниз), они стали задевать свои же корабли, переранив немало моряков на палубах...

Раздался взрыв! Это американский «Хупер» получил в борт сразу две штуки, и машина корабля, разнесенная в куски, с облаком пара, вырвала кверху всю палубу... Нет, этих немцев не остановишь так просто — они воевать умеют.

Еще удар! На этот раз по английскому транспорту...

Где-то полетели за борт плоты и чемоданы. Казалось, прошло немного времени, а между колоннами кораблей уже плавали люди. Их было много, но спасать их было некогда... Англичане остались верны себе, и один из них, уже тонущий, все же успел пошутить:

— Эй, штурман! — крикнул он на проходящее судно. — Брось сюда карту. Я хочу посмотреть, долго ли мне плыть до Москвы...

Советский теплоход «Донбасс»[1] замыкал третью колонну ордера. Он попал в самую гущу боя. Кажется, нашим морякам удалось свалить один самолет, второй полоснули из пулеметов так, что вряд ли он дотянул до берега. Но торпеда уже шла на них, серебря воду газом, — «Донбасс» умудрился отвернуть. Только отвернули — пошла на них вторая (на циркуляции). Она, кажется, даже задела корму, но ее тут же отбросило к черту работой винтов, а там — в кипении — она кувырнулась, быстро затонув.

«Пронесло!» — раздался вздох облегчения на «Донбассе»...

«Донбасс», сам уйдя от смерти, тут же стал подхватывать из воды тонущих моряков-американцев. Очутившись на палубе советского корабля, спасенные сразу же включились в общую работу.

В этот момент раздался еще один взрыв...

— «Азербайджан»! — закричали на палубах «Донбасса». — Братцы, нашего долбанули...

. . . .

Командир американского эсминца «Уэйнрайт» сообщал своему командованию: «Сначала русский танкер был охвачен пламенем высотой около 60 метров, потом пламя быстро погасло, и над танкером взвились клубы дыма и пара». Английский историк дописывает эту сцену: «Тяжелое орудие в носовой части танкера, укомплектованное исключительно *женщинами*, продолжало вести огонь в направлении немецких самолетов».

Мощный заряд вырвал кусок борта, изнутри пораженного танкера началось бурное извержение чего-то тягучего и маслянистого. «Азербайджан» по инерции еще двигался вперед, медленно вылезая из облака дыма, пара и копоти, сверху на него

[1] Капитаном «Донбасса» был М. И. Павлов (умер в 1958 г.). У его вдовы О. Т. Павловой в Ленинграде хранятся рейсовые отчеты мужа об участии в караванах PQ и выдержки из вахтенных журналов. За мужество М. И. Павлов был награжден советскими и английскими орденами.

падали обломки... Потом машина отказала, и он замер, окруженный каким-то подозрительным веществом, вытекающим из его пробоины. Союзный тральщик подходил к нему с опаской — каждую минуту море вокруг корабля могло вспыхнуть[1]. Орудия англичан были уже наготове, чтобы разом покончить с танкером, который теперь будет только задерживать остальных на курсе.

Но «Азербайджан» не стал снимать с борта команду и не дал эсминцу расстрелять себя.

С мостика «Азербайджана», усиленный мегафоном, послышался не очень-то дипломатичный окрик:

— Пошли к чертовой матери! В помощи не нуждаемся...

Наведенные прямо на тебя орудия — это, конечно, не «помощь», но сейчас было некогда выбирать слова. На PQ-17 повторилось почти то же, что случилось и на PQ-16 со «Старым большевиком»: «Азербайджан», залатав пробоину пластырем, укрепил изнутри борта подпорами, привел в действие помпы, контуженные взрывом торпеды, откачал из отсеков грязную воду и... продолжил свой путь! Флагман конвоя скоро принял с него сигнал:

«№ 52. Занимаю свое место в ордере»..,

Немцы отвязались от каравана около 20.30, и понемногу все стихло. Был резкий перепад, словно быстрая смена атмосферных давлений, — от гвалта и стрельбы к удивительной тишине. Англичане, не покидая боевых постов, уже стали пить чай. Корабли PQ-17 поравнялись с немецким «хейнкелем», который, лежа на воде, корчился в едком бензиновом пламени. На его крыле спасался знаменитый ас Ганнеман, возглавлявший нападение торпедоносцев. Он имел на своем личном счету 50 000 тонн потопленного тоннажа противника, и смерти ему, как и всем людям, не хотелось... Но ни один из кораблей не задержался, чтобы подобрать его. Даже спасательные суда, замыкавшие строй, прошли мимо, осыпая любимца Геринга свистом, проклятьями и плевками...

Жалеть ли нам этого фашиста?

Нет, не надо жалеть!

Пусть он тонет вместе с пылающим самолетом.

Испытав страшное потрясение, потеряв корабли и команды, караван PQ-17 снова ложился на генеральный курс.

Сталинград! — вот та конечная пристань, на которую должны быть свалены важные стратегические грузы.

Издалека еще слышалась частая стрельба: это англичане добивали раненые транспорты, которые держались на волне, не желая умирать во мраке бездны... Если бы корабли умели плакать, они бы, кажется, сейчас рыдали!

. . . .

[1] Опасения англичан были напрасны — «Азербайджан» имел в своих «танках» льняное масло, в те времена — стратегическое сырье для производства красителей.

В общем-то ничего страшного не произошло. Люди отлично понимали, на что они идут, трогаясь в рейс по маршруту PQ-17. Война есть война, это всегда испытание мужества риском, и без потерь на войне не обойтись. А потому караван настойчиво стремился к далекой цели.

PQ-17, конечно, пришел бы к нам, как пришли до него другие караваны. Пусть с потерями, все равно бы пришел!

Но...

Судьба каравана PQ-17 была решена в «цитадели».

«Цитадель»

В общих чертах все то таинственное, что происходило тогда в преисподней Британского адмиралтейства, сейчас уже стало известно. Пока это не акварель, это лишь сухо очерченный абрис, но и по этому наброску можно догадаться, как замышлялась общая картина...

Расчеты курсов противника, запасы его топлива, соотношение скоростей между «Тирпитцем» и кораблями сопровождения «Тирпитца» — все это указывало, что германская эскадра даже в штормовых условиях способна настичь караван PQ-17 примерно к двум часам ночи следующего дня (то есть уже 5 июля).

Штурманский циркуль легко шагает по картам...

— Сэр! Конвой PQ-17 сейчас находится от советского порта Архангельск на расстоянии восьмисот миль.

Восемьсот морских миль — это примерно 1500 километров.

— Я спущусь в «цитадель», — сказал Дадли Паунд, поднимаясь с места легко, как мальчик. — Если мы не решимся сейчас, то к ночи будет поздно...

(«Не делай этого, Дадли!» Ох, не делай этого, Дадли!)

Кажется, роковое решение было им уже принято. Более того, Дадли Паунд успел заручиться поддержкой своего кумира — Черчилля, которого неизменно боготворил. Между тем часы Британского адмиралтейства показывали как раз 20.30 — то самое время, когда PQ-17 успешно отбился от атак немецких торпедоносцев.

Бетонные ступени уводили Паунда с верхних этажей Уайтхолла в подземные катакомбы того же Уайтхолла, наполненные тайнами минувшей войны, которые англичане не любят раскрывать.

. . . .

На глубине 30 метров, под наплывом стали и бетона, затаилась легендарная *цитадель* — средоточие всей информации о противнике, центр обработки всех данных обстановки на море. Сразу же отметим, как истину, что сидящие в «цитадели» люди даром хлеба никогда не ели — они свое дело отлично знали!

Сейчас в эту бессонную обитель, где круглосуточно царило мозговое напряжение мужчин и женщин, решавших замыслы врага как шахматные задачи, спустился Дадли Паунд. Узким подземным коридором, освещенным корабельными плафонами,

он сначала прошел в кабинет слежения за надводными кораблями противника, где начальствовал капитан 1-го ранга Дэннинг.

Разговор между Паундом и Дэннингом напоминал хождение по канату: казалось, одно неосторожное слово способно нарушить выверенную балансировку.

Первый вопрос лорда, естественно, был таков:

— Вышел ли «Тирпитц» в море?

— Если бы он вышел, — сказал Дэннинг, — мы бы знали об этом не позже чем через шесть часов после его выхода в море.

Возникла пауза. Паунд задал второй вопрос:

— А можете ли вы быть уверены в том, что «Тирпитц» все еще находится в Альтен-фьорде?

Разведка, как бы она ни была хороша, все-таки не способна на моментальные ответы. Дэннинг знал, что его тайные агенты в Норвегии начнут давать информацию не тогда, когда «Тирпитц» стоит на якоре, а лишь тогда, когда «Тирпитц» начнет выбирать якоря. Примерно в таком духе он и отвечал первому морскому лорду... Дадли Паунд соорудил третий каверзный вопрос:

— Можете ли вы, по крайней мере, сказать мне точно — готов или не готов «Тирпитц» к выходу в море?

Конечно, на такой вопрос могли бы ответить только немецкие офицеры, сидящие сейчас в штурманской рубке самого «Тирпитца»... Дэннинг тщательно продумал свой ответ:

— Я могу сказать одно, что «Тирпитц» в ближайшие часы в море не вылезет. Прежде линкора должны выйти эсминцы, чтобы прочесать район предстоящего маршрута «Тирпитца», чтобы разогнать наши подводные лодки, которые там встретятся. Но донесений об этом не поступало...

Последнюю фразу Дэннинга можно было (при желании!) истолковать и таким образом: мол, «Тирпитц» в море все-таки вышел, а подводные лодки его прохлопали. В районе Альтен-фьорда существовал еще заслон из советских подлодок, однако об их присутствии на позиции, кажется, не было сказано ни слова. «Не делай этого, Дадли!» миновал коридор и очутился в громадном кабинете подводной обстановки, который возглавлял бывший адвокат Роджер Уинн. Можно было подумать, что офицеры с длинными киями в руках играют здесь в биллиард. Но громадный стол посреди бункера был застлан не зеленым сукном, а картой морского театра, заставленной фишками — синими, красными, белыми. Каждая из них означала немецкую подводную лодку, а цвет фишки указывал способ, которым она была обнаружена, — по радиопеленгу, гидроакустическим контактам или просто визуально. От этих фишек тянулись карандашные стрелы курсов, проложенные по способу «логической дедукции»: Уинн за годы войны настолько изучил повадки Деница, что курсы лодок, только предполагаемые, зачастую точно совпадали с действительными. Стены этого кабинета укра-

шали внушающие ужас диаграммы быстрого развития подводного флота Германии (ужас заключался в том, что Германия успевала строить подлодки быстрее, нежели их успевали топить)...

— Ну, что у вас хорошего, Уинн? — спросил Паунд.

Они обошли вокруг «биллиарда». От южной Исландии до Архангельска были вколоты в карту булавки, а между ними натянулась эластичная нить, наглядно указывая путь каравана PQ-17. Кончик длинной указки в руке Уинна коснулся нити чуть севернее острова Надежды, и нить затрепетала, как струна.

— Сейчас *они* здесь, — сказал Уинн.

Паунд спросил его о подводной обстановке. Едва глянув на свой «биллиард», Уинн с красноречием адвоката мог сразу же дать оценку подводной угрозы на сегодня, на завтра, через неделю... На этот раз он отвечал кратко и озабоченно:

— Подводная обстановка в Баренцевом море напряженная.

— Вы говорите, Уинн, она напряженная?

— Точнее — *угрожающая...* Караван PQ-17 вступает в район, буквально кишащий подводными лодками противника.

Дадли Паунд выбрался из душной «цитадели» на свежий воздух и созвал в своем кабинете совещание. Угроза подводных атак — да, она существовала, но ведь никто из разведки не сказал ему, что «Тирпитц» вышел в океан. Однако все дальнейшее строилось на рыхлом песке умозаключений первого лорда, что линкор вот-вот начнет ломать кости его кораблям.

Паунд отбросил мешавший ему циркуль.

— PQ-17 не может отступить в плотные льды, а спуститься в южном направлении — значит угодить прямо в объятия Редера. Требуется срочное решение. Нам надо спешить...

Английский историк пишет:

> *«Паунд принимал свое окончательное решение, находясь почти в мелодраматической позе. Первый морской лорд откинулся на спинку кожаного кресла и закрыл глаза — неизменная поза для многозначительной паузы во время принятия трудного решения. Его пальцы крепко сжали подлокотники кресла, а выражение лица, которое казалось больным и утомленным, стало мирным и сосредоточенным...»*

В этот момент один офицер штаба, настроенный весьма критически, шепнул сотрудникам Адмиралтейства:

— Если это правда, что обстановка требует срочного решения, то нашему «папе», наверное, не следовало бы засыпать.

Паунд вдруг выкинул вперед руку, притягивая к себе чистые бланки для заполнения их радиограммами.

— Конвой PQ-17 еще можно спасти, — заговорил он. — Это мое, только мое решение, и я его принимаю: PQ-17 *должен рассредоточиться!*

Адмирал флота Н. Г. Кузнецов пишет:

> *«Следует заметить, что в глубокой ошибочности и надуманности этого убеждения не сомневался ни один из ближайших сотрудников Паунда».*

Это сущая правда! Когда перед Паундом лежали бланки радиоприказов по флоту, все офицеры Адмиралтейства говорили ему совершенно серьезно:

— Не делай этого, Дадли!

Но Дадли *сделал*. В его руках сейчас была та сила, которая способна через океан дотянуться до каравана PQ-17 и сломать ему хребет.

Блаженны люди, плывущие в море и не знающие, что ждет их!

. . . .

Караван PQ-17 в этот момент находился *вне зоны действия советских кораблей, и обо всем, что дальше произойдет, командование Северного флота оповещено союзниками не было...*

Гитлеровский гросс-адмирал Редер выкинул сейчас перед англичанами свой главный козырь — «Тирпитц»!

За резким силуэтом «Тирпитца» лорды Уайтхолла увидели колеблющийся во мраке призрак «Бисмарка». Страх (иначе не назовешь!) был приведен в действие.

Блестящий маневр Англии

В нефтяных «ямах» крейсеров ближнего прикрытия оставалось топлива еще на целые сутки движения по курсу PQ-17, после чего подразумевался их отход; дальше караван поведут эсминцы Брума и суда эскорта, а в секретной точке рандеву советские корабли подхватят эстафету охраны.

Караван теперь представлял великолепное зрелище: после торпедной атаки с воздуха и гибели кораблей транспорты опять сплотились в порядке походного ордера, хотя некоторые из них еще *горели*.

Но они — *шли*. Они шли к цели.

И они пойдут к гибели, когда их настигнут слова:

«Командиру эскорта,
командующему флотом метрополии —
от Адмиралтейства.
Ввиду угрозы со стороны
надводных кораблей противника
необходимо рассредоточиться...»

. . . .

Контр-адмирал Хамильтон наспех закусывает бутербродом у стойки. В руке его, украшенной тоненьким колечком, дрожит в бокале подогретая к ужину мадера. Репитер лага, выведенный в салон, показывает устойчивую скорость в 12 узлов. Через раздраенный иллюминатор, пузырем вздувая бархат штор, рвется упругий ветер полярного океана, от которого молодеют даже старики адмиралы...

— Что у вас там? — спрашивает Хамильтон рассыльного.

— Из Уайтхолла, сэр... от первого лорда, сэр!

Крейсер под брейд-вымпелом Хамильтона круто ложится на борт в противолодочном зигзаге: со стола летят тарелки, море

брызжет почти радостно внутрь корабля, словно ликует... Вот и текст на розовой бумаге радиоквитанции: «Секретно. Весьма срочно. Крейсерам на полной скорости отойти...»

На лице Хамильтона недоумение.

— Не понимаю, — говорит он офицерам. — Дадли наш очумел: он приказывает нам бросить корабли каравана и, не трясясь над топливом, срочно разворачиваться на вест... Такое категорическое решение может быть вызвано только одним: «Тирпитц» вылез в океан и назревает побоище вроде Ютландской битвы.

Но, кажется, Хамильтон решил помедлить. Более того, чувствуется, что адмирал не склонен исполнять этот приказ.

Хамильтон неуверенно говорит в телефон:

— Пост расшифровки? Старшина Форстер, если он там, пусть зайдет прямо в третий буфет... Да, без церемоний!

Появляется пожилой моряк службы корабельной пехоты. Под его рыжими бутсами квасится ворс офицерского ковра. Он разглядывает старинные пищали, митральезы и мушкеты, развешанные на переборках, что отделаны под «птичий глаз».

— Старшина Форстер, вы опытный дешифровщик...

«Что это — вопрос адмирала или утверждение?»

— Про меня все так говорят, сэр, — отвечает Форстер.

— И вы никогда не ошибались, дружище?

— Не имею такой дурной привычки, сэр.

— И даже в этом... тоже нет ошибки?

Форстер смотрит на квитанцию шифровки, подсунутую к самому его носу. Палуба крейсера летит из-под ног влево — старшина животом упирается в стол. Затем палуба отлетает вправо — старшина наваливается спиной на пиллерс. Нет, такого парня не свалить ни на допросе, ни в качке.

— Я не ошибся, сэр, — упрямо заявляет он, глядя в лицо адмирала, и Хамильтон отпускает его:

— Иначе и быть не могло, Форстер... Напомните мне после похода, чтобы я поблагодарил вас.

Дешифровщик ушел, почти обиженный.

Королевская мадера еще стыла в бокале.

Адмирал посмотрел на часы — поздновато.

— Может, Дадли в Лондоне, глядя на ночь, выпил как следует?

Крейсер еще лежит на зигзаге. Волна кладет его на борт, и стрелки кренометров отдыхают у конца градусной шкалы. Ровно в 21.25 по Гринвичу радиорубка конвойного лидера стала принимать вторую шифровку от Д. Паунда. В ней было сказано: «Конвою строй рассеять... транспортам самостоятельно плыть к русским портам». Отходящим на запад кораблям охранения было приказано развить максимальную скорость.

— Не понимаю, — бормотал Хамильтон, — я не понимаю... Неужели возникшая угроза столь велика?..

Через 10 минут Дадли Паунд снова возник над караваном PQ-17 — как незримый, но требовательный дух. Лорд напо-

мнил: «С четвертого июля конвой должен быть раздроблен». Если сэр Хамильтон и другие высшие офицеры еще могли связать этот поспешный отход на запад с предстоящим сражением с «Тирпитцем», то младшие офицеры были просто ошарашены. Они рассуждали так:

— Обычно нам, конвойным, всегда дается возможность для любой, самой смелой интерпретации высших приказов. Мы, конвойные, выполняя волю первого лорда, все-таки имеем право делать отклонения от приказов... В данном же случае Уайтхолл выразился столь непререкаемо, что никак нельзя уклониться от исполнения!

Роковое решение Уайтхолла входило в силу, и сэр Хамильтон велел на крейсера — *к повороту!* Крейсерское прикрытие, словно гарцуя в королевском манеже, исполнительно отвернуло на 180°. Но этим дело не кончилось...

Брум считал, что если крейсера спешат в битву, то его эсминцам сопровождения ничего не остается, как рвануть следом за ними, ибо линкоры и крейсера, конечно, хороши, но эсминцы в бою с «Тирпитцем» тоже не подкачают. К английским эсминцам примкнули и американские, как младшие братья, не желавшие в драке отставать от старших. Британский офицер наблюдения оставил нам запись: «Уэйнрайт» приближается к нам на очень высокой скорости с уверенным и щеголеватым видом (это похоже на американцев!). Вода буквально закипает под его форштевнем».

С палуб транспортов за всей этой судорогой поспешного отхода наблюдали вконец обалделые люди.

— Куда удираете?! — доносило оттуда выкрики. — Дезертиры... сволочи... лунатики... Или затряслись ваши шкуры на погаиых скелетах? Вернитесь... Где ваша доблесть?

Брум с чистой совестью оповестил караван, что, судя по всему, ожидается хорошая потасовка с противником, а вы должны извинить нас за то, что покидаем вас в такой неприятный момент. На кораблях боевого эскорта уже поверили в необходимость отхода: Уайтхоллу, конечно же, лучше известна обстановка... Нервное напряжение офицеров передалось и матросам — без приказа они готовили оружие к битве. Корабли шли форсированным ходом, безжалостно пережигая в котлах многие тонны горючего. Крейсера, не жалея своих форштевней, дробили перед собой массу серых неряшливых льдов. Верткие эсминцы мчались за ними, как гончие по следу крупного зверя, и Хамильтон стал даже побаиваться столкновения. «Не наваливайтесь нам на корму», — передал он Бруму.

Они покидали караван на скорости в 25 узлов. А это такая приличная скорость, которая хороша в двух случаях: когда надо кого-либо догнать или надо от кого-то поскорей смыться.

С борта американской «Тускалузы» наивно запрашивали своих земляков: «Интересно, за что мы будем получать ордена?» Резкими и точными вспышками прожектора «Уиччита» дала честный ответ: «А черт его знает!..»

Внезапно появясь из тумана, немецкая подлодка едва успела принять балласт для ныряния, и над ней, ошалевшей от испуга, с ревом и грохотом, словно она попала под виадук с проходящим экспрессом, стремительно прокатил на запад длиннющий киль флагманского крейсера «Лондон»...

Этот лихой отход крейсеров и эсминцев тактически был проделан блестяще! Но этим никого ие удивишь: англичане всегда умели маневрировать на морях и океанах...

Главное заключалось не в этом.

. . . .

Великолепная и четкая организация конвоя PQ-17 была разрушена из Лондона в считанные минуты.

Распадение конвоя PQ-17 закончилось к 22.00 (по Гринвичу) в точке 76°00′ северной широты и 28°00′ восточной долготы.

Иначе говоря, немного к юго-востоку от Шпицбергена!

От этой точки до берегов Новой Земли было около 600 миль, а до Архангельска 800... Морские же мили — это не сухопутные километры: каждая миля содержит в себе 1852 метра.

Корабли нехотя расползались в стороны, и один очевидец пишет, что сейчас они больше всего напоминали побитых собак с поджатыми между ног хвостами.

Спасайся кто может!

Это было настолько дико и невероятно, что покинутые сначала даже не могли полностью осознать того, что случилось. *Одни в океане!* И слышались наивные вопросы, которые могут задавать только вконец растерянные люди:

— А как же мы? Что же будет теперь с нами?..

Тревогу команд легко понять. Эскорт бросил их ко всем чертям как раз в том районе, откуда начиналась традиционная полоса всех несчастий: именно здесь начинали всегда активно действовать авиация и подлодки противника. Приказ плыть самим, одиночным порядком, без охранения, самостоятельными курсами, — этот приказ был расшифрован матросами коротко и до предела ясно:

— Спасайся каждый как может...

Идти в одиночку... Но, спрашивается, *как* идти? На многих судах не было гирокомпасов, а стояли только магнитные, которые в полярных широтах очень точно показывают, в каком году бабушка капитана вышла замуж. Кое у кого сдали нервы: они начали спускать шлюпки, ибо им казалось, что в шлюпках немцы их не тронут... Один американский сухогруз вдруг сильно задымил, набирая скорость, и стал разворачиваться назад. Он прошел мимо судов каравана.

— Эй! Куда торопитесь? — окликнули его с палуб.

— Обратно... в Исландию!

На его мачте, словно поганое помело, развевалось полотнище флага, которое по Международному своду означало: *«Признаю безоговорочную капитуляцию»*. Ну, эти струсили. Даже денег

за риск не пожелали. Дней через пять, если не нарвутся на мину, они будут сидеть в пивных Рейкьявика и тискать баб. Черт с ними. Но как остальные?..

Стройность походного ордера была уже потеряна. Каждый шел как его душе угодно. Устремлялись по трем направлениям сразу — на Мурманск, к Новой Земле и в Горло, чтобы выйти к Архангельску. Одни сразу набирали обороты, чтобы — поскорее, поскорее, поскорее! А другие экономничали на топливе с самого начала. В действиях кораблей проявлялся характер людей, плывущих на них...

— Ну что ж! Нас бросили, предав, и предали нас, бросив.

В руках многих уже раскрылись Евангелия.

Теперь осталось уповать только на волю божию...

А на кораблях каравана, чтобы увеличить скорость, уже сбивали стопора с клапанов аварийности. Если раньше считалось, что корабль может дать максимум 13 узлов, то теперь, сорвав заводские пломбы на стопорах, механики выжимали из машин 15 узлов. Это был активный расчет человеческой психики: лучше взлететь на своих котлах, нежели ждать, когда в борт тебе немцы засобачат торпеду.

Неразбериха продолжалась... Им приказали рассредоточиться, но корабли по привычке тянулись друг к другу, боясь пустынности моря и страшного одиночества в беде. Слабый, естественно, старался примкнуть своим бортом к борту сильного. Но в жестокой борьбе за жизнь сильный не всегда вставал на защиту слабого. Идущие без дыма старались держаться подальше от кораблей дымивших. Между вчерашними соседями в ордере велась усиленная переписка по радио и семафору:

— Прошу разрешения присоединиться к вам.

— А какова ваша скорость, дружище?

— Обещаем идти на одиннадцати узлах.

— А у нас пятнадцать. Всего вам доброго...

Белея высоким мостиком, прошел и «Винстон-Саллем», гудя турбинами. При виде его сердце Сварта словно оборвалось.

— Эй, ребята! — заорал он в отчаянии. — Если вы почесали к дому, возьмите и меня с собой...

— Не дури, приятель! — отвечали ему оттуда. — Мы до первого русского порта...

Брэнгвин, стоя у руля, сказал штурману:

— Я жду, сэр.

Растерянный и подавленный, штурман отозвался:

— Нет, что ни говори, а улицу в Нью-Йорке переходить все-таки не так уж опасно... А чего вы ждете от меня, Брэнгвин?

— Мне нужен точный курс, сэр.

— Ах, да... верно. А какой у вас сейчас?

— Никакого! Вот сейчас на румбе сто восемнадцать... Устраивает?

— Ну, так и держите. Потом мы что-либо придумаем. Лишь бы двигаться. Как вы думаете, Брэнгвин, проскочим или нет?

— Если не будем дураками, сэр, — отвечал ему Брэнгвин.—

Я недаром не люблю эти плавающие казармы. После линкоров всегда много пустых консервных банок, но толку от них не дождешься! Будем держаться курса к Новой Земле, хотя, между нами говоря, сэр, я не думаю, чтобы на скалах там было написано «Добро пожаловать!». Мне кажется, я перестану вибрировать, когда в Архангельске поднесу к губам первый стаканчик... «Ты жив, бродяга Брэнгвин!» — скажу я тогда себе и закушу чем-нибудь солененьким.

Он даже стал насвистывать, словно бросая вызов судьбе.

— Эй, — раздался снизу голос капитана, — какая сволочь насвистывает нам беду на мостике? Увижу — дам в морду...

— Не обращайте внимания, — посочувствовал штурман. — Вы же знаете, какой у нас кэп невоспитанный человек... Между нами говоря, он не умеет вести корабль в море. А жаргон его — это жаргон речника. Я подозреваю, что он взят конторой из принципа — хоть кота, если нет собаки... Не повернуть ли нам к норду?

— Зачем? — ответил Брэнгвин. — У нас курс в Россию, не будем вилять кормушкой слева направо... *Проскочим!*

Ночь они шли хорошо. Утром повстречали в океане советский транспорт «Донбасс». С палубы корабля им долго махали, что-то крича, американцы, спасенные русскими. Они, эти американцы, так и остались на борту советского транспорта. Забегая несколько вперед, сразу скажу: они останутся в живых.

. . . .

Впрочем, из-за чего вся эта паника? Ведь крейсера и эсминцы ушли, оставив в охранении 12 судов конвойного типа. Кодекс военно-морской чести обязывал их сражаться с противником до тех пор, пока не опустеет последняя кассета с последней обоймой, пока палуба не уйдет из-под ног в море. Однако этот параграф кодекса был нарушен самим флагманом эскорта. Сначала он велел судам ПЛО и ПВО плыть самостоятельно, но, осознав, что сам остается в рискованном одиночестве, флагман тут же приказал им сомкнуться и конвоировать в Архангельск не транспорты, а лично его — флагмана! Обладая преимуществом в скорости, суда боевого прикрытия скрывались за горизонтом, получая «под хвост» залпы оскорблений от радистов покинутых ими кораблей:

— Эй вы, грязные писсуары с Пиккадили, снимите ордена, если они у вас имеются! Желаем вам свернуть свои дряблые шеи раньше, чем немцы сделают это с вами...

К чести моряков Англии, в конвое нашлись экипажи, до конца разделившие общую участь каравана. Но таких кораблей было немного. Незакатное полярное солнце освещало картину общего развала конвоя, еще вчера идущего в нерушимом ордере.

Утром немцы поняли, что теперь им бояться нечего. Первым был взорван английский транспорт «Эмпайр Байрон» с грузом танков. Он тонул, словно утюг, а из нижних отсеков наружу прорывало сдавленные вопли и рыдания — это уходили на грунт

заживо погребенные, которым внутри корабля было никак не раздраить люков. Люди с «Байрона» прыгали за борт — иные, вскрикнув, тут же умирали от разрыва сердца, не выдержав резкого охлаждения, но мертвецы в надувных жилетах плавали вместе с живыми. Среди них выскочила из воды рубка субмарины, покрашенная столь искусно, что издали ее можно было принять за подтаявший айсберг. Высокий блондин, сопровождаемый матросом в блестящих крагах и с автоматом в руках, спустился на палубу подводной лодки и стал кричать на английских моряков: «Почему вы участвуете в этой войне? Зачем рискуете своей жизнью, доставляя танки проклятым большевикам? Кто у вас здесь капитан?..»

Капитана никто не выдал. Немцы удовольствовались тем, что забрали из воды инструктора по вождению танков типа «Черчилль», и снова погрузились.

После англичан был торпедирован американский транспорт «Карлтон». Обожженные при взрыве янки облепили понтоны, тут же производя перекличку команды, чтобы выяснить имена погибших. Понтоны сбились в кучу, а вокруг них долго кружила на циркуляции неисправная торпеда с подлодки. Круги, сначала широкие, становились все уже и уже. Один здоровенный негр схватил весло и заорал на торпеду в исступлении:

— Сейчас же прекрати свои дурацкие фокусы! Если ты станешь приставать и дальше, я тресну тебя веслом по рылу...

Кажется, бедняга принял торпеду за акулу. Или просто не знал, что на кончике «рыла» расположена самая опасная штука — детонатор! Выпустив облако зловонных газов, торпеда затонула, но зато рядом, в бурлении моря, производя шум лопающимися пузырями воздуха, всплыла подводная лодка. Американцы, уже наслышавшись о нравах немецких подводников, горохом посыпались с понтонов обратно — в обжигающую стужу, боясь, что их расстреляют из пулеметов. Но субмарина, лениво расталкивая обломки и чемоданы команды «Карлтона», медленно растворилась в дымке полярного утра.

— Не стоит задерживаться, — говорили немецкие подводники, — у нас еще очень много работы сегодня...

Качаясь на понтонах, американские моряки могли думать о своей судьбе что угодно, но они никак не предполагали, что впереди их ждет концлагерь и что многие из них еще будут завидовать тем, которые не отозвались на перекличке...

Разгром покинутого PQ-17 уже начался!

. . . .

Невольно напрашивается вопрос: «Что это? Стратегическая ошибка?»

Но решение всех спорных вопросов мы относим к концу нашей книги. Сейчас же вперед, только вперед — за кораблями... Нельзя терять времени. Надо спешить.

...«Тирпитц» выдвигается на передний край войны.

И он вышел

Вся иелепость н подлинный трагизм возникшей в океаие снтуации заключалнсь в том, что «Тирпитц» и его эскадра еще тихонько подымливали на якориой стоянке в Альтеи-фьорде... «Цнтадель» получила известие об этом примерио часа через два после того, как из подземелья выбрался Дадли Паунд, решивший, что «Тирпитц» на полных оборотах винтов устремляется для разгрома коммуникацнй.

Приказ о спешном отводе крейсеров застал линейиые силы Дж. Товея на расстоянии 230 миль от караваиа, западнее острова Медвежнй.

Адмирал Дж. Товей все же предложил Паунду увести за собой обратно в Исландию и корабли каравана, но Пауид ие согласился. Решеиия первого лорда остались в силе даже тогда, когда оперативная разведка англичан выясинла, что эскадра противннка в море еще не вышла... Утащнв за собой шлейфы бурого дыма, линкоры потонули за горизонтом. Касаясь бортами воды, иа высоких скоростях — курсом вест — отходили крейсера н эсминцы.

Из этого видно, что Уайтхолл не хотел исправить совершеиную им ошибку. Наоборот, ошибка утверждалась как иечто неоспоримое. Отиыие только подразумевалось, что PQ-17 находится иа пути в русскне порты, — в Уайтхолле уже никто не вернл в его существоваиие.

. . . .

С океаиа летел мощиый поток информации, причем подводные лодки, почуяв себя хозяевами положения, разболтались в эфнре как никогда. Сначала они отметили замешательство в судах конвоя, потом был зафнксирован резкий отворот иа запад крейсеров и эсминцев. Немцам еще не все поиятно в этом поспешном отходе боевых сил противника, но зато им стало понятно, что «большая дорога» для разбоя открыта... Шиивинд едва успевал проглатывать обильнейшую информацию.

Вернулась с моря и воздушная разведка.

— Конвой рассеялся полностью, — доложили Шнивииду.

Адмирал смолчал.

— Туман тоже рассеялся... полностью.

Шнивннд рассмеялся, как игрок, которому подвалила козырная карта. За окном норвежского коттеджа светило полярное солнце, совсем не круглое. Расплавленным металлом оно заливало весь небосклон. И оно будет светить... еще целый месяц!

Шнивинд сделал выводы. Для себя. Вся нгра отиыие в его руках. Караваи остался беззащитеи, одии, заброшеи далеко в океане, и этим снимался вся ответственность перед Гитлером за сохранность линкора и крейсеров...

— В чем дело? — засмеялся Шнивинд опять. — Отлично!

Еще никогда германский флот ие нмел такой выигрышной обстановки иа море. Английский историк пишет, что «на немецкнх тяжелых кораблях не было ни одного человека, который

не считал бы теперь, что иад ними *взошла благоприятная заря надежды!*». Сейчас в зиойиом Берлиие гросс-адмирал Редер все еще обмусоливал со ставкой Гитлера вопрос о выведеиии «Тирпитца» иа коммуиикации, а решительиый Шиивинд уже велел выбирать якоря... «Тирпитц» имел право на выход только с «личного одобрения фюрера», но увереиность Шнивинда в успехе «Хода конем» была столь велика, что он решил больше ие ждать, когда в Берлиие «закоичат трепаться».

Разгром PQ-17 планировался иа полдеиь 6 июля.

Операция «Ход коием» вступила в законную снлу.

Точиее — в незакониую, ибо Редер в Берлиие, когда узиал о выходе ликора, схватился за седые виски:

— Как он смел вывести «Тирпитц» без одобрения фюрера? Ведь теперь, случись иеудача... *головы покатятся!*

Но ликор, пронося свою гигаитскую массу в промежностях шхер и фнордов, по «трамвайиым путям» фарватеров уже стремился в открытый океан, и Редеру иичего ие оставалось, как послать вдогоику Шиивииду строгое напоминаиие: «ЕСЛИ ОБСТАНОВКА СОМНИТЕЛЬНА — БЕЗ КОЛЕБАНИЙ ПРЕКРАЩАЙТЕ ОПЕРАЦИЮ». Германская эскадра с ловкостью прожнмалась через тесные «чулкн» проливов, свежий ветер трепал мрачные штаидарты флагмана...

«Тирпитц» вышел!

Кто его остановит?

5 июля 1942 года.

Время — 16.33.

Курс — 182°...

Сметаинн сдвинул иаушники на виски, доложил на вахту:

— Справа по носу... пеленг... стучат винты!

«К-21» на экономическом режиме моторов шла под водой (погружеиие было необходимо для отдыха комаиды).

Командирскую вахту в рубке иес офицер Ф. И. Лукьяиов.

— Говоришь, стучат? Сейчас проверим...

Мотор бесшумно подал перископ наверх. Откииуты в стороны рукояти наведення. В мутной пелене брызг и солеиой накипи моря двигались, хорошо видимые, две подводные лодки.

— Комаидира в пост! Перед иами — цель: две «иемки»...

Луиии шагал в пост с кормы. В самом теплом электроотсеке на широких спинах моторов спали продрогшие на вахтах сигнальщики. На днзелях, еще не остывших, была развешана мокрая одежда. Луиин проскакивал в узкие лазы. Бесшумно открывались и закрывались за иим двери. Тревога объявлеиа еще ие была...

— Перед нами — две «немки», — доложил Лукьянов, когда Лунин вошел в секцию поста, жужжавшую и поющую аппаратурой.

— Словам ие верю. Покажи...

Лукьяиов уступил ему место возле перископа. Луиии прнль-

нул к окулярам. Сначала ему тоже казалось, что он видит выставленные из воды рубки вражеских подлодок. Они медленно передвигались. И постепенно выступали из моря... выше, выше, выше!

— Это не лодки, — сказал Лунин, выпрямляясь. — Это КДП эсминцев типа «Карл Галстер», которые идут в строе уступа... Убедись сам!

Лукьянов посмотрел: верно, командно-дальномерные посты миноносцев (КДП), упрятанные в обтекаемые башни и высоко поднятые над рубками, теперь вырастали над морем... выше, выше, выше. Через минуту стали видны ажурные переплеты мостиков.

— Убедился? — спросил его Лунин.

— Так точно.

— В чем?

— Земля поката...

Время было 17.12, когда Лунин коротко объявил:

— Приготовиться к торпедной атаке!

Акустик «К-21» матрос Сметанин обнаружил гитлеровскую эскадру еще за 12 миль (почти за 20 километров). Теперь начиналось неизбежное сближение с нею. Шли минуты...

— Шум усиливается, — доложил Сметанин.

Лунин сказал:

— Эсминцы здесь не ягоды собирают. Очевидно, вслед за ними следует ожидать прохода других кораблей — более серьезных...

В 17.20 мотор снова подал перископ на поверхность моря. Николай Александрович, прищурясь, спросил Лукьянова:

— Помощник, хочешь глянуть?

Лукьянов присел возле перископа, мягкая каучуковая оправа окуляров почти с нежностью облегла его лицо.

— «Адмирал Шеер»! — определил он по силуэту.

— А ты как думал... он самый. А за «Шеером»... видишь? Лукьянов крутанул рукояти перископа.

— *Сам* «Тирпитц», —произнес тихо, словно не веря.

Перископ был опущен [1].

— Хорошо, что мы не польстились на эсминцы, — сказал Лунин. — По малому бить — только кулаки расшибешь. Будем готовить атаку на «Тирпитц». А сначала нырнем под эсминцы!

«К-21», прорвав охранение, прошла под днищами вражеских миноносцев, сближаясь с линкором. Шум могучих винтов, сотрясавших сейчас пучину, слышал на подлодке теперь не только акустик, — эти ревущие содрогания бронзы и воды, взорванной вращением лопастей, слышали теперь все на подводном крейсере. Суеты не было. Сработавшийся экипаж не нуждается в командах. Люди четко выполняют все то, что от них требуется. Но они еще не знают, *кто там,* наверху?..

[1] В охранении «Тирпитца» шел и «Хиппер», но с подлодки «К-21» этот тяжелый крейсер замечен не был.

Перископ снова воздет над баламутью океана.

— Во, черт бы их всех побрал! — выругался Лунин.

— Что там, Николай Александрович?

— Идут на зигзаге. На очень сложном и несимметричном, галсируя постоянно. Нам будет трудно рассчитать углы атаки...

Носовые торпедные аппараты уже готовы к залпу.

— Прекрасно, — заметил Лунин. — Будем выстреливать из носовых. Там как раз лежат шесть штук, изготовленные на крупную дичь... Комиссар! — позвал Лунин.

— Есть! — Лысов тронул пилотку на голове.

— Пройдись по отсекам. Скажи ребятам, что мы атакуем «Тирпитц»... Скажи, что *идем прямо на флагмана!* Сейчас будем наводить хаидру на Гитлера... Ясно?

— Есть. — И комиссар уполз в круглую люковину поста.

— Начнем работать, — произнес Лунин, склоняясь над планшетом для расчета боевой атаки.

Было 17.36, когда Сметанин доложил ему:

— Пеленг меняется... эскадра переходит на другой курс.

Там, наверху, совершали поворот на норд-вест. «К-21» пришла на контркурс с линкором. Все внимание Лунина сосредоточено было только на «Тирпитце»:

— К повороту... упустить его нельзя. Мне только он... только он нужен сейчас... на других я плевать хотел!

Воля командира, бесстрашие подводника, анализ математика, расчет геометра, сноровка практичного, ловкого человека — немало качеств надо проявить сейчас, чтобы выйти (только выйти) на дистанцию торпедного залпа.

— Еще раз гляну! — сказал Лунин, поднимая перископ.

Пятнадцать раз был поднят над океаном всевидящий глаз крейсера. Это был страшный, гибельный, но оправданный риск! Ведь поднятый перископ реял сейчас над морем, сигналя врагу белой косынкой предательского буруна... *Пятнадцать* раз в голове Лунина складывались, подвергались критике и отшлифовывались, как алмаз, алгебраические расчеты атаки.

— Ну, кажется, готовы, — передохнул он. — Вперед... на двух моторах. Будем выходить на пистолетную дистанцию.

— Это верняк, — кивнул Лукьянов.

— Не хвали, они могут еще отвернуть. Ты же сам видел, какие они там кренделя выписывают...

Лунин откачнулся от перископа:

— Все! Самое трудное позади. А выстрелить и дурак сумеет!

...Для Лунина и команды его «К-21» сейчас из-за борта «Тирпитца» вставали судьбы кораблей каравана PQ-17!

. . . .

По стволам шахт бесшумно скользили электролифты.

В артпогребах «Тирпитца» на мягких манильских матах дремали громадные — в обхват человека — заряды главного калибра.

А вот и он сам, этот калибр: задернутые от брызг чехлами,

настороженно досыпали свой мрачный сон перед пробуждением боя крупповские громилы башен.

В адмиральском салоне «Тирпитца» — покойный полумрак, лампы-бра отражают инкрустации переборок, тихо бренчит хрусталь в буфетах. Электрокамины отбрасывают лживый свет (эрзац настоящего огня) на полированную обшивку.

Золотые ножны кортика колотятся по бедру адмирала. Руки его, когда-то молодые, теперь испещрены венами усталости от этой жизни. Под ладонями нежно скользит бархат поручней салонного трапа. Еще трап. Опять трап... Этим трапам не будет конца. Тяжелая заслонка бронированной двери пропускает адмирала, гулко бахая за его спиной, тут же задраенная. Автомат, щелкнув, включает свет в рубках...

— Следующий поворот — все вдруг! — следует приказ. — Кильватер ломать, корабли — в пеленг. И галс менять снова...

...Лунин отдал бы всю свою жизнь — лишь бы слышать сейчас эти слова. Но только рев винтов, только содрогание брони — больше ничего не слышит пучина.

. . . .

— Курсовой пятьдесят пять, — напомнил Сметанин.

— А до залпа всего три минуты, — подсказал Лукьянов.

Напряжение на «К-21» достигло предела. Еще никогда лодки Северного флота не сталкивались с таким противником, еще никогда атака не проходила с таким невероятным риском. Эскадра над ними все прослушивает через «нибелунги», она все просматривает через зеркальные «чечевицы» оптики... «Неужели командир опять пойдет на риск и поднимет перископ?»

— Да, подниму, — сказал Лунин.

Он потом благословлял этот священный риск.

Через панораму перископа Лунин увидел воздетые над мачтами «Тирпитца» громадные полотнища флагов — сигнал флагмана к общему повороту всей эскадре... Лунин чуть не застонал:

— Опять поворот... все вдруг! Только бы не влево, — взмолился он, — только бы не влево. Иначе они уйдут от нас...

В центральном посту воцарилась страшная тишина. Что наверху? Куда они повернут сейчас?

— А сколько до «Тирпитца»? — спросил Лукьянов.

— Примерно сорок пять кабельтовых, стрелять уже можно...

Океан гудел от ударов лопастей винтов. Инженер-механик В. Ю. Браман стоял в этот момент между Луниным и сверхсрочником Соловьем, управлявшим горизонтальными рулями; он вспоминал потом: «Я заметил, что у боцмана лодки мичмана Соловья как-то подергиваются плечи, я положил ему руку на плечо и почувствовал, что мичмана бьет мелкий озноб. Понемногу боцман успокоился... Не боится ведь только тот, кто ничего не понимает в окружающей обстановке или круглый дурак».

— Погляжу на этих поганцев снова, — сказал Лунин.

Перископ вынырнул наверх, и лицо командира прояснилось:

— Слава богу, оин отвериули вправо...

Одиако после поворота подлодка «К-21» оказалась *внутри* гитлеровской эскадры. Как вспоминали очевидцы, Луннн при этом сказал:

— Попали мы, ребята, в самую середину собачьей свадьбы. «Тирпнтц» стал еще ближе к нам... Моторы — иа полный!

Но теперь — после поворота — под ударом носовых труб «К-21» оказался «Адмирал Шеер».

«Тирпитц» попадал под удар только кормовых аппаратов.

— А все-такн я тебя атакую! — страстио воскликнул Лунин, и, в азарте сорвав с себя «шапку-невидимку», он шмякнул ее себе под ноги...

Подводный крейсер, тнхо гудя моторами, скользил длинным корпусом иа глубине, сблнжаясь с флагманом Гнтлера.

Нужио быстрое решение, и оно было найдено:

— Носовым — отбой... Кормовые — товсь!

Там — в корме — не шесть торпед.

Там — только четыре.

Но выбирать уже поздно.

Надо стрелять иемедля.

«Сразу село напряжеиие сети освещеиия. Лампочки светились красиоватым светом, завнбрировало ограждение рубки и палубная иадстройка» — так вспоминал В. Ю. Браман об этом моменте, когда подводиый крейсер разворачивался для стрельбы из кормовых труб...

— Залп четырьмя... с интервалом в четыре секуиды... Дистанция до «Тирпитца» была 17 кабельтовых.

Часы в рубках показывали 18.01...

Четырежды крейсер пружиниисто качнуло иа залпах:

— ...первая — вышла!

— ...вторая — вышла!

— ...третья — вышла!

— ...четвертая — вышла!

Турбонасосы тут же подавали воду в цистерны, чтобы возместить на лодке утрачеиную тяжесть торпедного веса.

Луиии посмотрел на своих товарищей. Тронул себя за бороду, отросшую за время похода, и скомандовал резко:

— Ныряй!

. . . .

Спокойио, не поннмая тревог человеческой жнзни, стучал секундомер. Его дело простое — отсчитывать краткие мгновения тех велнких дел, которые творятся людьми... Минута, вторая, н теперь иа «К-21» все стали волноваться.

Лукьяиов сказал:

— Мимо... Ох, боже ты мой, неужели же мимо?

Подводиый крейсер на полных оборотах уходнл прочь.

Прошло 2 мннуты н 15 секуид, когда рвануло первый раз. Рваиуло еще... Лукьянов в счастье закрыл лицо руками.

Луиин чего-то ждал, посматривая на своего акустнка.

Сметаиин же смотрел на своего командира.

— Шум удаляется, — сказал он между прочим.

И вдруг море загудело от продолжительного взрыва.

— Включи опять! — крикнул Лунин штурману, и тот мгновенно включил секундомер.

Гул взрыва (а точнее — серия взрывов) продолжался целых двадцать секунд... Это было даже не совсем понятно на лодке.

Затем последовали еще два отдельных взрыва. «Особенно хорошо они были слышны электрикам, находившимся в аккумуляторных «ямах», где не было посторонних источников шума...»

. . . .

В 19.09 подлодка всплыла. Океан был пустынен.

«Русским морякам (по словам адмирала Макарова) лучше всего удаются предприятия невыполнимые...»

Победители

Через три дня хроника ТАСС сделала важное сообщение:

«В Баренцевом море одна из наших подводных лодок атаковала новейший немецкий линкор «Тирпиц», попала в него двумя торпедами и нанесла линкору серьезные повреждения» [1].

Авиаразведка Северного флота засекла «Тирпиц» спустя сутки после лунинской атаки. Под сильным конвоем, таясь под тенью норвежского берега, «Тирпиц» уходил... Он уходил совсем не в том направлении, в каком его ждали англичане, выставившие против него свои линейные силы. Отнюдь курс «Тирпица» не был и тем курсом, на котором он мог бы столкнуться с караваном PQ-17... Подозрительно малой была и скорость, с какой передвигался флагман гитлеровского флота!

Британский атташе контр-адмирал Фишер навестил Головко:

— Имею хорошую новость для вас и для вашего флота.

— Что-либо о караване PQ-17?

— Нет. Наша разведка установила, что немцы поставили «Тирпиц» *на ремонт*. А это наверняка прямой результат атаки вашего доблестного офицера Лунина.

— Могу дополнить, — отвечал Головко. — Атака Лунина поразила линкор в его уязвимые места, ибо, как свидетельствует наша авиаразведка, «Тирпиц» уже не бегает, он едва тащится...

. . . .

А в 2 часа дня 9 июля «К-21» уже подходила к причалам базы. Ее встретили здесь Головко и команды других подлодок. На пирсах блеснули медные тарелки оркестра. Завхоз Подплава держал под мышками двух румяных поросят, перевязанных ленточками (по традиции Северного флота победителям-подводникам обязательно полагался поросенок для застолья; две победы —

---

[1] Обратив внимание на это сообщение ТАСС, гитлеровская разведка докопалась, что отец Н. А. Лунина, старый слесарь-кораблестроитель, находится на территории оккупированного Ростова-на-Дону. Отец подводника — в расплату за «Тирпиц» — был публично повешен гестаповцами на городской площади.

два поросенка; три — так три поросенка!). Лунин издали показал завхозу палец

— Наш только один! — крикнул он с мостика.

— Один-то один, — отозвался завхоз, — да ведь гитлеровский флагман «Тирпитц» целого свинаринка стоит...

Ошвартовались, оглушенные оркестром и визгом поросят.

— А никудышная у тебя борода, — сказал Лунину командир бригады. — Скоси ты ее сразу, Коля...

Здесь они узнали, что «Тирпитц» и его эскадру, оказывается, встретила и английская подлодка «Аншейки», но ее командир Уэстмаккот от атаки уклонился. По традиции британского флота, «атака — частное дело командира». Частное всегда и останется только частным. Спорить тут не приходится: в каждой избушке свои игрушки...

Вскоре состоялось деловое свидание Лунина с командующим флотом. Вице-адмирал Головко умышленно вызвал подводника на откровенный разговор:

— Давайте, товарищ капитан второго ранга, разберемся во взрывах... Как вы мыслите себе этот каскад взрывов после атаки? Первые два по выпуске торпед — понятны. Вы угодили в «Тирпитц», в чем я нисколько не сомневаюсь. А... дальше?

Лунин сказал:

— Я и сам много думал об этом. Грохот третьего взрыва продолжался секунд тридцать, его явственно слышали в аккумуляторных «ямах». Он кажется мне странным, этот взрыв...

— Ну? И к какому же вы пришли выводу?

— Мое мнение таково, — отвечал Лунин адмиралу. — Вторая торпеда в «Тирпитц» не пошла. Один из германских эсминцев, когда увидел, чтó грозит линкору, принял торпеду на себя!

— Так. Дальше.

— Эсминец затонул. Глубинные же бомбы, видать, были установлены на дистанцию взрыва заранее. Когда тонущий эсминец достиг той глубины, которая была установлена минерами на взрывателях бомб, эти бомбы стали рваться на корме одна за другой. Отсюда и продолжительность очень сильного взрыва.

Они помолчали раздумывая.

— А было еще два взрыва потом? — напомнил Головко.

Лунин честно признался, что не понимает — или это последствия его попаданий, или грохот тех глубинных бомб, которые противник наугад швырнул за борт, желая если не поразить, то хотя бы отпугнуть его «К-21» от линкора...

Арсений Григорьевич впоследствии записывал:

> *«Не слишком ли поторопилось Британское адмиралтейство с приказом английским миноносцам бросить караван?.. На фоне таких действий атака, произведенная «К-21», особенно выделяется смелостью, скажу больше — героизмом наших людей, и думаю, что не ошибусь, если определю заранее дальнейшее поведение Британского адмиралтейства в данном случае. Не сомневаюсь, что английское командование*

предпримет всяческие попытки умалить значение и результативность атаки, ибо приказ Британского адмиралтейства (о расформировании конвоя PQ-17. — В. П.) поставил моряков английских эскортных кораблей в очень неприятное и ложное положение...»

Лунин и команда его героической «К-21» четырьмя залпами из кормовых труб сорвали не только планы Гитлера, Редера и Шнивинда — заодно они спутали карты и в той авантюрной игре, которую повели сейчас некоторые из англичан.

Последствия

Как выяснилось после войны, противнику удалось перехватить и расшифровать то радиодонесение в Полярное, которое послал Лунин в свой штаб, сообщив точные координаты «Тирпитца». Немцы перехватили и донесение английской лодки «Аншейкн», пропустившей «Тирпитц» мимо себя. Вслед за этим Уайтхолл объявил германскому флоту «электронную войну». Мощные глушительные установки, о силе которых немцы еще не догадывались, расстроили работу немецких радиостанций, связь Берлина с Норвегией прервалась.

«Тирпитц» тоже попал под удар «электронных бомб»: его рация заглохла на рабочих частотах, а из паники хаотических звуков, загромождавших эфир, словно мусором загородную свалку, радисты немецкого флагмана сумели выудить лишь два страшных префикса, которые Редер адресовал Шнивинду, — это были секретные сочетания: КР-КР... Они означали, что «Ход конем» безнадежно провалился. Впрочем, Шнивинд и сам понимал это...

Высокопарные разговоры фюрера о «дорогих игрушках» закончились обычным утверждением Гитлера, что дальнейший риск с линкорами недопустим, и «Тирпитц» закончил свою жизнь на унизительном приколе, ремонтируясь в узком «чулке» Ко-фьорда, который является ответвлением гигантского Альтен-фьорда.

Результат лунинской атаки превзошел все ожидания: «Тирпитц» в дальнейшем оказывал на Северном театре лишь моральное воздействие на своих противников, а в океан он вылез только однажды — для обстрела угольных шахт Шпицбергена. Но он еще продолжал воздействовать на английский флот как неустраненная угроза, которая в любой момент способна из потенциальной перерасти в угрозу ощутимо материальную. Далее, на протяжении двух лет все попытки британцев сводились к уничтожению «Тирпитца», причем попытки эти были весьма хитроумны.

Англичане построили малюсенькие подлодки, которые моряки называли блохами. В ночь на 23 сентября 1942 года эти «блохи» покусали «Тирпитц», когда он дремал на приколе в

теснине между скалами (от взрыва торпеды была нарушена центровка гребных валов). А вскоре Home Fleet'y удалось расправиться в открытом бою с другим немецким линкором — «Шарнхорст». Битва во мраке полярной ночи, почти целиком построенная на технике радиолокации, разыгралась в зоне Северного флота; англичане уходили в бой из нашей бухты Ваенга, туда же и вернулись после победы. Свидетелями этой беспримерной дуэли вроде секундантов были наши подлодки, причем «К-21» снова выходила в атаку...

Искусанный «блохами» линкор «Тирпитц» перетащился в Тромсе, где его поставили на мелководье. Рефулеры намыли под гигантом насыпи песка, чтобы он не перевернулся. Но теперь за флагманом Гитлера следили глаза норвежцев — героев Сопротивления, активно сотрудничавших с нашей разведкой[1]. Северный флот взял на себя обеспечение «челночной» операции по уничтожению «Тирпитца». Для англичан прибыли из США особые фугаски «Block Buster» (весом каждая около шести тонн). Сорок один британский самолет типа «ланкастер» поднялся с аэродрома Архангельска, чтобы приземлиться уже в Лондоне. В середине своего маршрута, пролетая над Тромсе, «ланкастеры» своими фугасками разделали «Тирпитц» с небес как бог черепаху. Фашистский флагман все-таки перевернулся (!) кверху килем, и 1200 человек команды задохнулись в броневой коробке линкора, не в силах выбраться наружу из глубин его бездонных отсеков.

Это случилось уже осенью 1944 года.

. . . .

Однако сейчас еще год 1942-й, в пыли и жаре идут по Задонщине наши усталые солдаты, враг захватывает громадные территории нашей страны, а командование Северного флота ждет подхода к своим портам каравана PQ-17...

Вскоре вице-адмирал Головко обратил внимание, что британский атташе Фишер ведет себя как-то странно. При встрече он отводит глаза, краснеет... Да, да, он краснеет! Кажется, это не к лицу бывшему командиру линкора «Бархэм»... «Что же там у них могло случиться?» Впрочем, такое поведение союзников было для Головко не новостью: точно так же краснели они в феврале — после прорыва линейных сил Германии из Бреста.

«Неужели и сейчас что-то отмочили?» — думал Головко.

Пагубный приказ о рассредоточении судов PQ-17 до сведения штабов Полярного англичанами доведен еще не был. В эти дни четыре наших эсминца, вспарывая волну ножами форштевней, ушли далеко в блеск океана, чтобы встретить корабли

[1] В разгар «холодной войны» эти люди подвергались преследованиям властей как «коммунистические агенты», хотя они были только патриотами и, помогая СССР, ускоряли момент освобождения родины от оккупантов.

PQ-17. Котельные установки мощно ревели, содрогая теплые палубы, насыщая паром лопатки турбин. В развернутых на ветер вентиляторах бушевали ураганы горячих сквозняков. В щелканье указателей, в жужжащем хоре автоматов и визиров чуялась неусыпная готовность кораблей к бою — готовность № 1.

Но эти эсминцы никогда не встретят PQ-17...

Потому что этого каравана уже не было!

А кто виноват?

Утром 5 июля 1942 года контр-адмирала Джеффри Майлса, возглавлявшего военно-морскую британскую миссию в Москве, требовательно разбудили ради дела:

— Сэр! Получена копия странной радиограммы из Лондона...

Да, странной. Дадли Паунд отвел от PQ-17 силы прикрытия, и теперь караван образовал в океане неустойчивые группы кораблей, которые следуют без охраны. Освоить это сообщение было не так-то просто, и атташе снова завернулся в одеяло.

— Я должен выспаться, — заметил Майлс. — События слишком катастрофичны, и мне надо иметь свежую голову...

Но его тут же потревожили снова:

— Адмирал Алафузов просит вас прибыть в Главный морской штаб. Он предупреждает, что болен гриппом, но обстоятельства вынуждают его не откладывать разговора...

В. А. Алафузов во время войны занимал такой же пост, какой в Англии занимал первый лорд Адмиралтейства Дадли Паунд (каждый в своей стране возглавлял работу Главморштаба). Больной, с очень высокой температурой, Алафузов хриплым голосом сразу же завел речь о непонятном решении первого морского лорда.

— Расформировать конвой PQ-17... что это значит? — возмущался он. — Вы же моряк, Майлс, сами понимаете... Уйти на север корабли не могут, ибо там поджимает паковый лед, как стенка. Значит, корабли будут спускаться вниз по меридиану — как раз под удары немецкой авиации. Как найти объяснение этому абсурду?

Майлс пытался «смазать» вопрос, в основном упирая на то, что господин Алафузов, очевидно, введен в заблуждение. Но в руках советского «первого морского лорда» вдруг оказалась пачка свежайших квитанций с моря (это навело Майлса на мысль, что русские небезгрешны и служба радиоперехвата и расшифровки у них отлично налажена).

— Все это — сигналы бедствия ваших же кораблей! — резко заявил Алафузов. — Что тут можно отрицать? И что тут можно оправдать? Мы в Москве не понимаем ваших намерений. Будьте же так добры, срочно свяжитесь с сэром Паундом, чтобы он подробно информировал о сути всего происходящего с конвоем PQ-17... Народный комиссар флота адмирал Кузнецов ждет доклада от меня, а Сталин будет ждать, что ему скажет Кузнецов!

Через несколько дней состоялась холодная встреча Майлса с Кузнецовым, причем британский атташе не решился излагать ход событий так, как продиктовал ему Дадли Паунд, а прибег к маскировочному камуфляжу, явно сглаживая острые углы необъяснимых поступков Британского адмиралтейства... Кузнецов отправился на доклад к Сталину, который долго и сосредоточенно молчал. Затем спросил:

— А имелась ли необходимость прекратить конвоирование? Я ведь все-таки на флоте не служил и, может, чего-то не понимаю.

Нарком флота отвечал, что, насколько ему известно, серьезных причин к распадению каравана у англичан не было. Здравый человек не станет сам себе отрубать голову...

— Черт знает что там у них творится! — возмутился Сталин и пальцем примял в трубке свежий табак. — Я буду писать об этом безобразии Черчиллю, — сердито закончил он.

Об этом его письме — позже! Загадочная подоплека последних событий в океане еще не была известна в мире, и письмо Сталина к Черчиллю в дипломатических кругах сочли тогда неоправданно резким, почти *грубым*. Но теперь многие тайны Уайтхолла просвечены насквозь, словно рентгеном, и мнение Сталина о гигантской катастрофе выглядит даже слишком *мягким*...

. . . .

После войны в Лондоне вышла монография о линкоре «Тирпитц», где подробно изложен весь его путь.

Касаясь судьбы каравана PQ-17, автор монографии пишет:

> *«Это было отвратительное дело! Каждый чувствовал весь ужас того пути, на котором были брошены торговые суда, одинокие перед лицом угрозы со стороны воздушных и подводных сил противника...»*

Дело было действительно отвратительное...

Крейсера Хамильтона и эсминца Брума еще летели в сторону эскадры Дж. Товея на 25 узлах. Один из крейсеров нес на своей палубе обгорелый костяк германского самолета, врезавшегося в его надстройки, и среди обломков — никем не убран! — сидел за штурвалом, оскалив зубы, мертвый фашистский пилот.

Хамильтон многое понял за ужином, когда вестовой, обычно не раскрывающий рта, вдруг сказал со слезами в голосе:

— Простите, сэр, но я думаю, что мы напрасно бросили этот несчастный караван. Боже, что с ним творят сейчас немцы!

Хамильтон полагал, что своим маневром на запад он увлекает за собой и «Тирпитц» с его эскадрой. Крейсера как бы наведут линкор Гитлера на линейные силы Товея, а тот — мастер своего дела! — как следует всыплет немцам из главного калибра башен. Каково же было адмиралу узнать, что Дадли

Паунд издал бессмысленный приказ! И никто за ними не гнался. А крейсера, по сути дела, дезертировали с позиции.

В кубриках было неспокойно: Матросы открыто обсуждали Уайтхолл, который, по их мнению, попросту велел им удирать от немцев... Ничуть не лучше было и самочувствие на эсминцах Брума, которые, закусив удила, галопом неслись за Хамильтоном, уверенные, что спешат в сражение. Известие, что «Тирпитца» нет в океане, повергло экипажи в состояние тяжелой депрессии. Брум поднес к лицу эбонитовый набалдашник радиотелефона связи TBS:

— Сэр, я вполне созрел для того, чтобы повеситься. Великий боже, что же мы натворили! Мои эсминцы будут счастливы броситься назад — к несчастному каравану PQ-17.

— Которого они уже никогда не найдут, — подавленно отвечал Хамильтон. — Очень жалею, что я не родился адмиралом Нельсоном, который побеждал только потому, что смолоду взял за правило поплевывать на все приказы из Уайтхолла...

Положение было безвыходным. Ведь случись так, что PQ-17 сохранился в целости, крейсера уже не могли вернуться к нему, ибо форсированный отход, похожий на бегство, истощил запасы их нефтяных «ям». Утром 6 июля Хамильтон и Брум настигли линейные силы Товея. Немецкая эскадра — после атаки Лунина — уже втянулась обратно в «чулки» фиордов, как щупальца осьминога, по которым больно ударили. Напрасно брошенные транспорты истошно призывали корабли Home Fleet'a вернуться для их защиты — они не пришли! Рядовые матросы боевых кораблей чувствовали себя предателями, но трагическая ситуация войны была решена заранее, и честные моряки — англичане и американцы — уже не могли спасти положение. Флот британской метрополии медленно разворачивался на «собственную спальню» его величества — на Скапа-Флоу! Гнев нижних палуб сочился через люки, достигая кают-компаний. Надо было что-то предпринимать, чтобы утихомирить матросов.

Хамильтон велел экипажу флагманского «Лондона» собраться на палубе. С микрофоном возле посеревших губ адмирал сначала предупредил: пусть все, что они услышат сейчас, здесь же, под флагом «Лондона», навсегда и останется.

— Очевидно, мы предали караван, но учтите, что нас тоже предали. Меня заставили исполнить то, чего нельзя было исполнять. Еще ни разу в жизни, — говорил Хамильтон, — я не выполнял приказа с таким нежеланием, как этот дикий приказ об отводе наших крейсеров. День четвертого июля — это черный день биографии британского флота. И моей биографии тоже! Я, как и вы, уверен, что, покидая караван, мы приносили жертву не богу войны, а дьяволу тайной политики. Я еще не во всем разобрался как следует, но чувствую, что виноват в этом один *большой дурак*, которому помогали его дураки-помощники.

Произнося свою речь перед матросамн, адмирал и сам поимал, что карьера его затрещала, как водонепроницаемые переборкн корабля, ломаемые давленнем океана. Хамнльтон не был другом Советского Союза, но, честный человек, он не мог молчать. В письмах к своей престарелой матерн адмирал давал выход гневу. Черчилль, по мнению Хамильтона, созиательно затягивает войну, ианося Англии вреда гораздо больше, нежели все немецкие подлодки, вместе взятые. Война — слишком жестокая вещь, и надо ее кончать скорее, а не заниматься бомбежками немецких детей н женщин...

...А теперь нам интересно — что скажут американцы?

. . . .

Они-то как раз взнрали на англичан почтнтельно — немного снизу вверх. Это плохо, когда много денег, но очень мало траднций. Правда, традицни — штука хорошая, но лучше бы англичаиам вместо староиных традиций иметь новейшую радиолокацию. Амернканцев раздражало еще и то, что их учителя очень много следят за противииком, однако было похоже, что следят не для боя с иим, а лишь затем, чтобы вовремя уклоиться от боя. По миеиию американцев, ие для того же в дии мира иещадно дерут иалоги на флот, чтобы в дии войны флот перекндывали с базы на базу, словио кучу старой гнилой картошки...

«Тускалуза» и «Уиччита» драпали от караваиа вслед за англичаиами, безропотио полагая, что в таком деле, как войиа на море, лучше всего подражать англичанам. Уж кто-кто, а они-то знают, что делают. Но матросы, почуяв неладное, стали дерзко задерживать на трапах офнцеров с вопросом:

— Сэр, мне хотелось бы зиать, куда мы так торопимся, словно у нас в буфетах кончается выпивка? Насколько я поимаю в этом деле, Россня находится на востоке, а тогда радн какой цели мы улепетываем в обратную сторону?

В такт содрогаииям корабельиых машии стучали и лииотипы крейсерских типографнй. Тираж за тиражом газеты внушали амернканским матросам, что нельзя думать, «будто у англичан кншка тонка», а «эти берлиискне ублюдкн еще у нас попляшут»... Накоиец иастал момеит, когда и до судовых редакций дошло, что караваи PQ-17 попросту брошен, как котенок, с которым поиграли — и хватнт! Офицеры заговорилн, что учиться воевать на море можно даже в том случае, если англнйские корабли будут следовать за кормою американцев. Если это и ошибка Уайтхолла, то оиа обошлась в 700 000 000 долларов. Две трети каравана шлн от берегов Амернки с американскими грузамн н под флагом США, а... что сделали англичане?

— Стыдно ие только перед теми, кто остался в океане. Стыдно и перед русскими. Там ведь было шестьсот танков. И самолеты! Москва в своих военных планах наверняка учла нх поступление. Теперь русские вправе спросить у иас: «А где обещаиный товар?»

Американский линкор «Вашингтон» оторвался от британской эскадры и самостоятельно пришел обратно в Рейкьявик. Здесь произошел случай, почти небывалый в истории американского флота. Большие мастера погулять и побушевать на берегу, американские матросы на этот раз отказались сойти на берег.

Вся команда — как один человек!

Это тебе не взвод, это тебе не рота... Когда 2500 человек (почти целая дивизия!) выстраивается на борту, выкрикивая проклятья в адрес командования, — это уже политическая демонстрация.

— Позор! — орали матросы. — Мы никуда не пойдем, с корабля, потому что *нам стыдно смотреть людям в глаза...*

Что бы там потом ни говорили политики, но эта бурная первичная реакция непосредственных участников событий лучше всего отражает идейную сущность отвратительного дела.

Об этой «сидячей забастовке» на линкоре «Вашингтон» рассказывается в упомянутой мною монографии о «Тирпитце».

В нашей стране об этом случае мало кто знает.

. . . .

Москва отказывалась понимать абсурдные решения Уайтхолла, но и в Берлине тоже не понимали всей «мудрости» маневров англичан, называя их «непостижимыми».

— Что происходит? — говорил Редер. — Может, распуская караван, англичане подстроили нам какую-то хитрую ловушку?

Но постепенно «непостижимое» решение раскрывалось немецкой разведкой: никакой ловушки здесь нет, PQ-17 рассыпался, теперь подходи и бей любой корабль на выбор... Склонные к анализу морские специалисты наконец пришли к «логическому» выводу:

— Теперь все ясно! Опытные в морских делах англичане никогда не допустили бы подобной глупости. Всей этой историей, надо полагать, заправляли американцы. Только эти красощекие дуралеи и могли придумать расформирование каравана. Ну уж теперь-то можно не сомневаться, что англичане не допустят американцев к управлению операциями на море...

Пропагандистская машина Германии работала в эти дни на полную мощность. Разгрому PQ-17 отводились первые полосы центральных газет, лорд Хау-Хау в программах радиовещания на Англию охрип от воплей восторга, берлинские кинокорреспонденты срочно вылетали на бомбардировщиках в океан, чтобы экранизировать из бомболюков страшные картины гибели кораблей.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЛЕДЯНАЯ КУПЕЛЬ

Мне хочется сказать слово благодарности тем тысячам и тысячам иностранных, главным образом английских и американских, моряков, которые приняли участие в северных конвоях...

Надо было обладать большим мужеством, решительностью, выносливостью, чтобы пускаться в такой путь...

Акад. И. М. Майский.
«Воспоминания советского посла»

Посвящается людям

Корабль тоиул, ио ие седел от ужаса. Груз разбивали бомбами, ио еще ни один коитейнер не вскрикнул от боли. Металл покрывался иием, ио бездушиое железо ие ощущало холода. Все страдаиия выпали на людскую долю... Тяжело было заканчивать вторую часть, но еще труднее приступать к последней.

«...*Итак, все было кончено*. Но пока люди будут сражаться в войнах и плавать на морях, проблема PQ-17 еще неоднократно будет всплывать самыми иесхожими путями. Трагедия PQ-17 всегда отыщет людей, увлеченных ею, н люди еще долго будут об этом спорить» — так писал аиглийский историк Дэвнд Вудворд.

На время забудем, чнтатель, о грузах (хотя летом 1942 года они для нас были крайие иеобходимы). Мы иачиииаем рассказ о людях, которые плыли с этими грузами. Картина разгрома PQ-17 слишком коитрастиа — тут всего хватало в избытке: трусости и бравады, паиики, отчаяния и холодного ожесточения боя. Но, даже поверженный н разбитый, сквозь взрывы торпед и бомб, сквозь злорадное бахвальство Геббельса, сквозь адское пекло пожаров, захлебываясь водой и мазутом, обмороженный и обгорелый, караван PQ-17 все-таки идет к нам.

А корабли ие плывут сами — их опять-такн ведут людн.

Людям и посвящаем эту последнюю часть!

. . . .

Удивительнее всех повел себя тральщик «Айршир» — одии из немиогих, кто остался при исполнении союзиого долга. В момент распадения каравана, ие поддавшнсь общей суматохе, он пошел на север, склоняясь к западным румбам, — туда, где смыкались арктические льды. А попутно законвоировал три траиспорта, приказав им повиноваться. Командир тральщика, лейтеиаит Грэдуэлл, до войны был адвокатом, а помощник его — присяжным поверенным. Этн два юрнста оказались отчаяиными моряками... «Айршир» полез сам (и повел за собой других) прямо в массы плотного льда, где их могло раздавить

в лепешку, но зато немцам не пришло бы в голову искать их именно здесь. В малярках были собраны все белила, корабли срочно перекрасили в белый цвет. Сбросив давление в котлах и не дымя трубами, четыре судна затихли среди ледяной пустыни, а пушки танков, стоявших на палубах, они развернули в сторону моря. Сами в эфир не выходили, но эфир держали под наблюдением. Би-би-си о делах каравана помалкивала (сигналы SOS, летевшие с океана, сами по себе были достаточно красноречивы), зато отзвуки берлинских фанфар достигали и полярного безмолвия. Если верить Геббельсу, то выходило так, будто от PQ-17 остались рожки да ножки. Грэдуэлл понимал, что в радиосводках Берлина немалая доля истины, и критическое время разбоя на «большой дороге» он решил переждать. Потом корабли выломали себя из ледяных заторов и благополучно достигли Новой Земли, где на берегу матросов атаковали местные собаки. На крыльцо барака метеостанции выбежала русская женщина в ватнике и, призвав псов к порядку, долго допытывалась у англичан — кто они такие и чего им здесь надобно? Вступив в тесный контакт с местными властями, военными и гражданскими, преодолев массу трудностей, Грэдуэлл сумел сохранить все три корабля, которые и разгрузились в Архангельске.

Но одним из первых прорвался к Архангельску героический «Донбасс» под командованием М. И. Павлова. Советские моряки шли напролом, решив не жаться к скалам Новой Земли, возле которых немцы уже опустили плотную завесу своих подводных лодок. Им повезло, но зато повезло и тем американским морякам с потопленного «Д. Моргана», которых «Донбасс» подхватил из воды. Янки были сильно изнурены пережитым, но, попив чаю, они самым охотнейшим образом заняли боевые места у носовой пушки. «Вскоре Павлов имел случай выразить американцам искреннюю благодарность: одиночный «юнкерс» дважды пытался атаковать танкер... Снаряд, посланный американскими артиллеристами, разорвался столь близко от самолета, что тот сразу выскочил из пикирования!» Этот самолет не дотянул до аэродромов Норвегии, пропав безвестно, а «Донбасс» подал швартовы на причалы Архангельска. Михаила Ивановича, благо он был первым с моря, сразу же вызвали к высокому начальству.

— Ну, что там? — спросили капитана.

Павлов провел ладонью ото лба к подбородку, словно желая смахнуть липкую паутину какого-то кошмарного сна.

— Там... каша, — сказал кэп. — Нас бросили! Если и дойдет кораблей пять, так и на том спасибо.

Но это все исключения — другим так не повезло...

. . . .

Перед Северным флотом постепенно вырисовывалась ужасная истина, которую до сих пор союзники скрывали. Теперь надо было спасать то, что еще можно спасти... *Флот!* Что ты можешь сделать сейчас, флот? Ведь перед тобой бушуют, ка-

чая мертвецов и вздымая обломки кораблей, громадные просторы — от Шпицбергена до Канина Носа. Все свободные самолеты были брошены иа поискн транспортов. Эсмиицы по четыре раза насквозь прошли все Бареицево море — от баз до кромки льда и обратио.

Радиостанция Севериого флота круглосуточно ощупывала эфнр. Но иад океаном нависало тяжкое, безысходное молчаиие — корабли PQ-17 боялись обиаружить себя. Служба радиоперехвата противника только н ждала треска морзянки, чтобы по пелеигу навести иа «заговорнвшего» свон подлодкн н самолеты.

Но иногда кораблям терять уже было нечего. И тогда эфир взрывался в каскаде жалоб, призывов, надежд и мольбы: «Торпедирован... погружаюсь с креном... шлюпки разбнты... меня обстреливают... Спасите чем можете и кто может!»

А потом снова наступало молчанне, которое ужаснее любых самых страшных слов.

Волки и овцы

Волчья стая действует умно и жестоко. Она выходит иа большую дорогу, а вожак, забегая вперед, выслеживает добычу. Вот добыча показалась, и тогда вожак созывает своих товарнщей. Именно этот звериный прииципп был положен Деницем в основу тактнкн по разгрому караванов на море, отсюда же н название этой тактики — «волчья стая»!

Пользуясь выигрышем в скорости, «волкн» старалнсь за ночь обогнать транспорт на дизелях, а на рассвете онн шли под воду, спокойно выжидая, когда цель сама придет в пересеченне нитей перископа... Такой способ атакн у немцев назывался «кабинетной атакой»!

Операция «Ход коием» вступнла в свою решающую фазу; вдогоику «волчьим стаям» Дениц послал нз Лориана свое обычное традициоииое напутствие: «Преследуйте! Атакуйте! Топите всех!»

Агония беззащитиых кораблей н людей, плывущих на них, была ужасна, и пусть она послужит укором мертвецов совести тех, кто допустил это неслыханиое предательство!

. . . .

— Их сразу два, — сказал Ральф Зеггерс. — Один под британским, другой — под флагом Штатов... Собачий холод, мои руки не могут выносить этого.

Пальцы иа перчатках Зеггерса были отрезаны, как у торговок, чтобы иа морозе пересчитывать моиеты. Он подул на замерзшие пальцы и снова повел перископ вдоль горнзонта.

— Можно даже всплыть... Онн же как овцы сейчас! Без пастуха и без овчарок...

— Не советую. На «либертн» установлены «эрлнконы», — сказал штурмаи и крнкнул коку, чтобы им заварили кофе покрепче.

Зеггерс гляиул на счетчик лага: винт толкал сейчас лодку на скорости в восемь узлов, н при этом онн шлн, не отставая от траиспортов (скорости противников были равнозиачны).

— Ладно, — решил он. — Одну вколотим... Курсы у нас параллельны, лишь возьму упреждение. Тут не надо даже тригоиометрии, будь она проклята... Носовой аппарат, можио открывать заслоикн... Левой трубой... одиу... внимание... пли!

Глухо булькнув, вся в пузырях воздуха, обильно смазанная тавотом, торпеда пошла на транспорт. Следя в периокоп за туманной дорожкой торпедного следа, взбившего поверхиость моря отработанным керосиновым газом, Зеггерс стал смеяться:

— Всегда забавио видеть, как волнуются на кораблях при виде наших хрюшек! Нет, им ие увернуться... сейчас... вот!

Банг — раздался взрыв, гидравлический «молот» двинул в корпус лодки, и четвертый отсек вдруг доложил:

— Фильтрация заклепок... у нас появилась «слеза»!

— Ах! — огорчился Зеггерс. — До чего же ослабел корпус.

— Виноват ты сам, Ральф, — недовольно заметил штурман. — На кой черт ты всегда стреляешь с дистаиции, на которой нас контузит от собственных взрывов?

— Зато не нужио ломать голову в тригоиометрии...

На лодке услышали треск: это море рвало стальные переборки пораженного корабля, и Зеггерс скомандовал на всплытие.

— Американец удирает, — сказал он. — Очевидио, у него хорошие машины... Мы его сейчас прикончим артиллерией!

Всплыли. Траиспорт под флагом США наращивал скорость. Торпедированный же англичанин быстро тонул, переворачиваясь. В его трюмах, кажется, были запасы мазута, и теперь толстым слоем, очень медлеиио, как асфальт по мостовой, мазут растекался по стылой воде, а в нем беспомощно барахтались ошеломленные взрывом и ужасом люди.

— Там бродят шлюпки, — показал сигнальщик за корму.

— Разбейте их... — с леицой приказал Зеггерс и нагнулся над люком, откуда несло ужасным зловонием. — А когда будет готов кофе?

Комендоры расстреляли шлюпки. Мазут растекался по морю, сглаживая своей пленкой острые гребни. Кое-где круглыми мячами прыгали среди волн головы англичан.

— Ну, я думаю, тронемся дальше, — заметил Зеггерс.

Громадный крест (черный, в белом круге), выведенный на носовой палубе лодки — чтобы не бомбили свои самолеты! — окатывало водой. Зеггерс велел комендорам убраться в отсеки, перевел субмарину в позиционное положение, чтобы над морем двигалась только рубка... Там он и стоял, в укрытии козырька рубки, попивая кофе, куря сигарету и слыша вопли гибнущих людей. В глубину поста он передал рулевому:

— Возьми немножко вправо... тут барахтается один Чарли Чаплин, и я хочу малость с ним позабавиться!

Подводная лодка подцепила тонущего человека своей палубой, полупогруженной в воду, и человек вдруг почуял под со-

бой опору, не веря в свое спасение. Но вид его был ужасен и даже отвратителен. Весь черный и липкий от мазута, со следами ожогов на голом черепе, он катился сейчас через всю палубу, взмахивая руками, пока волной не ударило его о железо рубки. Пальцами он протер себе глаза, слипшиеся от мазута. Ухватясь за пушку, стал подниматься. Его тут же стало рвать — черной маслянистой нефтью.

Вряд ли сейчас он понимал что-либо: куда попал и что это за море... Он не сразу увидел склоненное над ним лицо гитлеровского подводника. А выше билась на ветру мокрая тряпка флага со свастикой. И тогда человек стал понимать, куда он попал. Зеггерс меж тем охотно наблюдал за ним и его действиями. Было любопытно, что станет просить этот человек сначала: водки?.. пощады?.. убежища?

— Откуда вы шли? — дружелюбно спросил его Зеггерс.

Мешая английские и немецкие слова, британец заговорил:

— Мы шли на Архангельск... из Хваль-фьорда. Возьмите меня, коммодор... я же не сделал вам ничего дурного...

— А какой был груз? — опять спросил его Зеггерс.

— Самолеты... и еще что-то в ящиках. Я не знаю, что там лежало... Возьмите меня, я не много места займу на вашей лодке!

— А как называется это судно США, что ушло от нас?

— Это был сухогруз «Винстон-Саллен», он шел от Бостона... Возьмите! Ради бога, который един для всех нас, христиан... Ради себя возьмите: в старости этот поступок послужит вам утешением... Ради матери, если она ждет вас с моря!

— У меня нет матери, — жестко ответил ему Зеггерс. — Вы, англичане, убили ее при налете на Кельн... Советую вам остаться мужественным до конца. Легкой вам смерти — прощайте!

Он захлопнул над собой тяжелую крышку люка.

— Принять балласт!

— Может, все-таки возьмем? — осторожно заметил штурман.

— Зачем? — удивился Зеггерс. — Я же видел:, как он откачивался соляром. У него внутри уже сгорели легкие и желудок. И завтра он бы тут корчился, подыхая в муках... Зачем он нам?

Глухие удары кулаков оставленного наверху человека едва доносились через бронированный тубус люка. Зеггерс велел горизонтальщику подвести лодку на глубину перископа.

— Пусть он за него схватится, — сказал Зеггерс штурману. — Иногда не мешает поразвлечь команду...

Моторы давали сейчас минимальные обороты, перископ выставился над морем, и человек — там, наверху! — схватился за него со всей неуемной верой в спасение. Матросы шлялись по очереди в центральный пост, чтобы глянуть в перископ, какое чудовище сидит там сейчас, вроде букашки на булавке. Через окуляры они видели искаженное ужасом черное лицо че-

ловека, уже потерявшего человеческий облик. Вот до какого скотства доходит человек после крушення!

Забавно нм было, весьма забавио...

— Ну и хватнт, — распорядился Зеггерс. — Утопимся поглубже, и пусть букашка сорвется со своей любнмой булавки...

Пернскоп, как скользкое бревно, вырвался из объятнй человека, и смутные очертания подводной лодки медленно растворилнсь под ним в разъятой бездне океана. Распластав рукн, перевериутый кверху иогами, ои начиниал свое падеиие вслед за лодкой.

Вечером этого же дня Зеггерсу удалось торпедировать танкер. Это была картнна незабываемая! Разом вспыхнулн миллионы галлоиов стооктаиового бензина — факел огня выбрасывало кверху до туч. В одио мгновеиие ока пламя сожрало весь кислород над волнами, н те, кто не сгорел, тут же погибли в удушье...

Зеггерс с трудом оторвал рукн от пернскопа, его колотило.

— Знаешь, — сказал он штурману, — такого я еще ие видал. Это было страшно. Хорошо, что мы стреляли из-под воды...

Сейчас с иаружных обводов танкера сочился расплавленный в пекле металл, словно воск со свечкн. Когда столб пламенн осел кннзу, от корабля осталась лншь пустая коробка выжженного изнутри корпуса, похожая на кратер потухшего вулкана. Подводиая лодка быстро уходила прочь...

. . . .

Деннц вскоре раднровал на лодкн, чтобы онн экономилн торпеды, не расходуя их напрасно там, где можно пользоваться артиллерией. Рекомендовалось наводить иа цель авнацию, которая ныие круглосуточно барражирует над путями распылеиного каравана PQ-17... Корабли превратилнсь для лодок в плавающие мишенн, которые безропотно принимают удары торпед н снарядов.

Жестокая вибрация

Ннкакой информацин — шлн вслепую, шли вглухую...

Решено было идти напрямнк курсом почти восточным, чтобы выйти к северной оконечиости Новой Земли, а оттуда, таясь вдоль побережья, спускаться к югу, иачиная выходить в эфир для связи с русскими...

Хрнплый Днк, уже прошедший однажды с караваном до России, был настроен, не в прнмер другим, весьма оптимистично:

— Русские очень внимательно иесут службу. Как только их эсминцы зажмут нас в свой ордер, ты можешь играть на банджо сколько тебе влезет... Немцы уже не проскочат!

— У них здесь разве большой флот? — спросил Брэнгвин.

— Да нет... флот как раз маленький.

— Как же оии умудряются проводнть нас без потерь?

Хриплый Дик сплюнул на ветер, чтобы плевок отнесло за борт, и поддернул спадавшие штаны.

— А черт их там разберет, этих русских, — сказал он, почесав спину о пиллерс. — Я и сам не знаю, как они это делают. Но у них, поверь мне, это здорово получается...

Транспорт-сухогруз шел нормально, и погода могла бы только радовать. Но теперь она скорее пугала — слишком спокойно море, слишком ясны небеса. Первый самолет-разведчик противника облетел транспорт так низко, что едва не задел мачты, и Брэнгвин сказал штурману:

— Вот, кажется, сейчас начнется вибрация души и тела. Мой приятель Сварт изучил уже молитвенник наизусть...

Самолет удалился, но в команде многие уже «завибрировали».

— Может, его надо шарахнуть из «эрликонов»?

— А что нам это даст? — горько усмехнулся штурман. — Он, едва заметив нас, уже успел передать наши координаты...

Из каюты поднялся на мостик заспанный капитан.

— Что тут было без меня? — спросил недовольно.

— Мы тут корчимся от смеха, сэр... Нас засекли, и сейчас немцы устроят всем нам показательный заплыв на короткую дистанцию.

— Боцман! — приказал кэп. — Проверьте на спасательных плотах наличие банок с тушенкой и анкерки с водой из запаса неприкосновенности... Также и весла!

Полярный океан почти ласково стелил перед ними свои зеленоватые, как японская яшма, воды. После полудня пришли немецкие самолеты с бомбами (торпеды они берегли). Глядя, как они заходят для метания, Брэнгвин отодвинул ветровое стекло, чтобы лучше видеть маневры противника, и стал отрабатывать рулем уклонения корабля от бомб. Он не сплоховал — две атаки прошли впустую, бомбы взорвали воду по бортам.

— Почему молчат наши «эрликоны»?! — орал Брэнгвин, орудуя манипуляторами. — Или наш кэп договорился с Адольфом?

Тут их и накрыло. Бомба пронизала полубак, рванув отсеки в оглушительной вспышке. Словно рельсы, выперло наружу стальные бимсы. Волна горячего воздуха закручивала железо палубы в уродливый массивный рулон. Бомба не дошла до днища — и то хорошо. Корабль долго трясло в никому не понятном грохоте. Это произошла самоотдача якорей, и они долго, минуты три подряд, убегали в пучину, пока не кончились цепи; сорвав за собой крепления жвака-галсов, якоря ушли в океан навсегда...

Кто-то заорал в дыму начавшегося пожара. Другой лежал, тряпкой провисая через поручни, и медленно скатился за борт вниз головой. Ветром чуть отнесло дым, и первая кровь, увиденная Брэнгвином, показалась ему такой яркой, такой неестественной, что Брэнгвин даже не поверил, что это кровь...

Под ногами визжало битое стекло. Когда вылетели рубоч-

ные окна, не заметил. Штурман стоял рядом, и лицо его было ужасно — в страшных порезах. Стекла, разлетевшиеся острыми клинками, распороли нос, щеки, уши — он заливался кровью!

— Брэнгвин, помогите... я ничего не вижу...

Брэнгвин еще раз глянул на пробоину в полубаке, откуда уже с гулом выхлопнул первый язык огня.

Трубы водяных гидрантов или перебило, или так уж было задумано раньше, чтобы они не работали. Ни один «минимакс» на корабле не действовал. Пеногоны жалобно шипели, и только!

— Зато у нас нет пятен на костюмах, — сообщил Брэнгвин.

Он срывал подряд все «минимаксы», нещадно бил их капсюлями о палубу. Один сработал — тетрахлорметановая струя ударила по пламени, словно кулаком, загоняя огонь в глубину трюма. Визжа от боли и ожогов, Брэнгвин прыгал по развороченной палубе, рискуя свалиться в жерло трюмного вулкана. Но огонь пошел дальше, и люди, побросав пеногоны, отступили...

Капитан в том же боксерском халате, стоя в сторонке, ротозеем глядел на пожар. Брэнгвин подскочил к нему:

— Прикажите впустить забортную воду.

Кажется, он принял Брэнгвина за сумасшедшего, который хочет затопить корабль... Дурак! Брэнгвин спустился вниз. В холодном отсеке, возле самого днища, горели тусклые лампы. Тяжело и громко дыша, Брэнгвин ползал среди заржавелых клапанов. «Этот... или не этот?» Маховик с трудом провернулся в его руках. Он приложил руку к переборке и тут же отдернул ее, заорав: переборка была раскаленной, как утюг. Она стала шипеть, значит, вода пошла из-за борта, значит, все правильно... Транспорт сразу получил сильный дифферент на нос, волны полезли к нему на палубу, но пожар прекратился.

Четырех убитых при взрыве сложили на спардеке.

— Они спали... им как раз в ноль-шесть на вахту!

Брэнгвин нашел на рострах чью-то ногу.

— Эй, признавайтесь по чести — чья нога?

Четверо лежали на спардеке — все с ногами.

— Это нога Хриплого Дика, — сказал радист в испуге. — Он всегда носил старомодные носки без резинок...

Самого же боцмана не нашли. Видать, его шибануло за борт.

Брэнгвин навестил штурмана в его каюте и пришел к выводу:

— Это еще не нокаут... пока лишь нокдаун, сэр!

На верхней палубе взвизгнула кран-балка на развороте.

— Ого! Я вас покину...

. . . .

Кран-балка уже держала на талях полуспущенный катер. Под капот его летели вперемешку одеяла, банки со сгущенкой, пузатые банки мясных консервов. Капитан транспорта и несколько человек из команды покидали корабль.

— Кэп, — сказал Брэнгвин капитану, — вам примерно пятьдесят. А мне двадцать семь, и я хочу жить не меньше вашей особы... Не лучше ли нам посмотреть на русских?

— Смотри! Где ты их увидел? Где они, твои русские?

— В русские корабли, — продолжал Брэнгвин, — Адольф тоже кидает бомбы. В них такие же дырки от торпед, как и в наших кораблях. А тонут они меньше нас... Почему бы это, кэп?

— Спроси у них, — огрызнулся капитан.

— Потому что они борются за свои корабли. А жизнь корабля — это жизнь моряка. Пока палуба дрожит под ногами, моряк живет. Не будем же раньше времени раскидывать кости от собственных скелетов... Я сказал, что думаю, кэп!

— Спускай! — приказал капитан на катер.

Тали запели блоками. Днище катера плюхнулось об воду, и сразу застучал мотор. Под высоким капотом, с запасом бензина и компасом... на что надеялись эти люди?

Брэнгвин решительно сорвал чехлы со стволов «эрликонов»:

— Маленький салют человеческой глупости нам не помешает!

Потом он снова навестил штурмана, которого было жаль.

— А мы движемся, — сказал он. — Я сейчас опробовал наши «эрликоны». Там плыл какой-то ящик, и я рассадил его в щепки. В конце концов... Вы позволите мне выпить? Благодарю... В конце концов, говорю я вам, стрелять не так уж трудно. Самое главное — быть спокойным и помнить, что ты мужчина. Больше всего в жизни я не терплю сопляков, уличных девок и человеческой несправедливости... Гитлера я ненавижу! Потому я и пошел в эту сумасшедшую экскурсию к берегам России...

У себя в каюте он переоделся в пижаму, отправился в душевую. Водосистема и фановая еще работали. От хода машины слегка дрожала прогретая палуба. Насвистывая, он принял горячий душ. Пока ничего страшного. Бывает в море и хуже.

...При исполнении союзнического долга

— Придется пожертвовать бортом, — сказал командир Дайк и передал бинокль с усиленными линзами помощнику Баффину.

Тот недолго рассматривал тонущее вдалеке от них судно.

— Ветер будет бить справа, — ответил. — Но уйти от них мы тоже не можем, хотя инструкции и призывают нас не увлекаться спасением людей... А вдруг и с нами случится такое?

Судно ПЛО — «Орфей» — всего в 840 тонн, недавно покрашенное в доках Ливерпуля, теперь казалось красным, будто обваренный краб. Корпус его разъело солью и ржавчиной. «Орфей», которому выпало продолжать путь до СССР, изо всех сил стремился сплотить вокруг себя безоружные транспорты. Однажды ему удалось законвоировать два из них, но одно немцы тор-

педировали, а другое — в страхе — забилось в паковый лед. И вот случайная встреча: наткнулись на одиноко тонущее судно. Пологая волна, внешне спокойная, на самом деле была сильно.

— Баффни, я попрошу вас на бак, — сказал командир.

— Отлично, сэр. Вы не волнуйтесь, хотя борта у нас скоро превратятся в лохмотья... Желаю удачи!

На палубе тонущего транспорта стояли люди. Внешне они были, как и волны под ними, почти спокойны. Но это обманчивое впечатление: у людей уже лопались нервы. Только один был с чемоданом, остальные вещей не взяли.

— Что с вами случилось?! — проорал Дайк, но с борта ему не ответили. — Я задал им глупый вопрос, — хмыкнул Дайк. — Если тонут, значит, есть дырка. Только она с другого борта, и мы ее не видим... В машине! — наказал он по трубам. — Это вы, Эйш? Предупреждаю: у вас в котельных скоро будет вода.

— Это к чему вы сказали? — прогудели медные трубы.

— Просто так, пришлось к слову... не обижайтесь, Эйш!

«Орфей» подошел под корму транспорта, и тот всей массой своего борта тяжко навалился на хрупкий корвет. Раздался хряск металла, словно не кораблю, а человеку ломали кости.

— Прыгай! — И на палубу вдруг одиноко упал чемодан. — Прыгай! — вопил Дэйк, и вслед прыгнул владелец чемодана.

Два борта разомкнулись на волне, и он попал между ними — в воду. Жалкий вскрик, и борта неумолимо сдвинулись. Потом, хрустя шпангоутами, они снова разошлись, а Дайк заметил на воде красное пятно. От человека остался только его чемодан!

— Следующий... прыгай! — заорал Дайк.

Вдруг щелкнул динамик на мостике:

— Носовой погреб — мостику: у нас вода.

Дайк сунулся носом в микрофон.

— Сколько? — спросил.

— По колено...

Ответить он не успел. С транспорта вдруг посыпались люди, как по команде, разом. Один на другого. Был очень удачный момент: борт «Орфея» поднялся на волне, почти достигнув среза палубы транспорта. Дайк отвернулся. Он-то ведь знал, что сейчас все станет наоборот: «Орфей» уйдет вниз, а транспорт вырастет перед корветом, как пятиэтажный дом...

«Так и есть... вот он — хруст костей о металл!»

— В машине? — спросил он. — Эйш, скажите — воды нет?

— Обшивка лопнула. Тут хлещет, как из бочек...

— Малый вперед! — скомандовал Дайк и передал в микрофон общей трансляции: — Подвахте — на уборку полубака...

Через ветровое стекло он глянул с мостика вниз: Баффни, молодчага, крепился, а вокруг валялись и корчились люди с перебитыми ногами, палуба была забрызгана кровью.

На расблоке Дайк переключил свой микрофон:

— Мостик — носовому погребу: сколько у вас воды?

— Было по колено, теперь по грудь, сэр.

— Удивляюсь! — отвечал Дайк. — Вы что-нибудь делаете там, кроме того, что не забываете измерять ее уровень? — Бросил микрофон и прокричал вниз: — Баффин, вас просят в погреб...

«Орфей» медленно уходил прочь от гибнущего корабля. В этот день они повстречали «Винстон-Саллен», и оттуда американцы через рупоры стали облаивать англичан:

— Эй, на корвете! Когда вы нужны с пушками, так вас не дозовешься... Вы бы видели, что тут творилось вчера вечером... мерзавцы!.. трусы!..

«Орфей», шумно дыша трубами воздуходувок, проследовал мимо. Сигнальщик перебирал в руках фалы для поднятия ответного сигнала. Дайк тронул шелковые струны фалов с нежностью, как волосы своей пожилой подруги перед разлукой с нею.

— Никогда не следует отвечать на брань, — сказал он печально. — Лучше законвоируем этих грубиянов и делом докажем янки, что наш «Орфей» способен постоять за безоружных.

— Они небезоружны, сэр: у них спаренные «эрликоны».

— Что толку? — вздохнул Дайк. — Или не умеют, или боятся, но «эрликоны» на транспортах молчат...

Подвахта недолго копалась на баке. Море смыло все!

. . . .

— Сколько мы не спали уже? — спросил Баффин.

— Пятые сутки, если не ошибаюсь... Я не хочу спать.

Командир сидел в кожаном кресле, воздетом, как трон, над высотой мостика. Перед ним лежал бинокль, сигареты, две зажигалки, фонарь, лекарство от головной боли и перчатки.

— А вы поспите, — сказал он, вытирая слезы от ветра.

— А разве можно уснуть? — Баффин привалился плечом к комингсу двери, заглядывая в рубку, где светился голубой экран локатора. — Что-нибудь видно, Кристен? — спросил, зевая.

Радиометрист прокатил вкруговую шарнир настройки:

— Вы же сами видите — ничего!

Баффин лениво, пересилив себя, треснул его по лицу:

— Надо добавить «сэр»!

— Экран чист, сэр. На правом пеленге мерцание точки, сэр. Очевидно, плавает айсберг, сэр... Об изменениях доложу, сэр!

— Баффин, — послышался голос Дайка, — не мешайте ему... Лучше посмотрите на карту: где мы сейчас?

Выслушав ответ, он закрыл глаза, как мертвец.

— До рандеву с русскими осталось двадцать два часа.

— Нас уже не будет в живых... До русской зоны далеко.

— Если выживем, Баффин, мы их встретим. И они — нас...

Радиометрист засек рубку всплывшей подводной лодки.

Дайк передал направление курса на «Винстон-Саллен» и сказал:

— Пусть янки уйдут, мы их нагоним потом... В машине, — скомандовал он, — дайте что можете. А чего не можете — тоже дайте... Баффин, а вам — вниз!

Баффин сначала залез в носовой погреб, где в промозглых потемках, в свете тусклейших ламп, суетились вокруг воздушного лифта люди. В лотках подачи — по трубам — уползали наверх противолодочные снаряды. Все гремело и качалось в этой могиле, с переборок зловонно текло. Изоляция после затопления отсырела (людей часто дергало током). Баффин ушел отсюда и на палубе, враскачку стоя у пушки, соединил себя с мостиком:

— Дайк, в погребе — как в аптеке... А что на локаторе?

Нос корвета уходил в небо, потом рушился в пропасть, с трудом выгребаясь из океанских хлябей. Соль разъедала кожу. Никогда Баффин не задумывался над тем, что двигает людьми в бою, и правая рука его взмахнула почти равнодушно:

— По противнику... дослать! Замок... отскочи! Огонь!

Над местом погружения лодки рвались снаряды. С носа сбросили три «ежа» бомб. Баффин, широко расставив ноги, стоял на баке как чурбан, его воспаленное лицо было мокрым. Он слушал скрип корпуса, воспринимая на слух грохоты обшивки, листы которой болтались на последних заклепках.

— Кто бы мог подумать, — ворчал он, — ведь недавно из дока...

На мостике его встретил упорный взгляд Дайка:

— «Немка» где-то здесь. Она под нами. Но у нас новое несчастье: с днища сорвало поисковый меч шумопеленгатора.

— Может, проще: лишь полетели предохранители?

— Уже заменили. Мы оглохли. Надо нагнать транспорт...

Дайк умудрился заснуть в своем кресле. Баффин стоял рядом, оберегая спящего, чтобы его не вышвырнуло с мостика за борт при крене. Командир вдруг вскинул голову.

— Почему не объявлена тревога? Я слышу шум...

— Сигнальщики, — крикнул помощник, — горизонт от солнца!

Конечно, если они прилетят, так именно оттуда, откуда их труднее заметить усталым глазам. Баффин в бешенстве бросился в рубку радиометриста.

— Может, ты скажешь опять, что твой экран чист?

— Да, сэр! Экран чист.

— А что это здесь ползет, как навозный жук?

— Экран фиксирует охраняемый нами «Винстон-Саллен», сэр!

— За борт надо твое кино вместе с тобой...

Баффин выскочил на крыло. Успел сказать:

— Локатор, кажется, тоже сел... Нам крепко не везет!

— Огонь — по готовности, — спокойно распорядился Дайк.

— Транспорт быстро уходит от нас, — доложили сигнальщики.

— Куда?.. — Баффин выругался. — Спешит на дно?..

Установки автоматов заработали разом. Дула «эрликонов», двигаясь за самолетами врага, неслись по кругу, пока не уперлись в ограничители. В мертвом секторе огонь «эрликонов» подхватили спаренные тяжелые пулеметы. Первый торпедоносец прошел так низко, словно немцы задумали всем на мостике сорвать головы с плеч. Было даже странно, что этот самолет сразу сел на воду, подпрыгнул... снова сел... и скрылся в море. «Эрликоны» опять затряслись под мостиком, их дула, казалось, просто распирает от обилия выстрелов. Был тот момент боя, когда приказы ни к чему. Кто мог — тот делал. Кто не мог — тот не делал, и его уже не заставишь делать. Но враг убивал одинаково всех — и сражавшихся, и молившихся!

Когда самолеты ушли, в столбе дыма, поднимавшегося над мостиком, вдруг выросла из кресла длинная фигура командира:

— Баффин, вы живы?

— В корме, — отвечал помощник, — что-то не в порядке. Я пойду туда. Там всегда много шуму, а людей не хватает.

— Нас что-то поджаривает от погребов, — заметил Дайк. — Передайте команде, что захоронения по уставу не будет: освобождайте корабль от мертвецов сразу же... вы знаете — как!

Баффин, уходя, стукнул пальцем по стеклу указателя лага:

— Двенадцать узлов. Неужели это все?..

К командиру подошел сигнальщик.

— Сэр, — сказал он, показав на небо, — они не ушли...

В разрывах облаков плавала гудящая машина врага.

— Это их наблюдатель, — поморщился Дайк. — Обычная история, удивляться нечему. Мы все время на прицеле теперь. И никуда не скроемся. Пока их не разгонят русские... Больше ничего не спрашивайте: отныне я знаю не больше вас!

. . . .

Баффин — весь в саже — поднялся на мостик.

— Это уж совсем глупо, — сказал он. — В пятом отсеке, где священник разместил спасенных, нет живого места. Одна из бомб рванула через люк — прямо в кашу. Сейчас там сгребают всех за борт лопатой.

— Пройдите в машину, Баффин... Я чувствую, что «Винстон-Саллен» дает лишние узлы, и нам их просто не нагнать. На что они рассчитывают, эти американцы, сказать трудно...

С высоты мостика он видел, как через разбитые ростры, будто через загородную свалку обгорелого металлолома, пробирался сейчас его помощник. Люк в котельную был сорван, оттуда парило, голова Баффина скрылась в этой парящей скважине. К этому времени счетчик лага отмечал всего восемь узлов...

Дайк опять закрыл глаза и стал думать: что с ними сделали? Кто виноват в этом преступлении? Неужели эти политики в мундирах совсем лишены мозгов? С линкоров спрос не-

велик — их берегут в Уайтхолле, как пасхальные яйца. Но почему ушли крейсера? Эсминцы? Каждый англичанин всю жизнь исправно платил налоги на флот. И... где теперь этот флот? Если это стратегия, то это идиотизм! Если это политика, то это предательская политика...

— Сэр, — раздалось над ним, — я исправил локатор.

Дайк в удивлении оживился:

— Благодарю вас, Кристен, вы всегда любили свое дело.

— За это я получил сегодня по морде, — ответил матрос.

— Ну... вы должны понять и лейтенанта Баффина: ему нелегко на этом переходе... А что у вас видно на экране?

— «Винстон-Саллен» заходит за кромку экрана, и скоро мы потеряем его на нашем радаре.

— Завидная скорость... Что ж, ступайте к прибору, Кристен.

Дайк дождался возвращения помощника.

— Я затопил носовой погреб через спринклеры, — сообщил тот мрачно. — Нас на мостике поджарило бы, не сделай я этого.

Половины всего боезапаса корвет лишился одним поворотом клапана затопления. Дайк спросил, много ли обожженных...

— Пеленг сто сорок пять, в строе фронта — двенадцать самолетов, — раздался голос радиометриста.

— Ну, вот и конец. — Дайк потянулся к микрофону трансляции, но тут же передумал. — К чему мои слова? У каждого в команде нашего корвета кто-либо из близких на родине уже пострадал при бомбежках. Если они ненавидят врага, то исполнят долг...

. . . .

Через шесть минут «Орфей» был уже развалиной. Без кормы, с двумя пробоинами (наружной и ниже ватерлинии), он неторопливо, как и все делал в жизни, погружался сейчас в океан. Большое и светлое солнце Арктики слепило глаза матросам.

— Баффин, хотя это и глупо, но взгляните на карту...

— До встречи с русскими осталось семнадцать часов.

— Вот и хорошо. Постарайтесь спустить на воду все, что осталось у нас из плотов и шлюпок...

Палуба вдруг задрожала. Обломки рваного железа при этой вибрации зазвенели краями. Тяжелая зыбь шла с запада, раскачивая омертвелый корабль. Дайк, свесясь из своего кресла, заглянул через борт, определяя:

— Мы поехали очень быстро... пусть команда поторопится. Но, боже, накажи тех, кто повинен в нашей гибели!

Крен доходил уже до 43° на левый борт. Баффин захохотал.

— Простите, вот этого я не понял, — сказал ему Дайк.

Баффин сунул руку в карман реглана и достал пистолет. Тут матрос Кристен шагнул вперед и врезал Баффину пощечину.

— Теперь вы мне уже ничего не сделаете, — сказал он лейтенанту.

Ноги офицера в тяжелых штормовых сапогах, на которых

медные застежки стали изумрудно-зелеными от морской соли, — этот Баффии сейчас, как медведь, зашагал к борту, под которым бешено крутилась вода океана... Дайк видел всю эту сцену.

— Баффин! — окликнул он помощника. — Куда вы заторопились?

— За борт! Или вы зиаете другие пути на тот свет?

— Мы еще не попрощались. — Дайк слез со своего кресла и протянул ему руку. — Мне было нетрудно служить с вами, — сказал он, следя за кренометром, который показывал уже предел.

— Благодарю! — ответил Баффии, и звук выстрела совпал со всплеском воды...

Командир вернулся в свое кресло, оглядывая море.

— Может, он и прав... не знаю... Кристен! — окликнул он радиометриста. — А ведь последнее слово осталось за вами...

Он раскурил сигарету. Ветер разбросал порванные фалы над его головой. Они запутали шею командира, обвили всего, словно хотели привязать его к кораблю навсегда.

— Неужели никто из вас не прочтет молитвы? — спросил Дайк у матросов. — Неужели вы не помните ни одной?..

Странное дело, крен вдруг исчез. «Орфей» пошел на глубину на ровном киле, словно его топили через кингстоны. С плотов, разбросанных в море, видели, как погружался мостик в океан. Вот море коснулось и самого Дайка... Он поднял руку с сигаретой. Потом руку опустил. Он смотрел в небо...

И ушел вниз — прямо, неизбежно, в полном сознании.

. . . .

Все это испытал почерневший от стужи человек, которого спасли матросы с нашего тральщика. «Орфей», подобно «Айрширу», до конца исполнил свой союзный долг — не в пример другим конвойным судам, которые укрылись в заливах Новой Земли... Тело спасенного моряка уже затвердело от холода настолько, что игла медицинского шприца не входила под кожу. В лазарете тральщика его обложили грелками, без жалости растирали спиртом, для него носили еду из офицерской кают-компании. Он говорил внятно, благодарил, но, кажется, его разум все более затемнялся от пережитого... Он не выжил!

Документов при нем никаких не оказалось, номерных знаков на одежде, какие обычно носят моряки для опознания их трупов, тоже не было, а тонкое обручальное кольцо сняли с пальца и передали в британскую военно-морскую миссию.

В ледяной купели

Корабли, как и люди, умирали по-разному... Иные встречали смерть в торжественном молчании, только потом из-под воды слышался долгий зловещий гул — это взрывались раскаленные котлы, не выдержавшие объятий холода. Другие жалобно стонали сиренами, их конструкции разрушались с грохотом; разломленные пополам, корабли сдвигали в небе свои мачты

словно руки для предсмертного пожатия. Иногда они тонули сразу, и люди не успевали покинуть их отсеков и коридоров, похожих на мифические лабиринты. Другие, напротив, стойко выдерживали взрыв за взрывом, будто понимали, что надо держаться, пока не спасутся люди. А потом корабли с ревом зарывались в пучину, почти яростно сверкнув на прощание «глазами» — окнами своих рубок. При этом некоторые увлекали за собой и гондолу аэростата, купавшегося под облаками. Это были страшные минуты! Дети другой стихии — высоты, аэростаты не хотели тонуть. Но иногда, уже побывав на дне океана, они все же обрывали тросы креплений — их взмывало ввысь, и гондолы уносились обратно под небеса, словно в ужасе от всего увиденного там, в чудовищном мраке бездны...

Корабль умирает, но человек остается, и к его услугам — шлюпки, плоты, надувные понтоны. Цепляясь за спасательный шкерт, человек, обожженный взрывом, ослепший от мазута, тянет руку к товарищам на плоту и хрипло кричит — в восторге:

— Кажется, мне повезло... Мне чертовски повезло!

. . . .

Послушаем тех, кому «чертовски повезло»:

«После пяти дней сидения все начали чувствовать себя так, будто у них сломана спина. Лейтенант Хэрис и Блокстоун, казалось, все время опираются на меня. Я их отталкивал... Кэлли и Гонзалес предложили флягу виски первому, кто увидит землю... В тот же день заболел второй механик. Его ступни начали пухнуть, став багровыми от обморожения. Через три дня он умер. Хэрли прочитал молитву, и мы столкнули механика за борт шлюпки. Море бушевало, высота волн достигала 5—10 метров. Все мы начали ссориться друг с другом. Мы поймали вестового Бенни, когда он воровал воду. За это его совсем лишили воды... У всех нас были длинные бороды, и, я полагаю, мы очень походили на бандитов».

Правда, что хорошо одетые и плотно застегнутые имели больше шансов на спасение. Но таких счастливцев было немного. Люди, как правило, покидали корабль в том, в чем застал их взрыв. Когда палубу уносит из-под ног, вокруг все с треском рушится, начинается пожар, кричат раздавленные и смытые за борт, а вода летит по коридорам, срывая с петель каютные двери, тогда ты не станешь раздумывать — какие штаны теплее? Оттого-то буфетчики были в фартуках, радисты в ковбойках, кочегары в майках, рулевые в безрукавках, а некоторые, разбуженные взрывом, вообще спасались в ночных пижамах. Героем выглядел один старик механик, успевший пристегнуть к ноге деревянный протез. «Что бы я без него делал?» — горделиво спрашивал он товарищей.

Над уцелевшими — вечный день, а ночи нет и не будет!

Люди, как и корабли, тоже погибали по-разному, а мудрое человечество, тысячелетиями качаясь на морях, еще не изобрело такой шлюпки, которая могла бы заменить человеку ко-

рабль. Случалось, что моряки, попавшие в шлюпку, стояли в ней по грудь в воде[1]. Их глаза стекленели. Люди засыпали от холода. Более бодрые пытались растормошить их, но все было бесполезно. Выброшенные за борт мертвецы не тонули и долго (иногда сутками) сопровождали своих товарищей, качаясь на волнах рядом с ними... В море законов для смерти нет, и порою выживали старики, а цветущие молодые матросы «отдавали концы». Выживали пессимисты, настроенные озлобленно-мрачно, считавшие, что всем — амба, капут и баста! И наоборот, погибали оптимисты, полные розовых надежд на то, что все это — ерунда, о которой потом будет приятно вспоминать в старости... Хотя был июль, но о холоде полярных широт забывать не следует (а вода не замерзала, ибо она соленая). Эгоисты хотели отсидеться, ничего не делая, чтобы сберечь силы, и — умирали! Зато боевые ребята, не жалея сил, брались за весла и — выживали! В смерти тоже была последовательность: сначала она забирала лежащих, потом настигала сидевших, но она не трогала тех, кому не хватило места ни лежать, ни сидеть. Такие люди стояли в шлюпках, как в переполненном трамвае. Стояли сутки, вторые, третьи, четвертые сутки подряд... Вот они и выжили! Физиологически это понятно: шлюпку бросало с волны на волну, в поисках равновесия, чтобы не вылететь за борт, стоящим приходилось постоянно двигаться, отчего кровь не застывала в их жилах, а сердце билось нормально. Естественно, думает читатель, что если в шлюпке вода, то воду надо вычерпать. В таких случаях никто уже не спрашивает — а есть ли у вас ведро? Можно вычерпывать шапками. Даже ладонями. Но... стоит ли, вот вопрос! Легко вычерпать воду, когда ее собралось в шлюпке по колено, но когда она плещет у самой шеи, ты будешь рад хотя бы тому, что твои ноги ощущают под собой шлюпочное днище. Обычно на шлюпках полагался НЗ, в который входила питьевая вода, консервы, спиннинги для рыбной ловли, сухой спирт, весла, лимонный сок, галеты. Однако на большинстве шлюпок все съедобное было разворовано докерами еще в Англии... Среди уцелевших в борьбе за жизнь иногда возникали драки и страшная поножовщина, причем к мелочным обидам из-за тесноты или лишнего глотка рому примешивалась и расовая неприязнь. Офицеры ограждали себя многозарядными кольтами. «А меня не трогать», — говорили они... Идущие в одиночку корабли из состава PQ-17 не раз натыкались в океане на плоты и шлюпки со спасавшимися, предлагая им подняться на борт. Но психический шок после торпедирования оказывался чрезвычайно сильным. Шаткое днище шлюпки представлялось людям во много надежней тверди корабельной палубы. «Мы уже дома! — кричали они в сторону судна. — Вчера мы испытали такое, что второй раз лучше не пробовать...

[1] В борта спасательных шлюпок вделаны воздушные цистерны, отчего шлюпки, даже полностью залитые водой, все-таки не тонут.

Готовьтесь и вы к пересадке!» «Таким образом, мрачная сага о трагической судьбе конвоя PQ-17 дополняется рассказом о том, как 150 моряков с потерпевших бедствие судов предпочли целые недели дрейфовать в открытых шлюпках, но не пожелали еще раз оказаться на палубе...» Их можно понять! Корабль, предложивший им свои услуги, скрывался вдалеке, а они, оставшись в шлюпках, вскоре могли наблюдать за его концом. Сложное явление полярной рефракции открывало даже то недоступное, что творилось сейчас за чертой горизонта. Моряки не раз видели такое, что в обычных условиях увидеть попросту невозможно. За много миль от них самолеты и подлодки противника торпедировали суда, и уцелевшие люди, словно находясь в необъятном зале фантастического кинотеатра, следили за дрожащим в небесах отражением чужой гибели. Рефракция приподнимала над горизонтом страшные сцены взрывов на кораблях, причем атакованные суда плыли вниз мачтами, и погружались они не в море, а в... небо! Понятно, что разум многих не выдержал напряжения. Сошедших с ума уговаривали не смеяться, не петь и не двигаться резко, ибо в перегруженной шлюпке это опасно. Но граница между разумом и безумием где-то уже сместилась. Иногда вполне здравый моряк, до этого разумно рассуждавший, вдруг — ни с того ни с сего! — прыгал за борт и уплывал прочь от спасательного понтона, что-то восторженно крича, и навсегда пропадал в вечности океана. Оставшиеся на понтоне еще теснее прижимались друг к другу, а их изъеденные солью глаза до боли всматривались в пространство. Они разбивали капсюли дымовых шашек, но бурый дым, лениво текущий над волнами, привлекал внимание авиации и подлодок противника, которые не приносили людям спасения, а лишь издевательства, угрозы, брань и наглые допросы, которые немцы не гнушались вести прямо посреди океана...

. . . .

Геббельсу понадобился свежий пропагандистский материал для своих газет. Иначе говоря, пленные... Громадные самолеты «дорнье», барражировавшие над океаном в поисках сбитых летчиков, стали присаживаться на воду возле понтонов и шлюпок. Немецкий пилот вылезал на желтое крыло, на котором Красный Крест международного милосердия плохо совмещался со зловещей свастикой, и поднимал над собой два или три пальца:

— Двух или трех я возьму... без плацкарты! Решайте быстро, кто из вас хочет закончить войну в победившей Германии...

Находились и такие, кто добровольно обрекал себя на жизнь за колючей проволокой. Санитарные «дорнье» быстро перебрасывали пленных в норвежский Киркенес, где их всячески фотографировали — небритых, изнуренных от соли, грязи и переутомления, они давали интервью в угодном для противника духе («Я не думаю, что кто-либо из вырвавшихся из этого ада

когда-либо еще изъявит желание вновь отправиться с конвоем в Россию!»). Абвер выжимал из них на допросах все, что только можно выжать из людей, павших духом, а конец был один — концлагерь! Причем англичан и американцев немцы строжайше предупреждали:

— Вы будете расстреляны без промедления, если попытаетесь установить контакт с русскими военнопленными...

Постепенно, по мере опроса моряков с каравана PQ-17, немцы составили подробную таблицу дефицитных товаров, в которых нуждалась тогда советская экономика: технические кожи, листовая сталь, лекарства для раненых, стооктановый бензин, красители, дюралевые сплавы, никель и молибден, радиолокаторы, сахар, кордит и прочее, включая сюда паровозы, танки, самолеты и тяжелые грузовики для нужд фронта...

Уничтожив корабль, немецкие подлодки, как правило, всплывали. Порою на поверхность выпрыгивали сразу две гитлеровские субмарины. Сойдясь бортами, они лениво покачивались невдалеке, ведя киносъемку и неизменно держа спасшихся под прицелами пулеметов. У людей в такие минуты лопались нервы: ведь в любой момент их могли перебить градом свинца или выпустить из понтонов воздух, чтобы они потонули... Быстро опросив уцелевших, немцы иногда запускали в их головы буханкой походного хлеба, завернутого в серебристую фольгу, и весело кричали на прощание:

— Спасибо за новости! Теперь плывите к Новой Земле.

— Спасибо за совет, — доносилось с воды. — Он бы нам здорово пригодился, если бы у нас были весла.

— Странно, что вы, англичане, морская нация, и не подумали об этом раньше. Но теперь выкручивайтесь сами, а Германия не будет стругать для вас весла из ясеня...

В нескольких метрах от погибавших в ледяной купели лодка взяла балласт и медленно растворилась в темной глубине, где ее команда хотела выспаться как следует в тишине бездны.

Черчилль—Сталину

Честные люди в США и Англии понимали, что союзный долг — прежде всего, и сэр Хамильтон в эти дни заявил: «Размышляя о будущем, я счастлив, когда думаю о планах проводки конвоя PQ-18!» Да, уже вставал вопрос о посылке следующего каравана под литерами PQ-18... Хамильтон указал и на главного виновника трагедии PQ-17 — буквально ткнул пальцем в Черчилля, за что и пострадал (был удален с флота на береговую службу).

Когда караван PQ-17 был уже разгромлен и лишь некоторые транспорты-одиночки еще тащились через океан, ожидая или встречи с советскими эсминцами, или жуткого конца в пучинах, в эти дни (а именно 18 июля 1942 года) премьер У. Черчилль отправил послание И. В. Сталину:

«...В случае с последним конвоем под номером PQ-17 немцы наконец использовали свои силы таким способом, которого мы всегда опасались. Они сконцентрировали свои подводные лодки к западу от острова Медвежий, а свои надводные корабли держали в резерве для нападения к востоку от острова Медвежий. Окончательная судьба конвоя PQ-17 еще не ясна.

В настоящий момент в Архангельск прибыли только четыре парохода, а шесть других находятся в гаванях Новой Земли. Последние могут, однако, по отдельности подвергаться нападению с воздуха. Поэтому в лучшем случае уцелеет только одна треть.

Я должен объяснить опасности и трудности этих операций с конвоями, когда эскадра противника базируется на Крайнем Севере. Мы не считаем правильным рисковать нашим флотом метрополии к востоку от острова Медвежий или там, где он может подвергнуться нападению немецких самолетов, базирующихся на побережье.

Если один или два из наших весьма немногочисленных мощных судов[1] *погибли бы или хотя бы были серьезно повреждены, в то время как «Тирпитц» и сопровождающие его корабли, к которым скоро должен присоединиться «Шарнхорст», остались бы в действии, то все господство в Атлантике было бы потеряно».*

Из этого письма уже отчетливо видно, к чему клонит У. Черчилль. По сути дела, это письмо — дипломатическое предупреждение СССР, чтобы русские помощи в дальнейшем не ожидали.

Естественно, не поставки по ленд-лизу спасли нас в 1941 и в 1942 годах; военные грузы от союзников за всю войну составили лишь 4% по отношению к оружию отечественного производства; мужество солдат и самоотверженный труд рабочих — вот то главное, что определило победу СССР над жестоким и сильным противником. В эти же дни сами англичане признавали открыто: «Вся помощь, какую мы смогли оказать, невелика, если сравнить ее с титаническими усилиями советского народа. Наши внуки, сидя за своими учебниками истории, будут думать о прошлом, полные восхищения и благодарности перед героизмом великого русского народа» (Э. Бевин, речь 21 июня 1942 г.).

Это признал даже сам Черчилль, осенью 1944 года написавший Сталину такие слова, которые сейчас кое-кто на Западе хотел бы выжечь из истории каленым железом. «ИМЕННО РУССКАЯ АРМИЯ, — писал Черчилль, — ВЫПУСТИЛА КИШКИ ИЗ ГЕРМАНСКОЙ ВОЕННОЙ МАШИНЫ».

Да, мы могли бы обойтись и без поставок по ленд-линзу!

[1] Здесь Черчилль говорит об английских линейных кораблях.

Но в той грандиозной бнтве, которую мы вели от утеса Нордкапа до вершнн Эльбруса, каждый танк, каждый самолет, каждый автомобиль, каждая ампула пенициллина, каждая банка с мясом были для нас необходимы. И потому недаром же сложили свои головы в битвах за караваны наши герон — подводники, летчики, мииоиосники.

Мы могли бы обойтись и без поставок по ленд-лизу.

Но отказываться от ленд-лиза мы не желали...

. . . .

Сталии иа это послаиие Черчилля ответит своим посланием. От 23 июля — через пять дней.

«Пусть ярость благородная...»

Сторожевик, который недавио по неопытности пробомбил свою же подлодку, стучал машиной далеко в океаие... На мостике посапывал трубкой «батя» в звании лейтенанта, и когда он спал, то ему сиились сны — прежние сны, еще довоенные: подъем трала лебедкой, после чего наступало видение плещущей на палубе рыбы: треска тут... пикша... палтус! Это были сны мириые, а до военных снов ои еще не дослужился...

Вахту на мостике, подсменяя командира, нес минер, сторожевика Володя Петров, досрочно выпущенный из училища в наискромнейшем звании младшего лейтенанта. Недавио на борту сторожевика устаиовили шумопеленгаторную станцию, снятую с поврежденной подлодки. Прислали в команду и акустика, спнсаииого с Подплава, где ои оглох, прослушивая воду прн бомбежках, а теперь слух к нему опять возвратился...

За стеклом кабины, покрытым каплями брызг, виднелось молодое угрюмое лицо акустнка. Этот пареиь уже изведал однажды неимоверный холод океанской пучины, чудом остался жив и теперь не мог обходиться без электрогрелки — он сильио мерз. Тонкие, изящиые пальцы матроса удивительио красивым жестом держали виит поискового пеленга. Накаиуне войны скрипач, лауреат всесоюзиого конкурса, акустик теперь не играл. Для него на все лады играл таииственные мрачные мелодии великий маэстро — океаи. Акустик был теперь ие исполнителем — ои был лишь придирчивым слушателем... Вращая винт компенсатора, он иастраивал аппаратуру на каждый подозрительиый шум, которых всегда такое множество в океаие...

Лицо стало озабочеиным. Углы рта опустились. Рука замерла. Глаза он закрыл. И доложил о пелеиге:

— Контакт есть!

. . . .

— Коитакт есть, — одиовремеино доложили с «нибелуига».

— А что за судно? — спросил Ральф Зеггерс.

— Русская галоша... на одном винте. Я даже слышал, как гремели заслонки в паровом котле.

— Носовые — к залпу... двумя торпедами!

Зеггерс поднял перископ.

— Посмотри и ты, — сказал помощнику.

— Типичный траулер, — определил штурман.

— Но под военным флагом... у него пушки.

Придя на сближение, выбросили торпеды. Одна прошла мимо, а от второй сторожевик очень ловко увернулся.

— Третью не истратим на это барахло, — сказал Зеггерс. — Не лучше ли всплыть и покончить с ним снарядами?

Но в этот момент акустик донес:

— Пеленг уходит влево... Шум винтов идет на нас!

— Этого нам еще не хватало, — возмутился Зеггерс...

Первый бомбоудар толкнул лодку так, что из гнезд выбило командные койки, обрушив их с переборок на людей и машины. В «ямах» лопнули эбонитовые баки аккумуляторов. Винт сторожевика стегал воду, словно плетью: чух-чух-чух-чух... Затем русские удалились, и стук машины исчез.

— Но они не ушли, — доложил акустик. — Они лишь отошли. Они даже остановили машину, чтобы слушать нас...

Кажется, по корпусу лодки кто-то осторожно постучал коготками — цок-цок... и еще раз: цок-цок!

— Вот они, звонки московского дьявола, — приуныл штурман.

— Да, — согласились с ним, — это заработал русский «дракон»...

Ощущение было неприятное. Кто-то, невидимый и жуткий, казалось, плавает сейчас на глубине и требует, чтобы его впустили внутрь лодки. Акустик доложил, что на русском корабле запущена машина...

— Слышу и без тебя, — ответил Зеггерс.

Серия бомб легла рядом — метрах в тридцати. Слышно, как их сбросили в воду. Потом, звонко булькая, они тонули. И — взрыв! взрыв! взрыв! Казалось, вода превратится сейчас в клокочущий кипяток. В адской теснотище лодки, колотясь телами о механизмы, катались люди. На глазах Зеггерса картушка гирокомпаса вдруг поехала в сторону, совершив полный оборот. Гирокомпас тоже спятил и показывал «тот свет».

— Вырубите его к черту! — приказал Зеггерс. — Моторы остановить... Кто там шляется? Кто там что-то уронил? Тихо...

Ах, какая убийственная тишина в океанских пучинах! Они не вырубили только регенерацию воздуха. Только регенерацию...

— Видит бог, мы нарвались на опытных истребителей. Мне это надоело, — сказал Зеггерс. — Носовые аппараты: в левый — пакет спасения, а правой трубой выстрелить пузырем воздуха. Добавьте в пузырь из погребов кочнов капусты и насыпьте туда отходов с камбуза, чтобы у русских не оставалось сомнений...

В самый разгар очередной атаки носовые аппараты дали залп. На поверхность океана выбросило громадный пузырь, словно лопнули отсеки. Зеггерс машинально глянул на глубиномер — сейчас они были на 95 метрах.

. . . .

Конечно, не часто можно наблюдать, как содержимое гальюнов плавает среди капусты и картошки. Пузырь воздуха был великолепен! По волнам раскидало решетки мостика, растеклась нефть. Море выбросило это из глубин, словно напоказ, и с борта сторожевика увидели газетный лист — «Фолькишер беобахтер», главной берлинской газеты...

— Может, подцепим? — сказал Володя Петров, загораясь. — И в штабе покажем. Как доказательство гибели... вот и газетка!

— Так ей же подтирались, — брезгливо ответил «батя».

А на лбу акустика — две вертикальные складки:

— Пеленг... глубина около девяносто.

— Олух царя небесного, она же погибла!

— А я говорю, что она здесь: пеленг... погружение...

— Минер, — велел командир Володе, — давай на корму. Сам расставь по бомбам дистанцию взрыва...

Отослав Петрова, «батя» постучал в окошечко кабины.

— На тебя вся надёжа, — сказал акустику. — Уж ты не подгадь, милейкий.

Высокая корма сторожевика, приспособленная для выборки трала, по всему круглому обводу была плотно уставлена бочками глубинных бомб. В каждой такой бочке — там, где ее донышко, — блестели стаканы взрывателей. Тончайшие диафрагмы, точно воспринимая давление воды при погружениях, сообщали бомбе, когда и на какой глубине ей взрываться.

Володя Петров стал работать ключом, готовя бомбы к атаке. Первые три он поставил для взрывания на глубине в 60 метров.

Вторую серию — чтобы рвануло на глубине в 30 метров.

Третью — на 100...

— Вот это, — сказал матросам, — называется *ящик*...

И, спрятав ключ в карман, помчался обратно на мостик. Сторожевик уже лежал в развороте и, толкая волны, спешил в следующий заход. Минер с мостика отмахивал на корму флажком:

— Первая — пошла... вторая — бросай!

Его юную душу волновала и тешила романтика боя.

. . . .

В этой атаке, когда вокруг рвались бомбы, что-то тяжелое вдруг свалилось на мостик. При этом глубиномер отметил «приседание» лодки, будто она приняла на борт лишнюю тяжесть.

Каждый слышал этот удар. Каждый понял, что на мостике что-то лежит. И каждый страшился думать об этом. Больше всех ощущал опасность сам Зеггерс, но... молчал.

Он уже догадался, что его лодка приняла на мостик глубинную бомбу, которая *не* взорвалась. Или она неисправна, эта бомба. Или она раскололась от удара при падении. Или...

Было тихо.

— Уберите регенерацию, — распорядился Зеггерс.

Полная тишина — она, пожалуй, страшнее полного мрака.

Взгляд на шкалу глубины. Без моторов лодка постепенно

(очень замедленно) продолжала погружение. Метр за метром ее тянуло и тянуло на глубину. Это засасывающее влияние бездны при нулевой плавучести хорошо знакомо всем плававшим под водой, и вряд ли оно улучшает им настроение...

— В отсеке вода, — вдруг тихо передали по трубам.

— «Слезы»? — с надеждой спросил Зеггерс.

— Нет. Струи воды...

Прибор показывал глубину всего в сотию метров. А ведь было время, когда они смело ныряли на все 120... В ледяной коробке поста Зеггерс вспотел и распахнул куртку.

— Выход один, — сказал он. — Придется на несколько минут врубить оба мотора и начать подъем. Этим мы, конечно, себя обнаружим, но... Корпус ослабел, лодка сочится по швам.

И вот тогда штурман, до этого молчавший, сказал ему:

— А... бомба?

— Какая к черту бомба? — прошипел на него Зеггерс. — Не разводи панику... Мы с тобой здесь не одни!

Штурман оттянул его за рукав подальше от матросов.

— Послушай, Ральф... Такая история однажды была уже на «U-454», где этот Шмутцке. Они приняли на свой мостик бомбу, когда шли на сорока метрах. Она не взорвалась, как и наша... вот эта! — Штурман показал глазами наверх. — Когда же они всплыли, взрыватель был поставлен для взрыва на глубине в пятьдесят метров. Ты понимаешь: уйди они тогда на лишние десять метров вниз, и... Ральф, мы так влипли, так влипли...

Скользящий взгляд на глубиномер — «приседание» идет дальше, и кормовой отсек доложил со страхом:

— У нас фильтрация тоже переходит в струение...

Зеггерс пропустил этот доклад мимо ушей.

— Не дури! — ответил он штурману. — Уверяю тебя, с нами обойдется, как и с этой «U-454». Мы не котята, чтобы нас топил любой сапожник... Да и откуда знать, что там у нас валяется на мостике? Может, от взрыва рухнул прожектор?

Идя на риск, он велел моторами отработать задний ход.

Винты теперь, как штопоры, «вытаскивали» лодку из засасывающей бездны. Зеггерс следил за набором высоты: 80... 60... 50... 40... Он понимал, что бомба ждет, когда лодка придет на ту глубину, на которой ей суждено взорваться. Они же не знают той роковой отметки. Для них сейчас нет иного выхода. Или навеки оставайся здесь, в пучине...

— Струи воды исчезли? — запросил Зеггерс по отсекам.

— Да, — успокоили его, — только фильтрация.

— Вот и отлично. И с нами ничего пока не случилось...

Но гул моторов был услышан наверху, и сторожевик снова пошел в атаку. Последовал первый удар — небывалый. Выключилось освещение, но лодка осветилась аварийным. Второй удар! Аварийное тоже отказало, но в руках вспыхнули карманные фонари.

— Ах! — вскрикнули все невольно, обожженные холодом.

В центральном посту начался оглушительный ливень.

Сверху — толщиной в палец — били вниз сильные, как стальные прутья, струи воды: это взрывами срезало над рубкой заклепки. Узкий луч фонаря в руке Зеггерса бегал по переборкам, выхватывая на мгновения то один прибор, то другой... В посту плавал густой туман, рассекаемый шумными струями, а стрелки приборов метались в разные стороны.

— Это невыносимо! — заорал штурман. — Ральф... решайся!

Сильный вихрь воздушного потока, который сшибал сейчас крышки люков, пронесся по лодке, — кто-то из команды в панике открыл баллоны высокого давления и не смог справиться со злым джинном, вырвавшимся из своего сосуда... Через отсеки пролетал теперь черный туман — из распыленных масел.

— Весь воздух — на продутие! — заорал Зеггерс, натягивая на голову каску. — Прислуге орудия — к бою... Будем сражаться до конца как верные сыны матери Германии. Хайль Гитлер!

В рубке стало тесно от матросов, которые стояли наготове со снарядами в руках. Подлодка с шумом вырвалась на поверхность. Люк был открыт, и по трапу бросились все — к орудиям. Зеггерс выскочил первым. На мостике, расколотая от удара, лежала русская бомба. А весь мостик, все поручни, все решетки были забрызганы противной серо-желтой слякотью взрывчатого вещества, раскрошенного давлением. Но тут Зеггерс перевел взгляд на сторожевик русских — и в ужасе онемел...

Прямо перед лодкой, бивнем нависая над ней, вырастал форштевень советского корабля. Выстрелить не успели. Сторожевик врубился им в борт, ломая стальные листы, и вдруг с хрустом застрял в корпусе лодки.

. . . .

При таране на сторожевике все попадали с ног.

— Полный назад! — скомандовал командир в машину.

Винт рубил в ярости воду, корма елозила слева направо, но машина была не в силах вырвать корабль из клещей развороченной стали. Форштевень распорол на лодке отсек аккумуляторных «ям», куда хлынуло море, отчего в бурной химической реакции вода сразу закипела зловонными пузырями хлора. Сторожевик потянул противника за собой! Момент опасный, и было непонятно даже, что делать дальше...

— Полный назад! — кричали с мостика в машину.

Под навесом борта было не разглядеть, что делали враги, но зато была слышна их возня у пушки.

Противник решился на крайность — выстрелил, и снаряд, едва вырвавшись из пушки, тут же прошил борт и палубу корабля, свечкой вылетев куда-то в небо (он не успел взорваться). Машина работала на полных, но лодка не отрывалась. В отчаянии немцы стали бить снарядами в днище сторожевика. Это было страшно и для них — близкие взрывы сбивали в море людей, уже мертвых от контузии. Но на смену убитым из рубки выскакивали другие. Ожесточение опытного врага было невероятно. Битва шла на пределе человеческих возможностей.

— Вода в отсеках... заливает все! — доложили на мостик.

— Лишь бы оторваться... полный назад!

Сторожевик трясло от напряжения так, что с бортов слоями отлетала краска и пробка. Наконец последнее усилие машины чуть ли не с «мясом» вырвало нос корабля из подлодки, оставив в ее корпусе — открытой! — скважину пробоины. Все видели, как вода океана хлестала теперь туда, как в яму. Зловоние хлора стало нестерпимым. Но каждый моряк знает, что море заполнит только один отсек, после чего упрется в сталь переборки, и это еще не гибель врага!

А потому, едва оправясь, командир снова отдал приказ:

— Полный вперед... Будем таранить снова!

Сработал в машине реверс, и винт закрутил воду в обратном направлении, гася инерцию заднего хода, снова устремляя корабль вперед — прямо на врага. Но теперь — по удалении от подлодки — сторожевик сделался более уязвим. Враг бил по нему прицельно... В ослепительно белой вспышке разрыва ходовая рубка разлетелась в куски, жестоко раня палубные команды осколками металла и острой щепой дерева. На том месте, откуда только что раздавались команды, не осталось теперь *ничего.* А упавшая мачта в гармошку раздавила трубу. Дым пополз вдоль палубы, удушая людей...

Володя Петров лежал на развалинах мостика, а над ним качалась бездонная масса света и воздуха. С трудом он перевел глаза ниже. Вместо ног у него тянулись по решеткам красные лоскутья штанов. И это было последнее, что он увидел в этом сверкающем мире.

Вздрагивая под снарядами, сторожевик шел дальше.

Он шел прямо. Никуда не сворачивая.

Так, как ему велели люди, которых уже не существовало.

. . . .

Ральф Зеггерс кричал через люк — в глубину поста:

— Лево! Лево... еще левее... клади руль до упора!

Ставя лодку кормою к противнику, он хотел избежать тарана. Узкая, как лезвие ножа, субмарина могла спастись — корабль мог промахнуться. Но сторожевик (без мостика, без командира) настиг подлодку. Его изуродованный форштевень снова полез на врага, круша его в беспощадной ярости разрушения.

Последним проблеском сознания, почти автоматически, Зеггерс отметил, что в кормовых аппаратах только *одна* торпеда, а другие уже расстреляны. Но и одной хватило на всех, когда она сработала от удара корабля.

Гигантский гейзер пламени, воды и обломков вырос над океаном. Грохочущей шапкой он накрыл два корабля, сцепившихся в жесточайшем поединке. Когда же взрывы осели, вместо лодки осталось только жирное пятно мазута, и качало вокруг ошметки тел вражеских подводников. А из этого пламени, из туч дыма, отряхивая с себя тонны воды, вдруг вышел сторожевик...

Теперь он двигался, прессуя волны красной своей переборкой. Под его днищем волочились остатки раздробленного полубака —

с каютами, маляркой, провизионкой, с цепным ящиком и якорями, которые вытянулись на цепях до самого дна. Но корабль шел вперед, как и было приказано ему с разбитого, несуществующего мостика. Исполняя этот приказ, машина корабля стучала, стучала, стучала... даже без перебоев!

Борта дребезжали листами рваного железа. На качке двери корабля сами собой открывались и закрывались. Внутри отсеков из-под сорванных взрывами люков били упругие струи воды, которая быстро разбегалась по коридорам. Корабль колотило в страшной вибрации. Все звенело, трещало и быстро разрушалось в агонии стали, дерева, резины, огня и пара.

С грохотом, отметившим его конец, сторожевик вдруг начал прилегать на борт, словно в изнеможении. Задымив вокруг себя волны, он в рывке последнего крена вдруг побросал с палубы в воду все пушки; все кранцы, все шлюпки, всех мертвых, всех живых... так, будто они мешали ему сейчас.

В красную переборку билось море!

Плавающие вокруг люди вдруг увидели пузатое черное днище корабля, над которым в бессильной ярости еще крутился винт, безнадежно стегая воздух. Внутри перевернутого корабля стучала, стучала, стучала машина... И казалось, не будет конца этой неутомимой жажде корабля: жить — только бы жить!

Со стучащей машиной, непобежденный, он ушел в океан.

Сталин — Черчиллю

Усталые корабли, которым удалось сберечь себя, уже втягивались в протоку Маймаксы — в главный судоходный рукав северодвинской дельты. Я помню эти пасторальные берега, все в крупных и чистых ромашках, помню буро-шоколадных коров, которые, стоя по брюхо в воде, мычали на проплывавшие корабли, и потому я отлично прочувствовал фразу английского обозревателя: «Жители некоторых расположенных на берегах деревушек шумно приветствовали проходившие корабли». Да, наверное, так оно и было — от околиц своих деревень колхозницы махали нашим эсминцам, почему бы не помахать и союзникам? Правда, караваны PQ во время войны были строго засекречены, и наши крестьяне, завидев суда иностранцев, вряд ли могли тогда знать, что мимо их деревень плывут остатки разгромленного PQ-17... У самых причалов Архангельска, когда перед моряками открылась обширная панорама города, его зеленые бульвары, рассудок одного американского матроса помутился от счастья — он бросился за борт! Корабли уже подавали швартовы. Началась разгрузка. «На кузовах десятков машин «скорой помощи», как только их вытаскивали из трюмов одного из судов, русские рабочие тщательно выводили краской надписи: *«Подарок от жителей Плимута»*. Американский атташе из Архангельска сообщал Рузвельту: «Сейчас здесь 1200 пострадавших моряков всех национальностей, 500 из них — американцы». Я помню это время, и в памяти сохранилась набережная Северной

Двины, а на всем ее протяжении, пристроясь на камушках возле воды, сидели на корточках англичане, американцы, арабы, негры, малайцы и филиппинцы... они стирали свое белье! Дело житейское. А над той дорогой океана, которую они проделали, добираясь в Россию, уже клубились тучи *политических бурь*...

. . . .

23 июля И. В. Сталин дал ответ У. Черчиллю на его послание от 18 июля... Вот что он писал премьер-министру Англии:

> *«Наши военно-морские специалисты считают доводы английских морских специалистов о необходимости прекращения подвоза военных материалов в северные порты СССР несостоятельными. Они убеждены, что при доброй воле и готовности выполнить взятые на себя обязательства подвоз мог бы осуществляться регулярно с большими потерями для немцев.*
>
> *Приказ Английского Адмиралтейства 17-му конвою покинуть транспорта и вернуться в Англию, а транспортным судам рассыпаться и добираться в одиночку до советских портов без эскорта наши специалисты считают непонятным и необъяснимым.*
>
> *Я, конечно, не считаю, что регулярный подвоз в северные советские порты возможен без риска и потерь. Но в обстановке войны ни одно большое дело не может быть осуществлено без риска и потерь.*
>
> *Вам, конечно, известно, что Советский Союз несет несравненно более серьезные потери. Во всяком случае, я никак не мог предположить, что Правительство Великобритании откажет нам в подвозе военных материалов именно теперь, когда Советский Союз особенно нуждается в подвозе военных материалов в момент серьезного напряжения на советско-германском фронте...»*

И самые худшие предположения вскоре оправдались. Воспользовавшись разгромом каравана PQ-17, англичане решили больше не рисковать в конвоях. Но почему они дали противнику убить караван — об этом они умалчивали. Корабли эскорта давно дремали в «собственной спальне», а корабли PQ-17 — уже последние из каравана! — гитлеровцы добивали в океане...

Сейчас нам было важно убедить англичан, что проводка караванов возможна. С риском, с потерями, но она возможна и необходима. Северный флот брался это доказать в своей зоне!

Последние

Казалось, все складывается не так уже плохо.

Из носовых отсеков, разрушенных бомбою, откачали воду за борт — дифферент выправили. Все бы ничего и они были бы уже, наверное, в безопасности, если бы не забарахлил индуктор в машине. Тогда транспорт не пошел, а пополз.

Брэнгвина разбудил Сварт.

— Молись! — сказал он с таким выражением лица, будто его обделили за выпивкой. — Молись, брат мой... «И пришла за ним смерть», — шпарил Сварт далее по молитвеннику.

В иллюминаторе виднелось море. Солнце было на подъеме.

— Не с того борта смотришь... Глянь по левому крамболу! «И пришла за ним смерть, и она позвала его к себе, и встал он навстречу смерти, и она повела его...» Видишь? — спросил Сварт, перелистывая страницу.

С другого борта шла волна. В потоках пены там ныряла германская лодка. По ее скользкой палубе деловито расхаживали люди в длиннополых бушлатах. Брэнгвин с детства знал, что благородные пираты флага с черепом и костями на своих мачтах никогда не носили (у них были другие флаги). А теперь Брэнгвин своими глазами видел настоящий флаг с черепом и костями, как на будке трансформатора токов высокого напряжения. Этот псевдопиратский флаг болтался над перископами чуть повыше официального знамени со свастикой...

Ему стало обидно — очень хотелось жить.

А там не спеша возились возле орудия... Брэнгвин расслышал, как немцы через мегафон спросили:

— Назовите ваш генеральный груз.

— Одна тушенка и обувь, — соврал кто-то с палубы, но соврал неумело, и с мостика лодки раздался дружный смех, в который вплеталось динамичное стрекотание киноаппарата.

— Эй ты, идиот из Техаса! — доносилось из мегафона. — Может, ты скажешь, что в контейнерах на палубе лежат лакированные ботинки для русской пехоты?

— Я не знаю, что там.

— Зато мы уже догадались! — был зловещий ответ...

«Неужели жизни пришел конец?» — спросил себя Брэнгвин. Но в тот же момент он, как большая и сильная кошка, в два прыжка очутился возле люка и стремглав провалился в его впадину.

. . . .

— Не сделать ли вам укол, дружище? — спросил он как можно веселее.

Вместо лица — маска сизого, изрубленного, как котлета, мяса. Но глаза штурмана еще жили.

— Что у вас там... наверху? — простонал он.

Брэнгвин разбил на этот раз три ампулы морфня.

— Выдерните рубашку сами, сэр...

Он свалил штурмана в небытие лошадиной порцией наркоза. Ему было жаль хорошего парня. Пусть он идет на дно, так и не узнав, что на свете есть флаги с черепом и костями.

Первый выстрел с подлодки не страшен: он пристрелочный.

— С вашего разрешения я выпью? — спросил Брэнгвин.

Штурман уже одурел после укола — ничего не ответил.

Брэнгвин со стаканом в руке смотрел на часы.

Минута, вторая... «Чего они там копаются?»

Второй выстрел — тоже мимо, с перелетом над палубой.

— У, грязные собаки! — проговорил Брэнгвин с лютейшей ненавистью. — Умеют дубасить нас только торпедами...

Выглянул в иллюминатор. Под навесом рубки на подлодке стояла пушка небольшого калибра. Вот они ее зарядили, и Брэнгвин невольно отшатнулся. Снаряд с грохотом разорвал борт...

— Я пойду, — сказал он штурману, который его не слышал.

Раздалось сочное плюханье, будто чья-то большая ладонь во всю мочь шлепнула по воде. Брэнгвин, выскочив на палубу, видел, как закачался под бортом спасательный плот. Немцы пока их не замечали, и матросы стали звать Брэнгвина с собой.

— Нет, — мотнул он головой. — Там за меня молится Сварт.

Два весла всплеснули воду, оттолкнув плот от корабля. Они отошли, устраиваясь поудобнее, как пассажиры перед долгой дорогой. Далеко ли уплывут эти бедняги?.. Сейчас на корабле мало кто остался. Или те, кто находился в состоянии полного транса. Или те, которые надеялись на чудо...

Снаряд влетел в спардек, завертывая в узлы шлюпбалки и ростры. Чтобы избежать промахов, подлодка теперь приблизилась, и Брэнгвин готов был поклясться, что убийцы вполне спокойны. Это больше всего возмутило его! Ведь если бы он стал убивать их, он бы волновался... «А они спокойны, черт их побери!»

Ему захотелось молиться. И он начал молиться.

— Мама, — сказал Брэнгвин в пустоту отсека, — ты меня уж прости... Я часто выпивал и дурил, но, поверь, я совсем неплохой парень. Мы редко виделись... Отныне я обещаю навещать тебя как можно чаще...

В ту же минуту снаряд прошил весь твиндек насквозь, ломая металл легко, как карандаш протыкает лист газетной бумаги. С близкой дистанции, наладив свою работу, немцы стали точнее. Скоро отсеки корабля наполнились резким желтоватым дымом, от которого при дыхании появилась острая боль в легких.

Брэнгвин в отчаянии заметался по отсекам, по трапам, по рубкам. Он прятался и понимал, что глупо прятаться. Разрывы вдруг стали глуше — били под ватерлинию. Даже не глядя на кренометр, Брэнгвин почувствовал, как моряк, всю слабину корабельной жизни и... крен! Значит, где-то внизу по трюмным льялам уже разбегается вода, она бьет сейчас через борт, как из шлангов, толстыми струями — толщиной в руку.

А эти «эрликоны», воздев к небу раструбы пламегасителей, стоят, словно не найти для них достойной цели. Возле их площадок — высокие кранцы, битком набитые обоймами.

— В конце концов, — сказал себе Брэнгвин, — я ведь ничего не теряю... — И он опрометью кинулся в каюту: — Сварт, не хочешь ли ты продать свою шкуру подороже?

Сварт молчал, натянув на голову одеяло.

— Пойдем! Я не могу, чтобы меня убивали эти паршивцы... Сварт затих, одеяло тряслось. Сварт плакал.

— Да не будь ты скотиной, Сварт, — говорил ему Брэнгвин. — Мы же не последние ребята на этой ферме... Вставай!

Снаряд разорвало под ними — в трюме. В труху разлетелся плафон ночного освещения, битое стекло застряло в волосах.

— Отстань от меня! — выкрикнул Сварт. — Я молюсь...

— Кто же так молится, лежа на койке? Ты встань...

В ушах снова грохот. Брэнгвин силой потянул Сварта.

— Да будь я проклят, — хрипел он, — но я убью их...

Он дотащил его до барбета кормовых «эрликонов». Из кранца вытащил обойму с нарядными, как игрушки, зубьями патронов.

— Это делается так, — сказал он, и обойму намертво заклещило в приемнике. — Я стреляю... ты только подноси, Сварт, и умоляю тебя — больше ни о чем не думай... Подноси, Сварт!

Очень медленно, чтобы не привлечь внимания немцев на подлодке, Брэнгвин разогнал ствол по горизонту. Навел... Дыхание даже сперло. Сердце ломало ребра в груди. «Вот, вот они!» Через визир наводки Брэнгвин видел их даже лучше — как из окна дома через улицу. Бородатые молодые парни (видать, давно не мытые) орудовали у пушки.

«Что ж, мужчине иногда следует и пострелять». Брэнгвин отпустил педаль боя.

«Эрликон» заработал, отбрасывая в сетку гамака пустые гильзы, дымно воняющие гарью сгоревшего пироксилина. Просто удивительно, как эти «эрликоны» пожирают обоймы...

— Сварт, подноси!

Сварт, громко ругаясь, воткнул в приемник свежую обойму.

— Ты, когда стреляешь, — сказал он, — не оборачивайся на меня. Я не удеру, не бойся... Это было бы не по-христиански!

Брэнгвин опять отпустил педаль, и «эрликон» заговорил, рассыпая над океаном хлопанье: пом-пом-пом... пом-пом-пом...

С третьей обоймы Брэнгвин сбросил с палубы лодки ее комендоров. Он видел, как оторвало руку одному фашисту, и эта рука, крутясь палкой, улетела метров за сорок от подлодки. Пушка немцев замолчала, дымясь стволом тихо и мирно, словно докуривала остатки своей ярости.

— Больше ни одного к пушке не подпущу! — крикнул Брэнгвин.

С мостика лодки вдруг ударил по транспорту пулемет.

— Сварт, подноси!

«Эрликон» дробно застучал, глотая обоймы как пилюли. И вдруг с криками немцы стали прыгать на выступ рубки, быстро проваливаясь в люк. Брэнгвин продолжал стегать по лодке крупнокалиберными пулями, стараясь разбить ее перископы. Мертвецы еще лежали на палубе возле пушки, и, когда пули в них попадали, они начинали дергаться как в агонии. Неожиданно субмарина издала резкое и сиплое звучание — это заработал ревун сигнала.

Выбрасывая кверху облако испарений и фонтаны воды, подводная лодка китом ушла вниз, а на волнах после нее остались качаться пустые ящики из-под снарядов и трупы...

Брэнгвин остатки обоймы выпалил в небо и засмеялся:

— Сварт, неужели ты не видел? Адольфы не такие уж герои, как это пишут в газетах... Ты заметил, как они прыгали? Это было здорово... Сварт, разорви тебя, чего ты молчишь?

Он обернулся. Сварт лежал возле кранцев, среди нарядных обойм. Его капковый жилет — точно по диагонали, от плеча до паха, — был пробит дырками от пуль (удивительно симметрично).

— Дружище, Сварт... как тебе не повезло!

В сторону накрененного борта из-под капкового жилета медленно вытекала кровь. Из кармана Сварта торчал молитвенник. Брэнгвин раскрыл его наугад и возвел глаза к небу.

— Я тебе прочту, Сварт... самую хорошую молитву!

Только сейчас он увидел над собой советский самолет. Стало понятно, почему немцы так быстро погрузились. Раз за разом, четырежды, большая машина пронеслась над мачтами. Летчик откинул фонарь, было видно, как он что-то высматривает на транспорте...

Брэнгвин стоял на коленях, плача навзрыд. Его большая рука в громадной теплой перчатке гладила Сварта по голове. Вокруг них катались нарядные, как игрушки, патроны...

. . . .

— Я тридцать шестой, я тридцать шестой... Восьмерка, как меня слышишь? Запиши координаты... Подо мной — транспорт, сухогруз. Флаг, кажется, американский. Не разберу...

— Тридцать шестой, я — восьмерка, я тебя понял... Коля, на сколько у тебя хватит горючего?

— Минут на двадцать — не больше.

— Крутись там, Коля, сколько можешь... Посылаем других!

— Я тридцать шестой, тебя понял. Но он, кажется, тонет... Повторяю, он тонет, и тут шляется подводная лодка...

— Тридцать шестой, — последовал приказ, — жди...

На смену ему прилетели сразу два. Они уже не сводили глаз с корабля, медленно тонущего. Когда эти два опустошили свои баки, прилетели еще самолеты — сразу три... Воздушное прикрытие было надежным. Подводная лодка, пока они тут крутились, уже не рисковала всплывать, ибо нет для субмарины опаснее врага, нежели самолет...

Данные воздушной разведки моментально поступили в оперативный отдел штаба флота. Их сразу пустили на обработку:

— Какой из кораблей ближе всего сейчас к указанным координатам? Тральщик не годится, у него малый ход. «Грозный» — поломка в машине, у него текут трубы... Вот старый «Урицкий», который и волну легко переносит, и машины тянут выносливо...

Косо дымя из старомодных труб, эсминец «Урицкий» ложился на новый курс. Когда-то в молодости был он «Забиякой» (это уже вторая мировая война на корабельном веку). Борта эсминца еще не остыли после битвы в Моонзунде, когда началась революция и бойкий «Забияка» в ту памятную ночь октября стоял

рядом с «Авророй». А в 1933 году славный «новик» простился навеки с влажной Балтикой — окунулся в полярные туманы...

«Урицкий» быстро вышел на встречу с транспортом. Аварийные команды горохом посыпали на палубу разбитого корабля. Русские матросы разлетались по отсекам, повсюду трещали их жесткие робы, они, как тараканы, сновали по коридорам, тянули шланги, ставили подпоры, и Брэнгвин сначала ничего не понимал — только отовсюду слышал непонятное для него слово: «Давай!»

— Давай, давай! — кричали русские.

Он пытался вмешаться в их работу, но его отстраниили.

— Давай, давай... давай, давай, ребята!

На эсминце Брэнгвина осмотрел врач и угостил спиртом. Брэнгвин подмигнул ему.

— Давай, давай! — сказал он врачу.

Врач удивился и налил ему еще. Брэнгвин выпил и полез по скобам трапа наверх. «Итак, все в порядке», — подумал он, размышляя, где бы ему поспать.

. . . .

Двадцать четвертого июля командование Северного флота издало приказ о прекращении поиска судов каравана PQ-17...

В этот же день одним из последних кораблей пришел в Архангельск и «Азербайджан» — ему были, конечно, рады, хотя он вернулся пустым (через пробоины все содержимое танков вылилось в море). А транспорт, на котором плыл Брэнгвин, русские утащили прямо в Мурманск.

На высоком уровне

Теперь пора подсчитать наши потери. Я пишу — «наши», ибо тот груз, который лежал в трюмах погибших кораблей, был уже нашим грузом.

Из всех транспортов до портов назначения добрались лишь 11, и будем считать, что эти 11 кораблей — счастливцы.

Остальных навеки поглотил океан.

Из 188 000 тонн военных грузов советские порты приняли от кораблей PQ-17 лишь 65 000 тонн. У. Черчилль не ошибся в своих расчетах, когда в письме к Сталину указывал, что уцелеет только одна треть. Потери были колоссальны...

Вот что осталось лежать на грунте вместе с кораблями:

210 бомбардировщиков,

430 танков,

3550 автомобилей и паровозов.

Это не считая прочих военных грузов! Польский историк морских операций Ежи Липинский пришел к печальному выводу: *«Такие материальные потери могут сравниться лишь с потерями в крупном сражении на суше...»*

Разгром немцами каравана PQ-17 вызвал очень острую реакцию в политическом мире. Протесты шли к Черчиллю из Мо-

сквы, из Вашингтона, и, наконец, поступали протесты от офицеров британского флота.

— Караваны могут проходить в СССР, — утверждали они, — PQ-17, покинутый эскортом, не может служить примером их непроходимости...

Черчилль этого натиска не выдержал и велел в узком кругу своих приближенных договориться с русскими.

— Маршал Сталин очень сердитый мужчина, — сказал он Идену. — Только не давайте русским слишком наваливаться на нашего Дадли... С них хватит и того, что в Москве они спустили штаны с нашего морского атташе Джеффри Майлса!

. . . .

Но англичане решили помогать СССР по принципу «too little and too late» («слишком мало и слишком поздно»), — караван PQ-18 не шел. А он был необходим сейчас, как никогда, и Северному флоту предстояло наглядно доказать всем сомневающимся, что караваны — даже с боем! — пройдут.

Незаметно подкрадывалась осень. Дни становились короче.

Тяжелели облака над океаном. Пожухли скромные березы на сопках за Колой, на болотах вызревала — в больших рубиновых гроздьях — брусника, тянулись птицы в строю кильватерном и в строю уступа, как эскадры.

. . . .

Между тем еще в августе проскочил до Мурманска тяжелый американский крейсер «Тускалуза» в сопровождении миноносцев. Рузвельт, посылая эти корабли в Россию, кажется, решил доказать Черчиллю, что океан проходим и в условиях полярного дня.

И ему удалось доказать это!

В обратный путь американцы приняли на борт крейсера 240 человек с потопленных немцами кораблей PQ-17; эсминцы сопровождения забрали в свои жилые палубы много пассажиров и четырех советских дипломатов.

На крейсере «Тускалуза» ушел на родину и наш Брэнгвин.

И прошли с боем

В первые дни сентября британская миссия в городе Полярном проинформировала командование Северного флота: караван PQ-18, под вымпелом адмирала Бурнетта, вышел из Лох-Ю, и сейчас вокруг него собирается эскорт. Линейных сил в прикрытии нет, в конвое следует авианосец «Авенджер», предпочтение отдано миноносцам и корветам охраны. Англичане считали, что немцам уже все известно и надо ждать выхода в океан «Тирпица».

Но «Тирпиц» уже был на консервации. Он не вышел! Вдоль побережья Норвегии сейчас на больших скоростях двигались германские крейсера «Хиппер» и «Кельн», из Нарвика спешил «карманный линкор» «Адмирал Шеер». Британская подлодка «Тайгрес», вышедшая недавно из Полярного, нарвалась на эту

эскадру так неожиданно, что проходящие корабли чуть не своротили ей перископы. «Тайгрес» выбросила торпеды безрезультатно...

Восьмого сентября британская миссия доложила, что караван PQ-18 производит дозаправку топлива в заливах Шпицбергена. А потом все началось... Контр-адмирал Фишер сказал Головко:

— Нам пустили первую кровь. Не авиация — подлодки. Теперь следует ожидать, что придут самолеты.

— Постараемся предупредить эти удары с воздуха, — сказал Головко. — Наш флот нанесет превентивные бомбоудары по скоплению авиации противника. Хотя... вы знаете, контр-адмирал: эти бомбежки немецких аэродромов в Норвегии дорого обходятся нам по соображениям политическим. После каждого такого налета германские бомбардировщики взлетают в небо и начинают кидать бомбы на ярко освещенные города Швеции, приписывая все жертвы нейтральной страны действиям нашей авиации...

Тринадцатого сентября пришло известие о первых потерях. По сведениям британской миссии, немцы потопили 10 кораблей. 15 сентября над караваном продолжался воздушный бой. Немцы потеряли 7 торпедоносцев, англичане — 3 самолета, но корабли эскорта сумели спасти своих пилотов. Британская миссия внесла поправку: кажется, не 10, а лишь 2 транспорта потоплены противником.

— Один из них — ваш... это транспорт «Сталинград»!

В радиорубках Северного флота — настороженная тишина: берлинский диктор орет на весь мир о потоплении 19 судов в Баренцевом море... Удивительная путаница! Никак не разберешься, сколько же в действительности погибло кораблей.

— Этот конвой PQ-18, — говорит Головко, — мы не отдадим; флот будет драться за него... за каждый транспорт!

Британская миссия снова внесла поправку: потоплены немцами не 2 и не 10 кораблей, как было указано выше, а все 13! Если эта цифра окончательная, то потери каравана внушительны еще до его подхода к советской зоне. Будем надеяться, что, может, опять какая-то неувязка в британской информации...

Между тем мысли североморцев сейчас прикованы к той великой битве, которая начиналась возле стен Сталинграда. Было решено на флоте списывать на берег не больше семи человек с каждого корабля. В экипажах матросов быстро переодевали в гимнастерки, и отряды морской пехоты Северного флота уходили под Сталинград...

С тяжелым сердцем прослушав последние сводки Информбюро, в океан сейчас уходили корабли — навстречу PQ-18. Первыми ушли эсминцы «Сокрушительный» и «Гремящий»... Тогда пели:

Где враг не появится, только б
найти нам его поскорей;
форсунки — на полный, и в топках

бушуют потоки огней.
Врывайтесь, торпеды, в глубины,
лети за снарядом снаряд,
пусть дремлют в пучине коварные мины —
«Гремящий» не знает преград...

За ними пропали в ненастье шторма «новики», о которых не сложено песен: «Куйбышев»... «Урицкий»... «Карл Либкнехт». Старые корпуса, старые машины. Но, поднатужась, дают хорошие узлы. Дерзко вступают в бой, ведя огонь с открытых площадок. При виде врага в «новиках» словно просыпается бесшабашная балтийская юность, и опять они становятся прежними молодыми «забияками»... Миноносцы скользят сейчас по воде — как бы затаенное видение славного прошлого русского флота!

Волна идет с океана — крута... Она их бьет.

Склоненные трубы отбрасывают за корму клочья рваного дыма.

Сталинград в огне. Океан в огне.

PQ-18 должен пройти!

. . . .

Это случилось возле Канина Носа, где на распутье трех морских дорог началась беспощадная битва за корабли каравана. Штаб флота постоянно терял радиосвязь со своими эсминцами. Виной тому — дождь осколков, которые рвали антенны кораблей.

Битва у Канина Носа выявила предел того напряжения, на какое способен противник; она же выявила и всемогущую беспредельность наших возможностей. Никогда еще мы не испытывали такого натиска врага с воздуха, как в этой битве у Канина Носа.

Противник запускал свою торпедоносную авиацию в несколько эшелонов — волна за волной. Корабельные радиолокаторы не срабатывали, если цель шла в низком полете. Четырехмоторные махины летели на бреющем, готовые для низкого метания, и эскорт замечал противника лишь визуально, когда до него оставалось уже немного... Риск был невероятный!

На многих самолетах в моменты атаки отказывал механизм сбрасывания торпед. Гитлеровские пилоты, не в силах совладать с управлением, разбивались вместе с машинами о надстройки кораблей, корежа мачты, трубы и мостики. Исковерканные, пылающие зеленым огнем бензина, самолеты по инерции перекидывало через корабли, и только тогда торпеды взрывались, но уже вместе с пилотами, гробя в раскаленном облаке газа десятки людей на палубах эскорта...

Одна волна самолетов ушла. Другая пришла.

Туча... Слева их 20... Справа 30... Заходят с кормы!

С короткой палубы «Авенджера» взлетают, как мечи, острорылые «суордфиши». Их отгоняет в сторону свой же огонь...

Дробным лаем заливаются «эрликоны». Автоматы крутятся на барбетах, все в гулком звоне отстрелянных патронов. Но что больше всего поразило в бою англичан — так это главный ка-

либр русских... Советские эсминцы в битве у Канина Носа, в нарушение всяких традиций, применили по самолетам свой главный калибр. 130-миллиметровые гранаты творили просто чудеса!

Вот он, низко гудящий над морем строй торпедоносцев.

Ближе... ближе... ближе.

Команды на «эрликонах» не в силах остановить эту смерть, неумолимо летящую на корабли. Надо еще знать тех людей, которые вцепились сейчас в штурвалы своих машин, готовые нажать красную кнопку «залп». Они, эти асы Геринга, отступать не любили. Им только дай цель — они идут на нее, уже не сворачивая в сторону. Ближе... ближе... ближе... *смерть твоя!*

И бьет калибр эсминцев. Дистанционные гранаты как бы изнутри взрывают весь четкий, несокрушимый строй противника. Пластаясь брюхом над волнами, то один, то другой торпедоносец косым крылом зарывается в океан, и строй редеет. Но остальные идут. На «эрликонах» уже нельзя работать — барбеты сплошь засыпаны отстрелянными гильзами. Подносчики-негры ногами сгребают их за борт, чтобы расчистить радиус поворота автоматов, и снова раздается: пом-пом-пом... пом-пом-пом...

А наши эсминцы проносятся, осиянные вспышками и гулом своего беспощадного главного калибра. На стволах орудий пучится обгорелая краска. В низах воют элеваторы, подавая из погребов новые снаряды. Богатыри в ватниках кидают их на лотки орудий. Досылающие с лотков подают в стволы. Звучит короткий ревун, синяя лампа дает проблеск, и... залп! Опять воет элеватор, стук лотка, клацанье замка, синяя вспышка, желтое пламя залпа и... грохот!

Немецкие самолеты побросали торпеды куда попало и ушли...

Но это было только начало. Враг не отпускал PQ-18 на протяжении многих часов. И опять наши эсминцы ввели в дело свой главный калибр, гася силу и скорость торпедоносцев. PQ-18 отбивался на два фронта сразу: авиация шла сверху, подлодки шли снизу. И караван прорвался!

Уже в Белом море корабли попали в сильнейший шторм, три транспорта вылезли на мели, но их удалось стащить на воду при высокой точке прилива. Геринг потерял в этой битве над PQ-18 лучших своих летчиков. Это его разъярило: он отправил самолеты далеко к Архангельску, где корабли уже стояли под разгрузкой на рейдах. Но и там, на земле поморов, враг получил жестокий отпор...

27 транспортов пришли в СССР!

Потери:

12 транспортов, когда PQ-18 охранялся союзными силами;
1 транспорт, когда в охранение вступили наши корабли.

Причем транспорт «Кентукки», подорванный возле Канина Носа, не затонул. Его расстрелял союзный миноносец. В горячке боя нашим командам было уже не до «Кентукки», но в более спокойной обстановке североморцы наверняка дотянули бы до Архангельска и этот несчастный корабль.

. . . .

В самый разгар сражения в Сталинграде поставки по ленд-лизу были опять приостановлены. Караваны уже не шли, хотя глухая полярная ночь и стояла над океаном — беспробудно, беспроглядно. Англичане проводили операцию «Frickle», что в переводе на русский язык означает — «по капле». Именно так — по капле! — и поступал ленд-лиз в нашу страну в эту грозную зиму.

Одиночные транспорты в операции «Frickle» следовали по «челночной» системе. Расчет был на добротность механизмов и спаянность команды. Они шли в СССР, почти касаясь бортом кромки паковых льдов. На пути их следования — в кромешном мраке — были расставлены лишь несколько траулеров, которые должны подбирать из воды тех, кто уцелел, если «челнок» будет потоплен противником. Из 37 запущенных в операцию кораблей погибло 9, остальные «накапали».

Под конец 1942 года немцы провели в океане операцию «Хоффнуиг», в которой главную роль играл тяжелый крейсер «Хиппер». Рано утром он разбил нашего охотника за подводными лодками «МО-78», а потом встретил транспорт «Донбасс», участвовавший в «капельной» операции. Этот корабль, уцелевший даже в разгроме PQ-17, был погублен «Хиппером»... Впрочем, его экипаж и команду с охотника крейсер принял на борт — как пленных [1].

. . . .

1942 год заканчивался. Он заканчивался *очень хорошо* для нас, для всей нашей страны. Сталинград решил судьбу второй мировой войны, и именно с этого времени начался тот железный, необратимый процесс, который привел нас к победе.

Больше караванов PQ не было ни одного — англичане запускали их в СССР под другими литерами, словно желая уничтожить даже память о прошлом позоре.

Волчье логово

Тридцать первого декабря 1942 года мир стоял на самом острие переломного времени: наступал новый год — год побед нашего оружия...

Гитлер встречал этот год в своем «Вольфшанце» («Логово волка») в Восточной Пруссии. Приближался двенадцатый час ночи, и свита фюрера уже наполнила бокалы шампанским. Для Гитлера был налит вишневый сок... С напряженным видом,

[1] Капитаном «Донбасса» тогда был уже не М. И. Павлов, а В. Э. Цильке. Мне сообщили читатели: «У него очень тяжело прошло пленение после гибели судна, немцы держали его в плену в Норвегии, затем перевели в Гдыню, где наши войска его освободили». В условиях концлагеря он сумел сохранить орден Ленина. Сейчас В. Э. Цильке работает капитаном-наставником в Черноморском пароходстве.

волоча ногу, фюрер обходил рождественскую елку, сверкавшую нарядом и фонариками.

Радиостанции «Вольфшанце» продолжали работать, и сейчас сюда притекали одновременно два потока информации. Один поток — самый мощный! — струился из Сталинграда, где уже была решена судьба 300-тысячной армии Паулюса; второй — краткими импульсами — бился от скал Нордкапа. Сталинградский «котел» мрачно вещал о своем поражении, оттуда доносились вопли и скрежет. А с моря летели краткие радиоточки — пик, пик, пик! — и в них читались тревога, растерянность, поражение.

Дело в том, что гросс-адмирал Редер, прежде чем уйти, решил сильно хлопнуть дверью. В самый последний день 1942 года далеко в полярном океане (в 150 милях от Нордкапа) он бросил свои надводные силы в отчаянную атаку против союзного каравана TW-51B, находящегося на подходах к Мурманску.

Ровно в полночь Гитлер поднялся с бокалом в дрожащей руке, и... пик, пик, пик! — стучали импульсы с моря: два немецких эсминца в этот момент уходили на дно. Затем англичане засадили два снаряда (рождественских!) в котельные отсеки «Хиппера». В сражение у Нордкапа фюрер тут же вмешался:

— Пусть они вылезают из драки, если их бьют...

На выходе из боя германский эсминец «Фр. Экольд» принял во мраке английский крейсер за своего «Хиппера», и британцы, не будь дураками, расстреляли его тут же со всей командой... А из Сталинграда — вой! Все это, вместе взятое, переплелось в один крепкий узел, и Гитлер отметил праздник Нового года очередной истерикой:

— Паршивец Редер, он создал мне флот — лишь жалкое подобие флота. Мои корабли абсолютно беспомощны. Своими позорными действиями флот Германии способен лишь вызвать революцию в стране... Да, да! Я знаю — революцию!

Охрана кинулась к радиоприемникам, чтобы прослушать станцию Би-би-си, которая в ночной программе, добивая Гитлера, подтвердила весть о разгроме немецких кораблей. Редеру, таким образом, не оставалось ничего другого, как только уйти, что он и сделал 6 января 1943 года.

Кстати, Редер был одним из тех неглупых гитлеровцев, которые давали себе отчет в том, что все их усилия на суше и на море напрасны, — СССР победить нельзя!

. . . .

Известный фальсификатор морской истории Фридрих Руге, касаясь отставки Редера, пускает вдруг слезу умиления. По его словам, Редер, «будучи человеком верующим, не допускал грязи ни на флоте, ни в методах ведения войны на море. Он крайне резко противодействовал всем попыткам высшего партийного руководства вмешиваться во внутренние дела флота, особенно же — в области религии...».

Воображению Руге рисуется какой-то чистый, молитвенно настроенный человек, заботящийся лишь об удалении грязи с гитлеровского флота. Но этот «добрый дедушка» отлично знал о приказах Деница (еще в 1940 году), в которых подводникам предписывалось уничтожать команды потопленных кораблей, даже если в волнах окажутся женщины и дети. Эти приказы советские люди испытали на себе. Сколько трагедий разыгрывалось, когда гибли беззащитные госпитальные суда в печально памятном «таллинском переходе», сколько потоплено гражданских судов и рыболовных траулеров, половину команд которых составляли тогда русские женщины...

Мы это знаем. Мы это помним.

Может, Руге и прав, когда говорит, что Редер оберегал от нацистов священников на кораблях флота. Но варварские приказы налицо, они пришпилены к документам Нюрнбергского процесса. И если бы гросс-адмирал только молился в своей каюте, то Международный трибунал не осудил бы Редера (за компанию с Деницем) в 1946 году как военного преступника именно за *бесчеловечные методы* ведения войны на море!

И не потому Гитлер убрал Редера с флота, что Редер верил в бога. И не потому Гитлер поставил над флотом Деница, что тот в бога не верил. После Сталинграда Гитлеру не оставалось иного выбора, как выдвинуть вперед мрачную фигуру главного разбойника в стане плавающих под флагом со свастикой — адмирала Деница! Пусть он топит всех...

. . . .

«Каждый день — новая лодка!» — вот мечта Деница.

Натужно работали верфи, выбрасывая на воду новые и новые субмарины. Вот как помесячно, начиная с января, колебалась амплитуда графика этой небывалой гонки, чтобы «каждый день — новая лодка»: 20... 18... 19... 23... 20... 23... 18..: 20... 17... 23... 17... 26... (в декабре). Итого за один год — 244 субмарины. В следующем, 1943 году Германия выпустит уже 270 лодок, в 1944-м — 387 лодок, в 1945-м — 132...

Дениц добился своей цели. Германское судостроение полностью переключилось лишь на строительство подлодок, которые были усовершенствованы, покрыты слоем резиновых пластиков, чтобы затруднить их поиск, они уже имели локаторы и «шнорхели», позволяющие им идти под дизелями на глубине. Наконец, в закутах флотских лабораторий была создана торпеда типа «цаункениг». Это акустическая торпеда на электроходу, которая не оставляла следа на поверхности моря. Она шла на шум винтов или на шум механизмов корабля, и спастись от нее было почти невозможно... Северный флот под конец войны понес потери именно от этой торпеды!

Дениц совмещал в себе две должности сразу — главнокомандующего всем флотом Германии и командующего подводным флотом. Он и вдвойне ответствен за все преступления.

Когда Гитлер забился в бункер имперской канцелярии, Геринга он объявил предателем нации, Гиммлера лишил всех чинов, он не верил даже эсэсовцам. Власть свою Гитлер перепоручил опять-таки Деницу!

Конец близился... На страшной высоте летели к Берлину самолеты. В них сидели вооруженные до зубов подводники. Именно они в последний момент краха фашизма должны были составить личную охрану Гитлера! И когда Гитлер был сожжен, словно облитая керосином крыса, даже тогда «волки» продолжали воевать за те идеи, которые им были внушены их «папой» Деницем.

Советский флаг уже реял над куполом рейхстага, а они еще снимались от пирсов на позицию. До самого конца срока автономности (месяц или два) они рыскали, как волки, на коммуникациях мира, расстреливая запасы торпед по ярко освещенным кораблям, на которых ликовали победившие люди.

Необходимое послесловие

Ни у кого из нас нет оснований сомневаться в храбрости, стойкости и неустрашимости моряков английских кораблей... Было достаточно времени, случаев и фактов, чтобы оценить по достоинству серьезное отношение английских моряков к своим обязанностям и к союзническому долгу в борьбе с общим врагом.

Личные качества британских моряков и политика английского правительства — вещи разные.

Адмирал А. Г. Головко.
«Вместе с флотом»

Караван PQ-17 блуждает еще в океане среди причудливых айсбергов, по черной воде медленно дрейфуют мертвые корабли.

Кажется, что PQ-17 продолжает свой путь!

Но идет уже не в порты назначения — караван входит в историю, в политику, в литературу.

У этого каравана загадочная судьба. Но судьба слишком продолжительная. Как будто мы еще не устали ждать его прибытия.

Потопленные на PQ-17 *всплыли* на поверхность моря сразу после войны; тени кораблей-призраков заколебались на горизонте, не выходя в эфир, не стуча машинами. Но мертвецы еще стояли на вахтах, и чья-то рука отбивала время на склянках.

«Люди! Почему мы погибли?»

...Преступление — негласно, и суда не было.

После памятных перепалок между Иденом и Майским палата общин потребовала правды о караване PQ-17, но правда уже сделалась *тайной*. Дадли Паунд заявил тогда, что у него

были данные, будто в ночь на 4 июля «Тирпитц», оставшись незамеченным, проскочил через завесу подводных лодок у Нордкапа, а потому он, первый морской лорд, и приказал каравану рассыпаться, дабы избежать массированного удара со стороны линкора и его эскадры. Но это была грубейшая *ложь*.

А кабинет министров дебатировал этот вопрос при закрытых дверях.

PQ-17 сразу же оказался под негласным запретом. В обстановке секретности, оправданной военным временем, тайну гибели кораблей удалось сохранить. Правда, рядовые англичане смутно догадывались, что с одним из конвоев в Арктике стряслась беда, но какая — этого не узнаешь. В письмах же моряков, отправленных ими на родину из германских концлагерей, военная цензура беспощадно вымарывала строчки, в которых люди обвиняли свое командование в том, что оно привело их на бойню и сознательно подставило под топор палача...

Над величайшей драмой войны, разыгравшейся далеко в океане, был опущен «железный занавес» гробового молчания.

Но тут заговорила *Москва*!

. . . .

В 1946 году в советской печати впервые было сделано заявление, что история PQ-17 — это не ошибка, какие в ходе ведения сложной войны даже порой неизбежны, — нет, это планомерный расчет союзной политики. Советские специалисты, проанализировав последствия гибели PQ-17, пришли к выводу, что уничтожение противником каравана, несомненно, ухудшило обстановку на нашем фронте, и это не удивительно, ибо в трюмах погибших кораблей плыло вооружение для армии в 50 000 человек.

Из области чисто военных недоразумений PQ-17 переходил в иную категорию — в область политического авантюризма!

Английские правящие круги обвинили СССР в нелояльности к англичанам. Был сделан запрос Адмиралтейству в парламенте. Ответ на этот запрос лишь запутал истинное положение вещей. Черчилль в оправдание себе заявил, что он лишь после войны узнал о приказе Д. Паунда расформировать конвой PQ-17. Касаясь этого факта в биографии премьера, историк английского флота С. Роскилл не пишет, что Черчилль решил приврать, — он лишь отмечает «провал в его памяти!»[1] Упрекнуть же адмиралов Англии в незнании ими основ морской тактики никак нельзя. Планировать свои операции англичане умеют, что не раз было доказано действиями британского флота. Приказ о распадении каравана является самым бестолковым решением, недаром Редер назвал его «непостижимым».

Контр-адмирал И. А. Колышкин писал после войны, что «гадать на этот счет бесполезно, не зная истинных тайных пру-

[1] Роскилл С. Флот и война, т. 2. М., 1970, с. 133.

жин, приводивших в движение британскую штабную мысль. Пролить свет на это могли лишь действия англичан, случись боевое соприкосновение фашистской эскадры с беззащитным караваном»[1]. Возможно и так, что истина предстала бы нам во всей своей наготе, если бы Н. А. Лунин отвернул в сторону от «Тирпитца», открывая перед ним дорогу в оперативный простор океана.

Но все это лишь домыслы и догадки!

И все-таки почему союзники не поставили командование Северного флота в известность о своем роковом решении, а действовали исподтишка? Каковы были «высокие» стратегические соображения, заставившие англичан бросить на произвол судьбы не только корабли и грузы? Ведь должны были погибнуть сотни рядовых моряков, далеких от всякой политики.

Забудем про корабли. Отрешимся от ценности грузов. Но почему же столь бесшабашно брошены на ветер людские жизни?

. . . .

Всю войну Уайтхолл жаловался, что конвои в Баренцевом море виснут камнем на шее, что флоту Англии тяжело испытывать эту дополнительную нагрузку, но... так ли это?

Нет, это не так!

Русско-арктические конвои PQ (и позднее — IW и RA) приковали к нашему Северу *главные* ударные силы германского флота, и, рассуждая объективно, они могли быть только *выгодны* для союзников, ибо такая расстановка морских сил противника развязывала союзникам руки для более активных действий в Атлантике, в Средиземноморье и в борьбе с японским флотом на Тихом океане. А в том, что Германия собрала возле русских коммуникаций свои главные силы, в этом не приходится сомневаться...

Первопричину трагедии PQ-17 надо искать еще в майских днях 1941 года, когда в Атлантике британский флот потопил «Бисмарк». Страх перед суперлинкорами Гитлера не был заглушен победой над «Бисмарком» — теперь он воплотился для англичан в его собрате «Тирпитце». Затем Уайтхолл позволил противнику вытащить свои тяжелые корабли из Бреста, которые тут же переместились к рубежам СССР. Коммуникации в полярных морях России вскоре же превратились в главнейшую артерию всей мировой войны, и, естественно, выросла проблема — как избавиться от «Тирпитца»? В войне на море существует старинный принцип «fleet-in-being», иначе говоря — уже одно существование флота противника устрашает тебя и сковывает. Именно этот принцип и осуществлялся немцами с помощью «Тирпитца», «Шарнхорста», «Хиппера», «Лютцова» и прочих.

Но как выманить флагман Германии из фиордов? Как завлечь «Тирпитца» в океан, чтобы он, увлеченный погоней и яростью боя, оторвался подальше от своих баз, и тогда нава-

[1] Колышкин И. А. В глубинах полярных морей. М., 1964, с. 175.

литься на него всей мощью линейных сил сэра Джона Товея?
Наконец, как поступить, чтобы Гитлер переборол свою боязнь перед пространствами океана и выпустил бы «Тирпитц» порезвиться вдали от берегов на коммуникации Арктики?..
Злую собаку выманивают из будки не лаской.
Собаке издали бросают кусок жирного мяса: жри!
Тогда она вылезает из своей будки.
Английское командование так и поступило: под нос «Тирпитцу» швырнули несчастный караван PQ-17... Естественно, что, угробив «Тирпитц», англичане уже до самого конца войны обеспечили бы себе полное превосходство на море.
Отрицать угрозу со стороны «Тирпитца» было бы глупо.
И мы ее не отрицаем. Она — да! — существовала.
Северный флот испытывал эту угрозу постоянно в самой непосредственной близости от своих баз и гаваней, ведь бронированный кулак вражеских линкоров почти всю войну высовывался из-за скалы Нордкапа, торча возле самого Мурманска!
Но мы все-таки впадем в опасное заблуждение, если вдруг станем думать, будто один лишь страх перед «Тирпитцем» и желание с ним разделаться заставили Дадли Паунда отвести от каравана силы прикрытия, а сам караван распустить на волю божию...
Дело даже не в «Тирпитце» — дело в политике!
Точнее говоря — в антисоветизме Черчилля.

. . . .

Нападение в 1941 году Германии на СССР называли:
«почти ниспосланным провидением» — в США,
«настоящим божьим даром» — в Великобритании.
Вооруженные Силы СССР в глазах англичан и американцев были тем мощным и верным союзником, на которого можно положиться. Но этого нельзя в полной мере признать за нашими союзниками. И потопление «Тирпитца» не являлось самоцелью того обширного плана, который был обдуман Черчиллем и его соратниками. Операция с PQ-17 имела как бы двойное дно. Советский историк Б. А. Вайнер пишет, что разгром немцами PQ-17 «явился результатом политической игры англо-американских правящих кругов. Разгром PQ-17 они использовали в качестве повода для прекращения поставок в СССР» [1].
Да, это так. Черчиллю нужен был повод, весьма красочный, чтобы убедить Кремль в невозможности доставлять в СССР товары по договору о ленд-лизе. Для этого следовало пожертвовать одним из караванов, а на ярком примере его полного уничтожения пусть Сталин сам убедится в том, что караваны пройти не могут...
И они подставили под удар PQ-17.
И это в самый канун битвы за Сталинград!

---

[1] Вайнер Б. А. Северный флот в Великой Отечественной войне. М., 1964, с. 158—159.

О секретной операции, обрекавшей PQ-17 на уничтожение, знало в Лондоне и Вашингтоне лишь незначительное число официальных лиц. Черчилль сам выбрал для противника жертву и сам же благословил ее. Кстати, он же явился и самым видным адвокатом этой коварной авантюры. В своих обширных мемуарах экс-премьер немало внимания отводит и судьбе каравана PQ-17.

По его версии, линейные силы Дж. Товея вышли в море исключительно для перехвата «Тирпитца», если он, привлеченный добычей, вдруг вылезет в океан. Одновременно с выходом из Исландии PQ-17 был выпущен на коммуникации «ложный» конвой для завлечения немецкой эскадры. Этот «ложный» конвой дважды (29 июня и 1 июля) выходил в направлении Норвегии, как бы имитируя подготовку к вторжению, но... немецкая разведка его прошляпила (в чем я, автор этой книги, сильно сомневаюсь!). Далее Черчилль дает понять, что Британское адмиралтейство готово было к сражению, но... опять это проклятое «но»! В составе конвоя PQ-17 находились американские корабли, и, по мнению Черчилля, от этого могли возникнуть неудобные в политике последствия.

Морскую часть мемуаров писал за Черчилля капитан 1-го ранга Аллен, а вот эту версию о том, что американцы «мешали» воевать англичанам, Черчилль вставил в мемуары собственной рукой (Аллен полагал, что Черчилль пошел на явную фальсификацию, пытаясь «найти оправдание для своего старого друга Д. Паунда»).

Вывод: отводя прочь свои линейные силы, отводя крейсера и эсминцы ближнего прикрытия, политики Уайтхолла, не желавшие оказывать помощи СССР, сознательно поощряли немцев к полному и решительному уничтожению каравана PQ-17.

Но были преданы не только те, кто погиб на кораблях.

В первую очередь союзники предали *нас*...

Это своего рода политическая диверсия!

. . . .

В разгар «холодной войны» началась бурная фальсификация истории минувшей войны. Наши прежние союзники стали затушевывать те неслыханные жертвы, которые понес наш народ в гигантских битвах. Умышленно принижалось значение армии и флота (особенно флота!) Советского Союза в общей борьбе с фашизмом. Действуя по принципу сообщающихся сосудов, историки переливали раствор лжи из литературы ФРГ в английские монографии, из английских книг неправда перетекала в американские и французские. Не в силах найти логичное оправдание разгрому PQ-17, Британское адмиралтейство избрало недостойный вид борьбы.

Оно развернулось и пошло в атаку на... *Лунина*!

Начал эту кампанию французский историк Жан Клод, который в 1957 году сообщил, что «торпеды не попали в линейный корабль «Тирпитц», а взрывы (торпед) произошли лишь в вооб-

ражении Лунина»[1]. Что и говорить — обвинение жестокое! После этого снимай с мундира ордена и клади их на стол. За границей, подливая масла в огонь, стали писать, что Лунин напрасно получил звание Героя Советского Союза и непонятно, «почему о его подвиге до сих пор вспоминают и ставят в пример в советском флоте...». Но Лунин (пусть знают все!) за торпедирование «Тирпитца» получил шесть строчек в сводке Совинформбюро, которые я приводил выше. А высокое звание Героя ему было присвоено *задолго до атаки на «Тирпитца»* — еще в апреле 1942 года, когда он командовал «щукой» под № 421...

В 1962 году британские политики еще раз решили «опровергнуть» советское заявление от 1946 года. Лондон заявил, что «Тирпитц» и его эскадра отвернули в свои базы не потому, что их атаковала советская подлодка «К-21», а лишь потому, что немцев устрашила возможность встречи с английскими кораблями.

Нам, читатель, предстоит вернуться немного назад.

Сразу же после атаки Лунина британская миссия принесла нам самые теплые поздравления с удачным залпом. Тогда же разведка установила, что «Тирпитц» ставится на ремонт — и ремонт линкора объяснялся лишь результатом лунинских попаданий.

Тогда союзники не сомневались в успешности атаки «К-21»! Но тайна их политических ухищрений постепенно рассеивалась, и на фоне гибели целого каравана еще отчетливее выступила на первый план событий фигура самого Лунина. Ведь, по сути дела, этот офицер и его команда за два часа страшного риска сделали то, чего не могли добиться союзники за два года...

Теперь союзники отрицали успех атаки «К-21»!

На это одним из первых в нашей стране обратил внимание адмирал А. Г. Головко (ныне покойный), который пристально следил за английской военно-морской литературой. «Считаю необходимым, — записывал Головко, — обратить внимание читателей на эту неуклюжую попытку фальсификаторов, предпринятую для того, чтобы как-то затушевать подоплеку трагической истории союзного конвоя PQ-17 и тем самым посеять сомнения в героическом коллективном подвиге экипажа подводной лодки «К-21»[2].

...Иногда мне начинает казаться, что Британское адмиралтейство вызывает нас на компромиссное решение:

— Ладно, мол! Черт с ним, мы признаем свою вину в разгроме каравана PQ-17, но и вы уступите нам в том мнении, что ваша подлодка «К-21» атаковала «Тирпитц» безрезультатно.

В самом деле — попал Лунин или не попал?

. . . .

---

[1] «La Revue Maritime», 1957, № 133, p. 582—614.

[2] Головко А. Г. Вместе с флотом. М., 1960, с. 110.

Еще тогда, летом 1942 года, в штабе Северного флота нашлись критики, упрекавшие Лунина за то, что он упустил это, не учел того, пренебрег тем-то... Но подобные «поправки» к атаке «К-21» тут же резко пресек адмирал Головко — стихами из Шота Руставели:

Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны!

Нет сомнений, что в полигонных условиях Лунин и его команда, наверное, произвели бы атаку более ювелирно. Но не надо забывать, что испытывали тогда люди, запертые в душные и тесные коробки железных отсеков, когда над ними кромсало воду множество винтов вражеской эскадры и ежесекундно на «К-21» могла обрушиться разрывающая сталь корпуса лавина глубинных бомб... А. Г. Головко до конца своих дней был твердо уверен в том, что из четырех торпед в борт «Тирпитца» угодили *две*, и они-то, эти две торпеды, и сделали бесполезной всю комбинацию союзников с «заманиванием» гитлеровского флагмана на караван![1]

После лунинской атаки на «Тирпитца» гестапо отыскало в Ростове-на-Дону старого слесаря, отца Лунина, и гитлеровцы повесили его на городской площади... Ведь это было явное отмщение врага за попадание в «Тирпитц»!

. . . .

Надо отдать должное англичанам — они следят за нашей мемуарной литературой. В Англии с успехом разошлась книга адмирала А. Г. Головко «Вместе с флотом», хотя почтенный автор не слишком-то лестно отзывался в ней о бывших союзниках, выражая свое негодование порой чересчур резко. Англичане оперативно перевели и книгу контр-адмирала И. А. Колышкина «В глубинах полярных морей», где большая глава отведена именно торпедированию «Тирпитца» экипажем подлодки «К-21».

Появление советских авторов на книжном рынке Англии широко комментировалось в британской печати. Снова возник вопрос — попали лунинские торпеды в «Тирпитц» или прошли мимо цели? Наиболее точный ответ дал военно-морской обозреватель издательства «Central books» Эдгар Янг — лицо далеко не последнее в историографии британского флота. Янг не щадит свое Адмиралтейство, справедливо считая, что действия Черчилля и Паунда «значительно подорвали репутацию королевского военно-морского флота»; атаку же Лунина и его экипажа Янг называет «блестящей». Я не могу удержаться, чтобы не выделить жирным шрифтом сказанное Янгом о мужественной атаке «К-21» на гитлеровский флагман:

«Достоверность этого успеха принималась нашим Адмиралтейством с некоторой долей сомнения, а ныне эти сомнения

[1] Напоминаю читателю, что в сводке Совинформбюро от 8 июля 1942 года также говорилось о попадании в «Тирпитца» только двумя торпедами, хотя в Москве знали, что их было выпущено четыре.

полностью рассеялись как у Адмиралтейства, так и у многих английских историков». А далее Э. Янг пишет, что историки Англии, отрицая успех атаки Лунина, строили свои выводы лишь на основании *«немецких источников*, которые, вероятно, *было бы разумнее принимать скептически*, ибо они, естественно, *маскируют серьезную ошибку»* противника!

Это признание, важное для нас, сделано Э. Янгом в 1967 году.

Но тут читатель вправе задать мне каверзный вопрос:

— Каждый корабль имеет вахтенный журнал. Если сохранился такой журнал «Тирпитца», то он ведь может дать самый точный ответ — были ли попадания торпедами в борт линкора 5 июля 1942 года? Это, конечно, при условии, если журнал уцелел!

Такой журнал сохранился...

. . . .

Эту мою книгу еще в рукописи прочел капитан 1-го ранга В. В. Тарасов, ленинградский профессор, специалист в области военно-морской истории, автор многих трудов по истории нашего флота. Тогда же он сообщил мне, что англичане после войны завладели вахтенным журналом «Тирпитца», а там на листе с датой от 5 июля 1942 года никаких отметок о попадании в линкор торпед не зафиксировано!

Как же я отнесся к сообщению профессора Тарасова?

Спокойно.

Как автор и как историк, я имею право на собственную точку зрения, которую и должен обосновать. Пусть она будет спорной, но даже в порядке дискуссии она будет полезна.

В. В. Тарасов сообщил мне: «Я не спорю, что и немцы сознательно могли не записать в вахтенный журнал факт атаки подлодки на «Тирпитц», и англичане тоже могли это же сознательно скрыть, чтобы приписать все лавры победы над немецким линкором себе».

Тарасов хотел, чтобы я над этой темой еще раз подумал.

Я подумал и вспомнил... *«Атению»!*

Я вспомнил день 3 сентября 1939 года — день вступления Англии во вторую мировую войну, когда гитлеровская подлодка рванула торпедой британский лайнер «Атения» с женщинами и детьми. Желая замазать это преступление, немцы тогда поступили с вахтенным журналом подлодки так, что хуже не придумаешь. Они выдрали страницу с записью об атаке на «Атению» и заменили ее другой с иными записями, совершив юридически самый обычный подлог... Именно — *подлог!*

Разве не могли они поступить так же и с вахтенным журналом своего линейного корабля «Тирпитц», тем более что гросс-адмирал Редер знал — одна неудача, и... головы покатятся!

Стоит ли рисковать головой, если можно вырвать страницу?

Расшифровать тайну вахтенного журнала «Тирпитца» мне по-

---

[1] Об этом факте подробно рассказывается в книге лорда Э. Рассела «Проклятие свастики» (М., 1964).

мог Самуэль Морисон, американский историк, профессор Гарвардского университета. Морисон состоял при Ф. Рузвельте историографом войны на море. Он считал, что документа точнее вахтенного журнала быть не может на белом свете, и потому после победы с радостью заполучил для работы «дневники» кораблей фашистского флота... Его постигло жестокое разочарование!

Вахтенные журналы немцев никак не отражали истинного положения вещей на гитлеровском флоте. «Для большинства вахтенных журналов, — писал С. Морисон, — характерны преувеличения и даже *искажения истины*»[1]. Морисон заметил, что вахтенные журналы большинства кораблей флота Германии заполнялись *после возвращения* корабля или подлодки на базу (что недопустимо!). Морисон пришел к печальному выводу, что показаниям гитлеровских моряков не доверяло *даже собственное командование,* проверяя все их боевые отчеты по сведениям нейтральной прессы и радиовещанию Би-би-си. Морисон убедился, что при заполнении журналов *уже на берегу,* а не в море, вдали от боевых действий, немецкие офицеры целиком находились под влиянием *политической ситуации* на сегодня.

Читатель уже знает, какова была обстановка внутри германского флота летом 1942 года. Шла жестокая борьба за власть между Редером и Деницем. В мертвой схватке сцепились две доктрины — войны крейсерской и войны подводной, — а Гитлер выступал при этом на ринге в роли беспощадного рефери. Понятно, что плававшие на линкорах и стояли за линкоры, а подводники Деница считали, что только они способны воевать за Германию на море... Разве при такой ситуации можно сознаться перед Гитлером, что «Тирпитц» с трудом вывели в океан, но не успел он как следует развить скорость, как ему сразу всадили в борт парочку торпед, после чего пришлось уходить обратно в коридор фиорда?..

Я убежден, что атака «К-21» потому и не отражена в журнале «Тирпитца», что такая запись была чревата опасностью для Шниванда, для Редера и вообще для всего надводного флота Германии, — ведь все знали о паническом страхе Гитлера перед потерями дорогостоящих линкоров. Затушевав атаку Лунина, офицеры «Тирпитца» спасали от неизбежной консервации и сам линкор, и свой офицерский престиж. И не исключено, что немцы тщательно замаскировали в своих документах все следы лунинской атаки...

Я знаю, что командиры советских подлодок сознательно преуменьшали свои успехи, никогда их не преувеличивая, чтобы — упаси бог! — не впасть в ошибку и не подвести свое командование. Ведь их рапорты отражались потом в радиосводках Информбюро, а голос Левитана: «Говорит Москва!» — разносился по всему миру... Мы не имеем права подозревать Лунина в присвоении себе того подвига, которого он не совершил!

. . . .

[1] Морисон С. Э. Битва за Атлантику выиграна. М., 1959, с. 79.

Когда я писал эту хроннку, я знал, что Николай Александрович Лунин тяжело переживал недобрый шум, поднятый вокруг его имени. После казни отца, как мне рассказывали, характер Лунина изменился не в лучшую сторону (это можно понять). В конце войны он окончил Военно-морскую академию и продолжал служить на флоте. Но Лунин уже и сам старался не упоминать о своей атаке на «Тирпитц». Если же кто и спрашивал его об этом, то получал раздраженный ответ раздраженного человека:

— Я ведь никогда не рапортовал командованию, что торпедировал «Тирпитц», я докладывал адмиралу Головко только о том, что выпустил в эту большую сволочь четыре торпеды из кормовых...

Это правда. Николай Александрович доложил «наверх» только о самом факте своей атаки, но делать выводы он предоставил нашей и британской разведке: пусть проверяют!

Несмотря на подвиг, осветивший всю его жизнь, как вспышка «блица», Лунин, если выражаться языком военных, «карьеры не сделал». В звании капитана 2-го ранга он высчитывал угол атаки на «Тирпитц» летом 1942 года, а осенью 1970 года он умирал лишь в звании контр-адмирала...

Да, он умирал, когда в палату главного военно-морского госпиталя в Ленинграде друзья принесли ему журнал «Звезда».

— Коля, здесь ты *попал* в «Тирпитц»! Прочти сам...

Лунин успел прочесть мой «Реквием» за два дня до своей кончины. Он был неизлечим и сам знал, что умирает. Человек высокого мужества, что он доказал в боях и атаках, Лунин оставался мужественным до конца.

Остается сказать последнее... Краснознаменная подлодка «К-21» закончила войну, имея 17 побед. Она жива до сих пор. Героическая лодка поставлена на вечную стоянку в гавани города Полярного, а в ее боевых постах развернута экспозиция маленького музея боевой славы прошлого.

«К-21» еще служит нам — на ней учатся молодые подводники.

Как это хорошо, что корабли у нас остаются памятниками собственной боевой славы!

. . . .

Я не ставил перед собой чисто литературных задач. Мне лишь хотелось довести до читателя самую сущность далеких событий.

В моем произведении только два вымышленных корабля: подводная лодка Ральфа Зеггерса и советский сторожевик, потопивший эту лодку.

Официально их не было. Но они... *были!*

Р. Зеггерса я сложил из всего того материала о гитлеровских подводниках, который прошел через мои руки. Советский же сторожевик (вчерашний траулер) не требует комментариев — таких кораблей с подобной же судьбой было тогда немало на Северном флоте.

В самой незначнтельной степени на мой рассказ наложен слабый колорит личных впечатлений.

Эту летопись роковых событий я посвящаю, как скромный реквием, памяти тех, кого мы не дождались летом 1942 года. Памяти всех честиых борцов против фашизма — советских, бри-таиских, американских и польских моряков, которые через ад проводили свои караваиы.

Вечиая память всем им, уснувшнм посреди ледяиых вод в тех высоких широтах, что грохочут между Мурманом и Шпиц-бергеиом!

Рига. Осень 1969 года
Остров Булли. Осень 1973 года

Б. РЯХОВСКИЙ

Наши старики заслужили памятники. Памятники им поставлены — в нас, в нашей памяти.

Нурмолды Утегенович преподавал нам в школе казахский язык. Он был сухоньким стариком, носил китель из сукна и любил почтительное обращение. Он ставил тройку, даже если ты ничего не знал,— за одно лишь почтительное внимание, с которым ты его выслушивал.

Бывало, если ученик не знал окончания глагола первого лица, Нурмолды Утегенович в гневе подбегал к голландке и пинал, пинал ее обтянутый железом бок: «Дым! Дым...» Тут уж мы за его спиной не стесняли себя выражением почтительности.

ПРОЛОГ

Казахский парнишка по имени Нурмолды весной 1920 года был схвачен на базаре в Старом Чарджуе стражннкамн бека: они призиали в нем заводского по рукам и по рубашонке в пятнах машинного масла. Нурмолды кормился на судоремонтном заводе — узкоплечие парнишки протискивались в судовые котлы, там скребками обдиралн накипь со стенок. Бек ждал удара от рабочей дружииы, в Старом городе хватали как лазутчика всякого заводского.

Дни и ночи, проведенные в подземиой тюрьме под Чарджуйской крепостью, слились для Нурмолды в одну страшную ночь. Ои потерял бы рассудок в смрадной и тесной земляной норе, не окажись возле него человека по имеии Рахим, оренбургского татариыа.

Рахим бежал из Бухары, когда там стали хватать сторонников реформы образования, пытался в Старом Чарджуе открыть школу для мусульман, где бы они могли получить европейское образование.

Рахим учил Нурмолды русскому языку. Надзиратель, протолкнув миски с варевом в щель под дверцей, всякий раз говорил: «Татарин, ты учишь мальчика русской речи — к чему? У чарджуйского бека повадки песчаной осы: он замуровывает жертву и забывает о ней».

Когда в августе 1920 года Чарджуй был взят революционным отрядом, Нурмолды потерял Рахима во дворе крепости, заполненной узниками, их родичами, красноармейцами. Он ослеп от долгого сидения в темени. Звал Рахима, ощупывал ближних, хватал их за руки. Нурмолды отвели к врачу. Через два дня сняли повязку с глаз. Он увидел обгрызенные зубцы крепостной башни, слепящий блеск реки, толпу в базарных рядах, мальчишек — стоя по колено в арыке, они бросались грязью друг в друга. Рядом стоял худой человек, по виду мастеровой, в косоворотке и фуражке. Он подобрал Нурмолды во дворе крепости, водил к врачу и кормил. Все звали его Петрович.

— Может, теперь высмотришь своего Рахима, — сказал Петрович.

Нурмолды ответил:

— Как узнаю? Совсем не видел его, темно было, тюрьма...

На фоне шума, в котором сливались стук молотков ремесленников, скрип арб, голоса толпы, ишачий рев, раковина граммофона рокотала голосом наркома Луначарского.

— Нарком, — пояснил Петрович Нурмолды, — говорит речь над телом американского коммуниста Джона Рида.

Их позвали от кучки, сбившейся вокруг граммофона. Сообщили, что отряду дали паровоз, стало быть, надо собираться. Петрович сказал комиссару отряда Демьянцеву:

— Мой киргизенок товарища не нашел... разве найдешь в этакой каше? С собой возьму. Он из нашего уезда. Глядишь, кого из родичей отыщет...

С рабочим отрядом Нурмолды Утегенов приехал в Каргалинск. Петрович пристроил его в депо — взял к себе учеником. В ту пору и хорошему слесарю работы не могли дать: разруха.

1

В сентябре 1930 года Нурмолды Утегенова вызвали в окружком партии и объявили: по предложению Демьянцева, заведующего курсами ликбеза, его посылают налаживать ликбез в глухой волости.

Прежде дом принадлежал «Хазрету Аббасулы, мулле десяти волостей, имаму мечети», о чем по-русски сообщала жестяная пожарная доска с намалеванным изображением топора и багра. Рядом была прибита деревянная доска, такая яркая, что первая не замечалась вовсе. На деревянной доске красный всадник вски-

нул руку с факелом, пламя которого выписывало: «Курсы подготовки инструкторов ликбеза».

В глубине двора белобородый старичок ходил с метелкой и стояла телега с бочкой для воды. Нурмолды поднялся на крыльцо, ступая с осторожностью, чтобы не задеть сидящего на ступеньках человека в драной рубахе. Человек удержал его за брючину, поднес два пальца ко рту, выдохнул. Нурмолды помаячил ему, дескать, не курю.

В первой комнате курсанты толпились вокруг микроскопа. Нурмолды заглянул в его зрачок: там двигались животные. Прозрачные, со своими ресничками, скрученными нитями, с кружочками заглотанных бактерий, они были как часики внутри.

В другой комнате Демьянцев — с гривой цвета стальной проволоки, в брезентовых сапогах — рассказывал об окружении и разгроме Южной армии Колчака.

— Наша Первая армия ударила из Оренбурга и из Троицка одновременно по приказу Фрунзе. Войска Советского Туркестана начали наступление со станции Аральское море... Паровозные топки заправляли воблой... не было другого топлива... Остатки Южной армии, а именно части Уральской армии генерала Толстова, при отступлении погибли в адаевских степях.

Нурмолды глядел на карту и не слышал Демьянцева.

Что за карта была!

Возле сахарно-белых айсбергов плавали толстолобые киты. Их водяные фонтаны стояли как белые деревья. Коричневые, в красных набедренных повязках люди сидели в остроносой лодке. В африканской саванне черные охотники гнались за антилопами, из травы на них глядел зверь с гривой и с голым, как у верблюда, задом.

Прозвенел звонок, слушатели поднимались, выходили.

Нурмолды прошел в дальнюю комнатку бывшего хозретовского дома. Он застал Демьянцева в обществе немолодого человека в форменной фуражке с малиновым верхом и тремя ромбиками в петлице. Дверца несгораемого шкафа была открыта, ящики стола выдвинуты.

— Выходит, вы не знаете, сколько у вас было отпечатано бланков удостоверений? И сколько выдано, тоже не знаете?

— Бывает, выписываешь, ошибаешься и берешь новый бланк, — отвечал Демьянцев. Он был задет тоном человека в форме.

Потеснив Нурмолды, вошел Исабай, друг Нурмолды, еще недавно слесарь депо, а сегодня сотрудник ГПУ. Он привел белобородого старикашку дворника, указал ему на человека с ромбиками в петлице:

— Начальник дорожно-транспортного отдела ГПУ Шовкатов.

— Знаю, знаю, — закивал старикашка, — его отец жил на Татарской слободке, был истинный мусульманин, торговал мукой.

— Этот старик при царе был азанши, — пояснил Исабай

Шовкатову по-русски, — такой мулла... объявлял о начале молитвы. Теперь здесь дворник.

— Спроси его, откуда взялся глухонемой... Этот вон, сидит на крыльце.

Исабай заговорил с азанши по-казахски. Перевел ответ:

— Это глухонемой... Родственники прогнали его из дому, время тяжелое. Пришел по старой памяти, тут мечеть была.

— Может, это и есть хазрет? — засмеялся Шовкатов.

Азанши быстро заговорил. Исабай переводил:

— Вы большой начальник, можете отправить его вслед за хазретом в Жерсибир... в Сибирь то есть, но, когда хазрет выдавал за учеников медресе беглых баев и алаш-ордынцев, азанши верил его чалме. Говорит, хазрет предстанет перед лицом аллаха голый, с пустой пиалой и с книгой, а в книге будут записаны его грехи.

— Ладно, его не переслушаешь, — отмахнулся Шовкатов.

Демьянцев, глядя в окно, как выходят во двор работники ГПУ и как бредет дворник к своей саманушке в углу двора, сказал Нурмолды:

— Неизвестный человек спрыгнул с поезда и убился о километровый столбик. При нем нашли удостоверение на бланке наших курсов с моей поддельной подписью. Теперь о тебе: говорят, ты адаевец?

— Да, я из рода адай, — отозвался Нурмолды.

— Бегеи — ответвление рода адай, так?.. Мы посылали ликбезовца в Бегеевскую волость. Вернулся... ходит сейчас на костылях. Говорит, Жусуп Кенжетаев хотел повесить, да пары не было. Я не понял, а переспрашивать не стал — к чему тут пара-то?

— Так ханы вешали, в старое время, — ответил Нурмолды, — одного человека петлей за шею, веревку между верблюжьих горбов, а там и другого за шею. Верблюд поднялся — и готово.

— Да, у Жусупа не засохнет, сколько он милиционеров перестрелял, — сказал Демьянцев, — но что делать. Я смотрел отчеты волостного за 1915 год... волость невелика, пятнадцать административных аулов, шесть тысяч человек... Как оставить их без грамоты? Поедешь?

— Поеду.

— Завтра в Аксу отправляется оказия из кооперации, повезут товары, будут закупать скот. С ними отправишься.

— Коня давай, Афанасий Петрович.

— Был бы у меня свой! А казенного как отдам? Топливо возим для курсов, воду. Я тебе толкую: до Аксу с кооператорами...

— Что — Аксу? Я до Кувандыка сам. А дальше, в степь? Осень, аулы уходят на юг. Давай коня, Афанасий Петрович. Коня и карту.

— Нельзя, карта одна на курсах, — ответил Демьянцев, сворачивая карту и втискивая ее в матерчатый чехол.

В складе Демьянцев нагрузил Нурмолды учебниками, тетрадямн, пучками лакированных карандашей.

— Давай карту, — упорствовал Нурмолды.

Демьянцев достал из недр шкафа рулон обоев. По белому фону среди голубеньких цветочков летали ангелы с розовыми попками н трубили в золотые рожки. Демьянцев вздохнул в другой раз, положил перед Нурмолды три кнсточки и трн овальные картонки с разноцветными пуговками акварели:

— Бери... Ныиче целое богатство.

Дворник вывел из конюшни ухоженного саврасого конька. Вынес не новое, но крепкое седло, брезентовое ведро н моток тонкой пеньковой веревки. Показал: от меня, дескать.

— Весной я другого хазретского коня отдавал, так же вот ликбезовцу, — озадаченно сказал Демьянцев. — Старикан плевался, грозил хазретом... А, так вы ведь родственники!..

— У меня ни одного родственника в городе.

— Ну как же, мне со слов азанши сказали, что ты адаевец и даже бегей...

2

Демьянцев жил тут же, на задах хазретского дома, в саманном доме с карагачевым саднком. Окна выходили в огород, по осени уж разоренный, с грудами ботвы, с запоздалыми зелеными помидорами в оголившихся кустах. Нурмолды захажнвал сюда: примус починить, брал запаять кастрюлю.

Беленая печь, кровать за ситцевой занавеской, дощатый пол застелен половиками из пестрой ветошки. В углу пианино, всегда раскрытое.

Демьянцев достал из тумбочки брезентовый портфель, выгреб из его нутра бумаги:

— Теперь вот храню документы дома. Дали партийное взыскание.

Вошла хозяйка. Нурмолды в который раз поразился красоте ее юных, девчоночьих глаз. Она была немолода, с сухими, в кольцах, ручками, заметно горбилась.

— Вот тебе удостоверение инструктора ликбеза, — сказал Демьянцев, — вот путевка, подписана в окружкоме. Вот разрешение на оружие.

— Наган не надо, Афанасий Петрович. Карту надо.

Была вкусна картошка, обжаренная целиком, под корочкой рассыпчатая. Чай хозяйка подала в легоньких, как раковины, перламутровых чашках.

— Знаете такое селеньице на границе степи и песков — Кувандык? — спросила она. — Там проходит скотопрогонная трасса.

— Знаем, — покивал с готовностью Нурмолды, желая хотя бы этой готовностью угодить ласковой маленькой женщине.

— Там жил н умер мой первый муж... Найдите его могилу.

Демьянцев, провожая Нурмолды, придержал стремя. Как всякий новообращенец, считая себя степняком, азнатом, он с удовольствием исполнял обычаи.

— Жолым болсын, Нурмолды Утегенович!

Поглядел Демьянцев: щуплый был Нурмолды.

Вынес карту — хозяйка живо пришила лямки к чехлу. Нурмолды продел руки в лямки, засмеялся:

— Как ружье!..

Красный, в дымных потеках куб депо будто въезжал в улицу, закрывая небо.

Нурмолды привязал саврасого к ржавевшей в бурьяне колесной паре. Прошел через кузнечную, где ухал молот и толчками гнал угарный воздух, и как был, в ушанке, в стеганой толстовке, с картой за плечами, явился в мехмастерские.

Петрович сунул ему руку — знал уж, что уезжает, — и другие также не глядя совали ему руку, здороваясь, прощаясь ли, и забывали о нем: они делали дело, а у него голова, что называется, не болела. Не то что он стал им чужой, просто не до него. Главный трансмиссионный вал был установлен, но «бил»: консоли стояли косо, стена ли зависла, или была кривизна в самом многометровом теле вала.

Петрович велел перенести лестницу на новое место. Нурмолды первым ухватился за нее. Затем он вызвался заменить молодого слесаря, что пробивал шлямбуром стену, — надо было перенести консоль. Жестоко раскровенил руку, но отверстие пробил через силу, чтобы Петрович не увидал крови.

Наконец дело было закончено, и самым неожиданным образом. Петрович нашел известную ему одну точку, ему подали кувалду, он со всего маху, так что Нурмолды зажмурился — вал ведь шлифуют! — звезданул.

Включили, вал шел гладко.

Нурмолды замотал ветошью разбитую руку и пошел к коню.

3

На увале, откуда далеко было видно окрестную степь и городскую дорогу, сбоку и как-то неслышно появился азанши и повелительно позвал Нурмолды. Тот послушался и подъехал, озадаченный: он знал бывшего муллу, а ныне дворника курсов ликбеза как суетливого болтуна с мозгами набекрень. Далее произошло еще более неожиданное: из тальника навстречу им выехал всадник, в котором Нурмолды узнал глухонемого, вчера во дворе курсов ликбеза просившего у него горсть махорки. На всаднике был дорогой плащ-шекпень из верблюжьей шерсти.

Азаншн принес из кустов и подал всаднику кожаную флягу и туго набитые войлочные сумы.

Всадник знаком небрежно поблагодарил азанши, тот почтительно произнес в ответ: «Ма шаа лла» — делаю угодное аллаху.

Они отъехали, и тот, кого во дворе курсов ликбеза считали глухонемым, проговорил ясным и сильным голосом:

— Десять лет назад чистильщик паровозных котлов пошел в Старый Чарджуй на базар, там его схватили нукеры бека. Сколько же он просидел в крепости под землей?

— Шесть месяцев...

— В темени узники знали друг друга по голосам.

При первых словах спутника Нурмолды оцепенел, глядел неотрывно влажными глазами. Когда же собеседник замолк, Нурмолды перегнулся, двумя руками робко взял его руку, поцеловал ее:

— Рахим-ага!..

— ...Там, в тюрьме под крепостью, ты говорил мне, что наше братство дало тебе силы выжить, — сказал Рахим, с напряжением глядя вперед; они проезжали русский поселок. В конце улицы, на выезде, маячили двое конных. — Аллах пошлет тебе случай вернуть долг. У меня тоже удостоверение ликбеза.

Нурмолды заглянул Рахиму в руки: удостоверение было подписано Демьянцевым.

Навстречу им двигались фуры.

— Везут пшеницу в аулы, — сказал Рахим. — Тысячи лет вы разводили скот, они в год спешат научить вас добывать хлеб из земли. Советская власть уподобляется ребенку, что нашел шапку отца.

Нурмолды молчал. Рахим продолжал:

— Да, подпись Демьянцева поддельна. По себе знаешь, голодный не глядит, чиста ли чашка. Я бежал из сибирской ссылки. Судьба такая — у эмира сидел, у чарджуйского бека сидел... большевики посадили, за муллу приняли. Так же в аулах, бывало, никак в толк не могли взять, что не всякий образованный — мулла. Вот еду к адаевцам, авось не обидят. Знают меня там, бывал в их аулах, ребятишек учил. Студентом заболел от голодухи туберкулезом, поехал к адаевцам помирать. Выходили на кумысе.

Нурмолды протянул руку. Кони сблизились, Рахим подал листок. Легкие, с завитушками типографские литеры, похожие на усики бабочки, соединялись в слово «Удостоверение». В правом углу стояло «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», а в левом — придуманный Демьянцевым символ, исковерканный несовершенным типографским исполнением настолько, что всадник походил на печурку-времянку, а его рука с зажатым факелом — на колено трубы.

Нурмолды порвал листок. Сдернул с плеча карту, подал Рахиму.

— Они потребуют документ! — растерянно сказал тот.

— Карта будет вашим документом.

Рахим принял черную трубку, держал ее наперевес.

Один из милиционеров, парень в фуражке с матерчатым козырьком, обернулся, глядел на уносимые ветром бумажные об-

рывки. Товарищ легонько толкнул парня в спину черенком нагайки, дескать, не разевай рот.

Нурмолды показал удостовереине парню, угадав в нем грамотного.

— Лнкбез, — сказал парень товарнщу.

Тот сндел подобравшнсь, между тем глазкн на веснушчатом лнце глядели добродушно.

— А второй куда? — спроснл парень. Фуражка с матерчатым козырьком была ему велика, лежала на ушах, сндел он развалясь, как-то боком.

Нурмолды объяснил, что Рахим-ага едет в адаевские аулы — учить грамоте.

— Ишь, к адаевцам едет, — обратился веснушчатый к парню; сказал со значением, дескать, погляди хорошенько в нх бумагн.

— У лнкбеза порядок, — ответнл парень.

— Тючки-то у вас хорошо увязаны? — спроснл веснушчатый, перегнулся с седла, делнкатно, обеимн руками подхватнл тюк, подержал. Было понятно, что тюк он неспроста трогает. — Хехе, ладно увязано... только бы Жусуп не распотрошил. А у вас, стало быть, — обратился он к Рахиму, — документа нет?

— Какой документ, товарнщ? Частная поездка, подкормиться, — угодливо ответнл Рахим. — К тому же помогу коллеге, я его первый учнтель.

— Ученика-то вашего служба гонит, — сказал веснушчатый Рахиму (оглядев уже его всего с верблюжьим шекпенем, с добротными тугими сумамн), — а вам какая корысть ехать в зиму? Не прокормишься.., да как задует, начнет в юрте драгун пробирать. — Голос н простоватое лнцо веснушчатого выражали доброжелательность, между тем рука цепко держала повод рахимовского коня. — Пущай парнншка едет, ему по молодому-то делу в охотку...

Ясно было, что Рахима забирают. Расстаться бы нм тут, в русском поселке, не потребуй Нурмолды карту у Рахима, не разверни на земле полотнище. Достал карандаш, сказал веснушчатому:

— Гляди! Я мальчнк был, бескормица случнлась, скот сдох, голод пошел... — Следом за карандашом лнния прошла между синими пятнами Каспия и Арала. — Тут отца похоронил, тут с Рахим-ага сидели в тюрьме... Лнния моей жизни! — твердил Нурмолды.

Его не слушалн. Младший, грамотный, присел на корточки, рассматривал вычерченные Демьянцевым стрелы и линии, опушенные точками и пунктирами.

— Вот он сейчас нас рассудит, дядя Афанасий, — сказал парень старшому, — тут у него все нарисовано. — И обратился к Рахиму: — Рассуди нас — где встретились Фрунзе и Туркестанские войска?

— Тут же указано, — Рахим склонился над картой, — в Мугоджарской... 13 сентября.

— Во, дело говорит, — торжествовал веснушчатый дядя Афанасий, — я тот разъезд помню, и точно — осень была.

Парень сказал, что он на своем не стоит, отец у него воевал, встретились они с Фрунзе в Темире...

— Отец у него! — ликовал дядя Афанасий. — А я сам! Я с Фрунзе от самой Уфы. Человек правильно знает... — Он глядел на Рахима новыми глазами. — Правильная у тебя карта, годок. Поезжай, учи по ней!

Отъехали, Рахим расслабился. Поверив наконец, что опасность позади, он вытер испарину подкладкой шапки:

— Уфф... ну времена! Ты, неграмотный, едешь учить грамоте. Вместо паспорта у меня драная ученическая карта...

Прокричали чибисы в речной долине. Нурмолды поднял голову, бесчувственный, еще измученный дрожью, тяжелым, как забытье, сном на холодной земле.

Рахим встретил его взгляд улыбкой.

Тонкие желтые губы, оспинки на скулах, желтые, больные белки глаз, морщины скобкой охватывают рот, — давно ли это лицо было чужим, не соединялось с голосом, с тем голосом, что день за днем в темени, в зловонии земляной норы участливо расспрашивал об отце, об ауле, как бы соединяя Нурмолды с той далекой солнечной жизнью, самая память о которой давала силы жить.

Этот звучный, ясный голос уводил на гигантские торжища — на Ирбитскую, на Нижегородскую ярмарки, в Казань, в Касимов, — туда Рахим ездил с отцом, приказчиком купца, касимовского татарина, торговавшего каракулем, и был поражен его каменным, с колоннадой домом. Уводил в Мешхед, в Стамбул, в Дамаск. Рахим не бывал в мусульманских столицах, не видал их сияющих над садами куполов, лезвий их минаретов в ночных водоемах, но знал наперечет тамошние святыни. Этот голос учил счету, учил русскому языку. Стражник, чахоточный старик, в сущности, такой же узник, разносивший по утрам смесь из горячей воды, порченой муки и каких-то горьких семян, задерживался вовле их норы, слушал Рахима, ругался, кашлял — особенно его раздражал рассказ про аэроплан, — а на другой день подправлял горькую смесь хлопковым маслом или приносил палку, — свою они упустили, и тогда они смогли наконец прочистить трубу нужника.

Нурмолды спустился к речушке, зачерпнул чайником.

Руки заледенели, левая, разбитая, когда он пробивал отверстие под консоль, болела: под тряпицей созревал нарыв.

Пар клонило к воде током воздуха, он был стеблист, голубовато-синий, как молодая полынь.

Под ногами захрустело: ссохшиеся шкурки ежей, сова пировала. Нурмолды дрожал — что в таком холоде рубашонка и матерчатая безрукавка? Степь желтая, в колючих остьях трав, как усыпанная шкурками ежей. Черные, подсвеченные восходящим солнцем отроги. Тревожно, за горами идут грузные снежные тучи.

4

Десятка полтора саманных домов, не беленых, с облупившимися стенами, дворы не огорожены, голо, местами из ископыченной и засоренной гусиным пером грязи берега торчат обглоданные прутики тальника. Поодаль — длинное строение, к нему примыкает кошара. Тоскливо было глядеть на это голое селеньице, — умерший ли здесь друг Демьянцева был виной?.. Приходило на ум, что стоит оно на краю света, что жители смиренно несут бремя своей убогой жизни, что зимой заметет саманки по крыши, по ночам станут набегать волки, хватать гревшихся возле труб собак. Оцепеневшие в речке гуси своими криками завершали картину смиренного уныния.

У черного, скуластого мужика спутники купили мясо. Удача была не только в том, что мужик сегодня резал барана, — у него оказались рис и морковь. Нурмолды поглядел-поглядел, как повеселевший Рахим перебирает рис, и спросил хозяина о могиле русского человека, который записывал песни.

Тот не глядя указал на дорогу.

К могилкам Нурмолды привела женщина. Он увидел ее от домов, далеко в степи. Она будто уходила по рыжей, с мысами песка равнине.

На женщине была веселая одежда: белая рубашка, высокая, под грудь, юбка из красной, в полосках домотканины.

Они дошли до сухих бугров, женщина поглядела:

— Вот они, мазарки... могилки то есть. Плиту замело совсем... — и указала на угол всосанной песком плиты.

Нурмолды стал руками разгребать песок.

— Он, композитор, тихий был... ужаственно тут зимой... — говорила тем временем женщина. — С киргизами конину ел. А яё, горбатенькую, я не меньше яго жалею; как яго любила, как любила! Все деньги на эту плиту стратила. Тягали верблюдами и не довезли, кабы не его товарищ.

— Демьянцев?

— Он тоже здесь пропадал... административно-ссыльный.

Выступило вырезанное на мраморе:

Пусть арфа сломана,
Аккорд еще рыдает.

— Бумаги его растащили, — говорила женщина, — думали, шарабара какая, заворачивать или еще на что...

Женщина глядела из-под руки в степь, красную от закатного солнца. Почуяла взгляд Нурмолды. Он же глядел не видя: слова женщины беспокоили, были в связи с чем-то увиденным здесь, но с чем?

— Вот нарядилась в свое девичье. Мужа жду... Гурты гонят с Мангышлака. — Она оправила юбку, одежда была тесна, она радовалась ей и стеснялась. — Рязанские мы...

Вспомнил, вспомнил Нурмолды: кулек с рисом был склеен

из разлинованой, усаженной значками бумаги — листы такой бумаги он видел на пианино в доме Демьянцева.

Он побежал к поселку, вернулся было.

— Иди, я отгребу, — махнула женщина.

Десяток листов нотной бумаги, пожелтевших, исписанных, по знаку черного мужика принесла его дочь в обмен на тетрадь и карандаш. Сам мужик великодушно добавил кулек из-под риса, расправив его тяжелой рукой.

Он расправил кулек грубо, так что оторвался прочь надорванный прежде уголок. Нурмолды подобрал кусочек бумаги со значком, похожим на паучка. Достал иголку с ниткой, пришил «паучка» на карту. Пришил в том месте, где «линия его жизни», как он сказал милиционерам на окраине русского поселка, повернула на юг, к Аральскому морю, задевая желтые песчаные наплывы.

Рахим высоко подвернул рукав, выскребая плов из котла. Его узкие кисти производили впечатление слабости. Сейчас Нурмолды поразился его тугой, игравшей мускулами руке.

5

Набегали гряды холмов. Обгоняли всадников ветра, проносили над головой дымчатые тучи. Громоздились тучи на краю равнины. Глядь, не тучи это, а отроги с выпяченными голыми боками, испятнанные тенями облаков.

Утиные стаи сетями накрывали плесы. В густых красных закатах висели журавлиные клинья.

Казах без коня — не казах!

Путники достигли долины реки Эмбы. Здесь на ковыльно-злаковых пастбищах адаи держали летом свой скот.

Нурмолды видел с седла обширную, вытоптанную излучину с кругами желтой травы: то были следы юрт. Блестела, как кость, поперечина коновязи. Ветер шуршал в сухой полыни.

Дивился, умилялся Нурмолды, оглядываясь: тот же избитый скотом глинистый берег, коновязь, те же облака в воде плеса, будто не минуло пятнадцати лет, будто он не ютился с отцом в косы[1] на окраине Форт-Александровского, не слеп от блеска моря на причалах Красноводска, в Чарджуе не протискивался в сухой мрак пароходных котлов.

Пришел новый день, понеслись они дальше по степной равнине. Дивился Нурмолды силе своей детской памяти: помнил он одинокую ветлу над родником, помнил черный камень на вершине холма. Ласково, поощряюще кивал ему в ответ Рахим.

Начались полынные и солянковые пастбища, места осенних кочевок адаевцев из волости Бегей. Пустынно оказалось в урочищах, которые, помнил Нурмолды, считались благодатными.

---

[1] Косы — временное жилище, составленное из частей юрты.

Не встречали путников псы, не ловили ноздри струйки сладкого кизячного дыма.

Бежала степь под ноги коням, оглядывался Нурмолды.

Гадал Нурмолды: почему аулы его родной волости покинули осенние пастбища? Рано придут на зимние, безводные пастбища, где воду заменяет снег. А в октябре снегу еще рано...

К вечеру они были возле мазара — мавзолея местного святого.

По башенке мазара бегал удод, тряс хохлом.

Местами облицовка мазара обвалилась, обнажив сырцовый кирпич кладки; потрескался отделанный резной глиной фасад.

Одним оконцем глядела саманушка, приют паломников. Однажды приезжал сюда Нурмолды с отцом, привезли барана хазрету Абасулы. Отец просил хазрета сделать для него тумар. Хазрет написал на листке бумаги молитву по-арабски, служка хазрета втиснул листок в матерчатый мешочек. Три года спустя на причале в Красноводске углом хлопкового тюка зацепило волосяной шнурок на груди отца, порвало. Вмиг грузчики втоптали тумар в песок. После разгрузки отец и Нурмолды при свете костра ползали, разгребали песок. Тумар не нашли. Отец горестно и спокойно сказал, что ждет их беда, что тумар вывел семью из степи, не дал умереть. Той же осенью отец стал кашлять, содрогаясь, мучаясь, будто выкашливал заполнившую его болезнь, и умер в праздник ураза — байрам, когда возле мечети торговали сладостями.

Саманушка была застлана старыми кошмами, в нише стояли несколько пиалушек, два тугих мешочка с крупой, фарфоровый чайник, чугунок с остатками пищи, и еще одна пиалушка стояла в углу на тряпице.

Рахим прилег отдохнуть. Нурмолды расседлал коней, со своим брезентовым ведром отправился к колодцу. Рядом с колодцем нашел ведро, сшитое из конской кожи, с кованой крестовиной для тяжести. Оно было сырое.

Из провала в куполе взлетел удод: спугнули!

Их боятся. Тюки, непонятный предмет в чехле за спиной, русская ушанка и пальтецо Нурмолды — все выдавало в них людей городских. Горожане представляли в степи Советскую власть.

Нурмолды взял двумя руками, как ружье, обтянутую чехлом трубку карты. Обогнул куб мазара. Шагнул в пыльную глубину портала:

— Выходи!

В темноте, там, где лежали остатки ишана, треснула под ногами сухая глина. Появился человек в стеганом халате, стянутом на поясе тряпкой. Несмотря на свои морщины, низкорослый, тщедушный, он походил на мальчика. Он согнулся в поклоне перед Нурмолды.

В дальнем темном углу вздохнули, Нурмолды в испуге повернулся: зеркально блеснул лошадиный глаз.

— Кто такой?

— Я учитель, — сказал человечек дрожащим голоском. — Езжу по аулам, обучаю детей... подрабатываю как цирюльник, отпеваю покойников.

Нурмолды, переспрашивая, разобрал кое-как, что старикашка приехал сюда, к могиле святого, по давней привычке. Тут узнал, что вышел указ всех верующих отсылать в Сибирь, и боится теперь возвращаться домой.

Нурмолды убедил старикашку, что указа такого нет, и стал расспрашивать о Жусупе. Лет шесть назад, сказал старикашка, Жусуп увел аулы от продналога на дальние колодцы. Аулы не потеряли ни одного барана. С тех пор Жусуп хозяин в здешних степях.

На голоса заглянул Рахим. При виде человека с молитвенным ковриком в руках старикашка бросился горячо рассказывать о подвижнике — ишане.

С удивлением глядел Нурмолды: тщедушный старикашка говорил басом, подобающим батыру.

Рахим назвал глупцами тех, кто не перевез прах святого в обжитое, с базаром, место, — разве паломники пойдут в такую даль?

За чаем они благодушно потешались над старикашкой. Тот от души веселил их. Он изображал, как соединяет жениха-молдаванина и невесту-казашку. Жених пытается сказать символ веры, заученный было накануне. Жених все забыл. «Да! Да!» — кричит на него старикашка, и тот в испуге повторяет: «Да!»

«Дело сделано! — кричит старикашка. — Аллах вас благословил!»

Они заночевали в саманушке возле мазара. Старикашка предложил им все четыре подушки — засаленные, будто набитые земляными комьями. Невозможно было уговорить его взять себе хотя бы одну. Он прижимал руки к груди, брызжа слюной, повторял: «Не посмею!.. Такая радость, товарищ начальник, дарована мне судьбой: охранять ваш сон!..»

Храп старикашки напоминал одновременно верблюжий рев и собачий рык. Нурмолды вытащил кошму и досыпал под стенкой саманушки.

Ночью его лица коснулись, в страхе он вскинул руки, ткнулся во что-то мохнатое, что неслышно укатилось в темень.

Утром старикашка объяснил: «Узбек, курильщик опиума, приходил за водой». Показал, в какой стороне искать терьякеша.

Вскинулся саврасый, задрал морду и стал над ямой, чуть прикрытой сухими стеблями. На дне ее, голом, исчерканном тенями стеблей, чернел ком тряпья, из него торчала белая тонкая рука.

Нурмолды спустился в яму по вырубленным ступенькам, поднял человека на руки. Смрадно воняло тряпье, безжизненно ви-

сели руки. Нурмолды тряхнул его: нет, не спал человек, закостенело его лицо, стянутое судорогой.

С этим страшным человеком на руках Нурмолды вернулся в мазару. Рахим еще спал. Старикашка поил свою лошадь; на голову он накрутил чалму, под стеной мазанки лежал дорогой кожаный баул с металлическим замком.

Старикашка, взглянув, как Нурмолды укладывает страшного человека под стеной саманки, сказал, что здесь родится жирный мак, что никто не знает дороги сюда.

— Погодите, — остановил его Нурмолды. — Проснется, тогда и разъедемся.

Дрогнуло иссохшее лицо узбека, открылись его запухшие, истерзанные трахомой глаза.

Он подтянул под себя голые ноги, сунул ладони в прорехи халата. Дул холодный ветер.

— Кто ты?

— Мавжид мне имя... Жил в Намангане... Котлы отливал... для плова. Сюда брат привез... Сеяли мак... потом надрезали коробочки, собирали сок.

— Брат тебя бросил здесь? Родной брат?

— Трубка с опиумом для него брат... — Мавжид пошарил в лохмотьях. Достал трубочку и высушенную крохотную тыкву с закрученной из шерсти затычкой. Насыпал из тыквы в трубочку серого порошка. Злобно блеснули его жуткие кроваво-желтые глаза. — Я бы убил их!..

— Брата?

— Брата — первым!.. Они оставили мне обломки лепешек... Мне не надо чанду... очищенного опиума, его курят счастливые, не надо сырец первого надреза... Но почему крошки?.. Я надрезал головки мака, я собирал сок. — Мавжид заплакал, затряс головой, грязные космы залепили глаза. — Как самый ничтожный курильщик, я курю пепел из своей трубки!..

— Ата, — сказал Нурмолды старикашке Копирбаю. — Взять терьякеша с собой мы не можем, мы не знаем, кто нас будет кормить. Отвезите его в больницу... и отдайте ему свои кебисы.

— Ваши слова закон, начальник. Я съезжу к табынам[1], стребую должок, а на обратном пути заберу терьякеша.

Копирбай снял кебисы — кожаные калоши с задниками, окованными медными пластинками, — потопал своими хромовыми сапожками, будто радуясь их легкости. Бросил кебисы Мавжиду и заговорил о справке — нынче, дескать, справка заменяет тумар.

Нурмолды вырвал из тетради листок и написал по-русски и по-казахски, по образцу своего удостоверения: «Податель сего Копирбай Макажанов направляется по месту нового жительства. Рекомендуется оказывать содействие всем лицам. Полномочен-

[1] Табыны — казахский род, кочевал в Приаралье.

иый по лнкбезу Бегееевской области товарищ Нурмолды Утегенов».

Басил, благодаря, старнкашка, кланялся. Он уехал счастливый.

Казалось, Мавжид уже ие видел, не слышал, он покачнвался, хнхнкал. Нурмолды натянул кебнсы на его иогн, черные, разбитые, и тут терьякеш стал совать ему трубку: кури!

Тресиутая фарфоровая чашечка со спекшейся массой. Муидштуком служила прокаленная камышнннка.

От колодца подходнл Рахим, веселый, с разгоревшимся лнцом, с красными от колодезиой воды руками.

Нурмолды посадил терьякеша впереди себя на седельную подушку. Держал между рук его легкое мальчишеское тело.

Очнувшись и обнаружив, что Нурмолды выбросил его трубочку, Мавжнд стал вырываться, свалнлся с коня, отбежал, а когда Нурмолды попытался его посадить на коня, плевался, опять убегал и бросался камнями. Усмнрил его Рахнм — сплеча, жестоко хлестнул камчой.

Нурмолды, вернувшись — он ходнл собнрать топлнво, — не нашел Мавжида на стояике. Разбудил Рахима, тот заявил, что н не подумает нскать терьякеша: человек ушел по своей воле.

— Сегодня ты намерен обратить волость в иовую веру, завтра покончнть с нсламом, послезавтра провестн здесь, — Рахим хлопнул по кошме, — железную дорогу. Моя программа еще значительней твоей. Аллах послал меня объявнть: все тюркские народы должны объедниться в Туранское государство. Куда терьякешу с нами? Дым снльнее его.

Нурмолды оседлал саврасого. До потемок кружил по окрестностям. На второй день понсков Нурмолды спешивался лишь затем, чтобы напонть коня, сгрызть горсть шарнков курта, которого осталось полмешочка.

— Нурмолды, аулы уходят быстро. Поспешим им вдогонку.

— Как его броснщь? Здесь до весны мы последние путннкн. Разве что волки пробегут.

— Аллах покровительствует юродивым, больным, обреченным.

— Аллаха нет, Рахим-ага... Демьянцев говорит: остается спрашивать с себя.

— Пусть он хоть трнжды большевик, разве он может дать человеку здоровье? Сделать нз ленивого труженика? Из пьяницы — трезвенннка?

— Надо начннать кому-то переделывать человека, Рахнм-ага.

— Опять речи Демьянцева... Зачем переделывать? Терьякеша броснл родной брат — ты его подобрал. Терьякеш сам ушел от нас. Ты же гоняешься за иим, кричншь: я возьму тебя в будущее! Я заставлю тебя забыть терьяк! Научу ремонтировать паровозы! Мы постронм вам Турксиб — и строят, не спрашнвают. Они знают, что с подвнжностью населения слабиет любовь к родным местам! С нас берут налог на стронтельство башни до неба! Нас загоияют в совхозы, запрещают кочевать и твер-

дят: мы заставим вас быть счастливыми. Пора, пора вернуться к временам, когда писали в фетвах: «Если неверные стараются подняться выше, чем мусульманин, и достигнуть тем или иным путем превосходства, они должны быть убиваемы».

— Убить Петровича потому, что железо его слушается, а меня нет?

— Истина делает свободным от ложных убеждений... Я не призываю, подобно иным шейхам, вешать студентов. Я лишь призываю тебя жить своей головой, а не головой русского слесаря.

— Рахим-ага, перед моим дедом прогоняли двести овец, одну из них вталкивали в следующую отару, гнали мимо, а дед высматривал ее. Дар Петровича так же непостижим.

— Прозрей, — ласково сказал Рахим. — Тридцать миллионов мусульман в советских республиках ждут слова истины. Мы создадим великое Тураиское государство! Киргизы, узбеки, казахи, татары ждут нашего с тобой слова, Нурмолды. Прозрей, порченый, на русских — печать несчастья. Сказано в Коране: «Не дружите с народом, на который разгневался аллах».

— Это с нашим народом дружить не велика корысть. Народ — как человек: он упускает свое время, если не учится, Рахим-ага.

— Оставьте нас в настоящем — с нашими дувалами, базарами, речью и ленью. Мы живем для себя, не для вас. Не гоните нас в будущее. Азия красива, Нурмолды.

— По мне, ничего хорошего, Рахим-ага... дикость, вонь, нищета.

— Приятна даже собственная вонь.

— Когда запустили станок... я сам ремонтировал, я был счастливый.

— Мне пятьдесят — поздно приучаться к чужому. — Рахим запахнул шекпень. — У нас осталось две горсти курту. Мы в пустыне.

Нурмолды не ответил. Рахим указал на белые наплывы гипса:

— Терьякеш прячется там... Он приходит пить, когда ты уезжаешь.

Терьякеш, разбуженный Нурмолды, с ненавистью сказал:

— Что ты ко мне пристал, будто колючка к овечьему заду?

— Ты несчастлив, Мавжид.

— Как можно считать человека счастливым или несчастливым, пока он жив? Ты сейчас счастлив, а на чинке тебя подстерегают люди Жусупа: завтра они тебя изувечат или убьют. — Мавжид поскреб грязную грудь. В глазах его была скорбь. — Счастливым можно считать того, кого смерть застала счастливым. Я хочу умереть одурманенным дымом, в счастливом сне.

Нурмолды добыл из кармана фарфоровую чашечку, затем и камышину:

— Полдня рыскал, вот нашел. — Спросил: — Откуда жусуповцам знать про меня?

— Старик скажет... он вроде привратника у Жусупа, застава на чинке слушает его приказы.

«Э, вон что, не зря он тут сидел, паучок, — подумал Нурмолды о старикашке Копирбае, — отсюда путь на плато, на Мангышлак, на восток — к Челкару и Аральску. Ай да старикашка, глядит вперед, как там повернется дело у Жусупа... Справка хоть и без печати, а недорого и дано за нее: «кебисы на день-другой».

— Я прошу тебя поехать со мной, Мавжид.

— А зачем?

Нурмолды улыбнулся:

— Чтобы не умереть мне несчастливым, если на плато меня застанет смерть.

— Я поделюсь с тобой щепоткой — накуришься перед смертью.

— Не поможет. — Нурмолды теперь не шутил. — Мне надо знать, что я не бросил тебя в степи, Мавжид.

Как ни тягостна была езда для Мавжида, истощенного недугом, теперь он не висел на руках Нурмолды, глядел вдаль. Там по горизонту поднималась стена.

То не была крепостная, из сырцового кирпича, стена древнего городища, то надвигалась громада чинка, краевого обрыва Устюрта. Плитой с рваными краями лежало гигантское плато между Каспием и Аралом.

По мере их приближения разбегались края стены, уходили в бесконечность равнины. В закатном солнце охрой горели выступы; как отверстие пещер, чернели промоины.

Нурмолды показал Рахиму налитую сумраком трещину в основании чинка: там единственный в здешних местах сход с чинка, по которому можно спуститься или подняться на коне, там ждет их застава Жусупа.

У подножия схода Нурмолды перетянул тюки. Помог сесть Мавжиду, затем взял саврасого под уздцы.

Час за часом они поднимались на плато. Сход сперва шел плавно по наклонной, а затем, круто выгибаясь, уходил в толщу чинка.

Сузился сход, Нурмолды коснулся плеча Рахима, и тот отстал, удерживая коней за поводья. Нурмолды и Мавжид прошли до нового поворота. Здесь противоположная стена была чуть окрашена светом: наверху, на равнине плато, горел костер.

Нурмолды шепнул:

— Делай, как договорились, — подтолкнул Мавжида, прижался щекой к холодной глинистой стене.

С криком «А-а!» Мавжид бросился бежать. Нурмолды слышал, как остановили его, как отбивался он с воплями. Крики вразнобой: «Грех его бить!» — и сильный голос Копирбая: «Где, где ликбез?»

— Я его съел! — закричал Мавжид и захохотал.

Топот, крики: «Держи!», «Еще кусается, пес!»

Нурмолды живо вернулся к Рахиму. Они проскользнули гор-

ловину схода, вышли на темную равнину плато. Здесь Нурмолды оставил Рахима с конями за кучей камней и, крадучись, пошел на голоса.

Жусуповцы сбились на краю привала — то был вход в пещеру, вымытую водой в мягком известняке. Доносились голоса:

— Бабушкины сказки!.. Змей, людей ест!..

— Сунься, так узнаешь!.. Конца у пещеры нет!

— Что вы все сбежались! — начальственно крикнул Копирбай. — Даулет, Мерике, живо к сходу!

Осторожно по днищу долины, уходившей к провалу, Нурмолды добрался до черной расщелины.

Перед ним был широкий холм, пол которого шел сначала ровно и прямо, а затем стал извиваться и вел то вверх, то под наклоном, то ступенями. Местами же он вдруг уходил вниз, заставляя Нурмолды скользить и карабкаться. Все было покрыто мучнистым слоем распавшихся горных пород.

Лет четырнадцати Нурмолды верил, что в этой пещере живет огромный змей. Рассказывали: в старое время в пещеру сложили сокровища бухарские караванщики — они поднялись на плато и попали в бурю. Из глубин земли явился змей, проглотил одних, другие разбежались. С тех пор змей сторожит сокровища. Нурмолды и его отец были первыми из казахов, что спустились в пещеру: отец тогда нанимался проводником к русскому ученому, говорившему по-казахски. Тогда же они нашли эту расщелину — второй выход из пещеры.

Наконец сверху в пещеру проник слабый свет луны, Нурмолды увидел, что уходящая вверх и в сторону круто, как дымоход, расщелина пересекается высокой продольной трещиной и таким образом соединяется с внешним миром. Эта трещина, объяснял ученый, и порождала пугающие адаевцев рассказы о змее — через нее ветер проникал в подземелье и вырывался затем со свистом и ревом. Или же отдавались от стен узких ходов шум крыльев и крики птиц?

Нурмолды окликнул Мавжида, и тот отозвался: он стоял под выступом, свисавшим над входом в пещеру, невидимый сверху с края провала.

— Не ушли?

— Толкуют о каком-то змее... А один все горячится: я сразу, дескать, понял, что он не дуана, а шайтан.

— Держись за меня крепче, Мавжид.

Из-под ног срывались камни, шум их падения усиливался в гулких каменных стенах.

Тихонько выбрались наверх, отыскали в темени Рахима с конями. Нурмолды посмеивался:

— Кебисы-то остались нам.

6

Миновали гипсовую плоскость, разорванную кустиками солянки. Нурмолды привстал на стременах, прищурился: белел вдали солончак, край его был оторочен зарослями черного сак-

саула. Нурмолды помнил солончак: запасали там с матерью топливо.

За солончаком начиналось урочище Кос-Кудук. В зарослях итгесека, полукустарника с листьями-чешуйками, хрустнуло под копытом коня. Нурмолды увидел человеческий скелет.

Помнил Нурмолды, каким смрадом встретило урочище Кос-Кудук их аул. То погибли от холода и голода отряды Толстова, атамана уральских казаков. Зимой отступали белоказаки через адаевские пустыни.

Саврасый обошел полевую пушку. Она лежала со снятыми колесами, в вырезах лафета торчали кусты полыни.

Нурмолды огляделся. Нет, не память была виновата: колодец спрятан. Слез с коня, покружил, отыскивая знакомую низинку.

Он разбросал слежавшиеся пласты перекати-поля; открылась низкая каменная головка колодца. Установил припрятанную тут же рогатульку с колесом-блоком, выточенным из дерева. Подошел Рахим, жадно вдохнул влажную, истекавшую из колодца струю.

Нурмолды сунул в свое брезентовое ведро камень для весу, перебросил веревку через колесо, другой конец его привязал к седлу. Конь уловил всплеск ведра в глубине колодца — развернулся, дернул, пошел прочь, потянул веревку. Зашаталось, заскрипело деревянное колесо.

Нурмолды с вязанкой саксаула на плече проходил низиной.

Возле свежей ямы темнел холмик. Нурмолды отбросил ногой запорошенные сухой глиной тряпки и бараньи шкуры, вскрыл яму. Здесь были части конской амуниции, маузеры в кобурах, шинельные и поясные ремни, патронные сумки, запасные части к пулеметам и винтовкам, железные детали неизвестного для Нурмолды назначения, фляги в чехлах, инструмент, — очевидно, для ремонта оружия, шашки с бронзовыми рукоятками, патронташи, жестянки со смазкой, брикеты пороха. Вся эта мешанина, пересыпанная ружейными и пулеметными патронами, хотя и воняла, как разрытое захоронение, протухшими шкурами, прокисшим бараньим салом, однако не была брособой. Кожа лишь местами высохла и потрескалась, латунь патронов устояла перед коррозией. Ржавчина обметала стальные детали, но и их, знал Нурмолды, можно отмыть в керосине.

Он зажал ножны между колен, потянул за рукоять обеими руками, вытащил шашку. Она была смазана обильно в свое время, ржавчина окрасила лишь режущую кромку лезвия и густо запеклась возле рукоятки — без сомнения, это пятно осталось от весны 1919 года, когда скатились в низины ручьи, оставив ветрам, солнцу и грифам трупы людей и коней.

...Возле колодца стояли лошади. Могучий человек бил ногами Рахима. Парень с винтовкой в руке топтался рядом, подскакивал, когда Рахим подкатывался ему под ноги.

Нурмолды, набегая, видел сутулую, обтянутую бешметом спину и отделанную лисой заднюю лопасть шапки-тымака.

— Туркменский выродок! — кричал сутулый. — Выследил? За нашим оружием приехал?..

— Е-е, он даже знает наш колодец! — с удивлением говорил парень с винтовкой.

Нурмолды подскочил с криком:

— Не трогайте!

Сутулый богатырь ударом ноги сбил Нурмолды.

— Ну, туркменский пес, — проговорил сутулый, отогнул полу бешмета, достал маузер. — Мы тебя не звали.

— Я адаевец, мой отец Утеген из родового ответвления Бегей. Я еду из города! — выкрикнул Нурмолды.

— Утеген? Ха! — рявкнул человек в тымаке. — Наши имена знает. А чей сын этот туркмен?

— Рахим-ага — учитель!

Прибежали еще двое — один молодой, в рваном бешмете, другой долговязый, в колпаке.

Долговязый вгляделся в Рахима, его лицо помягчело. Рахим понял, что его узнали, улыбнулся и протянул руку, которую длинный принял почтительно, обеими руками, и одновременно с некоторой снисходительностью на лице.

— Кежек, — поворотясь к богатырю, сказал долговязый, — Рахим не туркмен, он татарин... Он приезжал из Оренбурга в наши аулы, учил нас, ребятишек, грамоте... и не хотел учить молитвам.

Силач издал хрюкающий звук — хрюканье выражало скорее недовольство, чем раскаяние, — грубо спросил Нурмолды:

— Как звали твоего деда, ты!

— Кузденбай, — сказал Нурмолды.

— Дальше!

— Кузденбай родился от Касыма, Касым от Елюбая, Елюбай от Сагади, Сагади от Беимбета, Беимбет от Есболата, Есболат от Саддыка, Саддык от Смагула, Смагул от Мусы, Муса от Карыинияза... Пожалуй, до Адая не вспомню.

Долговязый, уважительным жестом пригласив Рахима сесть, покивал Нурмолды:

— Досказки про себя, сынок, доскажи... — Вновь кивал, теперь уже горестно, когда Нурмолды упомянул об умерших родителях. — Да, помню, ваш аул ушел в Красноводск.

Нурмолды рассказывал, как из Красноводска поехал в Чарджуй в вагоне с хлопком, как был взят на завод речных судов.

— Теперь ты ликбез... — Долговязый с осуждением, даже сердито взглянул на сутулого: — Ты сразу драться, дурило! Ехали бы они за оружием, разве потащили бы за собой безумца? — Он отошел, стал над Мавжидом.

Тот запускал пальцы в глубь своих лохмотьев, вытаскивал комочки хлопка, труху, соринки, разбирал на ладони, откладывал в бумажку. На стоянках он непрестанно занимался подобными раскопками, пытаясь набрать на десяток затяжек.

Сутулый силач, однако, по-прежнему глядел зло:

— Зачем этот разрыл яму? — Он указал на Нурмолды. — Хотел перепрятать оружие? Туркменам променять?

— Брось травить парня, Кежек, он ведь нам свой, — мирно сказал долговязый.

Лицо у него было доброе. Проводив взглядом сутулого Кежека, который отошел к костру, долговязый снял колпак и погладил стриженую голову. Колпак был дорогой, из тонкого белого войлока. Нижний отогнутый край обшит черной шелковой лентой, а верхушка украшена кистью из шелковых ниток. Улыбнулся Рахиму, коснулся рукой колена Нурмолды:

— Не держите зла на Кежека, он сам не свой, все ему туркмены мерещатся. Четыре года назад туркмены... триста пятьдесят головорезов... захватили наши аулы на зимовке на Южном Устюрте. Семьдесят человек убили, угнали овец две с половиной тысячи и двадцать семь девушек. Кошмы с юрт содрали. Теперь вот на Южный Устюрт не ходим зимовать, теснимся на севере. Осенние пастбища выбиты, зарастают полынями.

Подошел от костра Кежек, раздраженно захрипел:

— А откуда оружие у туркмен? Такие же вот, — он указал на Нурмолды, — собрали по урочищам казацкие винтовки и променяли туркменам на скот. А мы вот сейчас лезь под те винтовки.

Нурмолды покрутил головой:

— Не собирался я менять оружие туркменам, закопать его хотел, чтобы не нашел его никто. При Советской власти ни адаевцам, ни туркменам оружие ни к чему.

Кежек схватил Нурмолды за шиворот, рывком поставил на ноги. Подтащил к колодцу, показал на головку:

— Гляди!

На айкеле каменной головки были высечены две тамги: О и У.

— Какая тамга адаев?

— Эта, — показал Нурмолды на У.

— Наша тамга стоит поверх туркменской. Туркмены выкопали этот колодец. Они кочевали здесь на Устюрте, на Мангышлаке, на Эмбе были их летовки. Прогнали их адаи. Они только и ждут, когда мы ослабеем. А ты винтовки хотел закопать, щенок!

В гневе Кежек одной рукой тряс Нурмолды, а другой указывал на парня, подходившего со связкой винтовок за плечами. Он свалил их, как вязанку дров, разогнулся и потер поясницу.

Долговязый заставил Кежека отпустить Нурмолды, проворчав:

— И чего хайло разеваешь!.. Парень долго жил среди чужих.

Они вернулись к Рахиму. Там на кошме была уж расстелена чистая тряпица. От костра пришел парень с пиалушками и чайником.

— Насчет туркмен Кежек путает, — сказал долговязый, — наши нынешние земли принадлежали когда-то калмыкам, а

туркмены здесь только кочевали н платили дань калмыцкому ханy. Мы, адаевцы, пришли из Саурана. В ту пору калмыки были ослаблены войной с соседями, адаевцы оттеснили их на север н заняли долину Эмбы. Наш род умножался, век от века мы расширяли свои владения в войнах и набегах. Хивинский хан дразнил царя нападениями на русские караваны, а туркмены слушались голоса хана. Тогда адаи сказали генералам: «Мы поможем вам воевать с ханом» — н с помощью русских войск прогнали туркмен с Мангышлака и Устюрта. Хивинский хан требовал с адаев дани. Адаи пропустили войска русского царя через свои степи, и русские взяли Хиву. Мы были сильны, когда держались как дети одного отца — Адая.

— Могущество — это единство, а единство — это вождь, — сказал Рахим. — И если аллах послал адаям вождя, он послал его всем нам, тюркам... Меня же аллах послал открыть его имя казахам, уйгурам, татарам, узбекам. Они ждут вождя, чтобы объединиться под его рукой.

— Да, времена нынче худые, — покивал долговязый, — туркмены грабят наши аулы, Советская власть хочет отобрать наш скот и угнать к железной дороге. У нас два пути: путь уступок, стало быть, путь гибели и путь единства. Мы отбросим туркмен в пески, не дадим русским ни одной овцы. Мы заставим бояться нас каракалпаков и хивинцев.

— Выходит, вы собираетесь создать государство адаев? Да вы лет на двести опоздали! — сказал Нурмолды; он принес карту, развернул: — Есть республика Казахстан, и есть народ казахи. А здесь Туркмения, здесь Украина, Россия. У каждого народа своя земля и свое правительство.

— Э, сынок, мы люди неграмотные, живем не по писаному... — вздохнул долговязый. — Я вот что тебе скажу: почему русские не могли взять Хиву? Не стены ее защищали, а наши пустыни. Адаи пропустили русских через свои пустыни, хан сдался... — Он указал в сторону полынных зарослей: — Скелеты остаются от тех, сынок, кто является в адаевские пустыни без нашего согласия. Мы завалим колодцы... Да что завалим — мы их просто прикроем и будем как в крепости.

— Я отыскал колодец в здешнем урочище, — сказал Нурмолды, — отыщу н в соседнем.

— Милицию приведешь?

— Я везу карту. Всякий взглянет на нее н поймет, что винтовка в наших степях теперь ни к чему.

Долговязый шикнул:

— Кежек услышит!

Кежек услышал. Неспешно подойдя, он пнул карту, так что она с треском разорвалась. Поддел тюк своим огромным сапогом. Со стуком посыпались на глиняную корку книги и карандаши.

Нурмолды вскочил. Кежек перехватил его одной рукой, отшвырнул. В силача с визгом вцепился Мавжид. Повис, визжал, царапал лицо. Выдрал ли он Кежеку глаза, был ли тот парали-

зован суеверным страхом перед безумцем — он крутился, не мог отодрать от себя Мавжида. Задыхался в его лохмотьях, кричал:

— Уходи! Уходи!

Хлопнул выстрел, Мавжид отвалился от Кежека.

Нурмолды бросился на Кежека, был схвачен и стиснут.

Очнувшись, увидел сидящего на коне Кежека. Равнодушно глядели его запухшие глазки, губы шевелились. В поводу он держал саврасого. Нурмолды разобрал:

— ...Через три дня вернемся! Думай о своих прадедах. О прошлом.

Нурмолды поднялся на четвереньки, увидел уходящий караван: впереди ехал долговязый с винтовкой за плечами.

— Рахим-ага!.. — закричал Нурмолды. — Рахим-ага!

7

Ему наконец удалось подняться. Он подошел к Мавжиду, с плачем, подвывая, склонился над ним. Тот был еще жив. Он коснулся рукой Нурмолды, выговорил:

— Жалко тебя. Мою дочь жалко, жену жалко.

— Ты не умрешь! Догоним аулы! Я тебя читать научу!..

— Я мало жил... Ты живи.

— Ты не умрешь!.. — начал Нурмолды, но дернулась, соскользнула с его ладони голова Мавжида.

Могилу Нурмолды вырыл ножом; забросал тело терьякеша сухими гипсовыми комками.

Нурмолды собрал клочья карты. Один такой он нашел далеко в стороне, смятый, с дырой, — как видно, пытались завернуть что-то в него, да порвалась материя основы, редкая, как бы сплетенная из сухих корешков. Нашел и чехол от карты.

Он стянул веревкой тюк с учебным имуществом, взвалил на плечи.

Брел Нурмолды в тишине, в чайнике хлюпало.

В синих вечерних холмах он увидел двугорбого верблюда — бактриана. Нурмолды сбросил было свои тюки, побежал, но в страхе потерять свою поклажу вернулся, а когда взвалил ее на себя, верблюд исчез.

На рассвете он потащил свой тюк дальше. Спустился с бугра, услышал шлепанье подошв. Поднял голову: путь ему пересекал бактриан!

Верблюд не подпускал к себе близко. Нурмолды брел за ним. Содержимое тюка перемешалось. Книги непрестанно вываливались, он совал их за пазуху, втискивал за пояс.

Верблюд привел его в пески, заросшие джантаком — верблюжьей колючкой. Нурмолды продирался сквозь заросли — они гремели, как металлические, — нюхал ветер, ловил запахи аула.

Не к аулу вел его верблюд. Перед Нурмолды темнела истолченная, взрыхленная грязная яма с лужицей на дне — мелкий колодец, прорытый к верховодке. Верблюд пил, ложась грудью

на край и опуская голову в яму. Из осевших стен торчали сучья саксаула.

Нурмолды выволок к колодцу старую деревянную колоду, глиной мало-мальски залепил щели. Чайником натаскал воды, сделал петлю из пеньковой веревки, разложил перед колодой.

Схваченная веревкой за ногу, верблюдица смирилась. В носу у нее было проделано отверстие, в котором торчала деревяшка с кожаной петлей. Нурмолды просунул в петлю конец веревки, заставил верблюдицу лечь. Погрузил на нее свой тюк, сел, поправил за спиной трубку карты. Скомандовал:

— Кх! Кх!

Качнулась верблюдица, выпрямляя задние, а затем передние ноги, вскинула маленькую голову на длинной шее и подняла Нурмолды над равниной пустыни.

Ветер вздымал шерсть на верблюжьих боках.

Его догнали четверо парней на трех лошадях. У одного из них была в руках пика со старым древком, перевязанным сыромятными ремнями, у другого за плечами винтовка.

Шапку Нурмолды потерял, когда брел в полубреду. Голову повязал тряпицей, пальтишко было излатано. Парни, все в старых, с заплатами чапанах, как видно, признали в нем своего.

— Растрясло без седла? — крикнул Нурмолды парень с винтовкой. — Этот, — он мотнул головой на сидевшего позади его парня, — тоже едва жив!.. Погоди, все добудем, и седла и коней.

— С пикой-то? — сказал Нурмолды.

— Жусуп винтовки даст!.. Из прошлого набега я привел лошадь и четырнадцать баранов. Еще один набег — и калым заплачу.

Показался аул. На склоне холма темнело пятно отары.

— Меня зовут Даир! — Парень с винтовкой за плечами был напорист. — Давай ко мне под руку, Нурмолды!

— Ты, может быть, уже сотник? — съязвил сидевший позади его парень.

Они спешились, отогнали собак. Даир сказал вышедшим из юрты парням:

— Привел четверых, — указал в том числе и на Нурмолды, — еще одного найти, и Кежек-есаул назначит меня десятником... Абу не уговорили? — шепотом спросил он, увидев выходящего следом из юрты богатыря в утепленном бешмете и надетой поверх него меховой безрукавке.

Парни отмахнулись — безнадежно, дескать.

— Меня не считай, вояка, — сказал Нурмолды.

Даир дружески ухватил Нурмолды за плечо, повел, показал издали девушку, она выбивала кошмы:

— Моя невеста!

Нурмолды признал в девушке туркменку по красному, туникообразного покроя платью и длинным штанам, отделанным понизу ковровой тканью.

— Жусуп прислал девушку в дар своей сестре. Еще один набег, и красавица моя, — продолжал Даир. — Всю жизнь я бедствовал, сирота. Она мне за все награда, моя золотая сайга! А ты такую же приведешь из набега...

К Нурмолды подошел богатырь Абу, благодарил за приведенную верблюдицу.

Повел его к сухому пригорку, где сидели аксакалы, и среди них дед Абу, девяностолетний старичок в огромной шубе.

— Ассолоум магалейкум, аксакалы и карасакалы! — приветствовал Нурмолды общество и попросил разрешения сесть.

— Аллейкум уссалам, сынок!

Стали спрашивать, куда направляется, кто родители, есть ли невеста. Шутили:

— Силы у тебя, учитель, видать, больше, чем у Абу: он с верблюдицей не справлялся, не он ездил — она на нем.

Абу пригласил Нурмолды к себе в юрту. Хозяйка подливала айран в пиалу гостя, благодарно поглядывала на него, тараторила:

— Ей, нашей верблюдице, как поглянется какой колодец — беда, убегает. Сиди гадай, куда Абу послать, где ей колючка сладкой показалась.

Абу спрашивал:

— Ай, зачем отменили арабский алфавит? Выходит, я теперь неграмотный. Так научите читать по-новому!

— Я в Бегеевскую волость еду, — извинялся Нурмолды. — Ждите своего ликбезовца. А вот лекцию по географии прочту, зови молодежь. И непременно тех, кто собирается в набег с Жусупом.

Юрта стала тесна. Набились парни, девушки.

Через дверь Нурмолды увидел девушку-туркменку со связкой саксаула. Позвал ее:

— Идите к нам.

Он ожидал, что она пройдет, будто не расслышав, или же прысиет, будто он сказал нечто смешное, и убежит. Она же с готовностью бросила связку, вошла. Жарко стало Нурмолды: такая красавица близко!

Даир был тут же, вертел головой, как огрызаясь, дескать, не зарьтесь, не ваше, и одновременно с гордостью подмечал восхищенные взгляды парней.

— Я вроде как рабыня, — ответила девушка, давая, впрочем, понять, что сама не верит в свое рабство.

— Я гостил у вас в Туркмении четыре года, теперь вы у нас погостите, — сказал Нурмолды.

— И что, сладко погостили? — спросила она.

— Бывало, от голода умирал.

— Ваши казахи гостеприимнее, — посмеялась девушка.

Он сказал, отводя от нее глаза:

— Теперь мы жители одного дома, — и торжественно развернул карту.

Слушателей поразили слова Нурмолды: перед ними Вселенная, перенесенная на бумагу.

Эта новая карта была составлена из клочьев, Нурмолды прикрепил их на кусок обоев как на основу, иных частей недоставало, вовсе отсутствовал Индийский океан. Нурмолды, вспотев от напряжения, оторвал повисший полоской кусочек Атлантического и прикрепил этот синий кусочек с точкой острова, с длиннорылой рыбиной, в середине дырищи, заполненной ангелочками. Блестели их золотые, будто вырезанные на грунтовке, рожки. Индийский полуостров как срезали, однако, к радости Нурмолды, на остатке его уместился слон: тупоногий зверина своим длинным, загнутым носом тянулся к желтому, как дыня, плоду.

— Но если мы на верхней стороне, то как же люди не падают в бездну с той, нижней стороны? И вода не выливается?

— Но где же мы? Где Ходжейли? Где Хива?

Водили пальцами по узорам горных хребтов, дивились остромордым белым медведям в россыпи голубых, колких, как рафинад, льдов, радовались верблюду, сайгакам, тушканчикам. Рассматривали место на западном берегу Арала, где Нурмолды наставил карандашом треугольничков — юрт: изобразил их аул.

Рассказ Нурмолды о народах Советского Союза прервал грубый женский голос.

В юрту протиснулась немолодая женщина.

Она была на сносях, выпяченный живот натягивал платье, безрукавка застегнута лишь на верхнюю пуговицу.

— Сурай, я тебе косы отрежу! — выкрикнула женщина, с неожиданным в ее положении проворством проскочила в юрту, схватила девушку-туркменку за руку и потащила.

Нурмолды поймал девушку за другую руку, сказал мягко:

— Тетушка, я инструктор по ликвидации безграмотности...

Тетка продолжала тянуть девушку, а та, плутовка, ничуть не помогала Нурмолды удерживать ее, будто ей было безразлично.

— Иди, паршивка! — шипела тетка.

— Есть постановление правительства о всеобщем обязательном обучении, и вам, тетушка, и ей придется учиться читать-писать... — говорил Нурмолды.

Сжав его руку — рука у девушки была горячая и сильная, — Сурай дернулась так, что тетка выпустила ее.

Тетка с руганью убралась.

Вывалили первыми из юрты парни, скучились.

Сурай стояла с девушками в стороне, на заигрывания Даира не отвечала. Он быком надвигался на нее, говорил, что Кежек-есаул хвалил его за выносливость в седле. Сурай не отодвигалась.

Парни закричали:

— Учитель, покажи силу!

Появнлась сухая конская кость[1] и была вручеиа Нурмолды, но ее выхватил Даир.

— Бросай кость, бросай! — крнчали Данру.

Он отлепнлся накоиец от Сурай, развернулся всем корпусом, рукастый, лохматый.

Сурай окликнула его. Оиа иаклонилась, быстро зашептала ему на ухо. Он засмеялся, счастливый ее вниманием. Ответнл ей также на ухо, склоняясь к ней заискнвающе. Вновь он размахнулся с крнком: «Кун!» Шарахнулась толпа в направлении броска, тут же разверифулась, рассыпалась, иных сшибли: кость со свистом полетела в противоположную сторону.

Шарнли в траве низины, возились, сталкнвалнсь лбамн.

— Нашла! — крикиула в стороне Сурай.

Всей оравой повалили на ее голос. Визжали девушки, цепляясь за обгонявшнх парией. Даир бежал первым. Подставили ли иогу, запнулся лн он — грохиулся! Нурмолды сшиб одного, тут же его швырнули иа землю, он с хохотом поймал ногу в сапоге, дернул.

Кружнли, выкрнкивали — топот, хруст полыни.

Вдруг быстрое горячее прнкосновение остановило Нурмолды: Сурай! Она потянула его за руку, он очутился рядом с ней в яме под пластом притащенной половодьем травы.

Она повернула к иему лицо. Их крыша пропускала свет. Голубело ее высвеченное круглое, как плод, колеио и туго обтянутое тканью бедро. Ее лнцо как бы плавало в темноте, прнближаясь, отдаляясь. Сквозь ресннцы завораживающе светились зеркальные шарики.

— Вери! — шепнула она и дернула из-под Нурмолды что-то твердое, оно ие давалось.

Он слышал душнстую теплоту ее рта, когда оиа, качнувшись, приближала свое лнцо. Он понял наконец, что Сурай сует ему конскую кость.

В их убежище потемнело: загоражнвая луну, топтался над нимн парень — видно, услышал их возню. Нурмолды узнал Даира. Девушка вздрогнула, прильнула плечом к груди Нурмолды.

— Отдай ему, — прошептал Нурмолды.

Оиа оторвала свое плечо:

— Нет! — рванулась, выпрямляясь.

Сейчас разлетнтся их крыша. Он одиой рукой зажал ей рот, другой одновремеино поймал ее руки.

Набегающне голоса, смех. Даир повернулся спииой, исчез. Нурмолды поддел головой крышу. Как выбросило их с Сурай на свет, в толкотню, в кружеиие лиц, Нурмолды позвал:

— Даир! — и бросил Сурай парню на руки.

— Два раза счастье! — крикиули.

[1] Молодежная игра. Снльный пареиь забрасывает кость, молодежь бежнт искать ее. Счастлнвец объявляет о находке, его догоияют, пытаются отнять, с тем чтобы оторваться от преследователей и спрятать кость.

— Даир нашел кость вместе с красавицей!

Нурмолды отступил за круг, пошел. Догнала его толпа, обтекала с шумом, весельем. Внезапно сильный удар в бок подкосил его. Корчась, он поднял глаза: над ним стояла Сурай. Спросила с насмешкой:

— Споткнулся?

— Встану...

Сурай отбросила кость, которая затем со стуком подскочила в темиоте.

Даир вертелся тут же, заглядывал ей в лицо, быстро говорил, смеялся своим шуткам.

Сурай и Даир отошли, Нурмолды поднялся. Набежал паренек с белой лопастью кости в руках, в возбуждении твердил:

— Где все они? Я нашел кость, ту самую, что бросали!

8

В юрте Абу завершали завтрак, когда появился мужичонка с рябым от оспы лицом.

— Это зять нашего уважаемого Жусупа, — представил его хозяин.

Мужичонка с напускной рассеянностью после второго оклика принял из рук Абу пиалу. В беседе он не участвовал, смехотворно важничал, морщил лобик и тут же бессовестно тянулся к сахару. Сахар выложил Нурмолды, хозяева позволили себе взять по куску, в то время как мужичонка схрумкал пять.

Он взял шестой, последний кусок сахару, хозяева и их ребятишки проводили его руку злобными взглядами.

Мужичонка наконец открыл рот.

— Правильно, отправляйтесь дальше, учитель, — многозначительно сказал он. — Приедет Жусуп — кто знает, как он на вас поглядит.

— Разве Жусуп вскоре должен быть здесь? — спросил Нурмолды.

Мужичонка не спеша разгрыз кусок сахару и поднес ко рту пиалу.

— Тебя спрашивают! — рявкнул Абу.

Мужичок по-детски шмыгнул носом, заморгал, как сдуло с его лица выражение важности. От дверей — когда, как ему казалось, он вернул своему лицу и движениям значительность — проговорил:

— Однако мне Жусуп доверяется. Он знает: доверить мне свою мысль — все равно что бросить камень в озеро. Никто не достанет.

— И что же он тебе доверил? — спросил Нурмолды. — Что скажи ишаку «кх» — он тронется, скажи «чеш» — он станет?

Мужичок выскочил из юрты. Из-за дверей прокричал:

— Ты у меня завертишься!

Абу встревожился:

— Этого Суслика собственные бараны не боятся, его баба лупит... а он тебя стращает.

Абу на своей верблюдице вызвался проводить Нурмолды до аулов Бегеевской волости.

Кинули между верблюжьих горбов кучу тряпья: то было седло. Взялись привязывать тюк с учебным имуществом, и тут в степи показался отряд, всадников в пятьдесят. Отряд приблизился, стало видно, что иные одвуконь, а там уж можно было разобрать лица. Нурмолды узнал Кежека, который в своем лисьем тымаке копной возвышался в первом порядке.

Сбежался аул, гомоня, сбился вокруг своих парней, поджидавших отряд и мигом готовых в путь. На всех парнях были зимние шапки, позади седел увязанные шубы, переметные войлочные сумы-коржины полны.

Мать Даира, оглядываясь на подходивший отряд, как на черную градовую тучу, жалась к сыну, а он стыдился, отталкивал ее руку.

Жусуповский зять опередил мальчишек, выскочил к отряду. Побежал у стремени Кежека, быстро говорил и указывал на Нурмолды и Абу, которые переглядывались: вот, дескать, откуда сегодняшняя храбрость Суслика...

Отряд недолго оставался в ауле — напоили коней, размялись, Кежек и три парня при нем зашли в юрту Суслика, куда сошлись несколько стариков, посидели там за угощением.

Нурмолды, и Абу возле него, оставались возле лежащей верблюдицы с тюком. Кежек, выйдя из юрты, при виде Нурмолды остановился, мрачно разглядывая его, а затем буркнул своим парням. Все трое вмиг были возле Нурмолды; один уже успел его схватить за плечо, как Абу сгреб их, так что брякнули они своими шашками и винтовками. Смятые, они повалились у его ног. Абу сказал:

— Учитель — мой гость.

Кежек, поворотясь всем телом — Нурмолды сейчас только увидел, что шеи у него нет, — оглядел скученный отряд. Подозвал Даира, спросил:

— Доволен прошлым набегом?

— Скот пригнал, — ответил тот, вытягиваясь и преданно, смело глядя в лицо Кежеку.

— Слышал? — сказал Кежек Абу. — Ты, поди, и айбolты[1] в руках не держал, не только что винтовку... А я тебе отдам этих новобранцев, полусотником будешь.

— Я сын борца Танатара, — ответил Абу. — Когда он умирал... ты его изуродовал в схватке... я поклялся разогнуть твою кривую спину.

Кежек помолчал. Отряд не дышал.

— Стар стал Кежек, — сказал он наконец. — Хе-хе-хе... не боятся его.

---

[1] Айболты — топор в форме секиры.

Мать Абу стояла с ведром возле кобылы. Кобыла перед дойкой была усмирена известным для такого случая способом: один запетленный конец веревки был надет ей на шею, второй удерживал на весу заднюю ногу.

Кежек отогнал жеребенка. Подлез под кобылу, легко выпрямился, поднял.

Когда Кежек опустил кобылу и вылез из-под нее, Абу подлез под кобылу и сделал то же самое без усилия.

Кежек одобрительно буркнул. По его знаку подвели коня, он сел в седло и сказал Абу:

— После набега погоним скот на север, ваш колодец не миновать. Потягаемся, будем верблюда поднимать. Если не надорвешься, поборемся... потешим ребят и сердара Жусупа.

Скрылся отряд в степи.

Нурмолды снял тюк и седло с верблюдицы, сказал: «Чок!» Верблюдица поднялась и ушла, похлопывая широкими мягкими подошвами.

Суслик глядел из дверей своей юрты.

На второй урок Нурмолды собрал женщин. Некоторые из них летом ходили в соседний аул к предшественнику Нурмолды, но дальше первых букв не продвинулись. Ни книг, ни тетрадей они в глаза не видели, писали прежде на дощечках обугленными зернами пшеницы. Розданные Нурмолды тетради, учебники и карандаши привели женщин в тихое оцепенение. Одни терли ладони о юбки; другие выскочили из юрты и побежали за кумганами, поливали друг другу на руки.

Сурай сидела тут же, ее не восхищал блеск карандашей, не пугала чистота тетрадного листа. Не слышала Нурмолды, глядела отстраненно, — ему казалось, рассматривала его. Мгновениями, встретившись с ней глазами, он не мог отвести взгляда. Две морщинки, скобкой охватывающие рот, делали ее лицо горестным и одновременно детским.

...Ночью она пришла к нему в юрту. Еще не тронула, не окликнула, он увидел лишь блеснувший шелком рукав и узнал ее.

— Жусуп возвращается, — сказала она, села на корточки у него в ногах. — Уедем к русским... К тебе в город. В аулы к табынам... Потом пригоним Абу его верблюдицу обратно.

— Я дождлаюсь Жусупа.

Она отошла к противоположной стенке, недолго повозилась, укладываясь. Донесся шелест ее серебряных украшений.

Нурмолды поднялся, подошел к ней. Под дыркой в покровной кошме белело, как насыпало горку снега. В чуть размытой снежно-белым светом темноте Нурмолды угадывал край платка, щеку. Нашел ее руку, с силой потянул, заставил подняться.

— Уходи, Сурай.

— Уйду с тобой! — Она вырвалась, отскочила в глубь юрты.

Створкн дверей разошлись (подслушивали, понял Нурмолды, окаченный холодом, отступая, — так слепил свет луны), протиснулась женщина, злобно вышептывая: «Бесстыжая, тебя что, блохи заели, не сидишь на месте!», за ней проскочил в юрту Суслик, следом лезли еще, незваные.

В гневе Нурмолды вытолкнул одного, другого, шире раздвинул створки дверей и велел убираться остальным.

Отдалились голоса. Нурмолды сказал:

— Теперь ты уходи.

Сурай быстро уходила в степь. Ее фигурка чуть виднелась на белой равнине, когда он бросился вслед.

Он догнал ее, поймал было за руку. Скользнул по горячей ладони холод браслета. Сурай оттолкнула его, исчезла за рядком джиды: будто прыгнула вниз.

Луна глубоко зарылась в облако. Наполнились темнотой, слились низкие сетчатые кроны.

Сурай выдало дыхание. Он обернулся, шагнул, выбросил руки. Он летел, сияли ее глаза, она летела навстречу.

В последний миг он свернул, — он не летел, лишь потянулся. Она рассмеялась: как неловок! Она по-детски, неожиданно обрывала смех так, что разорванный на взлете звук повисал в ушах.

Она поймала его руку, насыпала пригоршню ягод джиды. Ягоды были теплы: Сурай выгребала финики из кармана платья.

— Вкусно, — говорила она, — я такие ягоды ела в детстве, здесь же, на Устюрте, кочевали.

— Э, вот севернее, — говорил Нурмолды, набивая рот финиками, а затем обсасывая сладкий крахмал и выплевывая костяные пульки, — вот севернее, на Эмбе, попадаются рощи джиды.

Сурай потянула его за собой, они проскользнули в глубь серебряного шатра: то слились кроны джиды. Сколько ягод, ликовала Сурай, сколько ягод!.. Своим быстрым кулачком она ловила рот Нурмолды, лезли в нос торчащие у нее между пальцев листья. Он тряс головой: «Щекотно!», хватал зубами запястный браслет. Она отдергивала руку, вновь притискивала кулачок к его губам, заставляла открыть рот. Он ворочал сладкую кашу во рту и в ответ на ее: «Ага, сладко?» — благодарно мычал. Она ладонями легонько хлопала его по щекам, при каждом хлопке косточки вылетали у него изо рта.

Далекий, тягостный собачий вой достиг их ушей.

Нурмолды взглянул на притихшую Сурай, она легонько пошевелила головой и невесело улыбнулась: вот отчего ее лицо было обращено вверх — ей в волосы вцепились иглы джиды. Он стал перед Сурай на колени, легкими касаниями разбирал ее волосы. Волновал запах ее волос, ее кожи, смешанный с конфетным запахом давленой ягоды.

— Пора и обратно, — сказал Нурмолды и тотчас услышал под ногами дробный звук: она вытряхивала ягоды из кармана.

Догоняя ее, Нурмолды взглянул на небо, там простиралась волнистая равнина. Схватил Сурай за руку:

— Вернись!

Она изогнулась, цапнула зубами его руку. Тогда Нурмолды подхватил ее на руки, понес. Она билась, вывертывалась из рук.

— Ножками не хочешь... не хочешь! — хрипел он.

— Не хочу, — зло, мстительно отвечала она.

9

Из юрт летел крик. Нурмолды поставил Сурай на ноги. Не приблазнилось ли?.. Крик застрял в ушах, испуг холодом стянул спину.

Теперь Сурай смирно шла рядом.

Крик повторился, наполненный тем же смертельным ужасом, на излете разорвался рыданиями.

Возле крайней юрты стоял большеголовый человек с винтовкой за плечами и шашкой, в ногах у него, скрючившись, лежала женщина. Нурмолды склонился над ней, увидел, что лежит она на груди парня.

— Мой жеребенок! Единственный!.. — выкрикнула женщина. — Почему они не убили меня?

Человек пробасил:

— Чего воешь? Толкую тебе, живой он. Только что без памяти... Стал бы я мертвеца тащить!

Лисий тымак, знакомый голос: Кежек. Тут же мужик в тулупе, с винтовкой за плечами держал в поводу коней.

Кежек узнал Нурмолды:

— А, ты...

Он был туп от усталости.

Набежали люди, окружили. Женщины унесли раненого в юрту.

— Туркмены не были?.. — спросил Кежек. — А ГПУ? Дрыхнете, а мы хоть пропадай... Видать, погоня́ повернула на колодец Жиррык... — Он указал на одного подростка, на другого: — Возьмите коней... своих оседлайте, наши не годятся. Встаньте в караулы на увалах... Так старайтесь, чтобы вам было далеко видать... А сами прячьтесь в тени. Сегодня полная луна, как нарочно... А ты... ты поезжай к солончаку... в конце его овраг. Там Жусуп с джигитами... Скажите, ждем.

Вернулся Абу, он побывал возле раненого. Набег не удался, сказал он Нурмолды, адаев будто ждали. Преследуют их милиция и туркмены. Адаи уходят от погони кучками, место сбора — колодец Кель-Мухаммед. Такого колодца он не знает. Нурмолды тоже не знал, — видно, забытый колодец, не

пасут там, трава худая, оттого и название: бедствовал какой-нибудь горемыка и взмолился: «Приди, Мухаммед».

Неслышно появился в ауле отряд. Спешивались, снимали раненых с носилок (жерди от юрт укреплены между спаренными лошадьми).

Суслик держал в руках бинокль, пританцовывал возле долговязого человека в колпаке, тот пучком травы вытирал конию холку.

Коня увели, долговязый («Жусуп», — шепнул Абу) пошел к юрте шурина, где заухала мутовка в бурдюке: взбивали кумыс.

Сняли с седла человека в барашковой шапке, бережно поставили. Нурмолды узнал Рахима. Разминая руками на ходу затекшие ноги, он подошел к Нурмолды, знаком позвал с собой.

Навстречу им из школьной юрты вышел рослый человек, в руке у него был зажат кусок ткани, который он стряхнул с хлопающим звуком. Человек надвинулся, вглядываясь. От платка исходил запах мятых ягод джиды. Нурмолды узнал Даира.

Даир было схватил за плечо Нурмолды, но Рахим отогнал его движением руки.

Школьная юрта была пуста. Вошедшие следом люди зажгли светильник, расстелили скатерть. У одного из них был большой, хищно изогнутый нос, во втором Нурмолды узнал старикашку Копирбая.

Рахим отослал их и, не предваряя разговор ни объяснениями, ни расспросами, будто они простились с Нурмолды на закате, так же вот за чаем, сказал устало:

— Жусуп уводит адаевцев в Персию. Я помогу тебе уйти отсюда живым, скачи к своим, надо помешать Жусупу увести народ на чужбину.

— Вы хотите моему народу добра, поэтому ходили в набег с бандитами, озлобляли туркмен?

— А куда мне было деваться? Тебя бросили на Кос-Кудуке, меня увезли связанного — и возят с собой, как барана. Я терплю: лучше погибнуть от рук своих... от тюрков, чем от русских.

Нурмолды молчал.

— Я бы поехал к ГПУ сам, — продолжал Рахим, — но разве поверят мне, бежавшему из ссылки?

Вошел большеносый человек с чайником.

— А этого белуджа, — указал на него Рахим, — Жусуп выставляет проводником в обетованную Персию. Завтра на совете у Жусупа он заявит, что адаевцев в Персии оберут и прогонят обратно. Заявишь, белудж?

— Все умрем и будем зарыты, — ответил тот, наполняя пиалы.

Вскоре после ухода Рахима и белуджа в юрте появилась Сурай. Оглянувшись на дверь, счастливо прильнула к Нурмолды:

— Твоего татарина все боятся. Он друг Жусупа.

Сурай развязала платок, высыпала обломки черствых лепешек, курт, облепленные крошками сласти.

Школьную юрту обходили, будто в ней лежали заразные больные. К вечеру пришаркал дед Абу, девяностолетний старичок, принес небольшой бурдюк айрана.

— Жусуп собирает стариков и аульных старшин? — спросил Нурмолды.

— Туда и плетусь, — покивал старичок. — Съезжаются... Вестовых Жусуп рассылал всю ночь. Никто не знает, зачем позвал. Одни говорят: коней потребует опять и парней в поход... Другие: потребует походные кибитки и мясо. Говорят и такое: будем выбирать Жусупа ханом адаев.

Нурмолды пошел провожать старичка. Плотнее прикрыл дверь, примял ее неровные войлочные края, сознавая тщетность своего труда: разве эта войлочная дверь могла уберечь Сурай?

Они прошли мимо жусуповских молодцов, собравшихся вокруг котла с мясом (тут же на земле валялись винтовки), мимо теснившихся у коновязи коней и парней, сидевших тут же кучкой: они сопровождали представителей аулов.

— Скакун достигнет своей цели, если не мчится сломя голову, — говорил старичок, переступая своими ножками, обутыми в мягкие сапожки. — Где и шагом надо, сынок.

Нурмолды вошел следом за старичком в большую белую юрту. Старичок пробрался к почетным местам, поглядывал оттуда на Нурмолды, который остался у входа, втиснувшись между чернобородыми мужиками в хороших шубах. Поглядывал, будто заново присматриваясь к нему, а сам кивал-кивал, не успевая подладиться к собеседникам.

Жусуп отставил пиалу, сказал:

— Вижу, все собрались.

— Из аулов родового ответвления Али-монал еще не прибыли, — сказал Кежек. — Давайте начнем, они подъедут.

— Здесь Али-монал, — отозвался один из чернобородых соседей Нурмолды. — Наши старики знают, зачем ты позвал нас, Жусуп. Послали сказать: в Персию не пойдут — ни с тобой, ни с другим.

Грубый голос чернобородого ошеломил не менее, чем сообщение о Персии. В тишине было слышно, как скрипнул остов юрты, — то, опершись на стену, тяжело подымался Кежек. Жусуп глядел рассеянно, расплетая и сплетая пальцы.

— Адаевцы всегда мыслили согласно со своими вождями, — мягко молвил Жусуп.

Кежек остановился на полпути, набычась, глядел.

— Адаевцы пришли двести лет назад в эти места. Сегодня я уведу их дальше, — продолжал Жусуп. — Уведу, чтобы спасти. Адаям грозит вырождение. Молодежь не способна не только что защитить свой род, она за себя постоять не может. Придет ничтожное поколение, наши парни и девушки

пойдут в работники к русским! Всех сгонят в колхозы. Адаев не станет.

По знаку Жусупа поднялся похожий на старую птицу человек с большим кривым носом. Нурмолды узнал белуджа, прислуживавшего им с Рахимом в ночном чаепитии.

— Наш друг белудж, мусульманин, — сказал Жусуп. — Будет нашим проводником.

Белудж поклонился в его сторону и заговорил, не сводя с Жусупа глаз:

— Я родился в Индии, в стране белуджей, прошел Иранское нагорье, кочевал с туркменами в песках, был в Бухаре и Хиве...

Жусуп оборвал его:

— Говори дело!

— Повинуюсь, великий сердар. — Белудж заторопился. — Нигде нет такой воли для человека, как в Хорасане. В Астрабаде! Горные пастбища, водопады...

Нурмолды взглянул на Рахима, перевел взгляд на Кежека. Лица их выражали одобрение.

— Справедливые правители... — продолжал белудж.

Чернобородый перебил белуджа:

— Жусуп, отмени приказ, пусть вернут наших овец.

— Хан не приказывает дважды! — рявкнул Кежек, сделал шаг и стал, удержанный знаком Жусупа.

— Вы остаетесь... стало быть, ваших овец все одно забрали бы в колхоз, — сказал Жусуп.

— Щедрый!.. — трубил чернобородый. — Хочешь за наш счет привязать других к себе?..

Он не договорил: Кежек одним махом вытолкнул всех сбившихся у двери.

Нурмолды, очутившись таким образом за пределами юрты, поглядел вслед чернобородым — они, отряхиваясь, шли к коням. Снял шапку, вытер липкий лоб.

10

Сурай спала у его ног, по-детски подложив руку под щеку.

Через раскрытые двери школьной юрты Нурмолды видел белую юрту. Неподалеку от входа вокруг котла хлопотали женщины, с ними парень: принес топливо и остался, радовался теплу, молодым голосам, запахам мясного варева.

Вышел из белой юрты старик. Нагнулся, взял горсть перевеянного песка. Прощался с этими скудными пространствами, залитыми глиной, изъеденными солонцами.

Стемнело. Съехавшихся продолжали держать в белой юрте.

Вновь разводили огонь под котлом. Бегали, звякали ведрами, тазами. Привезли барана от отары, он лежал за юртой связанный. Нурмолды слышал: поручили барана зарезать Абу.

Возле коновязи похаживал мужик в тулупе.

Абу шепотом подозвал Нурмолды, утянул его за юрту:

— Свалишь коновода, Нурмолды!

— Нельзя! Жусуп отыграется на ауле.

— Свалишь коновода, я угоню коней. Ни одного нашего коня ему не дадим.

— Нет, Абу... Рахим-ага обещает помочь мне бежать.

Абу поспешно отошел: появились два мужика. С винтовками наперевес погнали Нурмолды в степь. Шел позади Рахим, говорил:

— Эх, сынок, оставался бы ты в городе. До чего дожили: адаевец адаевца убить должен!

Открылась впереди черная пасть оврага. Рахим отослал немых мужиков, поглядел, как они уходят.

Краем оврага проезжал верховой, тянул за собой второго коня.

Рахим окликнул его. Верховой приблизился, Нурмолды узнал белуджа.

Рахим обратился к Нурмолды:

— ГПУ на колодцах Жиррык, Кудук, Ахмедсултан. Если они останутся там еще четыре дня, Жусуп успеет увести народ на юг. Если кто и прорвется под пулями туркмен или ГПУ, все одно в Персии жизни рад не будет. — Рахим указал на белуджа: — Этого прихвати с собой.

Белудж, как очнувшись, поднял свое носатое черное лицо, запричитал:

— Не гоните меня, не гоните! Я скажу, я скажу аксакалам, что Жусуп приказал мне хвалить Персию!

— Ты струсишь, раб, как струсил вчера! — гневно сказал Рахим.

— Я знаю, Жусуп застрелит меня, но я устал бояться! Я скажу! — выкрикивал белудж.

— Убирайся! Вот конь, вот степь!

— Жусуп пошлет за мной в погоню! Я скажу правду вашим аксакалам! Я старик, я хочу умереть человеком, а не приблудным псом!

— Убирайся!

— Нет! Нет! Нет! — плачущим голосом твердил белудж.

Рахим хлестнул камчой коня и уехал.

Белудж потянулся было за Нурмолды, однако скоро отстал. Когда Нурмолды окликнул его, белудж развернулся и погнал следом за Рахимом. Помедлив, Нурмолды повернул назад и поехал шагом, рассчитывая, что белудж догонит Рахима на подъезде к аулу и тот увещеваниями вернет черного носатого человека или же белудж одумается и сам вернется.

Из низины, сбегающей к оврагу, выехал Рахим. Его конь ступал неуверенно, низина была в твердых комьях; подобные места называют мозгом.

— Белудж мертв, — сказал Рахим, — у Жусупа острые когти.

Они разъехались, простившись без слов, лишь печально поглядели друг другу в глаза.

Не отдавая себе отчета, Нурмолды внезапно направил коня в низину, усыпанную комьями.

Конь белуджа ходил возле трупа хозяина, обкусывал верхушки трав, встряхивал головой.

Нурмолды слез с седла, склонился. Неподвижно глядел выкаченный глаз белуджа, сухой усик травы поддел губу, отчего на мертвое лицо легла скорбная усмешка.

На колодце Жиррык Нурмолды не застал ни души, нашел только окурки самокруток, высосанных до крайности, с ноготь величиной: видно, докуривали, надев на острие булавок. Еще часов пять скачки до колодца Ахмедсултан, и Нурмолды сполз, полумертвый, с седла на руки двух бойцов в гимнастерках и ушанках. В одном из них он узнал Исабая, своего деповского дружка, месяца два как посланного работать в ГПУ.

Нурмолды уложили в походной кибитке, устроенной из верхних частей юрты; наплывала степь, мягкая, как одеяло. Шовкатов поправлял у него в изголовье шинель, а он через силу твердил: «Как соберетесь, я встану». Поднявшись в темноте, он увидел лагерь спящим, а у костерка — Шовкатова и узнал, что проспал день.

— Кто этот Рахим, твой доброхот?.. — спросил Шовкатов.

— Татарин, учился в университете... пятьдесят лет ему, рябой. Файзуллаев фамилия.

— Файзуллаев? Вот он где прячется! У меня на него папка заведена...

— Больной человек, загнанный, — сказал Нурмолды. — Я его сюда, на Устюрт, привез: пусть отдохнет.

— Отдохнет?.. А чего он тебя сюда послал? Рассчитывает, что с бандитами пойдут сотни кибиток. Мы их заворачивать, начнется драка. Видал, как нефть горит на промыслах? Рахиму Файзуллаеву мерещится пожар в степи. А из пламени войны встает Туранское государство...

— Говорил он о таком государстве, — без интереса отозвался Нурмолды, — он всегда много говорит. Слова бывают злые, а сердце доброе.

— Мысли, мысли нам вредные! Он ведь ярый пантюркист... Спит и видит, что тюркские народы выходят из нашего Союза и переходят под начало Турции. В двадцатом году Файзуллаев был теоретиком среднеазиатского халифата, а сейчас... Тут мы поймали их человека, я поглядел проект организации тюркской националистической партии — ого, у нас учатся: Всеобщий центр, во главе председатель, парторганы в уездах... центр у них сейчас за рубежом, английская валюта...

— Завтра... сегодня, уже сегодня Жусуп уходит, — перебил Нурмолды Шовкатова. — Надо перехватить Жусупа на Кос-Кудуке.

— У меня одиннадцать человек, пятеро новенькие, стрелять не умеют толком... Вроде Исабая. Куда я с ними сунусь?

— Выходит, отпустите Жусупа? — Нурмолды поднял седло, пошел к саврасому.

Шовкатов попытался отнять у него седло, убеждая:

— Оставайся с нами. Я послал вестового, будем объединяться с другими отрядами, у них пулеметы. Не дадим Жусупу увести народ.

— Поеду, девушку отниму, — увезет ее с собой Жусуп, и не найдешь!

— Ну куда ты один, убьют!..

Выбрался из юрты Исабай. Подошел часовой, Нурмолды узнал веснушчатого дядю Афанасия.

— Вижу, тебя не удержишь, возвращайся в аул, — сказал Шовкатов и достал наган. — А карту оставь здесь, какая от нее польза сейчас.

Нурмолды, будто не видел протянутого нагана, поправил за плечом трубку карты.

Отдалялся огонек костра. Нурмолды придержал саврасого. Догонявший его всадник волочил за собой рваную тень.

— Шовкатов послал с тобой, — сказал весело Исабай.

11

Нурмолды, потянувшись с седла, ухватил Исабая за плечо, сжал, зашептал:

— Не вернусь — в аул не суйся. Начнет светать — спрячешься в меловых холмах.

Псы, подкатившие было под ноги саврасому («Кет! Кет!» — шипел на них Нурмолды), умолкли, едва он спрыгнул с седла, и равнодушно побрели прочь.

От коновязи, где позвякивали удилами оседланные кони, шли трое с винтовками. Чтобы разминуться с ними, Нурмолды повернул к белой юрте. Саврасого он вел за собой.

Голоса в белой юрте сливались в глухой рокот, там пировали: в ночном холоде ноздри Нурмолды уловили струйку, в которой смешались запахи вареного мяса и дыхания тесно сидящих людей.

Он прошел мимо черной груды — в ней угадывались связки жердей и скатанные кошмы, — мимо лежащих верблюдов. В стороне чернели составные части другой юрты, также сваленные как попало.

Не выпуская повода, Нурмолды обошел юрту Суслика, высматривая, не подвернута ли где кошма, нет ли какой дырки. Затем стянул повод, саврасый вскинул голову. Новый поворот скрученного сыромятного ремня, саврасый не выдержал боли, заржал.

Выждав, Нурмолды вновь стянул было в кулаке сыромятные ремни. Появилась из юрты Сурай, поймала повод, зашептала:

— Заждалась твоего голоса, заждалась!

Шаркали подошвы: шли от белой юрты те же трое.

Нурмолды повернулся к ним спиной, прикрывая девушку, — дескать, негде укрыться парочке в забитом чужаками ауле.

Один из проходивших что-то начальственно буркнул, явно обращаясь к Нурмолды. Тот ответил невнятным восклицанием.

Сурай взяла саврасого под уздцы, Нурмолды шел рядом.

В крайней юрте устало, хрипло подвывали. Умер парень, привезенный Кежеком из набега, понял Нурмолды. Дверь была откинута, за порогом в лунном свете неподвижно сидела простоволосая старуха.

Шарахнулся саврасый, Сурай прижалась к плечу Нурмолды: перед ними возник лохматый человек (шапка драная, понял Нурмолды), чекпень нараспашку, голая грудь.

— Даир!

— Тебе в-все! — выкрикнул он в лицо Нурмолды, вцепился в Сурай. — А ч-что мне?

Нурмолды отдирал его от девушки, а тот тянул свое:

— А м-мне?

Наконец Нурмолды отшвырнул его, бросил Сурай в седло.

Даир висел на узде, волочился. Вываливались из юрт люди, бежали к ним.

Нурмолды вскочил на коня. Рванулся саврасый, понес их. Кричал вслед отброшенный Даир.

Позади нарастал конский топот. Оглядываясь, Нурмолды видел лица бандитов. Погоня охватывала с боков, смыкалась.

Вылетел навстречу всадник, выстрелил, закричал:

— Давай гони!

Исабай, зачем он здесь?..

Распалось кольцо, забухали выстрелы. Исабай скакал рядом, тянул саврасого за узду.

Дернулся саврасый, Нурмолды не удержался бы, не вцепись он в плечи Сурай. Жалобно, по-детски вскрикнул Исабай, отвалился и рухнул.

Нурмолды спрыгнул с коня, подбежал. Поднял товарища на руки. Чуть слышный стон из открытого рта. Выгнулся и оцепенел Исабай в его руках.

Потемнело: окружали всадники. Сдвинулись, нависли, хрипло дышали.

Сорвали карту с плеча, в облегчение хохотали:

— Думали, ружье!

Связанного, его бросили под белой юртой. Потоптались у входа. Нурмолды слышал, как спрашивали: «Сердар здесь?» — «Ушел к старикам», как прохрипел Кежек: «Что вы тут сбежались, всем искать табун!»

Его остались сторожить двое, — перевернувшись на спину, Нурмолды видел их тени на стене юрты.

В юрту вошли. Звякнул отброшенный ногой поднос, покатились чашки.

Голос Кежека:

— Даже старики лгут, клянутся седыми бородами, что свой табун не прятали. Проклятые времена!

— Проклятый народ! — выругался второй, Нурмолды узнал голос Жусупа. — Они готовы отдать коней шайтану, русским, туркменам, но от своих спрячут. Мне самому ничего не нужно. Я считаю, что аллах обо мне позаботился, если я сегодня хоть раз поел. Но я думаю о народе...

— Аллах испытывает тебя, Жусуп.

— Если он указал мне стать ханом адаев, что же они разбегаются?.. Вон для татарина мое дело — как свое! Ему больше веры, чем вам всем. Уж он-то не норовит подсесть к чужому котлу.

— Знаю, дует тебе учителишка в уши!.. — отозвался Кежек угрюмо. — Курултай-мурултай, один язык для всех тюрков. Я тебе по-своему скажу. Хоть ты и не торе[1], Жусуп, но станешь ханом.

Толпой подъехали к юрте всадники, спешились. Полезли в юрту. Разноголосицу прошиб хриплый голос Кежека:

— Тащите, батыр сказал! Зовите народ!

Подскочили к Нурмолды, как тюк втащили в юрту, развязали, заставили встать.

Юрту освещали заправленные салом светильники. В ней было тесно. За спинами стариков полулежал Рахим. Оттуда, из-за спин, он ответил Нурмолды долгим ободряющим взглядом.

Жусуп повесил на деревянную подпорку-вешалку лисью шубу, колпак и громадный бинокль, остался в вельветовом пиджаке. Поблескивал его богато инкрустированный пояс.

Кежек толкнул Нурмолды:

— Давай, говори батыру, куда вы угнали табун.

Нурмолды понимал, что обречен: Жусуп сваливает на него вину за пропажу коней, чтобы не оттолкнуть аул разоблачением. Четко выговорил: «Нет», — в стремлении не выдать свой страх перед этими ожесточившимися, загнанными людьми.

Молчали старики, показалась и исчезла из-за их спин голова Рахима в бараньей шапке. Молчал Жусуп.

Мгновениями Нурмолды казалось, что он не выдержит, закричит; ему было страшно. Удерживало, давало решимость смотреть в лицо Жусупу сознание, что здесь, на холодной равнине, он представляет силу, называемую Советская власть. Сила эта включала в себя Петровича, Демьянцева, депо с его полом, мощенным торцовой деревянной плашкой, пролетающий мимо воинский эшелон, склад спецкурсов с его запахами новых книг и карандашей, Москву, куда он еще поедет, и Кзыл-Орду, где он на привокзальной площади пил лимонад и, любуясь своей бойкой русской речью, говорил с русской девушкой в легком белом платье.

[1] Торе — господин, белая кость; в казахских жузах так именовались чингизиды.

— Ассолоум магалейкум, батыр, — проговорил наконец Жусуп. — Ты сделал это, разумеется, не подумавши.

Нурмолды выговорил:

— Убирайся пешком, Жусуп, и скорее! Ты ведешь за собой погоню.

— Тогда — ассолоум магалейкум, батыр-ага, — сказал Жусуп и так же устало закончил: — Доедим мясо, джигиты... к утру здесь будут туркмены. Завтра здесь не смогут покормить гостей даже похлебкой из горсти муки. Ему-то наплевать: с тех пор как он болтался среди туркмен, они ему дороже казахов.

Нурмолды ответил:

— А чем могут туркмены угостить после твоих набегов, Жусуп?.. Когда наша семья добралась до Красноводска, от голода началась водянка... нас приютила нищая семья, туркмены. Они ходили по соседям, выпрашивали зерно, кислое молоко — и подняли нас.

Кежек в бешенстве сорвал шапку с головы, запустил в Нурмолды:

— Паршивый бродяга! Как туркмены могут быть нам братьями! Они убили моего отца!.. Стреляли в меня! Гляди, в шапке дыра!

— Туркменский пес! — взвизгнул Суслик. Он сидел за плечом Жусупа, воображал себя везиром.

Кежек стал на колени с намерением ухватить Нурмолды и подтянуть к себе, но руку его перехватил Абу, прижал к кошме, сказал:

— Жусуп, учитель наш гость... так же, как ты.

Кежек выдернул руку, сел на место — не дело было затевать возню при стариках.

— Я не гость!.. Я ваш нукер, да буду я за вас жертвой, адаи. Не пожалею ни себя, ни коней, ни джигитов. Я буду жить в седле, но вырежу всех предателей... — продолжал Жусуп спокойно. — Почему туркмены встретили нас пулями? Как узнали о нашем походе?.. Мы два дня и две ночи кружили по степи, они за нами по следам, как стая псов. Их ведет предатель, вот почему они в нашей степи как у себя дома!..

Вот оно, подумал Нурмолды, вот к чему он вел! Его поход, откуда он должен был вернуться с косяками коней, с отарами, его поход, должный устрашить номудов, теке, гокленов, хивинцев, русских и прочие племена и народы, устрашить так, чтобы в песнях его имя называли следом за именами Аблая, Кенесары, Джунаид-хана, что нынче ушел с остатками войск в Персию, — его поход, начало новой истории адаевских племен, не мог окончиться в нищем ауле. Ему нужна была вера джигитов, послушание аулов, ему нужен был успех. За кордоном копились войска туркменских сердаров, отряды эмирских военачальников. Жены воинов варили в котлах пояса своих мужей — чужбина не кормит. Недород в России, новая интервенция, война ли с Западом — нарушится равновесие, покатят-

ся орды из-за хребтов Копет-Дага, из-за Атрека, из Синьцзяна, — и тут нельзя пропустить своего дня: волк не берет взаймы зубов.

Своим тихим голосом заговорил девяностолетний старичок, дед богатыря Абу:

— У всякого свое оружие, Жусуп. Между неграмотными и грамотными расстояние, которое на сказочном Тайбурыле самому батыру Алпамысу не осилить! Но его осилит пеший, если его поведет за руку учитель.

— Успокойся, Жусуп, — сказал второй старик. — Как мог учитель угнать ваших коней? Не бросай шубу в огонь, когда сердишься на вшей. Сейчас зарежут одного барана, поговорим о приятном.

— Спасибо, аксакалы, заступаетесь за меня, — сказал Нурмолды. — Только не закончен наш разговор... Жусуп, не вернутся в степи времена, когда адаи гнали отсюда калмыков, а русские генералы натравливали адаев на туркмен и на хивинцев. Теперь республика, у каждого своя земля, не нужен нукер в наших степях.

— Не может быть мира в степи! — обозленно сказал Жусуп. — Летовки сокращаются, земли захватывают пахари, застраивают. Бескормица чаще. Аулы и народы ссорятся из-за пастбищ, так было всегда...

— А больше не будет! — перебил его Нурмолды. — Я доказал бы это, будь здесь моя карта.

Жусуп вздохнул, как бы извиняясь перед обществом за то, что поддерживает разговор с этим брехуном и тем самым оскорбляет общество. Живо вернулся жусуповец с картой, ее матерчатый футляр он нес в руке.

Нурмолды развернул карту.

— Взгляните, здесь страна, называется Украина. Не больше земли, чем у казахов, но в сто раз больше людей умещается на ней. Украинцы живут оседло, косят сено, сеют хлеб. Триста миллионов рублей отпущено, чтобы помочь казахам осесть. Столько же, сколько стоило построить Турксиб, железную дорогу из Сибири в Семиречье.

Суслик выкрикнул:

— Построят казахам дома — станет больше земли?

— Земли больше не станет... — начал было Нурмолды и замолк. На него глядели с сочувствием, как на человека, сообразившего наконец, что дальнейшие слова его будут обращены против него же, и досказал: — Но убивать за нее не будут.

Женский плач в дальней юрте будто раздувало ветром — плач наливался звериной силой, давил на уши, и обрывался воплем, угасал, угасал, переходя в щенячий скулеж.

Жусуп поднялся, тотчас же вскочили прочие, торопясь выйти. Нурмолды потащили сквозь толкучку.

Кежек бросил карту в огонь, ногой подгреб под котел. Нурмолды вырвался, схватил огненный ком.

Рахим протиснулся, закрыл собой Нурмолды:

— Жусуп, пощади, он запутался...

— На колодце Кос-Кудук ты не дал застрелить его, а мы теперь расхлебывай! — Кежек оттолкнул Рахима.

С седла ударом камчи Жусуп сбил Нурмолды с ног. Отъезжая, сказал:

— Кежек, не скажет, где кони, — убей!

Нурмолды швырнули. Он полетел головой вперед, перебирая в пустоте ногами. Жестоко, лицом хряснулся в осыпь гальки.

Его выброшенные вперед руки готовы были раскрыться, смягчая удар, но в кулаках он сжимал клочья карты. Топот — набегала толпа, окружала. Голос Сурай: «Я здесь, я здесь!»

12

Будто не люди швыряли его, будто земля подбрасывала, изгибаясь волнами. Удар всем телом, его волокло спиной, лицом. Вновь срывало его с земли, он летел, раскинув руки. Холод встречного воздуха на разбитом лице. Топот набегающей толпы, ее дыхание. Он оглох, ослеп, глазницы были набиты смесью крови и песка.

Толпа расступилась под окриком, он лицом почувствовал свет луны.

— Кежек! Кузден!.. — голос Жусупа. — Живо, винтовки в руки. Туркмены в степи! — И к толпе: — Табун!.. Где ваш табун, проклятые? Нас выдали, а табун — им?.. (Возле лица Нурмолды хрустнула под копытом глиняная корка.) Всё возитесь?

Нурмолды попытался сесть. Сквозь слипшиеся веки блеснул синим револьвер в руке Жусупа.

Конь рванулся, разворачиваясь и с хрустом разрывая глиняную корку.

— Уходи в степь, Жусуп! — тонко крикнул старческий голос. — Наши кони в меловых холмах!

Рассыпалась толпа, Нурмолды подняли, он узнал Абу.

— Зачем?.. Зачем сказали про меловые холмы? — спросил Абу у деда.

Старик ответил:

— Жусуп не посчитался бы с нами, стрелял бы из юрт.

Сурай вытирала лицо Нурмолды, как ребенку.

Примчался подросток с криком:

— Туркмены!

В степи громыхнул выстрел. Заголосили аульные псы. Заметались женщины, вытаскивали из юрт детей.

На меловом от луны склоне холма чернела группа всадников.

Аул не дышал, даже собаки замолкли. Лишь верещал в крайней юрте ребенок.

Нурмолды пошел навстречу всадникам. Аул со страхом глядел ему вслед.

На середине пути его догнала Сурай, побежала рядом.

Поигрывали глаза, белели зубы в тени лохматых тельпеков. Девушка кинулась вперед, обогнала Нурмолды, закричала: «Отец!» — указывала на Нурмолды, плакала.

Тощий туркмен в халате прижал руку к груди:

— Ты мне дочь вернул. Салам, меня зовут Чары. Я тоже Советская власть, только бумаги с печатью нету.

— Я ликбез, яшули.

— Жусуп здесь? — спросил, выезжая вперед, человек в форменной гимнастерке.

Нурмолды ответил по-русски, что надо опередить бандитов, их кони укрыты в холмах. Милиционер подал руку:

— Кочетков! — и велел подать Нурмолды коня.

Подъехал Шовкатов. Спросил об Исабае. Нурмолды не ответил, и Шовкатов больше не спрашивал: понял, что нет уж Исабая.

В грохоте копыт проносились всадники по каменной глине такыров, взлетали по изгибам увалов к белому шару луны.

Вывихнутая нога бессильно болталась, не удерживая круп коня, Нурмолды мотало в седле. Боль ударяла в бок острым камнем, при толчках перехватывало дыхание.

Впереди на белую полосу гипса выкатился черный ком: они!..

— Опоздали!.. — Нурмолды не сумел докричать (успели, все успели сесть на коней, проклятые, и запасные у них!).

Гортанно взвыла погоня. Конь рванулся под Нурмолды, боль бросила его лицом в гриву.

Догнали бандитов, налетели, сшиблись. Завертелся страшный вихрь, хрипели, визжали, бились внутри его: «Раскрошу!», «Гнилой кизяк!..» Конь Нурмолды растерянно закружил, втянутый воронкой вихря. Вдруг разорвало вихрь, разметало, крики: «Ушли!» Нурмолды остался в пустоте. В бессилье дергал повод. Наскочил Кочетков:

— Ранен?.. Чары, проводи товарища в аул. Заодно пленного отвезешь!

— Начальник, кто за меня с Жусупом посчитается?

— А кто за твоей дочерью заедет?.. Мы этих похватаем — и к месту их сбора, на колодец Кель-Мухаммед!..

Кочетков ускакал следом за погоней, удалявшейся с криками и выстрелами. Нурмолды свесился, разглядел: на земле сидел Рахим. Руки скручены за спиной, шапка на глаза.

Нурмолды сполз с коня, стал развязывать руки Рахиму. Чары оттолкнул его.

— Ты что, сдурел, парень? Он стрелял в меня!

— Он не умеет стрелять, яшули. Он учитель.

— У меня глаза-то на месте! — Чары сдернул с Рахима шапку, потряс перед его лицом: — Скажи ликбезу, что ты стрелял!

— Я стрелял, яшули... Но я не мог тебя убить.
Чары хлестнул Рахима шапкой:
— Ты что, изюмом стрелял?
— Не заступайся за меня, Нурмолды. Он не поверит, что я стрелял вбок, в сторону, что я молился в этой свалке: убереги казахов от пуль туркмен, а туркмен — от пуль казахов. Не поверит, что ты оберегал его дочь, как свою сестру, а я тебе был отцом в земляной норе у чарджуйского бека... такой тесной, что, когда наш третий товарищ умер и его труп стал разбухать, нас притиснуло к стенам... а его блохи и вши бросились на нас. Кежек бил меня на колодце Кос-Кудук. Приди я в Бухару, там станут бить узбеки... Убей меня, яшули, но знай, что ты убил брата!
— Какой ты мне брат?
— Выслушай, темный человек. Слово «туркмен» одними истолковывается как «я тюрк», другими — как происходящее от «тюркман», что означает «племя тюрков», или как происходящее от персидского «тюркманад» — тюркоподобный. Все тюрки — братья. Чары, мы не можем быть разделены на сартов, казахов, якутов, киргизов, дунган, таранчинцев, туркмен...
Чары перебил:
— Но русский Кочетков мне тоже брат.
— Он не понимает твоего языка, Чары.
— Он советский, а советские русские объединили наш разорванный народ: прежде мы жили под Россией[1], жили в эмирате, жили в Хивинском ханстве.
— Э, разве это событие, яшули, если нас ждет великий день объединения: мы изживем наши аульные языки, создадим единый чистый тюркский язык.
Чары издал сдержанный звук, выразивший всю меру его удивления:
— Это как же?.. Разве я успею выучить новый язык? Я стар.
— Твои внуки выучат.
— По-каковски же я стану с ними толковать?
Нурмолды с осторожностью вмешался:
— Яшули, учитель говорит на языке ученых...
Чары вновь издал губами звук, выразивший всю меру его растерянности.
— Извините, молла, — забормотал Чары, — мы всю жизнь в пустыне, люди грубые. — Он достал нож, перерезал ремень, стягивающий руки Рахима. — Хе-хе, разве в такой свалке разберешь, кто палит в воздух, а кто в тебя.
— Дай ему коня, яшули, — попросил Нурмолды.
Рахим взял руку Нурмолды обеими руками, склонил голову. Помолчали.
С Чары Рахим простился, прижав руку к груди.
— Что же ты мне сразу не сказал, что у него мозги на-

[1] Закаспийская область считалась частью царской России.

бекрень? — прошептал Чары, оглянувшись: они отъезжали.

— Он в здравом уме...

— Опять ты обидно шутишь надо мной!.. Перемешать народы, как альчики в кармане! Несчастный безумец... в тюрьме у бека всякий бы спятил.

Чары завернул коня, догнал Рахима. Обшарил, нашел нож и сунул себе за пояс.

Опять же шепотом, хотя отъехали они далеко, пояснил:

— Моего отца на базаре в Куня-Ургенче укусил такой же вот несчастный...

Рассветало. На подъезде к аулу они догнали одного из подростков, в начале ночи посланных Кежеком в дозор.

— Ты до сих пор торчал на увале? — спросил Нурмолды.

— Я видел туркмен, учитель, но оставался на месте, как велел... — Подросток не решился назвать Кежека при Чары: он со страхом глядел на носатое, мрачное, укрытое под тельпеком лицо туркмена.

Нурмолды спросил о Кежеке и Жусупе — среди настигнутых погоней их не было. Парнишка начал было говорить, что не знает ничего о них, смешался, не решаясь дальше лгать учителю, которому вчера глядел в рот.

Нурмолды вмиг вспомнил об овраге за солончаком, где Жусуп дожидался Кежека. Он шепнул Чары:

— Яшули, поезжай к нашим, скажи: Жусуп прячется в оврагах.

На въезде в аул парнишка запричитал:

— Я боюсь, они убьют вас!

Жусуп и Кежек стояли возле юрты Суслика с пиалами айрана в руках.

Эх, парнишка... знал, что здесь Жусуп и Кежек, знал, да не остановил Нурмолды, когда тот отсылал Чары. Да что винить парнишку, для него Чары чужой, а Жусуп свой, хоть и страшен.

Нурмолды сполз с лошади, его шатало, боль в боку не давала дышать.

Полосы теней легли сбоку, Нурмолды оглянулся: позади его стояли Абу, его девяностолетний дед, Сурай, подросток. Подходила мать Абу.

Кежек отдал пиалу Жусупу, пошел на Нурмолды, на ходу доставая маузер. Абу перехватил его руку, крутанул и бросил Кежека оземь.

Нурмолды поднял маузер Кежека, направил на Жусупа.

В хрипе, ругани катались по земле Абу и Кежек, вскрикивала мать Абу. Как ни тягостны были для Нурмолды эти минуты, он не сводил глаз с Жусупа. Стих шум, за спиной Нурмолды своим тихоньким голосом старичок сказал:

— Абу, ныне ты не уступаешь в силе своему отцу.

Жусуп попятился.

— Стой, выстрелю! — прохрипел Нурмолды. — Стой!

Голос ли выдал его, выдала ли нелепо вытянутая дрожа-

щая рука — он через силу держал иа весу тяжелый маузер, — но понял Жусуп, что не выстрелит он, что впервые держит оружие. Повернулся, уходя, и вдруг повалился. Все увидели стоявшего на четвереньках Суслика. Вмиг он стянул руки Жусупа арканом, действуя с такой легкостью, будто связывал не своего страшного зятя, а овцу перед стрижкой.

Он встал на ноги. Жеиа бросилась на иего с криком:

— Спятил!..

Он остановил ее тычком в грудь, властно сказал:

— Думала, всю жизнь будете со своим братцем об меия ноги вытирать?

Сроду ничего такого она не слыхала и потому стала истукаиом.

13

В школьной юрте Сурай угощала гостей чаем.

— Ты привезешь иовые киигн, Нурмолды, — сказал дед богатыря Абу, — их уж не сожгут.

Гостн замолчали, глядя, как Нурмолды разглаживает иа колене зеленый, с треугольником елочки опаленный кусок карты.

— Ты сделаешь такую же карту, — сказал Абу.

— Такой другой карты нет, их делали до революции...

— У тебя есть цветные карандаши.

— Я не помию всех частей карты.

— Я запомнил то место, где водятся лошади без хвостов, с носами до земли н пятнистые ослы с длииными шеями и рожками, — сказал старичок н плотнее укутался в свою иеобъятную шубу.

— А я запомннл горы, их узор уподобился узору моего войлочиого ковра, — сказал другой старик.

Чары спросил, что означает слово «карта», что мешает сделать ее, и уверил Нурмолды:

— Не медли, изображай с моих слов. Я обошел половииу Вселенной, я бывал в Ходжейли и Красноводске, а сын моего брата живет в Ашхабаде.

Нурмолды достал остаткн богатства — две коробки цветных карандашей, две овальные картонки с пуговицами акварелн на нних и рулон обоев, выдаииый Демьянцевым вместе с тетрадями.

Разрезал рулон н разложил куски на кошме, развел краску, отточил карандаши.

— Начииай, — сказал Чары, — изображай колодец Клыч, моих овец, кнбитку, меия. Моего коня Кызыла, моих сыновей, жену и иашу доченьку Сурай.

— Я думаю, уважаемый Чары, в середиие следует поместить колодец Ушкудук, где мы иаходнмся сейчас, — возразил один из аксакалов.

— Несомиенно, — согласились казахи.

— Но колодец Клыч иаходится как раз в середине пустыни и, следовательио, Вселеиной, — сказал Чары.

Каждый, подобно древнему географу, серединой мира считал место своего рождения.

Нурмолды примирил их:

— Я нарисую колодцы так, что тот и другой окажутся в середине.

Он изобразил колодцы, овец — мохнатые страшилища, изобразил юрты и возле них лошадей.

Туркмены еще не остыли, переживали погоню, ночные метания по степи, борьбу, выстрелы и потому упомянули о неоспоримых достоинствах иомудской лошади, что задело адаевцев, и они, естественно, заговорили о качествах адаевской породы. Спорщиков примирил старичок, дед Абу — он сказал о выносливости и неприхотливости адаевской лошади, о резвости иомудской.

Нарисовали дорогу, соединявшую Хиву с Красноводском, и дорогу, соединявшую Хиву с Форт-Александровским. Кружками отметили Мары, Ашхабад, Мешхед, Аральское море и Каспийское — последнее сделали размером меньше первого: площадь листа заполнялась на глазах. Нарисовали Баку и нефтяные вышки. Нурмолды плавал однажды в Баку, город его поразил, потому Баку удостоился рисунка и рассказа.

Чары обмакнул кисточку в краску — остальные внимали рассказу Нурмолды о Баку — и, вдавливая ее в бумагу, продолжил ряд мохнатых чудовищ и притом шептал счет (Чары имел двадцать три барана). Правдивая картина жизни колодца Клыч была завершена. Двадцать третий баран занял нижний угол карты.

Его пристыдили, и работа продолжалась. Европе была отпущена площадь с ладошку, и ту заполнила картина города, где по улицам плавали на лодках. О таком городе Нурмолды слышал на уроках Демьянцева. Америка также не получила достойного места — бумага кончалась, начиналась кошма. Нурмолды рассказал о городе в Америке высотой в сто юрт, поставленных одна на другую.

Карта была завершена. Она напоминала собой плохо выкрашенный забор. Из нее, как два глаза, глядели зеленые клочья — остатки ученической карты. Между клочьями белел листок с острыми музыкальными значками. То Нурмолды прикрепил распрямленный кулек из-под риса, подаренный черным мужиком, жителем селеньица Кувандык.

Нурмолды пересчитал части света. Одной недоставало. Возле пятна, намалеванного Чары в правом углу, Нурмолды написал: «Австралия».

Вошел милиционер, позвал Нурмолды с собой. Навстречу им из белой юрты вывалился Даир. Топтался встрепанный, с растерянным лицом. Стоявший у двери боец с винтовкой оттолкнул его.

— С-совсем? — тянул Даир. — С-совсем отпустили?

— Уходи, не мешайся! — начальственно прикрикнул на Даира вертевшийся тут же Суслик.

Даир увидел Нурмолды, отбежал. Остановился в отдалении, глядел.

Белая юрта была набита связанными бандитами.

У порога, где было небольшое свободное пространство, стоял Шовкатов с тетрадью. Он сказал Нурмолды:

— Ночью в суматохе отпустили какого-то Копирбая... он предъявил бумагу за твоей подписью. Сейчас выясняется, старикашка был вредный... Ладно, с этим разберемся без свидетелей. Тут другое: говорят, ты белуджа убил?

— Нурмолды знал, что делал! — с восторгом высказался Суслик, просунув голову в дверь юрты. — Куда без белуджа Жусуп, в какую Персию! А он ханскую шапку себе сшил! Все говорил: падать, так падать с верблюжьего горба.

— Кежек, видно, белуджа убил, — неуверенно сказал Нурмолды.

Кежек пробурчал:

— Я борец, с такими замухрыгами не связываюсь... только руку портить.

— А Мавжида, терьякеша, кто убил? — сказал Нурмолды. — Небось не боялся испортить руку.

Нурмолды повернулся, уходя. Кежек вновь пробурчал:

— Твоего терьякеша застрелил мулла Рахим.

— У него не было револьвера! — Нурмолды взглянул на Кежека и понял, что он не лжет.

— Э, у меня был, за поясом.

— Рахим не умел стрелять!

— Да, тогда еще плохо стрелял.

— Зачем он его убил?

— Терьякеш был бесполезный человек.

— Говори громче!

— Бесполезный человек, говорю!.. Но мулле пригодился: мы словам не верим. — Кежек повернулся лицом к обрешетке, вытянув вдоль тела связанные руки.

Нурмолды оседлал саврасого.

Аул остался позади горсткой юрт, когда Нурмолды догнала Сурай на отцовском коне.

— Вернись в аул! — крикнул он.

Пытался поймать за узду ее вороного, она увернулась, скакала в отдалении.

Он пригнулся к гриве, пустил коня. Знал ишан толк в конях — саврасый легко нес всадника. Новый знак поводьями — рванул конь.

Долго мчал Нурмолды. Раз, другой оглянулся: неслась Сурай следом, ровно, без сбоя бежал вороной.

Налетела, поравнялась. Смеется. Запрокинув руки, затягивала на затылке платок, кричала:

— Отец верит, что слава его коня дошла до Хивы!

— Побьет тебя отец! — сердито прокричал Нурмолды.

— Так женись скорее!..

14

Они прятались от ветра за каменным выступом колодца.

Кони были напоены, кормились неподалеку в низинке, очерченной полосой подсохшего жусана.

— А если он вчера еще миновал этот колодец? — сказала Сурай.

Нурмолды крепче прижал ее к себе, прикрывая полой пальто. Ответил:

— Он не знает, что на колодцах Жиррык и Ахмедсултан наших нет, едет в обход.

Сурай подняла голову, сузились ее большие черные глаза:

— Едет...

Они глядели в глубь равнины. Ветер натащил облака, быстро, тревожно темнело.

Нурмолды отъезжал, она бросилась, схватила саврасого за узду:

— Он тебя убьет!

— У него даже ножа нету...

В самом появлении Нурмолды здесь, в его немом, недобром приближении Рахим угадал враждебную ему перемену. Дрогнуло его стянутое усталостью лицо, блеснуло в темных глазницах — ненависть или выбитые ветром слезы?..

Они съезжались. Рахим отвернул полу своего верблюжьего шекпеня, достал наган. Подержал вскинутую руку с наганом, опустил и развернул коня.

Глядели Нурмолды и Сурай вслед одинокому всаднику. Куда он?.. В той стороне ни колодца, ни человека. Пустыня без края.

...Урочище Кос-Кудук. Трясется под ветром трава, осеннее уныние, холод. Жусуп и его бандиты в шапках, в полушубках сбились возле повозки. Глядели, как один милиционер другому поливает на руки, а тот, голый по пояс парень, гогочет, радуясь молодости, жизни.

Парень набросил гимнастерку. С ремнем, с кобурой в руках прошел мимо бандитов, покрикивая. Они полезли в повозку.

Парень с выражением той же молодой радости на лице подошел к стоявшему в стороне Нурмолды, поглядел ему под ноги: холмик из гипсовых комьев. Коснулся плеча Нурмолды, прощаясь.

Повозки тронулись. По краю степи белел солончак.

Парень вытянул руку ладонью вверх:

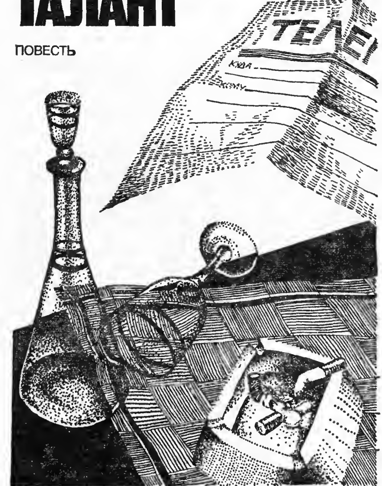
— Снег пошел, ребята!

Уходил обоз в степь, глядел Нурмолды вслед. Черной трубой висела за плечами зачехленная карта.

С. РОДИОНОВ

КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ

ПОВЕСТЬ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Виктор Капличников слегка покачивался от радости. От жаркого, перемятого каблуками асфальта; от тихого горячего ветерка, в котором духов, казалось, больше, чем кислорода; от встречных огоньков, мельтешивших в густо-синих улицах; от встречной девушки в брючном костюме... Радость была всюду. Но шла она из внутреннего кармана пиджака. Там лежал жесткий типографский прямоугольник свежего диплома. Капличникову хотелось зайти в какой-нибудь подъезд. И еще раз впиться в него глазами. Но он терпел, да в подъезде и помешали бы. Два часа назад у Виктора было среднее образование, а теперь высшее. Два часа назад он был токарь, а теперь инженер.

Неприятности можно переживать в одиночестве. Радость же рвется наружу, к людям. Этот диплом даже некому было показать: родители в отпуске, приятели в турпоходе.

Капличников шел по проспекту длинным рабочим шагом. На него бежали желтые фары, реклама, витрины и фонари. Из скверика вырвался запах скошенной травы, первой в этом году, и сразу посвежело.

У подземного перехода продавали белую сирень. Он купил большой дорогой букет, купил никому, себе. Хотел поискать в сирени цветочки с пятью лепестками и съесть на счастье, как это делал в детстве, но решил, что грех требовать у жизни еще счастья.

На углу в глаза бросились большие голубоватые буквы ресторана «Молодежный»: бросились как откровение. Это было то место, где крутилась бесконечная радость и не признавалось одиночество.

Даже не раздумывая, Капличников направился к решетчатому неоновому козырьку.

У широкой двери он одернул пиджак, трезво подмигнул швейцару и вошел в синеватый холл. В стеклянных дверях зала Капличников замешкался, не зная, как поступить с букетом. Ему почему-то захотелось сдать его гардеробщику и взять номерок — не входить же в ресторан с цветами и без женщины.

И тут он увидел ее, женщину, которая стояла у зеркала и, видимо, ждала своего мужчину. Капличников зарыл лицо в сирень, вдохнул щемящий запах и двинулся к ней.

— Это вам. От незнакомца. Просто так, — смело сказал он и протянул букет.

Она вскинула голову и широко распахнула глаза, будто он щелкнул перед ее лицом зажигалкой. Но это была секунда — тут же девушка улыбнулась и взяла цветы просто, как кусок хлеба.

— Спасибо.

— Надеюсь, ваш знакомый по шее мне не съездит, — сказал Капличников и тут же спохватился: человеку с высшим образованием выражение «съездить по шее» можно и не употреблять.

— Знакомого уже нет, — усмехнулась девушка.

— Как нет? — удивился Капличников: он не представлял, что сегодня могло чего-то или кого-то не быть.

— Час жду, а его нет. Придется уходить, — ответила девушка без капли грусти, как говорят женщины о досадной мелочи, вроде поехавшей петли на чулке.

— Ну и знакомый! — удивился он.

— Шапочный.

Капличников глянул на нее иначе, словно отсутствие этого шапочного знакомого дало ему второе зрение, — девушка была симпатична и стройна, только, может, чуть широковата. Да, при ее полных ногах не стоило бы носить такое короткое мини.

— Послушайте! — воодушевленно начал он.

Девушка спрятала нос в букет и вопросительно посмотрела из цветов.

— Пойдемте со мной. У меня сегодня... невероятный день.

— Почему невероятный?

— Особенный, радостный день... Я вам все расскажу. Пойдемте, а?

Она смотрела из букета весело, словно оценивала шутку — рассмеяться ли, улыбнуться. В другое время Капличников изобразил бы печаль, которая охватит его, если она не пойдет. Но сейчас на печаль он не был способен — сиял, как чайник из нержавейки. Видимо, радость действует на женщину не хуже печали, потому что девушка тряхнула головой и пошла к залу. Капличников бросился вперед, распахнул перед ней тяжелый прямоугольник стекла, подхватил под руку. Рука оказалась теплой и плотной, как утренняя подушка. Девушка пахла какими-то странными духами. Он никак не мог уловить этот волнистый

запах: то ландышем томным, то клейкими тополиными почками, а то просто скошенной травой, как из того сквера. И ему вдруг пришла мысль: эта незнакомка станет его второй радостью. Почему бы к одной удаче не привалить второй, еще более крупной? Почему бы этой девушке не оказаться той невероятной женщиной, о которой он иногда мечтал? Виктор Капличников еще не знал, та ли это женщина, о которой думалось, но уже чувствовал, что она не похожа на тех девушек, с кем он работал, ходил в кино и стоял в парадных.

Они пересекли зал и в самом углу обнаружили свободный столик на двоих. Это тоже была удача, пусть мелкая, но удача, которые должны сегодня сыпаться, как яблоки с дрожащего дерева — крупные и мелкие.

— Я — Виктор, — представился он, как только они сели.

— Ирина, — сказала она, подняв большие внимательные глаза.

Конечно, Ирина, не Ира, а именно Ирина — чудесное имя, которое он любил всегда.

— Какая же у вас радость? — улыбнулась она, не выпуская букет из рук, словно пришла на минутку.

— Уже стало две.

— Чего две? — не поняла она.

— Две радости. Во-первых, получил диплом об окончании политехнического института. Инженер-механик! Радость, а?

Она кивнула. Ему показалось, что сильно своей радостью он ее не поразил. В конце концов, что такое он со стороны — еще один инженер, которых сейчас пруд пруди.

— А во-вторых?

— Во-вторых, встретился с вами.

— Еще неизвестно, радость ли это, — усомнилась она и вдруг засмеялась довольно громко и весело. Он подхватил смех, как эхо подхватывает голос. И ему сразу стало спокойнее, ничего уж такого особенного: кончил институт и встретил хорошую девушку. Тысячи людей, десятки тысяч кончают институты и встречают милых женщин. Ему стало спокойнее, потому что очень сильная радость до сих пор сжигала его энергию.

Официант налетел ветром, схватил сирень, тут же приспособил ее в вазу-кувшин из синего ребристого стекла и встал, выразив фигурой ожидание, не согнув ее ни на сантиметр.

— Что берем? — спросил было Капличников у Ирины, но тут же махнул рукой: — Сегодня я именинник. Итак, салат фирменный, цыплята табака, икра черная — четыре порции...

Он все диктовал и диктовал, пока она опять громко не рассмеялась:

— Куда вы набираете?!

— Много, да? А что вы пьете?

— Только не коньяк, терпеть не могу.

— Тогда водку? И шампанское...

Официант ловко уставил белую до синевы скатерть, мелькая руками, словно их было штук шесть. Но Капличников вовремя

перехватил у него открытые бутылки — наливать он хотел сам.

— Мне только шампанского, — предупредила Ирина.

— Как?! — удивился Капличников. — Вы же просили водки.

— Я сказала, что не терплю коньяка, даже запаха.

— А-а-а, — понял он. — Может, рюмочку?

— Нет-нет. Зато шампанского вот этот громадный фужер.

Он налил ей вина, а себе большую рюмку водки. Официант сразу исчез. На том конце зала тихонько заиграл оркестрик, словно ждал их. Капличников взял рюмку и набрал воздуха для тоста...

— Виктор, добудьте мне сигарету. Вы, я вижу, некурящий.

— Сейчас официанту закажу, — выпустил он воздух и отставил рюмку.

— Его теперь не найдешь.

— Ну, пока стрельну.

Он вскочил и шагнул к соседнему столику, но там сидел некурящий молодой парень в очках с тремя девушками. Капличников пошел к летчику, который уже был охвачен всеобщим ресторанным братством и чуть не засадил его за свой столик выпить по одной. Но от нераспечатанной пачки сигарет ему отбояриться не удалось, хотя просил он две штучки.

Ирина кивнула и закурила с удовольствием, красиво, делая губы трубочкой. Виктор опять взялся за рюмку:

— Тут ничего, кроме старого, доброго «за знакомство», не придумаешь.

— Со свиданьицем, — усмехнулась она.

И Капличников не понял — понравился ей тост или она его высмеяла. Он выпил водку и тут же подумал, что коньяк прошел бы куда лучше.

— Я о вас ничего не знаю, — сказал он.

— Вот я — вся тут.

— Это верно, — засмеялся он. — Но все-таки?

— Так и я о тебе ничего не знаю.

«Тебе» он заметил сразу, как чиркнутую спичку в темноте. Выходило, что она только внешне чопорная, а вообще-то простая, как и все девчата в мире.

— Я что, я уже о себе говорил. Работаю токарем, вот кончил институт. Теперь перейду на должность инженера. А может, не перейду, не очень хочется. Холост, двадцать восемь лет, жилплощадь имею, здоровье хорошее, вешу семьдесят килограммов, рост сто семьдесят пять, глаза карие, зубы все целы.

Она рассмеялась. Капличников довольно схватил бутылку, налил себе рюмку и долил шампанским ее фужер.

— А у меня двух зубов нет, — ответила она.

— Я это переживу, — заверил он. — Но не переживу, если вы... если ты замужем.

— Пока не собираюсь.

— Тогда я скажу еще тост — за тебя. Чтобы ты была той, какой мне кажешься.

— Кто ты? — вырвалось у него после второй рюмки.

— Откуда я знаю? — усмехнулась она.

— Как? — опешил Капличников и бросил разрывать цыпленка.

— А ты кто? — спросила она.

— Как кто? — не понял он. — Я же тебе сказал: токарь, окончил институт...

— Это место работы и образование. А кто ты?

Теперь она не улыбалась. Пышные, но короткие серебристо-белесые волосы, светлая челка, а под ней глаза — широкие, с неспешно-спокойным взглядом. Капличников подумал, что она похожа на француженку, хотя их, кроме кино, нигде не видел.

— Вот ты о чем, — протянул он, взял ее руку и поцеловал. — Да ты умница!

Она опять улыбнулась, но руки не отняла — так и осталась ее небольшая ладошка-лодочка в его широком бугристом кулаке. Он держал ее чуть касаясь, как вчера за городом скворчонка, прыгнувшего по глупости из гнезда.

— Я научный работник, — сообщила она как-то между прочим.

Как же он сразу не понял, когда у нее это на лбу написано... Наверное, кандидат наук или даже доктор — бывают в физике и математике молоденькие доктора наук со счетно-решающими машинами вместо мозгов. А он дипломом похвалялся...

Капличников хотел опять поцеловать руку, но сильная зевота неожиданно схватила челюсти. Он даже выпустил ее ладонь, прикрывая свой полуоткрывшийся рот. Видимо, сказывалась усталость последних дней, да и сегодня он поволновался.

— Ирина... Ты с кем-нибудь дружишь? Я хочу сказать, у вас... то есть у тебя... есть друг? Дурацкий вопрос, но по пьянке прощается.

— Конечно, прощается. А зачем это тебе?

— Как зачем?! — удивился он и до боли в скулах сцепил челюсти, которые хотели распахнуться в зевке. — Разве мы больше не встретимся?

— Мы еще не расстались.

— Я заглядываю вперед.

— А ты хочешь встретиться?

— Ирина, разве по мне не видно, хочу ли...

Он поперхнулся, перехватив подкатившую зевоту, тугую, как капроновый жгут. Только бы она не заметила, что он совсем валенок — икоты еще не хватает. Капличников согнул тот жгут челюстями.

А усталость навалилась, будто он стоял в яме и земля осела на его голову и плечи. Он даже сейчас не знал, о чем и как с ней говорить, хотя вообще-то слыл парнем остроумным.

— Ирина, ты танцуешь?

— Конечно.

— Пойдем... когда заиграет оркестр...

Он увидел в ее глазах легкую настороженность — значит, заметила, что ему не по себе.

— Понимаешь... рано проснулся... экзамены...

Капличников обвел взглядом зал. Бра потемнели, курились серым дымом, как вулканы. Оркестр слился в одного толстого многорукого человека, который дергался марионеткой. Летчик вроде бы ему улыбался одними губами, и они, эти губы, тянулись и тянулись, превращаясь в хобот. Официанты почему-то прыгали от стола к столу, как зайцы меж кустов.

Он резко повернул голову к Ирине. Она курила, поглядывая на оркестр. Но ее струйка дыма тоже прыгала.

— Ирина... Кажется, я люблю тебя...

Она кивнула головой — он точно видел, как она согласно кивнула головой. Но тут сила, с которой он ничего не мог сделать, как с земным притяжением, ухватила его за голову. Ему захотелось на минутку, на секунду, может, на долю секунды, опереться лбом о стол.

— Ирина... со мной какая-то чертовщина...

— Бывает, — спокойно ответила она, стряхнула пепел и налила себе лимонаду.

— Ирина. На секундочку... положу голову...

Стол поехал на него, как земля на падающий самолет. Последнее, что он помнил, — это подскочивший в блюде фирменный салат, задетый его лбом. И что-то было после: или шел сам, или его вели, но этого он уже не помнил и не понимал, как бессвязный бредовой сон.

Следователь прокуратуры Сергей Георгиевич Рябинин сидел перед вентилятором, почти уткнувшись лицом в лопасти, и ничего не делал, если не считать, что он думал про телепатию. Было уже одиннадцать часов. Вентилятор жужжал мягко, с легкими перепадами, но все-таки монотонно, дремотно. Воздушная струя не была холодной — только что духоту не подпускала.

От десяти до двенадцати, на каждые полчаса, были повестками вызваны свидетели по старому заволокиченному делу, бесперспективному, как вечный двигатель. Но свидетели не шли. Рябинин знал, почему они не идут, — он этого не хотел. Проводить неинтересные допросы, да в такую жару...

Странно, но так бывало не раз: если он очень хотел, чтобы вызванные не приходили, то они не шли. Рябинин это никак не объяснял — случайность, хотя где-то оставлял местечко для гипноза, телепатии и других подобных явлений, еще мало изученных наукой. Он мог бы кое-что порассказать из этой области...

Размышления в струях вентилятора прервал следователь Юрков, в белых брюках, потемневший, опаленный, с прищуренными от солнца глазами, словно только что приехал с экватора.

— Жарко, — сказал он, сел ближе к струе и расстегнул на рубашке еще одну пуговицу.

— Ну и жара, — повторил он, — допрашивать невозможно.

— Да, — согласился Рябинин, — в жару допрашивать плохо.
— Трудно дышится.
— Плохо смотрится свидетель.
— Очки потеют? — поинтересовался Юрков.
— Нет, свидетели.
Юрков посмотрел на него внимательно, словно спросил — опять шутка?
— Опять шутка?
— Вполне серьезно, — заверил Рябинин.
— Ну и пусть потеют, — осторожно возразил Юрков, еще не совсем уверенный, что это не розыгрыш.
— Да, но плохо видна гамма переживаний.
Вот теперь Юрков усмехнулся. Это был второй парадокс, которого не мог понять Рябинин: когда он шутил — Юрков окостенело замолкал; когда он говорил серьезно — Юркова начинал одолевать смех.
— Это твои штучки, — все-таки не согласился Юрков.
— Почему же штучки... Я тебе сейчас объясню.
Юрков подозрительно прищурился, словно Рябинин сказал ему не «я тебе сейчас объясню», а «я тебе сейчас устрою».
— Ты видел когда-нибудь телевизор? Ах да, ты же смотришь футбол-хоккей. Так вот: изображение на экране, а образуется оно за ним — там целая куча винтиков, диодов и всяких триодов. Представь, помутнело стекло. И сразу плохо видно. Так и человек. Мозг, психика — это диоды-триоды. Лицо — это экран. И этот экран должен быть чист, чтобы я видел: покраснела кожа от волнения или побледнела, или вспотел человек, или стал иначе дышать... Я уж не говорю про более сложные движения. А в жару лицо пышет, как блин на сковороде. Какие уж тут движения. Откуда я знаю, отчего свидетель красен — от моего вопроса или от жары?
Юрков молчал, собирая на лбу задумчивые складки.
— Может, и верно говоришь, — наконец сказал он, — да уж больно ехидно.
Рябинин пожал плечами: сколько раз он замечал, что людей чаще интересует не чтó говорят, а кáк говорят.
— Тебе, лучшему следователю, про которого пишут газеты, объясняю такие элементарные вещи. Вот поэтому я ехидный.
Юрков встал, хрустнув сильным телом, которое от работы в садоводстве еще больше стало походить на дубовый ствол с обрубленными ветками. И Рябинин подумал, что он сейчас телом сказал больше, чем словами. Но Юрков сказал и словами:
— Вся эта физиономистика для рассказов девочкам. Вот писать жарко, пот со лба утираешь, мысли путаются, вопросы не так формулируешь.
— Да, и следователь получается несимпатичный, — подсказал Рябинин.
— При чем здесь симпатичный? Я не в театре выступаю, а на работе сижу.
— Вот поэтому мы и должны быть симпатичными, культур-

ными, умными, чтобы свидетели уходили от нас с хорошим впечатлением.

— Мне плевать, что обо мне подумают свидетели. Я не артист, а следователь.

— Следователь больше, чем артист. О плохом артисте подумают, что у него нет таланта. Он позорит театр. А плохой следователь позорит государство.

— В твоем понимании следователь такая уж фигура. Да мы обыкновенные служащие, каких тысячи.

— Нет, мы политические деятели. Посмотри, как замолкает зал, когда на трибуну выходит следователь. Как люди слушают, приходят советоваться, делятся, интересуются... Наша работа прежде всего политическая.

— Прежде всего я должен изолировать преступника!

— Если преступник будет изолирован, а у людей останется от следователя впечатление как от хама и дурака, то пусть лучше преступник ходит на свободе. Государству меньше вреда.

Юрков онемел. Даже узкие глаза расширились насколько могли. Он смотрел на Рябинина и ждал следующего высказывания, еще более невероятного. Не дождавшись, он строго сказал, опять прищурив глаза:

— Мы должны бороться с преступностью.

— Нет, — возразил Рябинин, — мы должны по вечерам бегать трусцой.

— Да ну тебя, — махнул рукой Юрков и вышел из кабинета.

Он считался хорошим парнем — он и был хороший парень. Когда требовалась техническая помощь по делу или надо было перехватить пятерку на книги, поднять что-нибудь или сдвинуть сейф, Рябинин всегда шел к нему. Юрков помогал просто, между прочим, поэтому помощь не замечалась, а это признак настоящей помощи. У него был спокойный, покладистый характер, который очень нравился начальству, да и весь их маленький коллектив ценил.

Рябинин теперь думал не о телепатии, а об абстрактном хорошем парне. Что-то мешало принять его умом — рубаху-парня, доброго, компанейского, веселого и верного. Рябинин уже не мог отцепиться от этой мысли, пока нет ей объяснения, хотя и знал, что сразу его не найдешь.

— По-твоему, — распахнул дверь Юрков, белея в проеме брюками, как дачник: только ракетки не хватало, — по-твоему, и преступник должен быть хорошего мнения о следователе?

— А как же! — сказал Рябинин и выключил вентилятор, чтобы слышать Юркова.

— Да какой преступник хорошо думает о следователе?! Они ненавидят нас как лютых врагов.

— Неправда, — сказал Рябинин и шагнул к двери, чувствуя, как в нем затлевает полемический пыл. — Хорошего следователя они уважают.

— Какое там уважают?! Ты будто первый год работаешь... Спорят, ругаются, жалобы пишут...

— Ты путаешь разные вещи: преступник борется со следователем. Следователь для него противник, но не враг.

— Как это может быть: противник, но не враг? — усмехнулся Юрков какой-то косой улыбкой.

Он тоже распалился, что бывало с ним редко, как ливень в пустыне. Чем-то задело его — даже вернулся. И Рябинин подумал: так ли уж спокойны спокойные люди, да и можно ли быть спокойным на самой беспокойной в мире работе?

— Действительно, оригинально, — согласился Рябинин. — Любой преступник знает, что следователь прав. И знает, что следователь в общем-то ему не враг, желает добра. Но преступник вынужден бороться со следователем, чтобы уйти от наказания или меньше получить.

— И вот после этой борьбы, когда преступник схлопочет лет десять, он должен сохранить обо мне приятные воспоминания?

Юрков даже кашлянул от прилившего к горлу недоумения.

— А разве нельзя уважать сильного и честного противника?

— Я его посадил, а он меня уважать?.. — не сдавался Юрков.

— А ты ему обязан в процессе следствия доказать всем своим моральным преимуществом, что он сидит правильно. Он должен поехать в колонию с твердым убеждением — больше не повторять. Короче, он должен еще на следствии «завязать».

— Ну что ты болтаешь, Сергей? Ведь такие бывают зеки, что их век не переубедишь.

— А если не убедишь, значит, следствие проведено плохо.

— Мое дело не его убеждать в виновности, а суд.

— Конечно, суд, — согласился Рябинин. — Но все-таки главное — убедить преступника. Мы же за их души боремся...

— Теперь я знаю, почему ты мало кончаешь дел, — заключил Юрков и неопределенно хихикнул, представляя это шуточкой.

— Теперь я знаю, почему про тебя пишут в газетах, — сообщил Рябинин и тоже хотел издать смешок насчет своей шуточки, но вместо него вырвались короткие фыркающие звуки, которые издает лошадь от удовольствия.

Юрков постоял, хотел, видимо, спросить про газету, а может, фыркнуть хотел в ответ, но только захлопнул дверь. И Рябинин сразу понял, почему его не восхищал просто хороший парень. Потому что изменилось время, страна, люди и усложнилось понятие «хороший человек», как усложнились патефоны, аэропланы и «ундервуды». Потому что понять человека стало важнее, чем дать ему в долг пятерку или снять последнюю рубашку. Без хлеба и одежды можно перебиться, но трудно жить непонятым и уж совсем тяжело — непринятым.

Зазвонил телефон. В жару даже он дребезжал лениво, словно размякли его чашечки. Рябинин нехотя взял трубку.

— Привет, Сергей Георгиевич! Холода тебе, — услышал он настырный голос Вадима Петельникова.

— Спасибо, тебе того же, — ответил Рябинин, сел на стол и

благодушио вытянул ноги. — Как в жару ловится преступничек?

— Нам жара не помеха, мы же не следователи, — сразу отреагировал Петельников, и Рябинин представил, какая стала мальчишеская физиономия у этого высокого двадцатидевятилетнего дяди.

— Так я и думал, — невиино признался Рябииин.

— Почему так думал? — подозрительно спросил Петельников, прыгая в ловушку.

— Видишь ли, жара действует на мозговое вещество и размягчает его, поэтому следователь работать не может. А ноги у инспектора только вспотеют.

Петельников молчал, бешено придумывая остроумный ответ. Рябинин это чувствовал по проводам и улыбался — с Вадимом он говорил свободно, как с самим собой: любая шутка будет понята, острая шпилька парироваиа, брошенная перчатка поднята, а серьезная мысль замечена.

— Есть ноги, Сергей Георгиевич, которые стоят любой головы.

— Наверное, имеешь в виду стройные женские? — поинтересовался Рябинин.

— Жеиские! — крикнул Петельников. — Да ты знаешь, сколько километров в день проходят обыкновенные кривоватые ноги инспектора уголовного розыска?

— Чего ж они ко мне давненько не заворачивали? — спросил Рябинин.

— Про это и звоию, — признался Петельников.

— Давай сегодня, — сразу предложнл Рябинин.

— После обеда жди.

Рябинин знал, как его ждать...

Можно ждать машиниста с линии, летчика с рейса и капитана нз плавания, потому что они прнбывают все-таки по расписанию. Но никогда не стоит ждать инспектора уголовного розыска — ни другу, ни жене, нн матери. У инспекторов нет рабочих дней и рабочих часов, нет графиков и расписаний и слова твердого нет... Какое он может дать слово, если его время зависнт от какой-нибудь пропившейся дряин, которая притихла в темной подворотне. И завылн сирены машин, и только успеет схватить инспектор электробритву и чистую рубашку. Тогда его можно ждать сутки, неделю или две. Тогда жена может днями напролет думать, почему, по какому закоиу она не имеет права вндеть любнмого человека и куда можно на это жаловаться. Только сынишка вздохнет в детском саду и загадочно скажет ребятам, что у папы опять «глухарь». Тогда и старая мать всплакнет, не от страха за сына, хотя всякое бывает на такой окаяниой работе, а всплакнет просто так, потому что старые матери любят иногда плакать. Но инспектор не придет домой, и его лучше не ждать: когда не ждешь — быстрей приходят. Он может появиться посреди ночи или дня, может выйти с соседней улнцы, а может прилететь с другого конца Союза: заросший, несмотря на взятую электробритву, осуиувшийся и веселый. Зна-

чит, та пропившаяся дрянь уже там, где она должна быть. Значит, нет больше «глухаря». А инспектор будет спать два дня, потом будет есть два дня, а потом — потом опять зазвонит телефон и ёкнет сердце у жены, испугается мать и насупится ребенок.

Виктор Капличников открыл глаза. Сначала ему показалось, что над ним белый выгоревший шатер-палатка. Но этот шатер уходил вверх, в бесконечность. Его серая мглистая ширина была ровно посредине перечерчена нежно-розовой полосой, словно собранной из лепестков роз. И он понял, что перед ним раннее небо; что там, наверху, уже есть солнце и оно коснулось следа реактивного самолета. И тут же в его уши, словно он их воткнул, как репродуктор в розетку, ворвался скандальный гомон воробьев, которые дрались где-то рядом. Тело содрогнулось от раннего росного холода. Капличников уперся во что-то руками и резко сел.

Он оказался на реечной скамейке в сквере, в том самом сквере, запах которого разносился вчера по проспекту. Смоченная росой, трава сейчас пахла терпким деревенским лугом. За аккуратной ниткой каких-то желтых цветов стоял игрушечный стожок первой травы, сочной и влажной, как нашинкованная капуста. По красноватым дорожкам бегали голуби. Было еще тихо, только где-то за углом шла поливальная машина.

Капличников потер сухими руками лицо и встал, разминая тело. Сразу заныли правый бок и спина — видимо, отлежал на деревянных планках. Он стал ощупывать себя, как врач больного. И вдруг рванулся к карману пиджака — диплом был на месте. Капличников облегченно выругался в свой собственный адрес.

Он сел на скамейку — надо было прийти в себя. Напиться в такой день, как мальчишка... Первый раз в жизни он ночевал подобным образом. Хорошо, что нет дома родителей. Он абсолютно все помнил, даже помнил подпрыгнувший от его лба фирменный салат, когда голова рухнула на стол. Помнил Ирины глаза, которые в ресторане смотрели на него укоризненно. Напиться в такой день, когда получил диплом и познакомился с девушкой, которая теперь исчезла в громадном городе, как запах цветка в атмосфере. Видимо, уж так устроена жизнь — с балансом, чтобы человек не лопнул от радости. В конце концов, он и мечтал-то о двух радостях — о дипломе и женщине. О дипломе инженера-механика, который он получил вчера. И о женщине, которой бы он стеснялся, с которой не знал бы, как говорить, и которую невозможно было бы повести на темную лестницу. Вчера он с этой женщиной познакомился. Конечно, она сразу же ушла, как только он заснул на столе.

Капличников хотел еще раз выругаться, но представил Ирину и только вздохнул. Он потряс пиджак, почистил рукой брюки и стал шарить по карманам. Все документы были на месте, но денег не было — шестьдесят рублей как корова слизнула. Все-

таки обчистили его, пока он спал, или выронил где. Но это не очень беспокоило: диплом цел, а деньги дело наживное.

Он пошел по хрустящей кирпичной крошке и свернул на улицу. Город медленно просыпался.

Жара уже распласталась по улицам, но асфальт пока был тверд. Капличников не понял — специально он шел к ресторану или случайно оказался в этом месте проспекта. Над ним висели стеклянные буквы. Потухшие, они не смотрелись, как любительница косметики после бани.

Он побрел к толстым стеклянным дверям, оправленным в блестящую раму из нержавейки. С той стороны их натирал вчерашний швейцар. Капличников остановился. Швейцар раза два глянул на него и показал пальцем на табличку — ресторан работал с двенадцати дня. Тогда Капличников тихонько стукнул в дверь. Швейцар нехотя положил тряпку и приоткрыл дверь:

— Чего тебе, парень? Закрыто еще. А выпить можешь вон там, в подвальчике.

— Я не выпить. Был вчера у вас. Не помните меня?

— Сказанул. Тут за день столько бывает, что голова от вашего брата дурится без всякого алкоголя.

— А девушку видели? Беленькая, с челочкой...

— Даешь, парень, — окончательно удивился швейцар. — Тут девушек проходит за вечер сотни две, а то и три. И беленькие, и серенькие, и синенькие ходят, и в брючках, и в максиях, а то и без юбок, считай. Ресторан, чего уж...

Швейцар был в рабочем черном халате, без формы, с морщинистым загорелым лицом старого рабочего человека, — вечером будет стоять в белой куртке с блестящим позументом, улыбаться и открывать дверь.

— А ты чего хотел, парень? Обсчитали?

— Да нет. Хотел узнать, как я отсюда вышел, — улыбнулся Капличников.

— Не помнишь?

— Не помню.

— Ничего, бывает. А тебя не помню. Физиономия у тебя нормальная, как у всех.

Капличников побрел и вскочил в троллейбус.

Старший инспектор уголовного розыска Вадим Петельников выглянул из кабинета, посмотрел, нет ли к нему людей, захлопнул дверь и закрылся на ключ. Сбросив пиджак, он достал из стола маленький квадратный коврик и положил на пол. Потом вздохнул, закрыл глаза и вдруг ловко встал на голову. Желтые с дырочками ботинки сорок третьего размера повисли там, где только что была голова. Оказавшись внизу, лицо покраснело, как инспекторское удостоверение. Сильно бы удивились сотрудники отдела уголовного розыска, увидев Петельникова, стоящего вверх ногами.

Не прошло и минуты, как в дверь слабо постучали. Петельников внизу чертыхнулся, но вспомнил, что надо сохранять кос-

мическое спокойствие, а то простоишь без пользы. Стук повторился.

— Сейчас! — крикнул Петельников, но голос увяз во рту, будто его накрыли подушкой.

Он чертыхнулся еще раз и встал на ноги. Закатав рукава и поправив галстук, Петельников нехотя открыл дверь.

В кабинет неуверенно вошел небритый парень с усталым лицом. Хороший коричневый костюм был в белесых длинных пятнах-полосах, словно его били палками.

— Садитесь, — буркнул Петельников.

— Я обратился к дежурному, а он послал к вам. Понимаете, я не жалуюсь... а просто поговорить.

— Можно и поговорить, — согласился Петельников, — была бы тема интересной.

Парень не улыбнулся — серьезно смотрел на инспектора. Петельников уже видел, как то, о чем он хочет поговорить, въелось в него до костей.

— Как вас звать? — на всякий случай спросил инспектор.

— Капличников Виктор Семенович. Понимаете, я вчера получил диплом. Знаете, радость и все такое прочее...

Он стал рассказывать все по порядку, поглядывая на инспектора спрашивающими глазами — интересно ли тому. Но по лицу Петельникова еще никто ничего не смог определить. Слушал он внимательно.

Капличников кончил говорить и помахал бортами пиджака — было жарко.

— А вы снимите его, — предложил инспектор.

— Нет, спасибо.

Он стеснялся. Тогда Петельников щелкнул выключателем вентилятора и направил струю воздуха на посетителя.

— Все рассказали?

— Все.

— Бывает: выпили, закусили, ели мало, жара, — усмехнулся инспектор, сразу потеряв к нему интерес.

— Вот я и пришел поговорить.

— О чем?

— Понимаете, выпил-то я всего три рюмки, это хорошо помню.

— Только три?

— Ровно три. Но при моей комплекции...

— Ну, это раз на раз не приходится, — возразил Петельников и пошарил в пиджаке трубку, но вспомнил, что не выдержал насмешек Рябинина и забросил ее дома в сервант. Он закурил сигарету, пуская дым поверх струи воздуха от вентилятора.

— Я упал на стол, силы кончились, и больше почти ничего не помню. А как же дошел до сквера?.. Сам не мог.

— Могла она благородно довести, а потом надоело. Эх, товарищ Капличников, мне бы ваши заботы. Заявление о краже

писать не стоит: вытащили у вас деньги, сами потеряли — неизвестно.

— Потом еще вот что... Перепьешь, на второй день состояние похабное. А тут проснулся — ничего, немного не по себе, но ничего.

— Сам-то что подозреваешь? — перешел Петельников на «ты».

— Не знаю, — признался Капличников. — Поэтому и пришел.

— А я знаю, — весело сказал инспектор и встал. — Жара! Вчера днем стояло двадцать восемь. Для наших мест многовато.

Капличников тоже поднялся — разговор был окончен. Оставалось только уйти. Он уже шагнул к двери, но она приоткрылась, и заглянул моложавый седой майор с университетским значком.

— Заходи, Иван Савелович. Вот кто большой специалист по алкоголизму — начальник медвытрезвителя, — представил его Петельников, довольный посещением.

Подтянутый майор улыбнулся, четко шагнул в кабинет, пожал руку инспектору и коротко кивнул Капличникову.

— Иван Савелович, от чего зависит опьянение? Вот товарищ интересуется.

Майор повернулся к Капличникову и серьезно, как на беседе в жилконторе, сообщил:

— От количества выпитого, от крепости напитков, от привычки к алкоголю, от общего состояния здоровья, от желудка, от закуски, от температуры, от настроения... Но самое главное — от культуры человека. Чем культурнее человек, тем он меньше пьянеет.

— Ну уж, — усомнился в последнем Петельников.

— Потому что культурный человек много не пьет. И культурный человек пьет не для того, чтобы напиться.

— Иван Савелович, а ты разве инженеров не вытрезвляешь? — засмеялся Петельников.

— Бывает. Но ведь я говорю не о человеке с дипломом, а о культурном человеке, — хитро прищурился майор.

Капличников понял, что весь этот разговор затеян для него. Не надо было ходить в милицию, не то это место, куда ходят с сомнениями. Он сделал шаг к двери, но майор вдруг спросил, повернувшись к нему:

— А что случилось?

— Да вот товарищ в недоумении, — ответил за него инспектор, — выпил в ресторане всего три рюмки, опьянел и ничего не помнит.

— А пил один на один с женщиной, — уверенно сказал майор.

— Точно, Иван Савелович. А откуда ты знаешь? — поинтересовался Петельников, и в его глазах блеснуло любопытство.

— Пусть товарищ на минуточку выйдет, — попросил начальник вытрезвителя.

Когда Капличников ушел, Иван Савелович сел к столу и расстегнул китель. Петельников сразу направил на него вентилятор. Майор блаженно сморщился, ворочая головой в струе воздуха.

— Вадим... Ко мне поступила подобная жалоба на той неделе.

— Какая жалоба?

— От вытрезвляемого. Познакомился с девушкой, выпил буквально несколько рюмок... И все, как в мешок зашили, ничего не помнит. Я сначала не поверил, а потом даже записал его адрес.

— Ну и что это, по-твоему?

— Откуда я знаю? Ты же уголовный розыск.

Петельников подошел к окну, потом прошагал к сейфу и вернулся к столу, к майору. Он хотел закурить, но вспомнил, что уже курил да и борется с этим делом, поскольку стоит на голове.

— Деньги пропали?

— Да, рублей двадцать.

Иван Савелович достал из кителя записную книжку, полистал ее и вырвал клочок:

— Возьми, может, пригодится.

— А других случаев не было?

— Вроде не слышал.

Он встал, аккуратно надел фуражку и протянул руку ожившему инспектору.

— Неужели пьют в такую жару? — поинтересовался Петельников.

— Выпивают. Отдельные лица, — уточнил начальник медвытрезвителя и направился из кабинета своим широким спортивным шагом. Инспектор пошел за ним, выглянул в коридор и кивнул Капличникову. Тот поднялся нехотя, опасаясь, что будут читать мораль. Да и усталость вдруг появилась во всем теле, словно его ночь мочалили. Особенно помятой была спина — при глубоком вдохе она как-то задубевала, и по ней словно рассыпались мелкие покалывающие стеклышки.

Инспектор достал чистый лист бумаги и положил перед ним:

— Опиши все подробно, каждую мелочь.

Капличников молча начал писать, ничего не пропуская.

— Кончил, — сказал Капличников и протянул бумагу.

Инспектор внимательно пробежал объяснение: все описано, даже салат и цыплята.

— Официанта опознаешь?

— Маленький ростом... Нет, — решил Капличников.

— А ее опознаешь? — прищурился инспектор.

— Конечно, — сразу сказал Капличников, представил Ирину, и в памяти мелькнула белая челка и большие глаза, уплывающие в голубой мрак ресторана. Он попытался увидеть ее губы, нос, щеки, но они получались абстрактными, или он их лепил со знакомых и даже инспекторский крупный нос посадил под челку. Одна эта челка и осталась — белая, ровненькая, с желто-

ватым отливом, как искусственное волокно. Да замедлейный взгляд...

— Опознаю... может быть, — вздохнул Капличников.

После обеда жара спáла. Рябинин открыл сейф, рассматривая полки, как турист завалы бурелома. Этот металлический ящик удивлял: сколько ни разбирай его нутро, через месяц там скапливались кипы бумаг, которые, казалось, самостоятельно проникали сквозь стальные стенки.

Раза два в год Рябинин принимался за эти полки. Он посмотрел на часы — Петельников не шел — и выдернул погребенную пачку, перевязанную шпагатом...

А Петельников не шел.

Сейчас Петельников прийти не мог. Он уже съездил по адресу, который дал начальник медвытрезвителя, и привез гражданина Торбу, отыскав его на работе. Теперь инспектор сидел в углу, в громадном старом кресле, в котором по ночам научился спать сидя. В комнате стояла тишина, диковинная для кабинетов уголовного розыска.

Торба писал объяснение — они уже часа полтора беседовали, если можно посчитать за беседу вопросы инспектора и телеграфные ответы вызванного, перемешанные с нечленораздельным мычанием. На тренированные нервы Петельникова это никак не действовало, хотя он уже поглядывал на хмурого парня острым черным взглядом. Тот писал долго, потея и задумываясь, словно сочинение на аттестат зрелости.

— Ну все? — спросил Петельников и нетерпеливо встал.

Торба молча протянул куцую бумагу. Инспектор прочел и задумчиво глянул на него. Торба уставился в пол.

— Тебе что? — спросил Петельников. — Ни говорить, ни писать неохота?

— Мне это дело ни к чему, — буркнул Торба, водя глазами по полу.

— Нам к чему, — резко сказал инспектор. — Если вызвали, то надо отвечать, ясно?

— Отвечаю ведь.

Петельников еще раз посмотрел объяснение — куцый текст этого нелюдима лег на бумагу, как птичьи следы на снег. Одно утешение: если возбудят дело, то следователь допросит и запишет подробно.

— Кроме белой челки, ничего и не помнишь? — еще раз спросил инспектор, рассматривая красное пухлое лицо парня, завалившиеся внутрь глазки, волосы до плеч и несвежую сорочку.

Торба подумал, не отрываясь от пола:

— Такая... ногастая.

— Ногастая, значит?

— Ага... И грудастая.

— Ну что ж, неплохо. Покажи-ка мне, где вы сидели?

Петельников достал лист бумаги и быстро набросал план ре-

сторана — он все их знал по долгу службы. Торба ткнул к входу, в уголок. Инспектор поставил красным карандашом жирный крест и спроснл:

— Ну о чем вы хоть говорили-то?

— Об чем? — задумался Торба, натужно вспоминая тот вечер в ресторане.

— Давай-давай, вспоминай.

— Ни об чем, — вспомнил Торба.

— Да не может этого быть, юиый ты неандерталец, — ласково сказал Петельников, посмотрел иа его лицо н подумал: вполие может быть.

— Мы ж только позиакомилнсь...

— Ну и молчали?

— Сказала, звать Клава. Налили. Поехали. Закусили, зиачит.

— Ну а дальше?

— Налили еще. Поехали. Закуснли, как положено...

Петельников вздохнул и прошелся по кабиисту. У иего хватало нервов слушать этого парня, но не хватило терпения — оно кончилось. Важна каждая мелочь, каждая деталь лица, каждое ее слово ценно, как в рукопнси классика... Таких свидетелей давненько не встречалось. И Петельникову захотелось съездить ему по шее, потому что в наше время за серость надо бить.

— Может, ты ей стихи читал?! — гаркнул инспектор, н парень от неожидаиности вздрогнул.

— Зачем... стихи?

— Надо! — орал Петельников. — Положеио женщинам стихи читать!

— Не читал.

— Чего ж так?!

— Какне... стихн?

— Ну хотя бы прочел сонет «Шумел камыш, деревья гнулись...».

Парень оживился н понимающе усмехнулся.

— Подозреваю, что у тебя есть гитара, а? — спросил инспектор.

— Есть, — подтвердил Торба.

— И магнитофон, а? И телевизор, а?

— Ага, — согласнлся парень.

— Выбрось ты нх, голубчик, не позорь наш просвещенный век. Не позорь ты наше всеобщее образоваиие. И читай, для начала по капле иа чайную ложку, то есть книжку в год. А потом по книжке в месяц. Иди, милый. Еще вызову.

Торба моментально вскочил н пошел из кабинета, не простившись. Это был второй потерпевший, у которого пропало двадцать трн рубля.

Петельников чувствовал, что его любопытство до хорошего не доведет, — добровольно вешать иа себя сомнительное дело, по которому нет свидетелей, а оба потерпевших ничего не помнят и никого не смогут опознать. Верный добротный «глухарь»; будет внсеть с годик, и будешь ходить больше к начальству оправ-

дываться, чем вести оперативную работу. А ведь этих ребят просто было убедить, что с ними ничего не случилось. Да и сам Петельников не уверен — случилось ли что с ними...

Он усмехнулся. Если бояться «глухарей», то не стоит работать в уголовном розыске. А если не быть любопытным, то кем же быть — службистом?

Рябинин разобрал сейф и сложил в одну пачку разрозненные листки, когда, стукнув на всякий случай в дверь, в кабинет шагнул Вадим Петельников.

Петельников сел на стул и расстегнул пиджак, полыхнув длинным серебристо-оранжевым галстуком с толстенным модным узлом. Инспектор осторожно молчал, зная, что вопросом он нарвется на шпильку, как на неожиданную занозу в перилах.

Рябинин усмехнулся и спросил:

— А ты что такой нарядный?

— По этому поводу и пришел.

— Спросить, пойдет ли тебе жабо? Кстати, разрешается работникам уголовного розыска носить жабо?

— Хоть корсет, лишь бы «глухарей» не было.

Петельников не улыбался. Рябинин видел, что он уже думал о том, ради чего пришел.

— Давай, Вадим, выкладывай. У тебя, я вижу, какая-то детективная история.

— Сам знаешь, Сергей Георгиевич, что у нас детективных историй не бывает.

— Это верно, — вздохнул Рябинин. — Сколько работаю, и ни одной детективной истории. Что такое уголовное преступление? Сложная жизненная ситуация, которая неправильно разрешается с нарушением Уголовного кодекса. Впрочем, иногда и несложная.

— А писатели эту ситуацию придумывают.

— Пожалуй, дело даже не в придумке, — медленно сказал Рябинин. — А в том, что они эту ситуацию ради занимательности безбожно усложняют, чего не бывает в жизни. Жизнь, как и природа, выбирает самые краткие и экономичные пути. Например, труп. Ведь чаще всего он лежит на месте убийства. А в детективах он в лифтах, чемоданах, посылках...

— Даже сейфах, — вставил Петельников.

— Даже в холодильнике, я читал. Кстати, у меня есть английский детективчик.

— Ну?! — оживился инспектор, смахнув на миг заботы.

— Можешь не просить, завтра принесу. Слушай, а почему мы любим детективы? Казалось, нам на работе уголовщины хватает...

— Потому что закручено.

— Это верно, — согласился Рябинин и тут же добавил: — Потому что детективы никакого отношения к уголовным делам не имеют. Это просто оригинальный жанр литературы.

— Попадается и неоригинальный.

— Ну, бог с ними, с детективами. Что у тебя?

Петельников начал рассказывать. Он сел поплотнее, выпрямился, застегнул пиджак и как-то подтянулся, словно на нем оказался китель капитана милиции, в котором Рябинин видел его только однажды. Видимо, так он докладывал розыскные дела начальнику уголовного розыска или в Управлении внутренних дел.

— Ну вот, — заключил его рассказ Рябинин, — а ты говоришь, нет детективов.

— По-моему, здесь больше телепатии, — пожал плечами инспектор.

— Сегодня я уже телепатию вспоминал, — усмехнулся Рябинин. — Ну, начнем по порядку. У нас два потерпевших, два эпизода.

Рябинин встал и пошел по кабинету. Инспектор, который уже расслабился, вынужден был подтянуть свои длинные ноги в матово-белых брюках и молочных ботинках.

— Потерпевшие сидели в разных местах?

— Один в углу, второй у входа — разные концы зала.

— Обслуживал один и тот же официант?

— Разные.

— Так. Какой разрыв во времени между эпизодами?

— Пять дней.

— И оба потерпевших отмечают сонное состояние?

— Сначала. А потом теряли сознание.

— Они просто заснули, — буркнул Рябинин.

Он снял очки и стал протирать их, дыша на каждое стекло и засовывая его почти целиком в рот. Петельников ждал, наблюдая за этой процедурой. Рябинин посмотрел очки на свет, надел их, сел за стол и, взглянув на галстук инспектора, сообщил:

— Они наверняка пили водку.

— Водку, — подтвердил Петельников.

— По ее предложению, — утвердил Рябинин.

— Первый по ее предложению, а второго не спросил.

— Можешь не сомневаться, — заверил Рябинин.

— Ну и что? — пожал плечами инспектор. — Кто что любит.

— Вадим! — прищуриваясь, спросил Рябинин. — Ты меня не разыгрываешь?

— Только за этим и пришел.

— Я не верю, что у тебя нет никаких соображений.

Петельников шевельнулся на стуле. Он переложил ноги из-под стола к стене. И уперся в нее, хрустнув теперь грудной клеткой, которой без движения было тесно под пиджаком.

— Понятно, — заключил Рябинин. — Соображение есть, но ты в нем не уверен. И я знаю почему. Мы только что честили писателей, которые закручивают. Еще раз торжественно заявляю: природа, жизнь и преступник без нужды сложных путей не выбирают...

— Думаешь, снотворное? — неуверенно спросил Петельников.

— Разумеется. А посмотри, как все просто и, я бы сказал, красиво. Попробуй женщина обворовать мужчину. Нужно вести на квартиру, а он еще запомнит адрес. Надо напоить, да ведь не каждый напьется. Потом надо лезть в карман. А тут? Снотворное в бутылку — и веди в подъезд или сквер. Просто и естественно. И редко кто пойдет жаловаться: не поймут или постесняются. Да и какие доказательства: пьяный, мог потерять, уронить.

— А снотворное... так быстро и сильно действует?

— Разное есть. Например, барбамил. Есть и посильней, надо в справочнике посмотреть. А с водкой его действие усиливается.

— Почему-то я версию со снотворным отбросил, — задумчиво сказал инспектор.

— В водке горечь или примесь меньше заметна.

Петельников мотнул головой, пытаясь ослабить узел галстука. Но Рябинин знал, что сейчас его давит не галстук, а чуть задетое самолюбие. Так бывало частенько: придет за советом, а получив его, начинает тихо злиться, что не мог додуматься сам. И было не понять — на себя ли он взъелся, на Рябинина ли.

Инспектор еще раз покрутил головой, побарабанил пальцами по столу и уже спокойно спросил:

— Сергей Георгиевич, возьмешь это дело?

— Да оно же...

— Знаю, — перебил Петельников, — не вашей подследственности. Но в порядке разгрузки, а? С начальством я утрясу...

С начальством инспектор утрясет. Но добровольно просить дело, по которому нет ни доказательств, ни преступника, было мальчишеством.

— А я по своей доброй воле заварил эту кашу, — как бы между прочим сообщил инспектор. — Уже зарегистрировал и завел розыскное дело...

— Не хвались, — буркнул Рябинин. — Утрясай и приноси материал.

Петельников шумно вздохнул, будто самое главное было сделано. Рябинин повернул недовольное лицо к окну — опять он влез в трухлявое дело, в котором ни славы не добудешь, ни удовольствия не получишь.

— Только ты ее поймай, — предупредил он инспектора. — Приметы описаны, где она промышляет, известно.

Инспектор смотрел окостеневшим взглядом поверх рябининского плеча, набычившись, будто там, за плечом, увидел ее, белесую Иру-Клаву-снотворницу. Рябинин шелестнул бумагами. Петельников ожил, посмотрел теперь на следователя и заметил:

— По-моему, преступность страшно нерентабельна, занятие для дураков. Выгоднее эту тридцатку заработать, чем так выламываться в ресторане на статью.

— А ты это спроси у нее, — усмехнулся Рябинин, хотя понял, что зря усмехнулся: неглупую мысль бросил Петельников.

— Если придет, сегодня и спрошу, — отпарировал Петельников.

— А-а, — понял Рябинин, — вот почему ты выглядишь киноартистом.

Петельников протянул руку. Рябинин вышел из-за стола и легонько хлопнул его на прощание по плечу.

— Хотя и ресторан, а все-таки операция, Вадим, — серьезно добавил он, — насчет снотворного пока предположение, версия. Впрочем, вряд ли она придет туда после вчерашнего. Завтра утром позвони.

Петельников мог подключить к походу в ресторан — у него не поворачивался язык назвать это операцией — других инспекторов и даже негласных сотрудников. Он мог прийти и опросить о белой Ире-Клаве всех официантов, но что-то мешало ему двинуться по проторенному пути, может быть, необычность дела. Да и не было гарантии, что у нее нет соучастника среди работников ресторана.

Инспектор из-за плеча стоявшего в дверях парня пошарил взглядом по залу — знакомые официанты не работали, значит, мешать никто не будет. И мест свободных пока нет, тоже к лучшему, можно в ожидании столика хорошенько осмотреться.

Глаза инспектора уголовного розыска видят по-особому, ястребиному. В огромном зале, где больше сотни людей ели, пили и колыхались в пепельно-сером дыму, Петельников сразу охватил взглядом трех девиц и стал держать их в поле зрения, хотя сидели они в разных концах ресторана.

Одна худенькая акселерированная девица с бледно-рыжими распущенными волосами... Вторая симпатичная, наверное, небольшая, с черными косами, уложенными на голове, как удавы. А третья — беленькая, с короткой мальчишеской стрижкой и заметной грудью. Других одиноких женщин в ресторане не было. Они ждали не кого-то — они ждали вообще. Петельников не знал, как он это определил, но, кажется, только не умом. Он развернулся и прошел у самого столика, где сидела беленькая. Мелькнуло светлое лицо, редкая челка и большие блестящие глаза, чуть выпуклые, красиво выпуклые, отчего казавшиеся еще больше. Инспектор сразу почувствовал сжатость в мускулах, во всем теле, словно его кто стягивал. И сразу понял, что это все-таки операция, которая уже началась.

Ему захотелось немедленно сесть к ней за столик, но он вовремя удержался — надо все увидеть со стороны. Инспектор направился к черной с косами, которая сидела ближе к беленькой.

— У вас свободно? — спросил он и ослепительно улыбнулся.

— Пожалуйста, — просто ответила девушка.

— Одна скучаете? — поинтересовался инспектор.

— Должен был прийти знакомый офицер. Наверное, задержался на учениях.

Петельников и не сомневался, что тот на учениях.

— Не огорчайтесь, — утешил он. — Я тоже офицер, только переодетый.

— Да?! — задумчиво удивилась девушка.

— Ага, — подтвердил инспектор, но, встретившись с ее серьезным и чуть грустным взглядом, подумал, что зря он так откровенно «лепит горбатого», — девчонка вроде не дура.

— Не возражаете посидеть со мной? — спросил Петельников. — Если, конечно, не явится ваш офицер.

— Да уж сижу, — усмехнулась она.

— Чудесно! — бурно обрадовался инспектор. — Чур, выбираю я. На мой вкус, а?

Она согласилась. Тут инспектор слегка хитрил: у него было маловато денег, и он хотел упредить ее желания, хотя знал, что эти девушки почти никогда сами не выбирают, не то у них положение. Заказал так, чтобы денег на всякий случай осталось. Даже коньяка не взял, а попросил полграфинчика водки, которую не любил.

Беленькая пока сидела одна. Она ничего не заказывала. Но вот поманила официанта, что-то сказала, и тот через минуту принес сигареты. Она закурила.

— Как вас зовут? — спросил Петельников.

— Вера. А вас?

— Гена, — признался инспектор.

Вера ему нравилась. Тихая, нежеманная, с умным глубоким взглядом и косами-удавами, она сидела спокойно, закурила предложенную сигарету, выпила предложенного вина, но водку пить отказалась.

К беленькой подошел немолодой мужчина, склонился и загородил ее лицо — видимо, спрашивал разрешения сесть. Когда он сел, беленькая сразу пропала за его спиной, как за стенкой.

— Не возражаете, если я подвинусь к вам? — спросил Петельников.

— Пожалуйста, — улыбнулась Вера.

Инспектор пересел, и беленькая открылась. Ее сосед уже длинно заказывал официанту, а она красиво курила. Но вдруг беленькая встала и пошла к выходу.

— Извините, Вера, знакомый парень мелькнул в вестибюле.

Петельников шел, идиотски насвистывая. Беленькая спустилась вниз. Он тоже пошел по лестнице. Беленькая дала номерок и получила в гардеробе плащ. Инспектор подошел к швейцару и стал монотонно выяснять, не приходил ли тут его приятель с бородкой, фиксой и в коричневом берете. Она что-то взяла из плаща и пошла обратно. Петельников поблагодарил швейцара и тоже побежал вверх по ступенькам.

— Выпьем, Вера, за начало, — предложил инспектор.

— Начало... чего? — осторожно спросила Вера.

Видимо, она случайно попала на этот пустой ресторанный

конвейер, а может, зашла от одиночества. Сейчас ему выяснять некогда.

— За начало всего, Вера. Какое прекрасное слово — начало. Все в жизни начинается с начала. Знакомство, любовь, человеческая жизнь...

Беленькая со своим сотрапезником подняли по третьей рюмке...

Петельников тоже налил, заставив Веру допить ее бокал.

Беленькая пила вино или курила, пуская конусы дыма поверх головы своего партнера. На эстраде заиграл жидкий, но шумный оркестр. Беленькая сразу встала и грациозно положила руку на плечо своего нового друга.

В третьей, акселерированной рыжей девице Петельников ошибся: оказалось, что она держала столик для шумной студенческой компании.

— В какой области подвизаетесь, Вера? Или учитесь? — спросил инспектор и поднял третью рюмку.

— В пищевой промышленности, — усмехнулась она и отпила полбокала терпкого рислинга.

Петельников считал, что усмехаются только умные люди, вроде Рябинина, а глупые хохочут. Ему не нравилось, что она усмехалась. Можно провести удачно любую операцию, кроме одной — внушить женщине, что она тебе нравится. Но, по его расчетам, внушать осталось не больше часа.

— Надеваете эскимо на палочку? — как можно интимнее спросил инспектор.

— Нет, потрошу курей на птицефабрике.

Разговор не клеился, но ему было не до разговора. Он налил себе четвертую рюмку, чтобы заняться ею и помолчать, скосив глаза к беленькой.

Ее мужчина куда-то ушел. Она копошилась в сумочке, быстро вертя в ней руками, будто лепила там пирожки. Инспектор пил противную водку, не чувствуя вкуса.

— Гена, вы кого-то ждете?

— А?

Беленькая что-то нашла в сумке. Но в это время вернулся мужчина и, садясь, загородил ее спиной. Петельников даже дернулся, расплескав остатки водки на подбородок.

— Спрашиваю, вы кого-нибудь ждете?

— Я?

Когда мужчина сел, сумочка уже стояла на столе. Беленькая невозмутимо курила. Всыпала она свое зелье или ухажер помешал?..

— Что вы, Вера, кого мне еще ждать!

— Какой-то вы странный.

— Да что вы, Веруша, заурядный я, как килька.

Он внимательно посмотрел на нее — не ушла бы, разобиженная. Вера сидела, скучно уставившись в скатерть.

— Давай еще пропустим, — предложил Петельников и зевнул.

Он налил ей сухого, взболтнул свой графин и выплесиул остатки водки в рюмку. И тут же опять зевнул.

— Пардон, — извинился инспектор, махом выпив безвкусную для него жидкость.

Беленькая сидела спокойно, как курящая кукла. Но Петельников смотрел не на нее — теперь он смотрел на него, на мужчину. Тот вдруг как-то волнообразно зашевелил телом, завертелся хорошим штопором в сильных руках. Петельников напрягся, всматриваясь, что с этим мужиком будет дальше. Но тут и беленькая девица волнообразно вздрогнула, будто перед глазами инспектора неожиданно заклубился пар. Он решил, что они сейчас оба свалятся, но не дождался — сильная зевота схватила уже все лицо. Он зевнул несколько раз подряд, отключаясь, как при сладком чихе. Перестав, Петельников огляделся, но зевота опять подступала к челюсти. Зал гудел где-то вдалеке, словно за окном. Дым сгустился, или туман вдруг окутал людей... Сдвинуть бы два стола и лечь на них... Ему стало все равно, ни до чего теперь не было дела — только сдвинуть бы два стола, лечь на них и зевать, зевать...

Он резко вскинул голову, которая ползла вниз, и посмотрел на Веру. И сразу уперся в тягуче-холодный медленный взгляд недрогнувших глаз.

— Вера... работаешь на фабрике...

— Да. Полупотрошу кур.

Петельников собрал все силы, чтобы оторваться от этого взгляда:

— Выйду... Сейчас вернусь...

Он встал, звякнул посудой и пошел, шатаясь и взмахивая руками. Только бы добраться до телефона-автомата в вестибюле. Он даже попросил у швейцара две копейки и уже вроде бы набрал номер, но тут увидел перила. Петельникову пришла мысль положить голову на синтетическую ленту перил и так говорить по телефону — не помешает же. Он прильнул лбом к прохладной поверхности, сразу обмякнув телом. И тут же встретился с томно-напряженным взглядом Верниных глаз — она спускалась по лестнице.

Петельников улегся грудью на перила, и ему стало на все наплевать.

Перед Рябининым белел лист бумаги, чистый, как лесной снег. Юркову исполнялось сорок лет. По каким причинам, Рябинин и сам не понял, но местком поручил ему придумать поздравительный текст для открытки, желательно стихами. Вот поэтому лист бумаги и белел уже полчаса.

Рябинин в очередной раз взял ручку, потер виски, стараясь взбудоражить мысль, и аккуратно вывел:

Наш Володя молодчина.
Сорок стукнуло ему.

Дальше нужна была рифма. Рябинин вздохнул, ухмыльнулся и добавил:

Все такой же он детина.
Дел кончает больше всех.

Время тратилось явно зря. Рябинин стихи любил читать, но никогда их не писал.

Затрещал телефон. Рябинин взял трубку, решив, что не будет писать поздравление Юркову, пусть кто-нибудь другой.

— Сергей Георгиевич, — послышался звонкий голос, — вытрезвитель тебя беспокоит.

— А-а, Иван Савелович, привет, — узнал он моложавого майора. — Вроде бы моих подопечных в твоем богоугодном заведении нет.

— У меня тут скользкий вопросик, — замялся майор. — Не можешь сейчас подъехать?

— Ну, смотря зачем, — замялся и Рябинин.

— В вытрезвитель попал в невменяемом состоянии инспектор Петельников.

Рябинин почувствовал, как повлажнела телефонная трубка и сел его голос, хотя он еще ничего не сказал, — голос сел без звука, тихо, внутри.

— Иван Савелович, — сипло произнес Рябинин, — выезжаю.

Петельников спал в кабинете начальника медвытрезвителя на широком черном диване, лицом к спинке. Было десять часов утра.

— Надо бы сообщить начальнику райотдела, — сказал майор.

— Иван Савелович, даже если бы он не ходил на задание, я бы все равно не поверил, что Вадим может напиться, — возразил Рябинин.

— Так-то оно так, — неуверенно согласился майор, — да ведь порядок такой.

— В конце концов, я вас лично прошу.

— Ладно, шут с вами, — согласился Иван Савелович и махнул рукой, — скрою этот факт.

Они говорили вполголоса, словно боясь разбудить Петельникова, хотя как раз этого и ждали.

— Вы... дружите? — спросил майор.

— Скорее всего так. Да и работаем по делам сообща.

Петельников вдруг поднял голову, рассматривая черную спинку дивана. Потом повернулся к ним и сел так резко, что Рябинин, приткнувшийся в его ногах, отпрянул. Инспектор, как глухослепонемой, несколько секунд сидел неподвижно, ничего не понимая. Мысль вместе с памятью возвращалась к нему медленно. Он вскочил, зашагал по кабинету. Майор и Рябинин молчали. Петельников ходил по комнате, как волк по клетке, поскрипывая зубами.

— Вадим, успокойся, — сказал Рябинин.

Инспектор вдруг сильно выругался и начал ощупывать кар-

маны в своем серебристом костюме, который даже после бурной ночи не пострадал.

— Удостоверение? — быстро спросил Рябинин.

— Цело, — буркнул Петельников. — Где меня взяли?

— Спал в подъезде на полу, — сердито ответил майор.

— А деньги? — еще раз спросил Рябинин.

— Пустяки, двадцать рублей было.

Инспектор еще пошарил по карманам и опустился опять на диван. Он о чем-то сосредоточенно думал, хотя все знали о чем. Иногда потирал лоб, или почесывал тело, или шевелил ногами, словно все у него зудело.

— Вот так, Иван Савелович, — зло сказал Петельников, — теперь могу рассказать подробно, как обирают пьяных.

И он опять скрипнул зубами.

— Вадим, нам нужно срочно работать, — предупредил Рябинин.

— Дайте мне электробритву, — попросил инспектор майора. — Пойду умоюсь.

— Вы тут, ребята, обсуждайте, а у меня свои дела.

Иван Савелович дал бритву и ушел. Минут пятнадцать Петельникова не было, только где-то жужжал моторчик да долго лилась вода. Когда он вернулся, то был уже спокоен и свеж, лишь небольшая бледность да необъяснимый, но все-таки существующий беспорядок в костюме говорили о ночи.

— Стыдно и обидно, Сергей Георгиевич, — признался Петельников и начал подробно, как это может работник уголовного розыска, рассказывать о вечере в ресторане.

Рябинин слушал, ни разу не перебив. Да и случай был интересный, детективный. Он был вдвойне интересен тем, что произошел не с гражданином Капличниковым или гражданином Торбой, а с инспектором уголовного розыска. И втройне интересен, что этот самый инспектор пошел ловить ту самую преступницу.

Петельников кончил говорить и буркнул:

— Спрашивай.

— Твое мнение?

— Самый натуральный гипноз.

Рябинин улыбнулся и даже поежился от удовольствия:

— Жуткий случай, а?

— Меня не тянет на юмор.

— Вот его-то тебе сейчас и не хватает, — серьезно заметил Рябинин. — Пока тебя не потянет на юмор, мы ничего толком не сможем обсудить.

Рябинин вскочил и пошел кругами вокруг стола, ероша и без того взбитые природой волосы. Петельников удивленно посмотрел на него — следователь ходил и чему-то улыбался.

— Тебе же повезло! И мне повезло. Да неужели не надоели эти однообразные дела, стандартные, как кирпичи?! «Будучи в нетрезвом состоянии... из хулиганских побуждений... Муж бьет жену... Ты меня уважаешь... Вынес с фабрики пару боти-

нок...» А тут? Какая женщнна, а? Она же умница. Наконец перед нами достойный противник. Есть над чем поработать, есть с кем сразиться!

— У меня болит правый бок, — мрачно вставнл Петельников.

— Сходи в баню, попарься березовым веничком. Иди сегодня, а завтра надо приступать.

— К чему приступать?

Рябинин сел на диван рядом с инспектором и уставился в его галстук, на котором серебро и киноварь бегали десятками оттенков.

— Красиво, — заметил он. — Ну так что, Вадим, вся эта история значит?

— Серьезно, Сергей Георгиевич, грешу на гипноз. В общем, какая-нибудь телепатия.

— В принципе телепатию я не отвергаю. Но ты опять пошел по сложному пути, а я тебе, помнишь, говорил — природа и преступники выбирают самые краткие и экономичные дороги.

— Девка-то совсем другая! Ничего общего с той, которую описали ребята...

— Что ж, она изменила свой облик?

— Их работают двое, — вдруг сказал Петельников.

Рябинин отрицательно помотал головой и медленно спросил:

— Вадим, на первом курсе всегда рассказывают случай, как во время лекции на юрфаке вошел пьяный и начал приставать к профессору.

— Помню, инсценировка. А потом студенты описывают, и каждый по-разному. А-а, вот ты к чему. Но показания наших ребят в общем-то совпали.

— Совпали, — тягуче подтвердил Рябинин.

Он говорил, будто ему страшно не хотелось выталкивать слова изо рта, будто они кончились. Для ясных слов нужна ясная мысль, а его мысль, почти ясную, нужно еще проверять.

— Есть величины постоянные, а есть величины переменные. Если, конечно, такие понятия применимы к человеческому облику. Что мы отнесем к постоянным признакам?

— Ну, рост, плюс-минус каблуки... Комплекцию, цвет глаз... — перечислял Петельников.

— Вот и давай. Твоя Вера какого роста?

— Чуть ниже среднего. Не полная, но плотная, с хорошими формами, такими, знаешь... — Инспектор изобразил руками волнистое движение.

— Чудесно! Ира-Клава ведь тоже такая. Глаза, взгляд?

— Ну, большие... Цвета не рассмотрел, но взгляд вроде задумчивого, смотрит и не спешит.

— Прекрасно! Про такой взгляд говорил и Капличников, — обрадовался Рябинин.

— Сергей Георгиевич, да не может быть! Черные косы вокруг головы, темные широкие брови, знаешь, такие, как их называют... кустистые.

— А это, Вадим, величины переменные. В наш век косметики, синтетики, парников, шиньонов и синхрофазотронов из белой стать черной не проблема.

Теперь Петельников молчаливо впёрлся взглядом в следователя, оценивая сказанное. Рябинин, словно перевалив груз на чужие плечи, расслабился, встал с дивана и сел на край стола. Он молчал, давая инспектору время переварить эту мысль.

— Ну, Вадим, как?

— Не укладывается.

— Подумай, попримеряй к ней. Оно и не должно укладываться. Ты был настроен на беленькую девушку, у тебя сложился определенный образ. Ты от нее уходил?

— Да, за беленькой.

— Ну вот... Капличников и Торба тоже уходили.

— Черт его знает, возможно, — задумчиво произнес Петельников, но было видно — он сейчас не здесь, а там, в шумном ресторане с черной Верой, вспоминает все, что только можно вспомнить. Его грызло уязвленное самолюбие, грызло вместе с ноющим простуженным боком: девчонка разделалась со старшим инспектором уголовного розыска, капитаном милиции, как хоккеист с шайбой. Он пошел ее ловить, а она его ограбила.

— Сергей Георгиевич... — начал Петельников, замолчал, согнулся и что-то поднял с пола. — Вот... кнопку нашел.

— Вадим, об этом случае никто не узнает, — твердо заверил Рябинин.

— Если ее не поймаю, то уйду из уголовного розыска, — мрачно заявил Петельников.

— А я из прокуратуры, — улыбнулся Рябинин и подумал, что теперь уголовное дело в его производстве и провал инспектора — провал следователя.

Следствие не началось, а провалы уже есть. Впрочем, он не знал ни одного серьезного дела, в котором не делались бы ошибки. Не было еще в природе штамповочной машины, выбрасывающей на стол прокурора новенькие блестящие дела.

— А что с удостоверением? — переспросил Рябинин.

— Его век никому не найти.

— Очень хорошо, — довольно поежился следователь.

— Думаешь, украла бы?

— Спугнулась бы наверняка. Теперь мы знаем, где ее искать. Ну, Вадим, спать пойдешь?

— Чего мне спать... Выспался, — усмехнулся инспектор.

— Тогда поехали ко мне составлять план следственных и оперативных действий. А в баню вечером сходишь...

Леопольд Поликарпович Курикин зашел в мебельный магазин, побродил среди диванов и что-то шепнул продавцу. Тот пропал за маленькой дверью и привел лысого, но все-таки удивительно черного человека — даже лысина была темная, словно закоптилась. Курикин отошел с ним в сторону и долго говорил вполголоса. Черный человек округлял большие глаза и

раза два ударил себя в грудь. После третьего удара Курикин пожал ему руку и довольный вышел из магазина — об импортном гарнитуре он договорился.

Стоял тихий теплый вечер, который выдается после дневного сильного дождя. Асфальт прохладно сырел под ногами. Из скверов, со дворов, с подоконников пахло зеленью и задышавшей землей. Как-то мягче, по-вечернему, зашуршал городской транспорт, назойливый и неумолчный днем.

В такой вечер идти домой не хотелось. Тем более грешно идти домой, если жена с ребенком уехала в отпуск. Курикин бесцельно шел по улице. К центру города все оживлялось: больше бежало троллейбусов, ярче светились рекламы, шире стали проспекты и чаще встречались девушки в брючках.

Оказалось, что цель была давно, может быть, уже в час отъезда жены, а может, еще и до отъезда.

Курикин вытер для приличия ноги о металлическую решетку и вошел в вестибюль ресторана «Молодежный», отвернувшись от швейцара, чтобы не видеть его приветствия и потом не давать чаевых.

В ресторане Курикин решил сначала осмотреться. Не щей поесть пришел, а уж если тут, то программа должна вертеться на полную катушку. В вестибюле свободных «кадров» не было. Он поднялся по лестнице к залу и сразу смекнул, что здесь «клюнет». Одна девица в макси тосковала у зеркала, обиженно посматривая на часы, — эта ждала своего. Вторая, в мини, сидела развалясь и держала в пальцах незажженную сигарету. Курикин повертел головой и прошелся по холлу, как спортсмен перед стартом. Он рассматривал ее фигуру. Дело решили полные крутые бедра.

Он встал ближе, но девушка сразу спросила:

— Спичек не найдется?

Курикин элегантно щелкнул зажигалкой. Они перебросились словами, стертыми до бессмысленности. Потом он бросил ей пару слов уже со смыслом. Она откинула с лица прядь каштановых волос и посмотрела на него проникновенно. Курикин на этот счет не беспокоился: он знал, что его крупные черты лица женщинам нравятся.

— Такие мужчины на улице не валяются, — заявил Курикин, имея в виду себя.

— Почему ж, — усмехнулась она. — Я у ларьков видела.

— Вы меня оскорбили до глубины мозга костей, — шутливо надулся он, и она даже засмеялась: смешно, когда по-детски надувается человек, у которого могучие челюсти.

— Чем могу искупить вину? — поинтересовалась она.

— Выпить со мной рюмочку коньяка.

— Только одну, — предупредила девушка, рассматривая его томно отрешенным взглядом. — И лучше водки, терпеть не могу коньяк.

— С вами готов хоть рыбий жир, — подхватил ее под ру-

ку Курикин и подумал, что с женой так складно не говорилось.

Они вошли в зал. Перед ними тут же вырос, как джинн из дыма, корректный метрдотель в очках, с белой пенистой бородкой.

— Прошу вот сюда, прекрасное место, — повлек их метр к столику на четверых.

— Лучше туда, — не согласилась она и показала в углу столик на троих.

Курикин сделал небольшой заказ, глянул на девушку и добавил, чтобы не посчитала скупым:

— Пока. Для разгона.

Курикин повернулся, ощутил боком пятисотрублевую пачку денег, лежавшую в таком кармане, каких ни у кого не было, и спросил:

— Ну, как тебя зовут?

Рябинин считал, что у следователя в производстве должно быть одно уголовное дело; мысль с волей должны сфокусироваться на одном преступлении.

Во всем остальном он любил многоделие, чтобы его ждали разные начатые работы, как голодные дети по углам. Ему нравилось что-нибудь поделать и перейти к другой работе и в другое место. Он и книг читал сразу несколько.

В восемь часов Рябинин пришел домой. Лиды не было — уехала в командировку. Наскоро выпив чаю и минут десять попыхтев с гантелями, он сел за письменный стол. По просьбе журнала «Следственная практика» Рябинин третий день писал статью о своем старом деле: расследование убийства при отсутствии трупа. Интересно устроена память следователя. У него она была в общем-то плохая: забывал адреса, фамилии людей, мог заблудиться где-нибудь в микрорайоне... Но когда он вел следствие — месяц, полгода ли, — то абсолютно все держал в голове; помнил всех свидетелей, будь их хоть сотня; все показания, даже путаные, каждую деталь — пятно крови на асфальте или слезу на допросе; и уж никогда не забывал места происшествий. Вот и сейчас писал статью по памяти, даже не заглядывая в старые записи.

Зазвонил телефон. Рябинин сегодня не дежурил, да мало ли кто мог позвонить вечером?

— Начинаем, — услышал он глуховато севший голос Петельникова. — Она здесь и взяла клиента.

— Точно она? Не ошибся?

— Теперь ее лицо до смерти буду помнить, — усмехнулся в трубку инспектор.

— Осторожно, Вадим. Смотри не покажись ей.

— Все идет в норме. Я буду позванивать.

— Обязательно. Задержание с понятыми проведу сам, как и договорились. Может, мне уже выехать?

— Я тогда позвоню.

Петельников положил трубку. Наверное, звонил из кабине-

та директора ресторана. Рябинин отодвинул статью. Он не волновался, но пропало то спокойствие, которое необходимо для творчества. Сразу по-другому обернулся тихий домашний вечер — пропала уютность, иначе засветила большая бронзовая лампа, иначе затускнели книжные корешки на стенах и совсем лишним глянулся мягко-расслабленный диван. Мир изменился в секунду. Даже по Лиде заскучал меньше — обычно без нее места не находил. Рябинин посмотрел на свои тапочки и понял, что он уже на дежурстве.

Время сразу пошло медленнее. Есть у него такое качество, у времени: тягуче плестись, цепляясь стрелкой за стрелку, когда человек ждет не дождется... Вообще останавливаться, когда у человека горе... И нестись, как кванты света, когда выпало человеку счастье.

Рябинин решил заняться другой работой. Он собирал все, что попадалось ему по психологии, — уже полка книг стояла. На журнальные статьи писались карточки. Еще завел картотеку на ту психологическую литературу, которой у него не было, но она существовала в других местах. Рябинин вытащил пачку журналов «Наука и жизнь» за прошлый год, при чтении которых выделил статьи, и теперь размечал их по карточкам. Работа была кропотливая, но интересная тем, что копила мысли и духовный труд людей. Психология для следователя всегда будет...

Звонок телефона оборвал его мысль резко, будто ток разомкнул. Рябинин снял трубку и посмотрел на часы — уже десять...

— Они уходят, — тихо сообщил Петельников.

— Прекрасно, сейчас я...

— Они договорились к ней домой, — перебил инспектор. — Он только пьян...

— Кто-то ее спугнул, — решил Рябинин.

— Некому. Только вот официант.

— Кто он?

— Инспектор Леденцов. Что будем делать? Они берут такси...

— Следите и узнайте адрес. Еще и лучше.

Рябинин хотел добавить, но трубка уже пищала.

Что-то Ире-Клаве-Вере показалось там подозрительным, но не настолько, чтобы все бросить и уйти. Осторожничала снотворница. И все-таки при всей ее хитрости она действовала рискованно — ходила в один и тот же ресторан, да так часто. Он знал, что это сработал могучий стереотип, всесильный консерватизм: получилось раз-два — и она теперь будет промышлять в «Молодежном», пока не увидит серьезную опасность.

Рябинин опять сел за карточки, чтобы вывести четким красивым почерком имя автора, название статьи, номер журнала и год издания. Особенно ему нравилось находить статьи для шифра «СП», что значило «Судебная психология».

Теперь телефон зазвонил через полчаса.

— Да? — почему-то тихо спросил Рябинин, хотя он мог кричать на всю квартиру.
— Все, — сдерживая радость, хрипло сказал Петельников, — птичка в гнездышке
— Ну-у!
— Вошли в квартиру. Теперь никуда не денется.
— Вадим, надо не только поймать, но и доказать.
— Так что? Будем задерживать?
— Ни в коем случае! Войдешь ты в квартиру, они сидят выпивают — и что? Здравствуйте, я насчет обмена?
— Ну а как?
— Подождите, пока он выйдет. Тут же его опросить, прямо на улице. Теоретически он должен войти с деньгами, а выйти без них. Вот тогда сразу обыск.
— Он может выйти под утро.
— Скорее всего так. А что делать?..
— Ну ладно, Сергей Георгиевич, спать не будешь?
— Какой уж тут сон.

А спать следовало бы: тот гражданин и верно мог выйти только под утро. С задержанием преступницы Петельников справился бы и без него, но Рябинин думал о доказательствах, которые можно получить сразу в квартире. Оба они делали одно дело, но делали его по-разному. Их работа была похожа на две прямые, которые то идут параллельно, то пересекаются. Обычно люди не отличали работника уголовного розыска от следователя — всех называли следователями. Даже в книгах и телевизионных передачах инспекторов уголовного розыска называли следователями. Когда интересовались, чем же отличается инспектор от следователя, Рябинин объяснял на примере: вот человек выхватил у кассира деньги и побежал. За ним бросился инспектор уголовного розыска, задача которого поймать. Догнал, схватил, задержал, но преступник вдруг заявляет: «А это не я украл». Вот тут и появляется следователь, который должен разобраться.

Теперь, кажется, не прошло и получаса. Рябинин схватил трубку:

— Сергей Георгиевич, полный ажур!

У Петельникова даже голос изменился, работал на каких-то более высоких частотах.

— Ну, давай-давай, не тяни.
— Он моментально выкатился...
— Это странно, — буркнул Рябинин.
— Мы тут же с ним поговорили. — Инспектор от радости не обратил внимания на слова Рябинина. — На пятьсот рублей наколола. Этот парень прямо при нас карман и вывернул...
— Вадим! Постановление мое у тебя есть. Бери понятых и начинай обыск. А я выезжаю.

Петельников позвонил коротко: пусть думает, что вернулся Курикин. Отстранив Леденцова, совсем молодого рыжего опе-

ративника, который рвался вперед, надавил кнопку еще. За дверью зашаркали ленивые шаги. Петельников приготовил ответ, но ничего не спросили — звякнула цепочка, и дверь распахнулась широко и свободно.

В прихожей стояла невысокая девушка, миловидная, в цветастом зеленовато-белом халатике, с короткой светлой челкой — стояла как березка на обочине. Петельникову в какой-то миг даже показалось, что он попал совсем не туда и надо немедленно извиниться. Но тут же задумчиво-волоокий взгляд не от мира сего уперся ему в глаза. Взгляд был спокоен, будто ничего не случилось и никогда ничего не случится. Она узнала его сразу; он видел, что узнала, хотя у нее и голос не дрогнул.

— Вам кого? — вежливо спросила она.

— Тебя, милая, — ответил Петельников и шагнул в квартиру. За ним гуськом потянулись понятые, участковый инспектор и Леденцов. Все сбились в передней, кроме Петельникова, который для начала быстро обежал квартиру — нет ли кого еще.

— Хам, — пожала она плечами.

— Так, — сказал Петельников, вернувшись в переднюю. — Товарищи понятые, садитесь и смотрите, что мы будем делать. А вы, гражданка, предъявите свои документы.

— Дайте переодеться, — попросила она и повернулась.

Сразу все увидели, что халатик на ней детский не детский, но почти все ноги открыты.

Петельников взял со стула юбку с кофтой, глянул, нет ли карманов, и протянул ей. Она лениво приняла одежду и пошла на кухню, словно угадав мысль инспектора, который не хотел, чтобы она закрывалась в ванной. На кухне было спокойнее: квартира на пятом этаже, в окно не выскочит и будет на глазах. Инспектор побрел за ней, как верный пес.

В кухне она усмехнулась:

— Может, отвернешься?

Петельников отступил в коридорчик, повернулся к ней спиной и начал рассматривать комнату, часть которой была ему видна.

Квартира удивила инспектора. Он думал, что попадет в проспиртованный притон, но оказался в чистенькой, уютной квартирке в старом доме с четырехметровыми потолками и лепными карнизами. Красивые, со вкусом подобранные обои... Книжные полки, подсвечники... На стене висит «Даная» Рембрандта... На столике пишущая машинка и журналы... И какой-то особенный уют, который бывает только в девичьих комнатах, куда не ступает нога мужчины.

Петельников слышал, как она одевается: щелкает резинками, натягивает чулки и вжикает «молниями». Он смотрел на букет цветов, который стоял на стеллаже и, казалось, был подобран по всем правилам японской икебаны. В такой квартире читать стихи при свечах, а не обыск делать.

Она еще пошуршала за спиной и затихла.

— Все? — спросил Петельников.

Она молчала. Ее можно было оставить на кухне под присмотром Леденцова, но обыск рекомендовалось делать в присутствии подозреваемого.

— Ну все? — еще раз спросил инспектор и шелохнулся, показывая, что сейчас войдет.

Она молчала. Петельников резко обернулся и шагнул в кухню — там никого не было. Он бросился к окну и рванул раму, но та оказалась запертой на шпингалеты — значит, не открывалась. Петельников пробежал ванную и туалет, хотя знал, что она могла туда пройти только мимо него. Инспектор опять, уже вместе с Леденцовым, влетел в кухню, непроизвольно дотронулся рукой до пистолета.

Ее не было, словно она растворилась в воздухе вместе со своими оригинальными духами, которыми еще пахло. А может, пахнул халатик, брошенный на стул.

На второй день Рябинин сидел у себя в кабинете и смотрел в тусклое, мутное небо — кусок неба, потому что в городе небо только кусками. Дождя не было, но облака набухли и ползли упорно, набухая все больше.

Инспектор ерзал на стуле, хотел сесть поудобнее, и все никак не получалось. Бывают в жизни такие неудобные стулья.

Работники приходили в уголовный розыск и уходили, ошарашенные темпом, стилем и спецификой; уходили, ничего не увидев, кроме мотания по городу и бессонных ночей; уходили в отделы сбыта и кадров, переучивались, устраивались — уходили, как туристы из музея. Оставались прирожденные сыщики. И сидели на этих жестких неудобных стульях, которые они, и сами не зная почему, не променяли бы ни на какие кресла. Но сидеть было неудобно. Стул скрипел, скользил по полу, будто хотел вырваться из-под инспектора.

— Да не ломай ты мебель, — ворчливо бросил Рябинин.

— Сергей Георгиевич, ну чего ты на меня взъелся?! Отвыкли мы от старых домов и от черных лестниц! Не могу же я все предвидеть...

Рябинин словно ждал этих слов — молчавшего ругать труднее. Он вскочил и пробежался по своему трехметровому кабинету.

— С вытрезвителем, Вадим, я тебе ни слова не сказал. Там ошибиться мог каждый. Но тут! Уже знал, с кем имеешь дело! Черт с ней, с черной лестницей... Почему оставил одну переодеваться?!

— Женщина ведь.

— Понятую бы посадил в кухне, дворничиху. А деньги? Мы их не нашли. Значит, взяла с собой.

— Кофту и юбку я проверил.

— А лифчик ты проверил? А кухню ты проверил, прежде чем пускать ее? Интересно, что тебе сказал начальник уголовного розыска?

— Неприличное слово, Сергей Георгиевич, — вздохнул Петельников.

Инспектор сидел розовый и чем-то непохожий на себя. Следователь замолчал, пытаясь понять, чего же не хватает Петельникову... Самоуверенности. Он потерял самоуверенность, которую обычно носил на себе, как значок. И она шла к нему — вот что странно.

Рябинин кашлянул, чтобы перейти на другой тон, и сказал уже спокойно:

— Чего я злюсь, Вадим... Такой случай больше не представится. Как ее теперь ловить? Жди, когда и где она всплывет...

— Теперь мы знаем ее фамилию. Карпинская Любовь Семеновна, двадцать восемь лет...

— А что толку? Прописываться она же не будет.

Петельников медленно и невкусно закурил.

— Глаз-то должен быть у тебя зоркий... На кухонной стене висит ковер... Ну кто вешает на кухне ковры?

— Мало ли... Безвкусица, — вяло возразил Петельников.

— Хотя бы вспомнил «Золотой ключик», картину у папы Карло, под которой была дверь. Впрочем, чего я ворчу — у тебя начальник есть. А мне вынь ее да положь.

Петельников сунул руку в широкий карман плаща и действительно вынул и положил катушку с магнитофонной пленкой.

— Вот, в порядке компенсации.

— Где записали?

— В такси.

Рябинин открыл нижнее отделение сейфа и достал портативный магнитофон. По обыкновению, тот ему не давался, как и всякая техника вообще. Он крутил, щелкал кнопками, чертыхался и делал вид, что тот неисправен. Петельников встал, лениво протянул длинные руки, незримо отстранив следователя. Магнитофон сразу гуднул и дернулся катушками. Сквозь скрип и шум, как из космоса, послышались голоса:

«— Понимаешь... Ты мне с первого взгляда пришлась... Один к одному...

— Как это: один к одному?

— Ну, в смысле раз на раз не приходится.

— Вот теперь понятно. Ты только сиди прямо.

— Курикин сидит, стоит, ходит... живет... прямо. У тебя хата приличная?

— Для тебя сойдет.

— А выпить найдется?

— Ты же в ресторане взял.

— Ты мне сразу... один к одному...

— Понятно: раз на раз. Только не хватай в общественном месте.

— Ты Курикина пойми... У меня жена номер четыре...

— Ясно. А ты, как в ботинках, гони до сорок третьего номера.

— ...Оказалась хуже трех, вместе взятых.

— Чего ж так?

— На почве семейной неурядицы. Смазливая, но тупая. Живу с ней и чувствую — обрастаю собачьей шерстью.

— Дети-то у вас есть?

— Двое. Но я с ней ничего общего не имел.

— Все вы не имели.

— Скажи, ты меня в данный момент уважаешь?

— Вылезай, философ...»

Что-то заскрежетало, звякнуло, и пошел ровный бессловесный шумок.

— Да, маловато, — сказал Рябинин.

— Все-таки, — пытался хоть в этом сохранить позиции Петельников.

— Это не доказательство. Ты же знаешь, что идентифицировать голоса трудно. Она скажет, что не ее голос — и все. А текст в себе ничего не несет. Кроме одного: он пьяный, а она трезвая.

— Думаешь, она домой не вернется?

— Не считай ее дурнее нас.

— Что же придумать?..

Рябинин полистал протокол допроса Курикина, с которым он говорил в жилконторе сразу после обыска.

— Уже немало. Первое: в ресторанах Карпинская больше орудовать не будет. Второе: она обязательно проявит свои криминальные способности в другом месте. Это не та натура, чтобы сидеть в тени.

— Да, эта не засидится, — согласился инспектор.

— Ждать. Попробуй посмотри связи по месту жительства. Но это ничего не даст: не такой человек, чтобы наследить. А я пока дело приостановлю.

Петельников ждать не любил — он мог только выжидать. А теперь, когда второй раз упустил эту Карпинскую, ждать не хватало сил.

— Я буду искать. Должны быть родственники, приятели, прежняя работа... Имя-то ее известно.

— Ищи, на то ты и сыщик, — вяло улыбнулся Рябинин и предложил: — А поехали-ка со мной на ее квартиру...

Рябинин решил провести повторный обыск, хотя деньги она наверняка вынесла. Прошлой ночью, расстроенные, они в квартире покопались кое-как. И теперь он хотел осмотреть внимательно и спокойно, надеясь на какую-нибудь улику.

Лицо, одежда, манеры говорили о человеке много, но квартира рассказывала все. Она не могла утаивать, потому что была многолика. Квартира сообщала о характере, вкусе, привычках, здоровье и, самое главное, о стиле. О работе квартира иногда рассказывала больше, чем рабочее место.

Рябинин стоял посреди комнаты, медленно обводя взглядом стены и не зная, с чего начать. Начал с книг.

Три полки, сделаны хорошо и со вкусом, но художественных книг мало и собраны случайно, наспех. Паустовский стоит новенький, зато Конан-Дойль заметно потрепан. Некоторые книги томятся в желтых картонках, чего он терпеть не мог. Рябинин взял толстый коричневый том — «Кристаллография». Рядом оказалось «Геологическое картирование».

Он перешел к столу с пишущей машинкой. «Геохимия»... Большой кристалл флюорита — дымчато-лилового, как сирень во льду. Иероглифические студенческие конспекты... Пачка чистой бумаги... Выходило, что за этим столом работали.

На другом столике, маленьком и круглом, как поднос, стояли цветы. Он скользнул взглядом по вазе между прочим, но что-то заставило на ней задержаться. Это «что-то» Рябинин понял не сразу — красивый букет был собран из самых простых полевых цветов: даже лютики желтели, даже был какой-то красный колючий цветок, который вроде бы назывался чертополохом... По краям ваза зеленела листьями мать-и-мачехи. Видеть вещи, квартиру без хозяина всегда грустно — даже при обыске.

Рябинин поднял голову от букета — на стене, над цветами, висела миниатюрная полочка с несколькими томиками стихов. Между книгами, в узких проемах, как на витрине сувенирного магазина, кучками сбились разные жирафы, мартышки, негритята... И дань моде — свеженькая икона, веселая, как натюрморт.

Он опять направился к столу, выдвинул нижний ящик и начал разбирать кипу бумаг. Петельников их ночью перелопатил, искал деньги, но Рябинин искал сведения о личности. Он разглаживал справки, разворачивал листки, раскатывал рулоны и разлеплял конверты. Сомнений быть не могло — она работала или работает в геологическом тресте, который он хорошо знал.

Шумно вернулся из жилконторы Петельников и подсел к ящику.

— Вадим, вполне очевидно, где она работает.

— Я тоже установил: ездит в экспедиции.

С самого низа ящика инспектор вытянул громадный альбом и несколько пакетов с фотографиями. Теперь он рассматривал каждую карточку — искал знакомое лицо.

Следователь пошел на кухню, кивнув понятым, которые направились вслед. Халат Карпинской по-прежнему лежал на стуле. Видимо, у Рябинина сработала ассоциация: дома, когда тоска без жены доходила до предела, он шел в ванную и нюхал Лидин халат, словно утыкался в ее грудь. И теперь у него сразу мелькнула мысль об одорологии — хоть здесь обратиться к криминалистике.

Рябинин шагнул и понюхал халат.

— Странные духи, — буркнул он и достал из портфеля полиэтиленовый мешок.

В нормальных температурных условиях запах держался часов двадцать. Халат, который надевался почти на голое тело, держал запах дольше. Рябинин достал из портфеля большой пинцет и на глазах удивленных понятых затолкнул халат в мешок, как пойманную кобру, — руками его трогать не рекомендовалось, чтобы не привнести свой запах.

Упаковав халат, он вернулся в комнату. Петельников досматривал фотографии. Кроме недоумения, на лице инспектора ничего не было. Рябинин его сразу понял.

— Не нашел?

— Не нашел, — ответил он и швырнул в стол последний пакет.

— Может, не узнал? Фотография ведь...

— Ничего похожего! Лиц много, а ее нет. Выходит, спрятала все фотографии?

— Чего ж ты удивляешься, — спокойно сказал Рябинин. — Меня другое удивляет. Человек с высшим образованием, геолог, а по совместительству воровка и мошенница. Как это понять! У тебя такие преступники были?

Петельников отрицательно качнул головой.

— Вот и у меня не было, — вздохнул Рябинин и сел писать протокол.

Изымал он только один халат. Парики, бутылка коньяка и отпечатки пальцев были изъяты ночью.

— Может быть, Сергей Георгиевич, она преступница века? — мрачно предположил инспектор.

Неужели она, преступница века, образованный человек, не понимала, что ей некуда деваться? Квартиры не было, работы не было, под своей фамилией жить нельзя — только временное существование под фальшивым именем.

— Вадим, — сказал Рябинин, защелкивая портфель, — пожалуй, ее квартира больше вопросов поставила, чем разрешила.

— Странная девка, — согласился Петельников. — Сейчас поеду в трест.

Рябинин подошел к шкафу, открыл его, начал рассматривать платья, кофты, пальто... И вдруг невероятное подозрение шевельнулось в нем, как зверь в норе. Рябинин усмехнулся, но у подозрения есть свойство засесть в голове намертво и его оттуда уже ничем не вышибешь — только доказательствами. Петельникову он решил пока не говорить.

Инспектор склонился к нему и полушепотом, словно обнаружил Карпинскую под кроватью, сказал:

— Пойдем выпьем по бутылочке пивка.

— Пойдем, — вздохнул Рябинин.

Он не сказал ему о том, что увидел в шкафу.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

На второй день Рябинин загорелся надеждой от простой мысли: если ее ухажеры теряли сознание, то кто же платил? Видимо, она. Но тогда ее должны запомнить официанты. И вот сейчас он кончил допрос трех работников ресторана, которых ему мгновенно доставил Петельников. Один официант помнил, как расплачивалась девушка, но внешность ее забыл. Второй рассказал, что она повела пьяного парня и вообще не уплатила. А третий ничего не помнил — частенько девушки выводили подвыпивших ребят...

От надежды ничего не осталось.

Дверь кабинета открылась. Пришла помощник прокурора по общему надзору Базалова.

Лет пять назад Базалова перевелась на общий надзор и до сих пор не могла нарадоваться. Они были одногодки, но у нее, как она говорила, семеро по лавкам — трое детей. Базалова всегда куда-то спешила, и уже никто не мог понять, бежит ли она на предприятие проверять законность или в магазин за кефиром.

— Как детишки? — спросил Рябинин.

— Едят много, — сообщила она и тут же встала. — Ну, понеслась, у меня три жалобы не рассмотрены. А ты не переживай, перемелется.

Она стремительно ушла. Рябинин подумал, что следователю иметь троих детей нельзя — и детей не воспитаешь, и работу завалишь. Следователь Демидова...

Следователь Демидова вошла в кабинет, будто подслушала его мысль за дверью. Небольшая, коренастая, грубоватое крупное лицо, короткие седые волосы подстрижены просто, как отхвачены серпом; в мундире со звездой младшего советника юстиции.

— У тебя, говорят, преступница смылась?

— Смылась.

Если бы его попросили назвать самого цельного человека, он, не задумываясь, указал бы на Демидову. Или описать чью-либо жизнь — интересней он не знал.

— Установочные данные есть?

— Полностью, даже квартиру стережем.

— Тогда поймаете.

— Боюсь, что уедет из города. Придется объявлять всесоюзный розыск.

— Петельников поймает, он парень дошлый. А вот у меня был случай...

Она любила рассказывать истории из своей практики, которыми была прямо нафарширована. Ей исполнилось уже пятьдесят семь, но на пенсию не хотела и была энергичнее практикантов. Биография Демидовой распадалась на две неравные половины: детство до восемнадцати лет, а с восемнадцати — ор-

ганы прокуратуры. И не было у нее иной жизни, кроме следственной. Ее отношение к работе отличалось, скажем, от Юрковского. Тот заканчивал уголовные дела — Демидова боролась с преступностью.

— Или вот еще был случай... Убег от меня парнишка, почуял, что хочу арестовать. Ну, объявила я розыск, жду. Вдруг приходит через месяц, обросший, с рюкзаком, голодный... Не могу, говорит, больше: в подвале, в бочках живу, как Диоген...

Демидова тоже жила одна, как Диоген. Выходила в молодости замуж, посидел муж дома месяца три: жена то дежурит, то допрашивает, то в тюрьме... Посидел-посидел и ушел. Так и жила много лет без личной жизни, без имущества, без иных интересов. Научилась курить, играть на гитаре и петь жалостливые песни из блатной судьбы да при случае могла разделить мужскую компанию и выпить кружечку пивка. А потом взяла и усыновила чужих детей. Начальство ее недолюбливало. «За громкий голос», — смеялась она. Но все знали, что за другое качество, которое прокурор района Гаранин деликатно называл «несдержанностью».

— Нет, Мария Федоровна, мой с рюкзаком не придет. Уже прокурор вызывал...

— Э-э-э, прокурор. Знаешь, Сережа, что такое прокурор? Это неудавшийся следователь.

Она презирала всякую иную профессию.

— Посуди сам, — кипятилась Демидова, — ведь разные у них работы — у прокурора и следователя. И общего-то мало. Согласен? И вдруг этот самый прокурор, который сбежал со следствия или никогда его не нюхал, начинает мне давать указания, как допрашивать или делать обыск... Я таких прокуроров — знаешь?! Представь, в больнице врач, терапевт, не справился. Его раз — и переводят на хирургию, может, там справится...

Он смотрел на бушевавшую Демидову и думал, что она, пожалуй, энергичнее его, молодого тридцатичетырехлетнего парня, у которого за сейфом стоит двухпудовая гиря.

Мария Федоровна со злостью придавила в пепельнице сигарету, крутанув ее пальцем.

— Пойду на завод лекцию читать.

Она ушла, но тут же легкой иноходью вбежала Маша Гвоздикина, играя глазами туда-сюда. Были на старых часах такие кошки с бегающими глазами в прорезях над циферблатом.

— Вам прокурор дельце прислал. Распишитесь.

— Чего-то очень тощее, — удивился Рябинин.

— Зато непонятное, — сообщила она, засеменив к двери.

В папке было три бумаги: постановление о возбуждении уголовного дела, заявление гражданки Кузнецовой и ее же объяснение.

«Пять дней назад я, Кузнецова В. И., прилетела в командировку в ваш город из Еревана. Вчера родители позвонили

из Еревана и сообщили, что в мое отсутствие они получили телеграмму следующего содержания (привожу дословно): «Потеряла паспорт документы деньги вышлите сто рублей имя Васиной Марии Владимировны Пушкинская 48 квартира 7 Валя». Родители деньги по данному адресу выслали. Заявляю, что документы я не теряла, телеграммы не посылала и сто рублей не просила и не получила. Прошу разобраться и наказать жуликов».

Рябинину сделалось скучно. Даже в разных уголовных делах бывает однообразие — есть же похожие лица, двойники и близнецы. Наверняка эта Кузнецова сказала кому-то в самолете свой ереванский адрес, может быть самой Васиной или ее знакомой, а скорее всего знакомому. Рябинин отложил тощее дело — там пока и дела-то не было...

Рябинин опять пододвинул трехлистное дело и подумал, что Петельников ему раскрыл бы эту загадку в один день — только успевай допрашивать. И тут же зазвонил телефон. Рябинин знал, что это Петельников: так уже бывало не раз — он подумает об инспекторе, а тот сразу звонит.

— Сергей Георгиевич. — Голос инспектора прерывался, будто тот говорил слова порциями.

— Да отдышись ты, — перебил Рябинин. — Наверное, только вбежал?

— Никуда я не вбегал, — быстро сглотнул Петельников. — Любовь Семеновна Карпинская в Якутске.

— Как узнал?

— В геологическом тресте. Я связался по ВЧ с Якутским сыском, Карпинская сейчас там.

— Что ж она, сюда наездами?

— Гастролерша, самое удобное. Наверное, еще и алиби предъявит.

— Летишь?

— Да, в шестнадцать ноль-ноль.

— Желаю успеха, — вздохнул Рябинин и вяло добавил: — Не упусти.

Петельников, видимо, хотел его в чем-то заверить, но промолчал, вспомнив всю историю, — с этой Карпинской зарекаться не приходилось.

— Всего хорошего, Сергей Георгиевич. Завтра позвоню из Якутска.

Рябинин хорошо сделал, что ничего не сказал инспектору и отринул все сомнения.

Но завтра он не позвонил. Не позвонил и через день. Рябинин поймал себя на том, что думает не о предстоящем допросе Кузнецовой, о чем положено сейчас думать, а о Якутске, Петельникове и еще о чем-то неопределенном, тревожном, неприятном. Но вот-вот должна прийти Кузнецова.

У следователей стало модой ругать свою работу. Рябинин и сам ее поругивал, называя спрутом, сосущим нервную систему. Но он морщился, когда следователи не чувствовали в ней той прелести, из-за которой все они добровольно отдавали этому

спруту свое тело и душу на растерзание. Одним из таких чудесных моментов Рябинин считал допрос человека. Энтомолог поймает неизвестную бабочку — и это событие. Следователь же на каждом допросе открывает для себя нового человека, а каждый человек — это новый мир.

Кузнецова оказалась юной элегантной инженершей, только что кончившей институт. Ее на месяц послали в командировку — первая командировка в жизни. Плечи хрупкие; тонкие кисти рук, которые, не будь опаленными ереванским солнцем, казались бы прозрачными; глаза не робкие, но еще студенческие, познающие. В представлении Рябинина, может уже слегка устаревшем, взгляд инженера должен играть разрушительством и созиданием — все сломать и сделать заново. Да и кисти должны быть у инженера покрепче, чтобы собственными руками трогать металл.

— Ну, рассказывайте, — предложил Рябинин.

— Села я в самолет...

— Кто-нибудь провожал? — спросил он, хотя знал, кто мог ее провожать.

— Мама.

— Какой у вас багаж?

— Небольшой чемоданчик я сдала. А в руках сумочка и сетка с пирожками.

— Пирожки с чем? — почему-то спросил Рябинин.

— С мясом, с яблоками... Были с повидлом.

— А с капустой были?

— Нет, с капустой не было, — с сожалением ответила она, серьезно полагая, что все это имеет значение для следствия.

Он уже знал, как она училась в школе: аккуратно и серьезно, с выражением читала стихи, плакала от полученной тройки и с седьмого класса знала, в какой пойдет институт. Но все это не имело отношения к допросу.

— На чемодане вашего адреса не было написано или наклеено?

— Нет.

— А в чемодане были какие-нибудь документы с вашим адресом и фамилией родителей?

— Нет, — подумав, сказала она.

— Кто сидел с вами рядом?

— Пожилой мужчина, приличный такой...

— Вы с ним познакомились, поговорили?

— Ну что вы... Он же старый.

— Да, что с ним разговаривать, — согласился Рябинин. — Может, вы с молодым перебросились словами?

— Ни с кем я не перебрасывалась. Лёту всего четыре часа.

Он знал, как она училась в институте, — не училась, а овладевала знаниями. Не пропустила ни одной лекции. Вовремя обедала. Делала удивительно чистые чертежи и носила их в тубусе. И ни разу не уступила места в трамвае женщине, не старушке, а усталой женщине с чулочной фабрики — сидела,

уложив изящный тубусик на великолепных хрустящих коленках, обтянутых кремовыми чулками с той самой фабрики, на которой работала усталая женщина...

Но следствия это не касалось.

— Прилетели. Дальше что?

— Села в троллейбус и приехала к дяде.

— А кто у вас дядя?

— Оперный певец Колесов, — ответила Кузнецова, и теперь Рябинин увидел в ее глазах, схваченных по краям черной краской, как опалубкой, искреннее любопытство, — она предвкушала эффект от этого сообщения.

— Ого! — радостно клюнул Рябинин. — И хорошо поет?

— У него баритон.

— Небось громко?

— Еще бы. На весь театр.

На кой черт придумывают тесты! Да привели бы этих проверяемых к нему на допрос... Он уже может сообщить начальнику Кузнецовой, как она работает и что будет с ней дальше. Ничего не будет, кроме тихой карьеры. Нет, не той, из-за которой не спят по ночам, не едят по дням и целиком уходят в пламя творчества. Это будет карьера спокойная, от института до пенсии, с хлопотами о прибавке, с намеками о премии и с завистью к тем, которые горят по ночам.

Но все это не касалось следствия.

— В троллейбусе вы тоже ни с кем не знакомились?

— Совершенно ни с кем.

— А у вас в городе знакомых нет?

— Кроме дяди, абсолютно никого.

— И вы никуда ни к кому не заходили?

— Прямо с аэропорта к дяде.

— А как узнали про телеграмму и деньги?

— Мама сначала выслала сто рублей, а потом позвонила дяде. Стала его упрекать, почему он не дал денег.

— А если бы от вашего имени попросили двести рублей? — просто так поинтересовался Рябинин.

— Конечно бы прислали... Разве дело в деньгах? — слегка брезгливо спросила Кузнецова.

— А в чем? — вздохнул он.

И вспомнил, как на первом курсе, еще до перехода на заочное отделение, устроился на полставки истопником. Таскал до пятого этажа связки дров, огромные, как тюки с хлопком. Вспомнил, как однажды всю ночь разгружал вагоны с картошкой, носил какие-то шпалы, а потом широченные ящики и был похож на муравья, который поднимает груз больше своего собственного веса.

— Ну а эта Васина Мария Владимировна вам знакома?

— Впервые узнала о такой из телеграммы.

— Как же так? Никто вас не знает, ни с кем вы не знакомились, адреса домашнего никому не давали... Но кто-то его здесь знает...

— Я и сама не понимаю, — сказала она и пожала плечами. — Но вы-то должны знать.

Вот оно, мелькнуло то, что Рябинин угадывал давно и все думал, почему оно не проявляется, — барственная привычка потребителя, которому должен весь мир.

— Я-то должен. Но я не знаю.

— Как же так? — подозрительно спросила она. — У вас должны быть разные способы.

— Способы у нас разные, это верно. А вот кто украл ваши деньги, я пока не знаю. А вы все знаете?

— У меня высшее образование, — опять пожала она плечами. — Мои знания на уровне современной науки.

— Скажите, — вдруг спросил Рябинин, — у вас было в жизни... какое-нибудь горе?

Она помолчала, вспоминая его, как будто горе надо вспоминать, а не сидит оно в памяти вечно. Кузнецова хотела ответить на этот вопрос — думала, что следователь тонко подбирается к преступнику.

— Нет, мне же всего двадцать три.

— Жаль, — сказал Рябинин.

Видимо, она не поняла: жаль, что ей двадцать три, или жаль, что не было горя. Поэтому промолчала. Нельзя, конечно, желать ребенку трудностей, юноше беды, а взрослому горя. Рябинин твердо знал, что безоблачное детство, беспечная юность и безбедная жизнь рождают облегченных людей, будто склеенных из картона, с затвердевшими сморщенными сердцами. Но желать горя нельзя.

— Я разочаровалась в следователях, — вдруг сообщила она.

— Это почему же?

— Отсталые люди.

— Это почему ж? — еще раз повторил Рябинин.

— Не подумайте, я не про вас.

— Да уж чего там, — буркнул он.

— На заводе, где я в командировке, читал лекцию ваш следователь. Такая седая, знаете?

— Демидова.

— Вот-вот, Демидова. Извините, старомодна, как патефон. Рассказывала случаи любви и дружбы. Как любовь спасла парня от тюрьмы. И как дружба исправила рецидивиста. Я думала, что она расскажет про детектор лжи, криминологию или применение телепатии на допросах...

— Но ведь про любовь интереснее, — осторожно возразил Рябинин.

Кузнецова фыркнула:

— Конечно, но во французском фильме или на лекции сексолога. А у нее голова трясется.

То, что накапливалось, накопилось.

— Скажите, вы сделали на работе хоть одну гайку? — тихо спросил Рябинин.

— Мы делаем ЭВМ, — поморщилась она от такого глупейшего предположения.

— Ну так вы сделали хоть одну ЭВМ?

— Еще не успела.

— А пирожки вы печь умеете? С мясом? — повысил он голос на этом «мясе».

— У меня мама печет, — пожала она плечами.

— Так что же вы... — пошел он с нарастающей яростью. — Так чего же вы, которая ест мамины пирожки и не сделала в жизни ни одной вещи своими руками, судите о работе и жизни других?!

— Судить имеет право каждый.

— Нет, не каждый! Чтобы судить о Демидовой, надо иметь моральное право! Надо наделать ЭВМ, много ЭВМ... Да ЭВМ ваши пустяки — Демидова людей делает из ничего, из шпаны и рецидивистов. Верно, ее во французском фильме не покажешь. Верно, Софи Лорен лекцию о любви прочла бы лучше... Голова у нее трясется знаете от чего? Ей было двадцать два года, на год младше вас. Бандит ударил ее в камере на допросе заточенной ложкой в шею. Она в жизни ни разу не соврала — это знает весь город. Она в жизни видела людей больше, чем вы увидите диодов-триодов. Она... В общем, о ней имеет право судить только человек.

— А я, по-вашему, кто?

— А по-моему, вы еще никто. Понимаете — никто. Вы двадцать три года только открывали рот. Мама совала пирожки, учителя — знания. А вы жевали. Это маловато для человека. Человеком вы еще будете. Если только будете, потому что некоторые им так и не становятся...

— Почему вы кричите? — повысила она голос. — Не имеете права!

— Извините. Не имею. Подпишите протокол.

Кузнецова чиркнула под страницами не читая. Она сидела красная, уже не элегантная, с бегающими злыми глазами, которые стали меньше, словно брови осели. Рябинин чувствовал, что и он побурел, как борец на ковре. Сейчас по всем правилам она должна пойти с жалобой к прокурору.

— Вы свободны. Деньги мы ваши найдем. А не найдем, я свои выплачу.

Кузнецова медленно поднялась, пошарила по комнате глазами, словно боясь что-то забыть, и пошла к двери. Но совершенно неожиданно для него обернулась и тихим, убитым голосом сказала:

— Извините меня, пожалуйста.

Рябинин не уловил: поняла она или обрадовалась, что деньги выплатят. А может, не виновата эта девушка ни в чем, как ни в чем не виновата кукла. Искусственного горя человек, слава богу, еще не придумал.

Но все это не имело никакого отношения к допросу.

Раскрыть загадочный случай с деньгами Рябинин намере-

вался на допросе получательницы Васиной — там лежала отгадка.

Петельников не звонил Рябинину — нечего было сообщать. Он сутки ждал вертолет, потому что Карпинская оказалась в поле, в тайге.

Потом он часа два смотрел вниз на землю, на какие-то проплешины, щетинистые куски тайги, мелкие домики... Далеко она забралась, хотя к стоянке партии был и другой подход, не из Якутска. Девка умная, но элементарно ошибалась. В его практике уголовники не раз бежали в отдаленные области с небольшим населением. Тут их находили легко, как одинокое дерево в степи. Но попробуй отыщи человека в миллионном городе...

Восемь палаток стояли на поляне дугой. В центре лагеря был вкопан длинный обеденный стол. Петельникова удивил окрестный лес, тайга не тайга, но лес большой, — он-то ждал оплошную тундру. В вертолету подошли шесть бородатых людей, обросших гривами, как львы. Между собой они почти ничем не разнились — только ростом, да трое были в очках.

— Начальник партии, — представился тот, у которого бородка струилась пожиже. — Прошу в нашу кают-компанию.

Петельников, оперативник из Якутска и летчик прошли в самую большую палатку-шатер. В середине простирался громадный квадратный стол, сооруженный из толстых кусков фанеры на березовых чурбаках. Вместо стульев были придвинуты зеленые вьючные ящики. По углам стояли какие-то приборы, лежали камни разных размеров, стоял ящик с керном — и висели три гитары.

Петельников с любопытством рассматривал незнакомый быт. Когда все сели за стол, начальник партии деликатно кашлянул. Инспектор понял, что пора представляться.

— Комариков у вас, — сказал он и хлопнул себя по щеке.

— Да, этого сколько хочешь, — подтвердил начальник.

Бородатые парни выжидательно смотрели. Теперь их инспектор уже слегка различал.

— Мне нужна Карпинская Любовь Семеновна, — просто сказал Петельников.

— Она вот-вот должна прийти.

Геологов не удивило, что три человека прилетели на вертолете к Карпинской, — и это удивило инспектора.

— Вы из Института геологии Арктики? — спросил начальник партии, потому что Петельников все-таки не представился.

— Нет.

— Из Геологоразведки? — спросил второй геолог, пожилой.

— Нет.

— Из Всесоюзного геологического института?

— Из Института минерального сырья?

— Из Академии наук?

— Да нет, товарищи, — засмеялся Петельников, но мозг его бешено работал.

Из геологического треста она уже уволилась и перешла сюда. И вот теперь он не знал должности Карпинской, поэтому опасался разговора. В тресте она была геологом. Но Карпинская опустилась и могла сюда устроиться кем угодно: и поварихой и рабочей. Хорошенькое дельце: экспедиция Академии наук прилетела к поварихе. Но его смущало, что геологи такую возможность допускали. Или это была ирония, которую он еще не мог раскусить.

— Все проще, — весело заявил инспектор, — я родственник Карпинской, уезжаю в очень дальнюю командировку. Вот заскочил проведать, попрощаться...

— Понятно, — сказал молодой парень с желтой плотной бородкой прямоугольничком, — вы генерал в штатском, а это ваш адъютант.

Все засмеялись, кроме его «адъютанта» — оперативника, крепкого и молчаливого, как двухпудовка. Геологи приняли версию инспектора. Документов они не спрашивали: видимо, вертолет был надежной гарантией. Конечно, проще все рассказать и расспросить. Но с незнакомыми людьми Петельников рисковать не хотел. Среди них вполне мог находиться ее сообщник. Инспектор даже усмехнулся: вдруг вся эта геологическая партия обросших людей со зверскими лицами — шайка с атаманшей Карпинской...

— А родственников принято угощать, — сказал начальник партии и поднялся. — Влад! Организуй чайку.

На столе появился здоровый ромб сала, вспоротые банки тушенки, громадные черные буханки местного хлеба и холодные доли какой-то рыбы. Начальник партии открыл вьючный ящик и достал бидон, который оказался запаянным, словно был найден на дне океана. Обращались с ним осторожно, как с магнитометром.

Когда сели за стол, начальник налил в кружки прозрачной жидкости.

— Чай-то у вас незаваренный, — улыбнулся Петельников.

— Потом мы и заваренного сообразим, — пообещал начальник. — За гостей!

Инспектор не знал, что делать. Оперативник из Якутска посматривал сбоку — ждал команды. Не хотелось обижать этих ребят, которые, несмотря на их неприветливые лица, ему нравились.

Он чуть кивнул оперативнику и взял кружку:

— За хозяев!

И сразу рассосался холодок официальности. Ребята заговорили о своей работе, весело ее поругивая: комары, гнус, болота, завхоз Рачин, какой-то эманометр и какие-то диабазы, которые лежали не там, где им было положено. Петельников знал эту ругань, в которой любви больше, чем злости.

Пожилой геолог взял гитару, и вроде бы стало меньше ко-

марья. Петельников слушал старые геологические песни, чувствуя, как тепло растекается по телу. Только летчик скучал, молча поедая сало.

Окончив курс, по городам, селеньям
Разлетится вольная семья.
Ты уедешь к северным оленям —
В знойный Казахстан уеду я.

Начальник партии сунулся в один из ящиков и достал длинный пакет. Он развернул кальку торжественно, как новорожденного.

— Примите подарок от геологов.

Это был чудесный громадно-продолговатый кристалл кварца, четкий и ясный, словно вырезанный из органического стекла. Только чище и прохладнее, как мгновенно застывшая родниковая вода. Петельников принял подарок, мучаясь, чем бы отдарить ребят.

Закури, дорогой, закури.
Завтра утром с восходом зари
Ты пойдешь по горам опять
Заплутавшее счастье искать.

Если бы не существовал на свете уголовный розыск, Петельников остался бы с ними. Все люди в душе бродяги и, не будь отдельных квартир, разбрелись бы по земле.

Я смотрю на костер догорающий.
Гаснет розовый отблеск огня.
После трудного дня спят товарищи,
Почему среди них нет тебя?

Начальник партии опять достал бидон и забулькал над кружками. Вторую порцию инспектор решил твердо не пить.

— Предлагаю тост за Карпинскую Любовь Семеновну, — вдруг сказал начальник.

Петельников поспешно схватил кружку — этот тост он пропустить не мог.

— Ну как тут она... Люба-то? — быстренько ввернул инспектор, пока еще не выпили.

— Она на высоте, — заверил пожилой геолог, который оказался геофизиком.

— Способная девушка, — пояснил начальник, — кандидатскую заканчивает.

Петельников поперхнулся. Геологи решили, что у него не пошло. Но он представил удивленно-вздернутые очки Рябинина и вспомнил, что Капличникову в ресторане она представилась научным работником.

Жил на свете золотоискатель,
Много лет он золото искал.
Над своею жизнью прожитой
Золотоискатель зарыдал.

Инспектора уже захлестывали вопросы: как ей удалось слетать в город во время полевого сезона, зачем ей столько денег и почему она...

Но тут его молчаливый помощник, выпив вторую порцию, встал, скинул пиджак и повесил его на гвоздик. Геологи сразу затихли, будто у гитары оборвались струны, — на боку гостя, ближе к подмышке, висел в кобуре пистолет.

Петельников не заметил, сколько длилась тишина. Инспектор придумал бы выход — их в своей жизни он придумывал сотни. Но не успел...

— Здравствуйте, братцы, — раздался женский голос, но геологи не ответили.

Петельников резко обернулся к выходу...

На фоне белого палаточного брезента стояла высоченная тонкая девушка ростом с инспектора, с полевой сумкой, молотком в руке и лупой на груди, которая висела, как медальон. Это пришла из маршрута Любовь Семеновна Карпинская.

Но это была не та, кого искал Петельников.

Принято считать, что каждый свидетель сообщает что-нибудь важное, и вот так, от вызванного к вызванному, следователь докапывается до истины. В конечном счете следователь докапывался, но копал он главным образом пустую породу. Чаще всего свидетели ничего не знали или что-то где-то слышали краем уха. Был и другой сорт редких свидетелей. От них часто зависела судьба уголовного дела.

Мысль о Петельникове держалась в Рябинине постоянно, как дыхание. Но рядом появилась другая забота — о новом деле. Поэтому он с интересом ждал второго свидетеля.

Мария Владимировна Васина, которая упоминалась в телеграмме, оказалась шестидесятипятилетней старушкой.

— Вот она и я, — представилась свидетельница. — Зачем вызывал-то?

— А вы что, не знаете? — удивился Рябинин.

— Откуда мне знать, сынок? — тоже удивилась старушка, и он поверил: не знает.

Рябинин переписал из паспорта в протокол анкетные данные, дошел до графы «судимость» и на всякий случай спросил:

— Не судимы?

— Судима, — обидчиво сказала она.

— Наверно, давно? — предположил он.

— Вчера, сынок.

— За что? — опешил Рябинин.

— Пол в свой жереб не мою, а квартира обчая. За это и позвал к ответу?

— Не за это, — улыбнулся он и понял, что речь идет о товарищеском суде.

— Я впервой в вашем заведенин. У меня сестра знаешь отчего померла?

— Нет, — признался Рябинин.

— Милициоиера увндела и померла. От страху, зиачит.

— Ну уж, — усомиился он.

Начинать допрос прямо с главного Рябинин не любил, но с этой старушкой рассуждать не стоило — завязнешь и не вылезешь. Поэтому он спросил прямо:

— Бабушка, у вас в Ереване знакомые есть?

— Откуда, милый, я ж новгородская.

— А Кузнецовых в Ереване знаете?

— Господь с тобой, каких Кузнецовых... И где он, Ириван-то?

— Ереван. Столица республнкн, город такой.

— А-а, грузиицы живут. Нет, сынок, век там не бывала н уж теперь не бывать. А Кузнецовых слыхом не слыхивала.

Разговор испарился. Оставался одии вопрос, главный, но если оиа и его слыхом не слыхивала, то на этом все обрывалось.

— Как же, Мария Владимнровна, не зиаете Кузнецовых? А вот сто рублей от иих получилн, — строго сказал Рябинин и положил перед ией телеграмму, которую он уже затребовал из Еревана.

Васина достала из хозяйственной сумки очки с мутно-царапанными стекламн, долго надевала их, пытаясь зацепнть дужкн за седые волосы, и, как курнца на страиного червяка, нацелилась на телеграмму. Рябинин ждал.

— Ага, — довольно сказала она, — я отстукала.

— Подробнее, пожалуйста.

— А чего тут... Плачет девка, вижу, все нутро у нее переживает.

— Подождите, подожднте, — перебил Рябинни, — какая девка?

— Сижу у своего дома в садочке, — терпеливо иачала Васииа, — а оиа подходит, плачет, все иутро у иее переживает...

— Да кто оиа?

— Обыкновеииая, иеизвестиая. Из того, из Ириваиа. Откуда я знаю? Плачет всем иутром. Говорит, бабушка, выручн, а то под трамвай залягу. Мазурнкн у иее украли документы, деньжата н всю такую помаду, какой они свои чертовские глаза мажут. Дам, говорит, телеграмму родителям иа твой адрес, чтобы сто рублей прислали. А мие что? Вызволять-то надо девку. Дала ей свой адресок. А на второй деиь пришли этн самые сто рублей. Ну, тут я с ней дошла до почты, сама получила деньги и все до копейки отдала. Вот и все, родный.

Рябннин молчал, осознавая красивый н оригинальный способ мошеннничества. Теперь он не сомиевался, что это мог сделать только человек, знавший Кузиецову, ее адрес и время командировкн.

— Какая она, эта девушка? — спросил ои.

— Какая... Обыкиовеиная.

— Ну что зиачит — обыкновениая... Все люди разиые, бабушка.

— Люди разные, сынок. А девки все на одно лицо.

Рябинин улыбнулся — прямо афоризм. Но ему сейчас требовался не афоризм, а словесный портрет.

— Мария Владимировна, скажите, например, какого она роста?

— Росту? Ты погромче, сынок, я уж теперь не та. Какого росту?.. С Филимониху будет.

— С какую Филимониху?

— Дворничиха наша.

— Бабушка, я же не знаю вашу Филимониху! — крикнул Рябинин. — Скажите просто: маленькая, средняя, высокая?

— Откуда я знаю, сынок. Не мерила же.

Васина очки не сняла, и на Рябинина смотрели увеличенные стеклами огромные глаза. На молодую он давно бы разозлился, но старушки — народ особый.

— Ну, ладно, — сказал он. — Какие у нее волосы?

— Вот вроде твоих, такие же несуразные висят.

Рябинин погладил свою макушку. Он уже чувствовал, что никакого словесного портрета ему не видать, как он сейчас не видел своих несуразных волос.

— Какие у нее глаза? — спросил он громко, словно теперь все ответы зависели только от зычности вопроса.

— Были у нее глаза, родный, были. Как же без глаз.

— Какие?! — крикнул Рябинин неожиданно тонким голосом, как болонка тявкнула: крик сорвался непроизвольно, но где-то на лету перехватился мыслью, что перед ним все-таки очень пожилой человек.

— Обыкновенные, щелочками.

— Какого цвета хоть?

— Да сейчас у них у всех одного цвета, сынок, — жуткого.

Придется обойтись без словесного портрета. Но тогда что остается, кроме голого факта, кроме состава преступления?..

— Узнáете ее? — на всякий случай спросил Рябинин.

— Что ты, милый... Себя-то не каждый день узнаю.

— Зачем же вы, Мария Владимировна, совершенно незнакомому человеку даете свой адрес и помогаете получить деньги?

Старушка нацелилась на него мудрыми глазами змеи и спросила:

— А ты б не помог?

— Помог бы, — вздохнул он и с тоской подумал, что у него зависает второй «глухарь» — два «глухаря» подряд. Это уже много.

Рябинину показалось, что Петельников подрос — ноги наверняка стали длиннее. Лицо как-то осело, будто подтаяло, и черные глаза, которые и раньше были слегка навыкате, теперь совсем оказались впереди. В одежде исчезла та легкая эстрадность, которой так славился инспектор. Он вяло курил, рассеянно сбрасывая пепел в корзинку.

— Ты мне не нравишься, — поморщился Рябинин.

— Я себе тоже, — усмехнулся Петельников.

— Как говорят японцы, ты потерял свое лицо.

Инспектор не ответил, упорно рассматривая улицу через голову следователя. Рябинин знал, что Петельников человек беспокойный, но это уже походило на болезнь.

— Ничего я не потерял, — вдруг твердо сказал инспектор и добавил: — Кроме нее.

— Выходит, что она привела Курикина в чужую квартиру? — спросил Рябинин.

— Привела, — гмыкнул Петельников, придавливая сигарету. — Она вообще жила там целый месяц. Карпинская полгода в командировке. А эта...

Петельников рассеянно забегал взглядом по столу, подыскивая ей подходящее название. Но в его лексиконе такого названия не оказалось.

Не было таких слов и у Рябинина: то сложное чувство, которое он испытывал к таинственной незнакомке, одним словом не определишь.

— Ну а как же соседи, дворники? — спросил он.

— Соседи... Они думали, что Карпинская пустила жильцов. Она ведь там даже кошку держала...

Опять было просто, красиво и выгодно. Отдельная квартира, запасной выход на черную лестницу — делай что хочешь, и в любой момент можно выйти через дверь за ковром, не оставив после себя ничего, кроме трех париков.

— А я ведь догадался, что это не ее квартира, — вдруг сообщил Рябинин.

— Почему?

— Когда ты не нашел фотографий, я уже заподозрил... А потом заглянул в шкаф. Вижу, одежда на высокую женщину, очень высокую.

— Чего ж не сказал? — подозрительно спросил Петельников.

— Не хотел отнимать у тебя надежду. А Карпинскую все равно надо было опросить. Вдруг ее знакомая?

Они помолчали, и Рябинин грустно добавил:

— Знаешь, Вадим, мы ее не поймаем.

— Почему? — насторожился инспектор.

— Боюсь, что мы с тобой глупее ее.

— Она просто хитрее, — буркнул Петельников.

— Не скажи... Это уже ум. Не с тем зарядом, но уже большие способности. Я бы сказал — криминальный талант.

Теперь его уже не радовал этот талант. После ресторанных историй Рябинин не сомневался, что ее поймают. Но сейчас ему хотелось, чтобы таланта у нее поубавилось.

— А у меня новое дело, — сообщил Рябинин, — и тоже пока глухо.

Он начал рассказывать. Петельников слушал внимательно, но не задал ни одного вопроса. Видимо, не осталось в его мозгу места для новых дел.

— Знакомые этой Кузнецовой обтяпали, — вяло отозвался инспектор.

— Надеюсь. Вот теперь надо установить всех ее знакомых, — тоже без всякой энергии заключил Рябинин.

Теперь они не шутили и не подкалывали друг друга. Время пикировок кончилось само собой. И сразу из их отношений, из совместной работы пропало что-то неизмеримое, как букет из вина. Но Рябинин был твердо убежден, что без чувства юмора не раскрываются «глухари».

Сначала он услышал шаги, потом ощутил запах духов. В кабинет вошла Маша Гвоздикина в новом платье, удивительном платье, которому удавалось больше открыть, чем скрыть. Маша увидела Петельникова и потупилась. Петельников давно нравился ей — это знала вся прокуратура и вся милиция, но, кажется, не знал Петельников. В руках Гвоздикина, как всегда, держала бумаги. Наверняка несла Рябинину, но сейчас забыла про них.

— Привет, Гвоздикина, — невыразительно кивнул инспектор, сделав ударение на первом слоге, хотя она не раз ему объясняла, что фамилия происходит не от гвоздя, а от гвоздики.

— Как наука? — спросил он.

Маша училась на юридическом факультете.

— Спасибо, — щебетнула она. — Вот надо практику проходить. К вам нельзя?

Петельников обежал взглядом ее мягко-покатую фигуру, которую он мог представить где угодно, только не на оперативной работе.

— Куда — в уголовный розыск?

— А что? — фыркнула Маша. — У вас интересные истории...

— Интересные истории вот у него, — кивнул инспектор на следователя.

— У кого? — удивилась она, оглядывая стол, за которым сидел только Рябинин: лохматый, в больших очках, костюм серый, галстук зеленый, ногти обкусаны. Казалось, что только теперь Гвоздикина его заметила и вспомнила, зачем пришла.

— Еще заявление по вашему делу. — Она ловко бросила две бумажки.

Петельников с Гвоздикиной лениво перебрасывались словами. Рябинин читал объяснения, которые взяли работники милиции у женщины. Рябинин не верил своим глазам — такой же случай, как с Кузнецовой-Васиной, хоть бы чем-нибудь отличался! Даже сумма сторублевая. Одно отличие было, и, может быть, самое важное: Кузнецова прилетела из Еревана, а новая потерпевшая, Гущина, — из Свердловска. Он сравнил места работы и объекты командировок — тоже разные.

— Вадим Михалыч, — допытывалась Маша, — а у вас были страшные случаи? Такие, чтобы мороз по коже.

— У меня такие каждый день, — заверил Петельников.

— Расскажите, а? Самый последний, а?

— Ну что ж, — согласился инспектор и вытянул ноги, перегородив кабинет, как плотиной. — Забежал я вчера под вечер в морг, надо было на одного покойничка взглянуть.

— Зачем взглянуть? — удивилась Гвоздикина.

— Вдруг знакомый. Всех покойников смотрю. Значит, пока я их ворочал, слышу, все ушли. Подбегаю к двери — заперта. Что такое, думаю. Стучал-стучал — тишина. Как говорят, гробовое молчание. Что делать? Был там у меня один знакомый Вася...

— Вы же сказали, что все ушли? — перебила она.

— Правильно, все ушли. А Вася остался, лежал себе под покрывалом и помалкивал. Васю я хорошо знаю...

— Вася-то... он кто? — не понимала Маша.

— Как кто? — теперь удивился Петельников. — Можно назвать моим хорошим знакомым. Встречались не раз. Я его и вызывал, и ловил, и сажал. Приятель почти, лет восемь боролись. А лежит спокойно, потому что помер от алкоголя. Ну, подвинул я его, лег — и на боковую.

— Зачем... на боковую?

— Ну и вопрос! — возмутился инспектор. — Что мне, на следующий день идти на службу не выспавшись? Вася человек спокойный, он и при жизни тихоня был, только бандит. Просыпаюсь утром, кругом поют.

— Кто... поют? — ошарашенно спросила Маша.

— Птички за окном. Поворачиваюсь я на бок, а Вася мне и говорит: «Доброе утро, гражданин начальник». Хрипло так говорит, противно, но человеческим голосом...

— Так ведь он... — начала было она.

— Все нормально. Решили, что Вася скончался, и привезли в морг, чтобы, значит, вскрыть и посмотреть, отчего бедняга умер. А чего там смотреть — Вася умрет только от напитков. Находился он в тот вечер в наивысшей стадии алкогольного опьянения, которая еще неизвестна науке. Человек не дышит, сердце не работает, мозг не работает, а ночь пролежит, протрезвеет — и пошел себе к ларьку...

— Врете? — вспыхнула Гвоздикина.

— Процентов на двадцать пять, — серьезно возразил Петельников. — С покойниками рядом я спал.

Рябинин смотрел между ними в одну точку — прямо в сейф. Смотрел так, будто сейф приоткрылся и оттуда выглянул тот самый покойничек Вася.

— Ты чего? — спросил Петельников.

— Вадим, еще один аналогичный эпизод со ста рублями.

— Те же лица?

Рябинин рассказал.

— Выходит, здесь знакомые Кузнецовой ни при чем, — решил инспектор.

Они замолчали. Маша не уходила, не спуская опять окосевших глаз с Петельникова и глубоко дыша, будто ей не хва-

тало кислорода. Инспектор автоматически вытащил сигарету, но, покрутив ее, помяв и повертев, воткнул в пепельницу.

— Пожалуй, — медленно сказал Рябинин, — второе мое дело посложней, чем снотворное. Тут я не понимаю даже механизма. Люди прилетают из разных городов, никому ничего не говорят, ни с кем не знакомятся, но домой идут телеграммы с просьбой выслать деньги. Она...

Он так и сказал — «она». Что случилось потом, Маша Гвоздикина толком не поняла, но что-то случилось.

Рябинин вскочил со стула, наклонил голову, пригнулся и уперся руками в стол, словно собирался перескочить его одним махом. И Петельников вскочил и тоже уперся в стол, перегнувшись дугой к Рябинину. Они смотрели друг на друга, будто разъярились, — один большими черными глазами, второй громадными очками, которые сейчас отсвечивали, и Маша вместо глаз видела два ослепительных пятна. Не будь они теми, кем были, Гвоздикина бы решила, что сейчас начнется драка.

— Ой! — непроизвольно вскрикнула она, потому что Рябинин, словно уловив мысль о драке, размахнулся и сильно стукнул Петельникова по плечу — тот даже пошатнулся. Но инспектор так долбанул сбоку ладонью следователя, что тот сел на стул.

— Это она... Она! — блаженно крикнул Рябинин. — Как же я раньше не понял! Ее же почерк...

Он опять вскочил, попытался походить по кабинету, но места не было — сумел только протиснуться между Петельниковым и Гвоздикиной.

— Нет, Вадим, нам ее никогда, запомни, никогда не поймать. Она творческая личность, а мы с тобой кто — мы против нее чиновники, буквоеды, службисты...

— Сергей Георгиевич, предлагаю соглашение. Ты додумайся, как она это делает, а мы с уголовным розыском ее поймаем.

— Хитрый ты, Вадим, как двоечник. Да тут все дело в том, чтобы додуматься.

Он отошел к окну и посмотрел на улицу. Нащупав золотую жилу, она будет разрабатывать, пока тень инспектора не повиснет над ней. Теперь все дело заключалось в том, чтобы додуматься до того, до чего додумалась она.

— Мы отупели, — сказал Рябинин. — Если бы ты не пошутил о покойничках, нас бы не осенило.

Рената Генриховна Устюжанина, крупная решительная женщина сорока пяти лет, с сильными немаленькими руками, какие и должны быть у хирурга, обычно возвращалась домой часов в восемь вечера. Но сегодня, после особенно трудной операции, она решила уйти пораньше, — хоть раз встретить мужа горячим домашним обедом. Устюжанина зашла в гастроном и в два часа уже отпирала свою дверь.

В передней Рената Генриховна скинула плащ, отнесла сум-

ку с продуктами на кухню, заскочила за халатом в маленькую комнату и пошла к большой — у нее была привычка обходить всю квартиру, словно здороваясь. Она толкнула дверь, переступила через порог — и в ужасе остановилась, чувствуя, что не может шевельнуть рукой.

Перед трюмо, спиной к ней, стояла невысокая плотная девушка и красила ресницы. Устюжанина онемело стояла у порога, не зная, что сделать: спросить или закричать на весь дом? Она даже не поняла, сколько так простояла, — ей показалось, что целый час.

— Что скажете? — вдруг спросила девушка, не переставая заниматься косметикой.

Рената Генриховна беспомощно огляделась — ее ли это квартира? На торшерном столике лежит раскрытая книга, которую она читала перед сном. На диване валяется брошенный мужем галстук...

— Что вы тут делаете? — наконец тихо спросила она.

— Разве не видите — крашу ресницы, — вызывающе ответила девушка, убрала коробочку с набором в сумку, висевшую через плечо, и повернулась к хозяйке.

Симпатичная, с чудесными черными волосами, брошенными на плечи, с волглыми глазами, смотрящими на Ренату Генриховну лениво, словно она тут ни при чем и не ее они ждали — эти глаза.

— Кто вы такая? — уже повысила голос Устюжанина.

— А вы кто такая? — спокойно спросила незнакомка, села в кресло, достала сигареты и красиво закурила, блеснув импортной зажигалкой.

От ее наглости у Ренаты Генриховны перехватило дыхание, чего с ней никогда не бывало — даже на операциях. С появлением злости возникла мысль и сила. Она шагнула вперед и четко произнесла:

— Если вы сейчас же не уйдете, я позвоню в милицию!

Девушка спокойно усмехнулась и пустила в ее сторону струю дыма, синевато-серую и тонкую, как уколола стилетом.

— Да вы успокойтесь... мамаша. Как бы милиция вас не вывела.

— Что, в конце концов, это значит? — крикнула Устюжанина и уже пошла было к телефону.

— Это значит, что я остаюсь здесь, — резко бросила девушка. — Это значит, что он любит меня.

И тут Рената Генриховна увидела большой чемодан, стоявший у трюмо. Она сразу лишилась ног — они есть, стоят ведь, но не чувствует их, будто они мгновенно отморозились.

Устюжанина оперлась о край стола и безвольно села на диван. Последнее время она замечала, что Игорь стал немного другим: чаще задерживается на работе, полюбил командировки, забросил хоккей с телевизором и начал следить за своей внешностью, которую всегда считал пустяком. Она все думала, что он просто сделался мужчиной. Но сейчас все стало на место,

какого она даже в мыслях не допускала, — по крайней мере, в отчетливых мыслях.

— Что ж, — спросила Рената Генриховна растерянно, — давно вы?..

— Давно, — сразу отрезала девушка. — И любим друг друга.

— Почему же он сам?..

— А сам он не решается.

— Ну и что же вы... собираетесь делать?

— Я останусь тут, а вы можете уйти, — заявила девица, покуривая и покачивая белыми полными ногами, от которых, наверное, и растаял Игорь.

Ренате Генриховне хотелось зарыдать на всю квартиру, но последняя фраза гостьи, да и все ее наглое поведение взорвали ее.

— А может, вы вместе с ним уберетесь отсюда?! — сдавленно вскрикнула она.

— Мне здесь нравится, — сообщила девица.

Устюжанина была хирургом. Эта работа требовала не только крепкой руки, но и твердых нервов, когда в считанные секунды принимались решения о жизни и смерти — не о любви.

Она встала, взяла нетяжелый чемодан, вынесла в переднюю, открыла дверь и швырнула его на лестницу. Чемодан встал на попá, постоял, качнулся и съехал по ступенькам к лестничной площадке — один пролет. Устюжанина вернулась и пошла прямо на крéсло. Девица все поняла.

— Ну-ну, — поднялась она, — без рук.

Ренате Генриховне хотелось схватить ее за шиворот и бросить туда, к чемодану. Может, она так бы и сделала, но девица добровольно шла к двери. На лестнице девица обернулась, хотела что-то сказать, отдуваясь дымом, но Устюжанина так хлопнула дверью, что она чуть не вылетела вслед за незваной гостьей.

Рената Генриховна вернулась в большую комнату. У нее все кипело от обиды и злости — этот узел надо рубить сразу, как и собиралась сделать это его новая пассия. Не ждать Игоря, не слушать сбивчивых слов, не видеть жалостливых глаз и вообще не пускать его сюда. Давясь слезами, которые наконец вырвались, она схватила с дивана галстук и открыла шкаф. Ей хотелось собрать его вещи в чемодан — только взять и пойти.

Но чемодана в шкафу не было. Она обежала взглядом вешалки. Заметно поредело, как в порубленном лесу. Не было пальто, да и ее мутоновой шубы не было...

Устюжанина рассеянно осмотрела комнату, ничего не понимая. Увидела свою коробочку, где лежало золотое кольцо, — коробочка стояла не там. В операционные дни она никогда не надевала украшений. Рената Генриховна открыла ее. Кольцо тускло светилось жирноватым блеском, но восьмидесяти рублей не было. Она бросилась к двери и долго возилась с замком, который раньше всегда открывался просто...

На лестнице никого... На площадке все так же стоял ее чемодан. Она сбежала по ступенькам и втащила его в квартиру — в нем оказались вещи из шкафа, собранные второпях, вместе с вешалками-плечиками. Но уж совсем непонятно, зачем она положила сюда электрический утюг — в шкафу лежали вещи и поценнее. И почему оставила этот чемодан на лестнице...

Устюжанина задумчиво походила по квартире.

И вдруг свалилась на диван, захохотав так, что вздрогнуло трюмо. Рената Генриховна смеялась над собой — так оригинально обворовать ее, пожившую, ученую, неглупую тетку. Боялась потерять любимого человека, но отделалась только восьмьюдесятью рублями. Этой воровке нужны были только деньги. Оказавшись застигнутой, она вмиг придумала выход: набила чемодан вещами потяжелее и разыграла мелодраматическую сценку. И опять Устюжанина смеялась над собой — уже зло, потому что сразу поверила в плохое про Игоря... И вновь смеялась от счастья, как после минувшей беды.

В милицию решила не заявлять — она ценила оригинальные решения, пусть даже преступные. Да и что сказать работникам уголовного розыска — что ее обокрали? Как она сама выбросила чемодан со своими собственными вещами? Что ее обманули? Рассказать, как она не поверила в своего мужа?

Рената Генриховна вздохнула и засмеялась еще раз, представляя, как она расскажет Игорю о краже. А кража ли это, знают только юристы.

Но юристы ничего не узнали.

Рябинин тщательно допросил новую пару свидетелей. Гущина показала, что в дороге никому ничего не рассказывала, знакомых у нее в этом городе нет, и она никого не подозревает. Иванова, пенсионерка, рассказала, в сущности, то же самое, что и Васина. И тоже эту девушку не запомнила.

Итак, два похожих, как пара ботинок, преступления. Они не будут раскрыты, и преступница не будет поймана, пока он не решит задачу — где она получила информацию об адресах, именах родителей и обстоятельствах командировок.

Рябинин полагал, что он только собирается обо всем этом думать, но он уже думал. Мысль пошла в пустоту, как камень, брошенный в небо. И, как камень, возвращалась обратно. Ей не за что было зацепиться: ни цифр, ни расчетов, ни графиков. Рябинин даже вспотел: миллионный город, и в этом городе, в крохотном кабинете, сидит он и хочет путем логических размышлений найти преступницу — это в миллионном-то городе! И ничего нет: ни электронно-вычислительных машин, ни кибернетики, ни высшей математики — только арифметика. Да в канцелярии лежат счеты, на которых Маша Гвоздикина считает трехкопеечные марки. Он злился на себя, на свою беспомощность, на отставание гуманитарной науки от технического прогресса...

Ну вот, сидит он со своей любимой психологией, со своей логикой и не знает, что с ними делать. А за окном электронный век.

Если допустить, что она была в Ереване и Свердловске, где узнала про потерпевших? Нет. Слишком маленький разрыв во времени, да и очень дорогой и громоздкий путь.

Рябинин посмотрел на часы — оказывается, он уже просидел полтора часа, рассматривая за окном прохожих.

Если допустить, что она летала на самолетах... Нет. Во-первых, опять-таки громоздко. Во-вторых, легко попасться — с самолета не убежишь. И в-третьих, невыгодно — все на билет уйдет.

Если допустить, что у нее знакомая стюардесса... Вряд ли. Стюардессы хорошо зарабатывают, дорожат своей работой, и нет им смысла идти в соучастницы. Но, допустим, жадность. Или она обманула проводницу... Нет. Чтобы подать телеграмму о деньгах, наклейки с адресом или паспорта мало — надо знать имена родителей и надо знать о командировке. И надо знать, что потерпевшая летит из дому в командировку, а не наоборот. И надо знать имя потерпевшей.

У Рябинина вертелся в голове какой-то подобный случай. Что-то у него было похожее, хотя свои дела он помнил — свое не забывается. Или кто-то из следователей рассказывал... А может, читал в «Следственной практике». Он еще поднапрягся и вспомнил: было дело о подделке авиабилетов — ничего общего.

Если допустить, что потерпевшие кому-то говорили о себе... «Ей» в самолете? Но этот вариант он уже отбросил. Кому-то, кто потом передал «ей»? Тогда этот кто-то должен летать на двух самолетах из Еревана и Свердловска, что мало вероятно. Да и какие бывают разговоры в самолетах — необязательные. Потерпевшие могли сказать, откуда они, куда летят, зачем, но как могли они в легком разговоре сообщить свой адрес и фамилию, имя-отчество родителей?.. Это можно сказать только специально для записи в книжечку. Тогда бы потерпевшие запомнили.

С воздухом он покончил — самолет опустился на землю. Потерпевшие получили вещи и пошли на транспорт. Одна села в троллейбус. Там уж она наверняка ни с кем не говорила: времени мало, да и не принято у нас разговаривать в транспорте с незнакомыми людьми. Здесь передача информации исключалась...

— А? — обернулся Рябинин к двери.

— Оглох, что ли? — поинтересовался Юрков в приоткрытую дверь. — Третий раз обедать зову.

— Нет, спасибо, — отмахнулся Рябинин и сел на стул задом наперед, как Иванушка-дурачок на Конька-Горбунка.

Вторая взяла такси. Времени на дорогу еще меньше, чем в троллейбусе. С шоферами такси разговаривают о погоде, о красоте города, о ценах на фрукты... Она могла, не придав значения, сказать, откуда прилетела и с какой целью. Но не

могла же она сообщить имена родителей и домашний адрес. И если допустить шофера такси, надо допускать соучастника, а до сих пор преступница работала одна, и это было не в ее стиле.

— Господи, да повернись ты, — услышал он за спиной.

Рябинин повернулся. Помощник прокурора Базалова удивленно смотрела на него изучающим взглядом, каким она, наверное, разглядывает заболевшего сына. Рябинин молчал: он видел ее, видел материнский взгляд, доброе полновато-круглое лицо, но видел глазами и каким-то тем клочком мозга, который не думал о преступлении.

— Господи, как хорошо, что я в свое время ушла со следствия, — вздохнула она.

Рябинин не понял, куда девалась Базалова. Когда он оглянулся, ее не было, будто она вышла на цыпочках.

Допустить, что информация утекала уже здесь, из семей, где жили потерпевшие? Все-таки один город, уже не Ереван и Свердловск. Но между семьями не было абсолютно никакой связи, ничего общего, ни одной точки соприкосновения.

Может быть, она, эта колдунья, где-то встречалась с потерпевшими в городе, на работе, в общественных местах... Может быть, нашла каких-то знакомых... Нет, отпадает — обе телеграммы поданы в день прилета потерпевших, и побывать они нигде не успели.

Мысль, которая и так сочилась, как вода в пустыне, высохла. Больше думать не о чем. Или все начинать сначала, с Еревана, со Свердловска, с самолетов. Но Петельников уже там побывал, всех опросил, проверил всех знакомых, поговорил со всеми стюардессами, побеседовал с почтовыми работниками — нигде ни намека.

Рябинин считал, что никаких следственных талантов не существует — есть ум и беспокойное сердце. Чтобы не скрылся преступник, признался обвиняемый или поверил подросток, нужно переживать самому. Так он считал, находясь в нормальном состоянии.

Но сейчас у него было иное состояние, которое врач определил бы как психопатическое. Ему казалось, что другой криминалист эту задачу давно бы решил; что он бездарен, как трухлявое дерево; что зря он в свое время пошел на следственную работу... Да и какой из него следователь — библиотекарь бы из него вышел неплохой. Он уже удивлялся, как проработал столько лет и до сих пор его держат. Рябинин вспомнил свои дела и среди них не увидел ни одного сложного и нашумевшего... Не зря прокурор района на него косится, как на огнетушитель, — вроде бы не особенно нужен, а иметь положено. Какой, к чертям, он следователь — разве следователи такие! Они высокие, оперативные, проницательные и неунывающие. Никому не пришло в голову проверить следователей тестами — он не сомневался, что быстро и впопад не ответил бы ни на один вопрос...

Откуда-то запахло табачным дымом, и он повернулся — перед столом сидела Демидова и курила.

— Никак? — спросила она.

— Никак.

— А ты поспи, а потом по новой за работу.

Он не отрываясь смотрел на улицу, грызя авторучку. Теперь уж эти два преступления виделись ему в графическом изображении — хоть оси черти. Первый график — прямая из Еревана. Второй — прямая из Свердловска. Пересеклись они в этом городе. Нет, не пересеклись, а сблизились, очень сблизились. Но если не пересеклись, то откуда она узнала об этих потерпевших? Значит, где-то пересеклись. На работе не могли — разные предприятия, да и преступница ни с какой работой не связана. Оставался город. И он опять вернулся к парадоксу: в городе есть место, в котором они не могли не быть, коли она про них узнала; но они там не были, потому что телеграмма подавалась в день прилета, а прилетели они в разные дни.

Нет, пути потерпевших нигде не пересекались, а шли параллельно, как два рельса. Вторая находилась еще в Свердловске, а на квартиру первой в Ереван уже летела телеграмма о деньгах. Казалось, этих командированных встречали у самолета и спрашивали имена родителей и домашний адрес.

На универмаге зажглись зеленые буквы. Рябинин только теперь заметил, что на улицы вползла лиловая мгла: нежная и зыбкая, темная под арками домов и светлая перед его окнами. Он встал и посмотрел на часы — было десять. Только что было десять утра, а теперь стало десять вечера. В желудке ныла легкая боль, пока еще примериваясь. В него нужно что-то вылить, хотя бы стакан чаю. А в голову послать таблетку — она ныла тяжестью, которая распирала череп и постукивала в висках.

Он считал, что потерпевшие сказали правду. А почему? Надо допустить и обратное. В жизни человека случаются такие обстоятельства, о которых не расскажешь. Иногда люди скорее признавались в преступлении, чем в гадливом грешке, от которого краснели следователи. Может, и его командированные что-нибудь утаивают?

Например, познакомилась в самолете с молодым человеком и заехала к нему на часик. Или... Но тогда бы хоть одна из них призналась — не может быть лжи у ста процентов свидетелей. Почему же ста? Если мошенница обманула десятерых, а заявили двое, то будет двадцать процентов. И почему ложь? Возможно, командированные женщины какому-нибудь пикантному обстоятельству не придают значения, например знакомству с молодыми людьми, и теперь встречаются с этими ребятами и не хотят, чтобы их вызывали в прокуратуру. Но ведь эти ребята должны быть не ребятами, а одним лицом. Тогда придется допустить, что он летел и в том и в другом самолете...

Что он связан с ней, с той... Но эту версию Рябинин уже отверг. Да и вторая потерпевшая, Гущина, на легкомысленную особу не похожа.

В дверь несильно постучали. Рябинин вздрогнул — стук разнесся в опустевшей прокуратуре как в осенней даче.

— Да, — хрипло сказал он.

Вошла женщина лет двадцати с небольшим, и только присмотревшись, можно было предположить тридцать. Фигура худощавая, невысокая, очерченная мягко-женственной линией. Маленькое точеное лицо с большими голубыми глазами, слегка раскосыми и быстро насмешливыми. Волосы неожиданны, как откровение, — густая латунная коса через плечо на грудь.

— Мне нужно следователя Рябинина, — сказала она грудным голосом.

— Я и есть он, — ответил Рябинин хриплым басом, который вдруг прорезался, потому что во рту без еды и разговоров все пересохло.

— Мне нужно с вами поговорить, — сказала женщина и без приглашения села к столу.

— Слушаю вас, — вздохнул Рябинин.

Она быстро взглянула на часики и виновато спросила:

— А удобно ли? Уже одиннадцать часов...

— Удобно, — буркнул он.

— Восемь лет назад, — с готовностью начала женщина, — я вышла замуж. Он меня любил, я его тоже. Мы поклялись всю жизнь прожить вместе и умереть в один день. Помните, как у Грина? Но случилось вот что: за восемь лет он ни дня, ни вечера не пробыл дома. Только ночует, да и то не всегда. Верите ли, у меня впечатление, что я пустила жильца с постоянной пропиской.

— Подождите, гражданка, — перебил Рябинин. — Он проводит время с другими женщинами?

— Нет, — уверенно ответила она.

— Пьет, играет в карты или ворует?

— Нет.

— Не бьет вас?

— Нет-нет.

— Тогда вы не туда пришли, — объяснил Рябинин. — Мы этим не занимаемся.

— А кто же этим занимается? — удивилась женщина.

Ее удивление было прелестно. Она не понимала, как это может существовать организация, которая не занимается такими вопросами, как любовь. И Рябинин подумал, что ее муж — большой чудак: уходить от такой изумительной женщины. Скользнув взглядом по ее груди, он промямлил:

— Никто. Но я могу вам помочь... психологически.

— Большое спасибо, — с готовностью согласилась женщина, и чертовские зеленоватые огоньки забегали в ее глазах, а может, это бегала за окном реклама на универмаге.

— Чем же занимается ваш муж?

— Не знаю. Говорит, что работает.

— Видите, — назидательно сказал Рябинин. — Он же занят делом.

— А разве есть такое дело, ради которого можно забросить любимого человека? — наивнейшим тоном спросила она и даже губы не сомкнула.

Рябинин вскочил и дугой прошелся по кабинету. Маленькие, крепко сомкнутые ножки в кофейных тончайших чулках она поставила изящно-наклонно — чуть под стул, чуть рядом со стулом, как это могут делать только женщины: тогда их ножки начинают смотреться самостоятельно, сами по себе.

Рябинин подошел сзади. Она не шевельнулась.

— Есть такие работы, которые засасывают, как пьянство, — сказал он.

— Неужели? — тихо удивилась она. — Какие же, например?

— Я не знаю, какая работа у вашего мужа... Ну вот, например, моя работа такая...

— А что — тяжело? — спросила женщина и тихо вздохнула.

— Очень, — признался он.

— Кого-нибудь не поймать?

— Не поймать, — ответил он, осторожно расплетая ей косу.

— Наверное, женщину? — предположила она.

— Да, женщину.

— А мужчине женщину никогда не поймать, — заверила она и повернула к нему лицо.

Теперь он увидел полуоткрытый рот сверху, увидел широко раскосые потемневшие глаза, уже без зеленоватых бликов; грустноватые, как у обиженного ребенка. А всех обиженных в мире — и собак и людей — вмещало рябининское сердце, как наша планета умещает на себе все народы, будь их три миллиарда или четыре.

Он наклонился и поцеловал ее в дрогнувший полуоткрытый рот.

— Ты сегодня ел? — спросила она, шурша ладонью по его уже не бритой к ночи щеке.

— Ел. Нет, вроде бы не ел.

— Пойдем домой, — решительно заявила она и встала.

Они вышли на предночную улицу. Рябинин любил их, затихающие, отшумевшие, теплые городские улицы, с редкими прохожими, частыми парочками и красными деревьями в рекламном неоне. Было не светло, но и тьмы не было, хотя та вечерняя лиловая дымка теперь сгустилась и легла на город, как залила его тепловатым фиолетовым соком. Но где-то на горизонте светилось небо бледно-зеленой полосой, и оно будет там всю ночь светлеть и зеленеть прозрачным весенним льдом.

— Лида, — сказал Рябинин, — я день просидел в своей камере. Давай съездим за город, на свежий воздух, а?

— Завтра?
— Нет, сейчас.
— Да ведь ночь же! — удивилась она.
— На часик, а? Подышим и обратно.
— Ты же есть хочешь, — неуверенно согласилась она.

С полчаса они топтались под доской с шашечками. Когда сели в машину, Лида вдруг засмеялась и прильнула к нему:

— Ну и сумасшедший! То домой не идет, а то гулять ночью придумает...

Рябинин промолчал. Может быть, он и был в эти дни сумасшедшим. В конце концов, человек, захваченный до мозга костей идеей, — разве не сумасшедший? И разве страстная мысль не похожа на манию? Работать сутками без приказа, без сверхурочных, премиальных и благодарностей — не сумасшествие? Да и что такое «нормальный»? Человек, у которого все аптечно уравновешено и на каждый минус есть свой плюс? Кто стоит на той самой золотой середине, которую любит обыватель и ненавидит Рябинин?

— Куда поедем? — спросил шофер.

— В аэропорт, — ответил Рябинин и пугливо глянул на жену.

Аэропорт не спал. На летном поле ревели реактивные самолеты, наверное прогревали моторы, но со стороны казалось, что изящно-могучие машины обессилели, не могут взлететь и только надрывно кричат, как раненые звери.

— Чувствуешь, тут ветерок, — сообщил Рябинин, — все-таки мы за городом.

С летного поля несло гарью, Лида взглянула на мужа. Он тут же перебил ее вопрос:

— Смотри, садится!

Самолет снижался, наплывая в темноте цветными огнями. Казалось, он сейчас покатится перед ними, но самолет куда-то нырнул за ангары, за темные силуэты хвостов, за лес самоходных трапов. Рябинин потащил Лиду к проходу, через который выпускали прилетевших.

Пассажиров сначала подвозили к стеклянному параллелепипеду — багажной. Но она стояла за проходом, практически на летном поле, и туда встречающих не пускали. При желании пройти можно: скажем, помочь вынести чемодан. Но там-то, в багажной, как узнать имена родителей, которых даже в паспорте нет? И в багажной Петельников уже посидел, изучив жизнь ее работников, как четырехправиловую арифметику. Багажная отпадала.

Рябинин повел жену в один зал ожидания, потом во второй, потом в третий... Они терпеливо перешагивали через ноги дремавших пассажиров. Но Кузнецова и Гущина сюда не заходили. И все-таки здесь преступница получала информацию.

— В четвертый зал пойдем? — спросила Лида.

Рябинин быстро глянул на жену: ни упрека, ни иронии, ни усталости.

— Пойдем в кафе, — предложил он.

Она пошла безропотно, будто у него в кабинете час назад ничем не возмущалась. Он знал, что Лида сейчас его безмолвно утешает, — она умела утешать молча, одним присутствием.

Они взяли крепкого чаю и горку сосисок — ему. Рябинин осматривал зал, механически жуя.

— Целлофан-то сними, — засмеялась Лида.

Кафе было огромное, современное и деловое, как и сам аэропорт. Здесь, видимо, не засиживались и не застаивались. И здесь пили только кофе и чай. Нет, это не то место, которое он искал. Рябинин даже перестал жевать — разве он искал какое-нибудь место? Он просто хотел побродить там, где, ему казалось, и произошла завязка. Бродил без плана, без логики, по воле интуиции и фантазии — авось это поможет мысли.

— Сережа...

— А?

— Пока ее не поймаешь... ты не вернешься?

— Как? — не понял Рябинин. — Мы сейчас пойдем домой...

— Это ты свое тело повезешь домой... А сам будешь здесь или с той, которую вы ловите, — вздохнула она.

— Лида... — начал было Рябинин.

— Молчи, — приказала она. — Даю тебе три дня на поимку этой ужасной женщины.

— Три дня, — усмехнулся он. — Может, и трех месяцев не хватит.

— Зачем себя так настраиваешь? Вспомни, другие-то дела раскрывал. Да и не одно.

Другие дела раскрывал. Но те дела уже казались легкими, а последнее дело всегда самое трудное. Лида утешала его — теперь словами. Женщины-утешительницы... Мужчине нужна любовь, семья, дети, секс, обеды и все то, что связано у него с женщиной. Но каждому мужчине, даже самому сильному, а может быть сильному мужчине тем более, нужна женщина-утешительница.

— Сережа, если ты будешь так переживать, то дай бог, если дотянешь до сорока лет, — сообщила Лида.

— А как же пенсии? — спросил он и увидел за столом двух инспекторов уголовного розыска, которые тоже ели по тарелке сосисок. Значит, ведомство Петельникова крутилось в аэропорту денно и нощно. Но вслепую здесь ничего не сделаешь — тут нужно догадаться.

Рябинин вспомнил, как однажды они с Петельниковым искали преступника, о котором только знали, что номер его домашнего телефона кончается на цифру 89 — в шестизначном номере. Работа шла интересно и споро, а было ее немало. И раскрыли.

— Пойдем, Лидок, домой, — предложил Рябинин, оставляя недоеденные сосиски. — Тебе же завтра на работу.

— Завтра суббота, Сережа.

— Да?! — удивился он.

Что-то в его «да» она услышала еще, кроме простого «да». Лида рассмеялась почти весело, будто он сострил:

— Так сказал, словно страшней суббот ничего нет. Обещаю завтра тебя не держать.

— А мне как раз некуда идти. Я теперь могу работать дома — сидеть и мыслить.

— Чудесно. Будем вместе мыслить. А куда мы идем?

Он опять привел жену к воротам прибытия. Рябинина тянуло к ним, словно его подтаскивал туда один из тех могучих реактивных двигателей, которые стояли на самолетах. Увидит он этот проход с дежурным, и спустится на него озарение, наитие, откровение, хоть глас божий — вот что ему надо в аэропорту. Но оно даже не блеснуло, даже зарницы этого озарения не вспыхнуло.

От ворот прибытия вела широкая асфальтированная пешеходная дорожка, обсаженная молодыми липками — метров двести. Упиралась она в стоянки: справа такси, слева троллейбусы. Вот и весь путь потерпевших. Улетевший человек бродит по залам и кафе, а прилетевший сразу идет по этой аллейке к транспорту.

— Пошли, Лида, — вздохнул Рябинин.

Конечно, чтобы найти брод, приходится много оступаться. Известно, что путь к истине усеян не только открытиями. Ошибки — тоже путь к истине. Но только одни ошибки — разве это путь?

Домой они пришли в два часа. Кажется, не светилось ни одно окно. Но уже светилось небо, на котором луна казалась бледной и немного лишней. Рябинин выпил еще две чашки крепкого чая и уставился на эту самую луну.

— Спать будешь? — осторожно спросила Лида.

— А как же, — бодро ответил Рябинин. — Чтобы завтра встать со свежей головой. Только постели мне в большой комнате, на диване, а? А то буду ворочаться, тебе мешать...

Лида усмехнулась. Она подошла и обвила тонкими руками его шею. Руки с улицы были прохладными, как стебли травы в лесной чаще. Она бы могла ничего не говорить, но она не удержалась — поцеловала его легким радостным поцелуем.

Рябинин пошел в большую комнату, разделся, лег на диван и уставился очками в потолок. И сразу повисло медленное время, будто сломались все часы мира и солнце навсегда завалилось за горизонт.

По каждому «глухарю» в уголовном розыске обычно накапливались кипы разного материала. И всегда было несколько человек подозреваемых, которых он отрабатывал, отбрасывал одного за другим, пока не оставался последний, нужный. Но по этому делу и подозреваемых-то не было. Хоть бы кто анонимку прислал...

Казалось, он перебрал все варианты. Петельников проверил

всех лиц, которые так или иначе связаны с потерпевшими; опросил всех работников Аэрофлота, которые работали в те дни.

И ничего — как поиски снежного человека. Петельников все делал правильно, но вот он, Рябинин, в чем-то допускал просчет. Видимо, надо отказаться от заданного хода мыслей, изменить ракурс, что ли... Подойти к проблеме с другими мерками, с другим методом. Но где взять этот метод?

Рябинину показалось, что он задремал. Небо еще темнело, луна висела там же — в углу большого окна. И тишина в доме не скрипела паркетом и не гудела лифтом. Значит, еще глубокая ночь, которой сегодня не будет конца.

А если она узнавала фамилии потерпевших — это все-таки можно узнать в аэропорту, — звонила по телефону в Ереван или в Свердловск знакомой и просила найти по справочному имена и адреса родителей... Боже, как сложно, а потому нереально.

Если допустить, что встречающие их... Но их не встречали.

Рябинин сел на своем диване. Ему хотелось походить, но чертовы паркетины расскрипятся на весь дом. Может, и правда начать курить — и красиво, и модно, и, говорят, помогает. Он знал, что ему сейчас необходимо переключиться на что-нибудь постороннее, тогда нужная мысль придет скорее. Но он не мог — его мозг был парализован только одной идеей.

Он все-таки встал и тихонько подошел к окну. Нет, луна чуть сдвинулась, даже заметно съехала к горизонту.

Рябинин никогда не делился своими неприятностями с людьми — даже Лида знала только то, что видела. Ему казалось, что посторонним людям это неинтересно. А людей близких он не хотел обременять — носил все беды и заботы на себе, как горб. Поэтому бывал одинок чаще, чем другие. И сейчас, разглядывая небо, он вдруг хорошо понял волка зимой, севшего ночью на жесткий голубоватый снег где-нибудь под треснувшей от мороза сосной и завывшего на желтую опостылевшую луну. Иногда и ему, как вот сейчас, хотелось сесть на пол и завыть.

Рябинин отошел от окна и лег на диван. Обязательно надо поспать, чтобы завтрашний день не выскочил из недели...

Перевоплотиться бы в эту потерпевшую Кузнецову. Сразу представил, как мама укладывает пирожки, провожает, беспокоится... Как Кузнецова летит, не говоря ни слова соседу, потому что тот старый. А он бы, Рябинин, заговорил как раз потому, что сосед старый. Как выходит из самолета и идет те двести метров — и он бы тоже пошел. Как садится в троллейбус — в незнакомом городе и он бы сразу поехал к родственникам...

Перевоплотившись, он повторил путь, который мысленно делал уже десятки раз. Рябинин стал вспоминать, с чем были пирожки. С капустой, с яблоками... Вроде бы с мясом...

Теперь он наверняка задремал, даже спал — он мог поклясться, что спал. Но вдруг что-то блеснуло, бело-бело, сине-сине, как электросварка. Он вскочил, озираясь по углам. Ему показалось, что там, во сне, или здесь, в комнате, ярко блеснули пирожки с мясом или с капустой. Рябинин подбежал к окну, уже

не боясь скрипучих паркетин. Он знал, что сейчас, вот сейчас догадается — только бы не потерять ту мысль, которая пошла от пирожков. Вроде и с мясом были, и с капустой, и с яблоками обязательно... Ну да, они же из приличных семей, если им в дорогу пекут пирожки с яблоками. Какая дурь! Но от дури сейчас ближе к истине, чем от правильных аксиом. У них же любящие мамы... С мясом пирожок испечь трудно. Его же надо молотить, или молоть, или фаршировать — это самое мясо. А если любящие мамы, приличные семьи, то...

Рябинин бросился в переднюю и сорвал телефонную трубку.

— Вадим! — как ему показалось, шепотом крикнул Рябинин. — Ты что делаешь?

— Да как тебе сказать, — хрипло замялся Петельников. — Если учесть, что сейчас три часа десять минут, то я смотрю широкоэкранный сон.

— Вадим, — зачастил Рябинин, — завтра утром возьми машину и вези ко мне потерпевших. Кажется, я нашел.

— Ну?! — окончательно проснулся инспектор.

— Сейчас рассказывать не буду, боюсь жену разбудить.

— Но это... точно?

— Не знаю. Надеюсь. Все решат завтра потерпевшие. Досматривай свой итало-французский...

Но он слышал, как Петельников закуривает, значит, спать больше не будет.

Рябинин повернулся и на цыпочках зашагал к большой комнате, будто ступая по кирпичикам в луже. Он смотрел на пол, поэтому прямо уперся в Лиду, стоявшую на пути.

— Догадался?!

— Не скажу, сглазишь. — Он взял ее за покатые плечи. — Надо еще проверить.

— А сняешь-то, — засмеялась она. — Теперь будешь спать?

— Что ты? — удивился Рябинин. — Какой же теперь сон! Теперь я жду утра. А небо-то!

Оно высветилось до ровной глубокой белизны, свежей и какой-то пугливой, чего-то ждущей. Казалось, эта ясность трепещет в прохладном воздухе, как голуби, летавшие с балкона на балкон. И уже горели розовато-кровавыми полосами крыши, словно там, за домами, варили сталь.

Вдруг он увидел в руке у Лиды книжку. Значит, она не спала, пока он корчился на диване. Не спала, когда он смотрел на луну. Рябинину сделалось стыдно. Бывают, будут в жизни минуты, когда захочется выть по-волчьи, и он будет выть. Но не когда друг за стеной.

— Лида, — сказал Рябинин, не выпуская ее теплых, убегающих вниз плеч, — если тебе мое следствие осточертело, то скажи, я его брошу ко всем дьяволам!

— Если я возненавижу твое следствие, то об этом никогда не скажу.

— Почему ж?

— Потому что ты бросишь меня, а не следствие.

— Ну да, — обиженно буркнул он.

— Нет, скорее ты будешь рваться между нами всю жизнь, до изнеможения.

— То-то сейчас не рвусь.

Он собрал ее расплетенные косы в громадную охапку и зарылся в нее лицом — погрузился в тот особенный аромат, который можно разложить на запах духов, волос, тела, свежей подушки, но вместе все это непередаваемо пахло Лидой. Он никогда не думал, что́ дороже — следствие или Лида, как не задумывался, какая рука важней. Лида была его первой и, он надеялся, последней любовью. Да и неважно, что будет, если любовь вдруг пройдет, как неважно, что будет с землею еще через четыре миллиарда лет. Потом можно сойтись с дурой и уйти от нее к дряни, полюбить за шиньон или за брючный костюм, жить ради автомобиля или богатого папы — потом можно любить кого угодно. Но первую любовь выбирают так, словно это твой первый и последний выбор, потому что первая любовь как родинка — на всю жизнь.

Лида поцеловала его:

— Расследуй... Только я беспокоюсь за твое здоровье.

— Тут уж ничего не поделаешь: или будешь жить долго и нудно, или кратко и интересно.

— А нельзя жить интересно и долго?

— Можно, — согласился Рябинин, — если кушать по утрам кефир. Лидок, давай завтракать, а?

Они пошли в кухню, и она подогрела тот завтрак, который он не успел съесть; тот обед, на который он не пришел; тот ужин, к которому он не вернулся. Рябинин с удовольствием ел среди ночи салат, котлеты, желе; просил еще, будто на него напал жор. Она грустно смотрела на эту нервную еду.

— Мой начальник, доктор наук, ходит на работу к одиннадцати часам утра, спит по ночам и получает пятьсот рублей.

— Бог с ним, — быстро ответил Рябинин, принимаясь за третью котлету. — Самый верный способ спрятаться от жизни — это уйти в науку.

— А где же она, эта жизнь? В следствии?

— На заводах, в полях, в производстве, в политике, в воспитании, в медицине... И в следствии. Но сейчас у меня голова занята не наукой.

— Как ты догадался? — спросила она о том, чем была занята его голова.

— Я уверен на все сто. — Он сразу отодвинул тарелку. — Но завтра проверю. Вот что бы ты сделала в аэропорту, прилетев в чужой город?

— Поехала в гостиницу, или к знакомым, или к родственникам.

— А если бы у тебя были с собой пирожки?

— А в пирожках радиопередатчик? — предположила Лида, которая из-за него прочла немало детективов.

— Да нет, — поморщился Рябинин. — С капустой, яблоками и разной там ерундой...

— И не отравлены?

— Что бы ты сделала, если бы тебя провожала мама и дала с собой эти самые пирожки?

Потерпевшие сидели рядом — впервые встретились у него в кабинете. Совершенно разные: по возрасту, по опыту, по уму и даже по росту. Они выжидательно смотрели на следователя. Петельников сидел против них, будто вызванный на очную ставку. Он тоже поглядывал на следователя короткими злыми взглядами, зыркал сбоку черными глазами, потому что Рябинин пока ему ничего не сообщил. Но догадки лучше не сообщать. Рябинин тянул, бессмысленно листая дело. Если не подтвердится, то опять...

— Товарищ Гущина, — наконец спросил Рябинин у обстоятельной женщины лет тридцати, — какая у вас семья?

— Муж, ребенок, мать...

— Прекрасно, — обрадовался Рябинин.

Гущина и Кузнецова с интересом глядели на следователя.

— Вы родственников наверняка любите? — поинтересовался он.

— Странный вопрос — конечно. Неужели вы их подозреваете? — вдруг обеспокоилась она.

Кузнецова даже фыркнула — что-то среднее между смехом и возмущением. Рябинин неприязненно глянул на нее и сказал Гущиной:

— Нет, разумеется. Просто я интересуюсь, любят ли они вас?

— Странно... Конечно, любят, — растерянно посмотрела Гущина на Петельникова, как бы ища поддержки.

Рябинин тоже повернул к нему голову и увидел два испытующих черных глаза, которые упорно смотрели на него. Рябинин не понял — сам ли он подмигнул Петельникову или его глаз самостоятельно дернуло тиком, но смысл этого подмаргивания он знал: мол, не беспокойся, я не свихнулся. Петельников, кажется, окончательно убедился, что следователь не в себе.

— Так, — сказал Рябинин, наводя очки на Кузнецову, — у вас есть мама, я уже знаю, и она вас любит...

— Зачем нас привезли? Почему отрывают в субботу... — начала было тонким писклявым голосом Кузнецова.

— Прошу отвечать на мои вопросы, — перебил Рябинин и крикнул, сильно шлепнув ладонью по столу: — Прошу отвечать на мои вопросы!

Стало тихо. Гущина залилась краской, и слегка порозовела Кузнецова.

— Извините, — сказал Рябинин, — но прошу отвечать на мои вопросы. Гущина, что вы сделали в аэропорту?

— Села на такси и уехала.

— Так. Кузнецова, что вы сделали в аэропорту?

— Села в троллейбус и уехала.

Она та́к ответила, что Рябинин понял — не уехала бы на троллейбусе, да теперь все равно бы не сказала. Напрасно он их допрашивает вместе, не зря закон запрещает, но ему нужно только спросить.

— Так, — сказал Рябинин, встал и отбросил ногой стул, который сейчас ему мешал. — Вы прилетели, дома беспокоятся родственники, а вы сели и поехали?!

— Да, вспомнила, — вдруг оживилась Гущина.

— Конечно! — крикнул Рябинин так, что Гущина чуть не забыла того, что она вспомнила. — Ну?!

— Я зашла на почту и подала маме телеграмму.

— Почему же вы раньше молчали? — укоризненно спросил Рябинин. — Я же просил сообщить каждую мелочь.

— Это так естественно, — вмешалась Кузнецова. — Я тоже дала телеграмму.

Рябинин торжествующе глянул на Петельникова — тот сидел, как шахматист за партией. Он ничего не понимал. Может быть, поэтому в глазах Рябинина и засветилось легкое самодовольство.

— Какие писали тексты? — спросил он сразу обеих.

— Наверху адрес, фамилию, имя, отчество, — начала первой Гущина, — а текст такой: «Долетела благополучно Целую Тоня».

— У меня вместо «благополучно» написано «хорошо», — сообщила Кузнецова.

— Кто-нибудь около вас был?

— Там полно народу, — пожала плечами Гущина. — Даже очередь стояла.

— Видал! — гордо сказал Рябинин инспектору и заложил бланк в машинку. В пять минут он отстучал два коротких, как справки, протокола. Потерпевшие молча расписались и ушли, заверенные им, что сделан еще один шаг к аресту преступника.

— Вот где разгадка! — нервно потер руки Рябинин. — В телеграмме есть все данные: адрес, имена родителей, имя потерпевшей. Ну и факт налицо — человек приехал. А?!

Петельников только расстегнул пиджак, из-под которого сразу выскочил и повис маятником длинный галстук, расписанный не то цветами, не то попугаями. Радость следователя до него не дошла, как не доходит тепло солнца в отраженном свете луны.

— Вадим, ты что? — подозрительно спросил Рябинин.

— Понимаешь, на почте и телеграфе я всех проверил, — задумчиво ответил инспектор. — Даже не могу представить, кто там ее соучастник.

— Какой соучастник? — не понял Рябинин.

— Кто телеграмму-то ей показывал? — впал в окончательное недоумение Петельников.

— Да проще все, гораздо проще! — обрадовался Рябинин, что это, оказывается, не так просто и не зря он думал день и ночь. — Она ходит по залу и заглядывает в телеграммы. Человек пишет... Или стоит в очереди — долго ли подсмотреть и запомнить. Элементарно гениально! А потом иди к старушке, плачься. Вадим, теперь она у тебя в руках.

— Почему? — спросил инспектор и выпрямился.

Галстук сразу лег на его широкую грудь. Рябинин видел, что Петельников лукавит — он уже знал почему. Он уже заработал мыслью, расставляя ребят по аэропорту. И его длинные ноги уже заныли под стулом от оперативного зуда.

— Она будет «работать» на телеграфе, пока ее не спугнут, — все-таки ответил Рябинин.

Инспектор встал.

— Сергей Георгиевич, на всякий случай, где будешь?

— Спать дома.

Петельников кивнул и сразу вышел — теперь у него появилась конкретная оперативная работа. Искать преступника нужно медленно, чтобы наверняка. А ловить его надо быстро.

Через два часа, когда Рябинин как подрубленный свалился на диван и спал, вокруг здания аэропорта медленно бродила симпатичная молодая женщина. Казалось, она чего-то выжидала. Впрочем, она могла ждать самолет и не хотела сидеть в душном зале.

В субботний день народу в аэропорту много. Теперь в аэропорту всегда народ, потому что люди спешат и уже не любят ездить в поездах.

Женщина заглянула в кафе, посмотрела на взлетавшие самолеты, медленно вошла в почтовый зал и села в уголке скромно, как Золушка на балу. Теперь она ждала кого-то здесь. Казалось, она забыла то лицо, поэтому разглядывает всех внимательно, чтобы не ошибиться.

Прошел час. Она не шелохнулась, не спуская глаз с людей, которые входили, писали телеграммы, отправляли и уходили. Прошло еще полчаса. Женщина вытащила из сумки зеркальце, посмотрелась и встала, поправив волосы. Она не ушла, а принялась медленно ходить вокруг овального стола, как ходила вокруг здания аэропорта. Ее круги, а вернее, эллипсы, все плотнее прижимались к людям, сочиняющим телеграммы. Теперь она рассматривала стол, словно то, чего она ждала, должно оказаться на столе. Около одной женщины она даже склонилась. Та удивленно подняла голову, но пышноволосая пригнулась ниже и поправила что-то в туфле.

Походив, она сделала восьмерку и оказалась у очереди к телеграфному окошку. Она встала последней. Никакой телеграммы у нее в руке не было, да она ничего и не писала. Сначала держалась рассеянно, смотря по сторонам, но потом ее взгляд

как-то сам собой замер на телеграмме стоящей впереди женщины.

— Вы последняя? — услышала она над ухом и вздрогнула.

Перед ней стоял вежливый молодой человек и улыбался.

— Я, — вяло ответила она и сразу отвернулась, будто застеснялась.

— А у вас ручки не найдется? — опять спросил молодой человек.

— Нет.

— А чем же вы писали телеграмму? — поинтересовался он.

— А вам какое дело?! — Она резко обернулась к парню.

— Ну-ну-ну, — успокоил ее молодой человек, не переставая улыбаться. — Да у вас, я вижу, и телеграммы-то нет...

Его рот улыбался, но глаза смотрели серьезно, даже зло, и поэтому лицо показалось маской, которую он только что нацепил. Она поправила волосы, чтобы не рассыпались и не закрыли ее с головы до ног, — они еле держались.

— Не ваше дело! — сердито отчеканила женщина и неожиданно вышла из очереди.

Быстрым сбивчивым шагом она двинулась из почтового зала, и ее небольшая фигура понеслась по переходам. Она пробежала все пролеты, двери, залы и выскочила из здания аэропорта... Когда женщина миновала его длинное распластанное тело и направилась к троллейбусу, то опять увидела этого молодого человека — он спешил за ней.

— Подождите! — Парень встал на ее пути. — Зря вы обижаетесь. Я просто хотел с вами познакомиться.

— А я просто не знакомлюсь, — сурово ответила она, делая шаг в сторону.

— Давайте познакомимся не просто, — предложил он и сделал такой же шаг в ту же сторону.

Она посмотрела ему в глаза: они по-прежнему светились злостью и съедали улыбку, как вода съедает сладкий сахар.

— Повторяю, что не хочу с вами знакомиться, — уже громко сказала она, и ее лицо залилось краской.

— Может, вы со мной хотите познакомиться? — раздался голос сзади.

Она даже вздрогнула, потому что сзади вроде бы никто не подходил и вдруг оказался человек, точно вылез из люка. Человек был высок, изысканно одет, чисто выбрит. Пальцами он перебирал радужный галстук, будто вырезанный из павлиньего хвоста; смотрел на нее черными, слегка выпуклыми глазами и ждал ответа.

— Вас тут что — шайка? — удивленно спросила она.

— Да, — подтвердил высокий, — шайка из уголовного розыска. Прошу ваши документы.

— Какое вы имеете право? — спросила молодая женщина.

— Работа такая, — усмехнулся парень с галстуком.

— Нет у меня документов, — тихо ответила она, сразу потускнев.

— Тогда назовитесь, пожалуйста.

— Ничего я вам не скажу, — вдруг вспыхнула она.

— Вы задержаны, гражданка. Пойдемте с нами, — сказал Петельников и взял ее под руку.

Днем Рябинин всегда спал тяжело и чутко, как зверь в норе. Он ворочался, постанывал, часто просыпался и даже сквозь дрему ощущал головную боль. Потом уснул крепче, но все равно знал, что спит и видит сон...

Якобы... мчался на место происшествия под вой сирены и все думал, зачем шофер так сильно воет, ведь тому, ради которого ехали, уже спешить некуда, — у них же не «скорая помощь». Затем он стоял в квартире, и, как всегда, было много народу. Все смотрели в пол и что-то искали — и работники уголовного розыска, и эксперты, и понятые. Трупа нигде не было. Тогда он спросил про труп у начальника уголовного розыска, но тот хитро прищурился: мол, следователь, а не знаешь. И сразу все перестали искать. Начальник громко объявил, что приехал следователь и сейчас труп найдет. В притихшей комнате Рябинин подошел к шкафу, открыл его и показал понятым — там стоял труп и давился смехом, потому что его никак не могли найти...

Рябинин тяжело поднялся с дивана. Сон получился не страшный, даже веселый. В снах, как и в кино, неважно, что показывают, а важно, как показывают.

— Даже снов человеческих не снится, — сказал он вслух.

Они ему виделись двух типов: страшные и хлопотливые. Страшные бывали редко. Чаще смотрелись хлопотливые, как и его жизнь. И те и другие сбывались с точностью графика. Страшные были к неприятности. У какого следователя не случается неприятностей? Хлопотливые — какие-нибудь пожары, бега, собрания — к хлопотам, а они у следователя ежедневно.

Но были и третьи сны: неясные, непонятные, дрожащие синеватым рассветным воздухом... В них причудливо соединялось самое дорогое для него, которое ложилось на вечно больную рану, потому что самое дорогое всегда болит. В этих синеватых снах мелькала его Иринка, которую он боялся обделить интересным детством. Мелькала Лида, которой боялся не дать счастья... Мелькал его отец, которому теперь он ничего не даст, да тот бы и не взял ничего, как всю жизнь ни капли не взял лишнего у государства. В этих снах бежали теплые ветры, невероятно порусски пахли березы, руки матери мыли ему голову теплой водой, и мир еще казался алмазно-свежим, каким бывает солнечное утро только в детстве... От этих снов он просыпался и уже не мог уснуть до утра. Но они снились только ночью и редко — может быть, несколько раз за всю жизнь — и оставались в памяти на всю жизнь.

Проспал он часа два. По радио передавали дневную зарядку. Свежесть не появилась. Болела голова, вялое тело висело само

по себе, как сброшенный мятый костюм. Во рту растекалась горечь.

Рябинин попробовал сделать несколько упражнений с гантелями, но в висках сразу болезненно застучало. Он принял теплый душ, и вроде бы стало полегче. Крепкий чай, любимый его напиток, который он пил часто, как старушка, освежил больше сна.

После чая Рябинин начал бесцельно бродить по квартире. На столе лежала торопливая записка: «Ушла в магазин, скоро вернусь. Спи побольше». Днем спать побольше он не мог. Получалось ни то ни се: ни работа, ни отдых.

Сидеть дома одни Рябинин не любил. Даже если работал за своим столом, ему нравилось, что мимо ходит Лида, копошится по углам Иринка, и обе без конца мешают и пристают с разными вопросами. Оставшись один, он сразу впал в грусть, как не взятый в кино ребенок, и не мог видеть квартиры. Лидины янтарные бусы казались брошенными, будто они больше никогда не лягут на ее грудь. На Иринкину куклу, самую обтрепанную и плюгавую, которую он все хотел спустить в мусоропровод, сейчас смотрел как на саму Иринку...

Зазвонил телефон, и Рябинин обрадовался — мысли об Иринке, которая была за городом, довели бы его до тоски.

— Слушаю.

— Сергей Георгиевич, — ошалело сказал Петельников, — поймали!

— Брось шутить, я не выспался.

— Да в камере сидит!

Рябинин вылез из кресла, не зная, что спросить и что сказать, — не мог поверить, что его теория сработала так быстро.

— Ну и что? — задал он дурацкий вопрос.

— Я машину за тобой послал. Задержанная требует следователя.

— Сама?

— Сама. Только, — замялся Петельников, — по-моему, это не та, а ее соучастница.

— Не та?

— Я уж начинаю путаться. Ходила и заглядывала в телеграммы, фамилию не называет, документы не предъявляет. По-моему, соучастница. А может, сама. Волосы русалочьи, наверняка парик.

— Одеваюсь, — сказал Рябинин и повесил трубку.

Есть и у следователя радости. Обвиняемый признался — значит поверил, раскаялся. «Глухарь» раскрылся — значит дрянь больше не гуляет на свободе. Дело в суд направил или прекратил — значит сумел разобраться. Потерпевший пришел спасибо сказать — что может быть приятнее! Есть у следователя радости, и всегда они связаны с одним — с торжеством истины.

Он мчался в машине по городу, мысленно подталкивая ее по забитым улицам. Ему не терпелось, и в одном месте шофер,

словно уловив его состояние, гуднул сиреной. Доехали они быстро — минут за двадцать.

Рябинин выскочил из кабины и бросился к зданию аэропорта. Он не знал, где находится пикет милиции. Как назло, не было ни милиционера, ни дежурного по аэропорту. Он уже пробежал два зала ожидания, оказался на летном поле, где его и поймал Петельников.

— Опять галстук новый? — радостно спросил Рябинин.

— Конечно! — засмеялся Петельников, хотя оба понимали, что радуются они не галстуку.

— Значит, так, — на ходу говорил Рябинин. — В пикете ее обыщем и повезем допрашивать в прокуратуру.

— Конечно, — опять весело согласился инспектор.

Пикет состоял из небольшой комнаты со столом и маленькой камеры для пьяных. В комнате сидели оперативники, которые при их появлении встали.

— На всякий случай двое сидят с ней, — объяснил Петельников. — Пока ведь не обыскана.

— Нужно трех женщин, — сказал Рябинин. — Двух понятых и одну оперработницу для обыска.

Петельников что-то шепнул одному из ребят, и тот моментально исчез.

Поправив галстук, Рябинин вошел в камеру и замер — в голову бросилась жаркая кровь, от которой, кажется, шевельнулись на затылке волосы и осели очки на переносице...

Посреди камеры стояла его жена.

Великие слова Рябинин старался не произносить: по пустякам не поворачивался язык, а крупных событий в жизни случалось немного. К таким большим понятиям он относил и слово «любовь». Ему казалось, что они с Лидой его вроде бы ни разу не употребили — не было нужды, как здоровому человеку нет нужды говорить о здоровье.

Рябинин, Лида и Петельников сидели в ресторане аэропорта. Инспектор с удовольствием ел солянку — он вообще много ел. Лида рассеянно ковыряла блинчики с мясом. Рябинин свои полпорции уже съел. Он смотрел на жену, то и дело поправлял очки, которые в жарком помещении всегда съезжали, и думал о ней, о женщине...

В основе цивилизации лежит гуманизм. В основе гуманизма лежит жалость. А вся жалость — у женщины. Да и детей рожают женщины, и жертвуют собой чаще женщины, и мужчины зачастую стараются ради женщин...

— Лида, — деликатно прожевав, спросил Петельников, — я все-таки не совсем понимаю вашу акцию. Вы хотели сами ее поймать?

Рябинин видел, что жена расстроена. Вообще-то она слегка кокетка и в присутствии такого галантного парня, как инспектор, обязательно бы чуточку водила глазами и поигрывала бы

латунной косой. Но сейчас Лида сидела тихо, стараясь быть незаметной.

— Не поймать, а проверить Сережину теорию, пока он спит. Можно ли увидеть адрес...

— Ну и как — можно? — с интересом спросил инспектор.

— Конечно. — Она пожала плечами.

— Вот что значит обсуждать с женой уголовные дела, — мрачно сказал Рябинин и погладил ее руку, чтобы смягчить тон.

— Вот что значит не знакомить со своей женой, — уточнил Петельников.

— Тебя не раз приглашали, — возразил Рябинин.

— Сережа, я больше никогда в жизни не вмешаюсь в твою работу, — сказала Лида виноватым голосом.

Рябинин старался выглядеть сурово, но безвольная радость прорывалась из груди. Он это видел по ее лицу — там она отсвечивала. Большие слова можно всуе не произносить. Но большие чувства прорываются сами, потому что им не уместиться. Это «пока он спит» тронуло его, и Рябинин подумал, что с «глухарем» он действительно перезабыл все большие и маленькие слова.

— Я, братцы, не наелся, — сообщил Петельников.

— Предлагала же поехать к нам, — укоризненно сказала Лида.

— Не могу, мое место теперь здесь, в аэропорту. Кстати, Сергей Георгиевич, я видел ее в ресторане всего часа полтора и то больше смотрел на другую. Ну и в квартире мельком. Боюсь ошибиться. Пример уже есть, — сказал инспектор и кивнул на Лиду.

— Я думаю об этом, — ответил Рябинин и удивился.

Он думал о Лиде, женщинах, любви, ел солянку, разглядывал жену, беседовал с инспектором — и думал «об этом» не переставая, видимо с того момента, как обнаружил Лиду в камере.

В париках и косметике узнать эту телепатку в лицо будет трудно. Значит, у инспектора оставалось только одно — наблюдать за ее поведением. Но это ненадежно, как ловить птиц сачком. Могла быть задержана любая прилетевшая и озирающаяся женщина, а их в аэропорту много; преступница меньше всего выглядела подозрительной.

— Есть идея, — сообщил Рябинин.

— Ты, Сергей Георгиевич, просто мозговой центр, — легонько поддел Петельников следователя, но тот не обратил внимания.

— Про одорологию слышал?

— Это он при вас свою ученость показывает, — сообщил инспектор Лиде. — Ну, слыхом слыхали, но еще не употребляли.

— Одорология — наука о запахах, — объяснил Рябинин больше жене, чем инспектору, который о ней знал. — Я изъял в квартире халат, теперь он нам пригодится.

— У меня как раз насморк, — поделился инспектор и тут же сказал Лиде: — Пардон.

Рябинин стал обдумывать. У него рождалась идея, а инспектор не ко времени разыгрался под действием солянки и хорошенькой женщины. Петельников сразу уловил настроение следователя и серьезно заметил:

— Сергей Георгиевич, эта штука еще не особенно освоена.

— Я привезу банку с запахом, а ты пошли за проводником с собакой.

— Ты же халат паковал в полиэтиленовый мешок, — вспомнил Петельников.

— Запах я перенес шприцем в герметические банки. Когда увидите подозрительную женщину... Впрочем, я сейчас провожу Лиду домой и все покажу.

И Рябинин посмотрел на жену, вспомнив, что сегодня суббота.

Почти никогда не обваливаются только что выстроенные дома. Не падают в воду новые мосты. Не оседают высотные здания. И даже длинющие телевизионные вышки, которые уж, казалось бы, должны завалиться наверняка, спокойно горят в небе красными огнями. Потому что они строятся по инженерным расчетам, по чертежам, формулам и цифрам. Версии следователя строятся на интуиции, логике и психологии, к которым добавляются факты, если они есть. Поэтому расчеты инженера относятся к расчетам следователя, как желание бога к планам человека в известной пословице: «Человек предполагает, а бог располагает».

Прошла бесплодная неделя. Петельников не жил дома, ел в кафе, спал в гостинице у летчиков, чистые рубашки покупал в ларьке «Товары в дорогу», а грязные складывал в громадный портфель. Оперативники, его подчиненные по группе, играли с летчиками в домино. Рыжий Леденцов от безделья напился пива и был отправлен в райотдел — на операции Петельников даже запаха не допускал.

За время своей работы инспектор убедился, что, если версия принята, сомневаться в ней нельзя, пока ее полностью не отработаешь. А начни сомневаться — ни одного дела не доведешь до конца, потому что в их работе гарантии не давались. Петельников ежедневно звонил Рябинину и ни разу не усомнился в правильности его догадки.

На десятый день, в понедельник, к шести вечера прибыли почти один за другим самолеты из Хабаровска, Киева и Ашхабада. В почтовом зале аэропорта сразу сделалось людно. Прилетевшие входили с вещами и лепились вокруг овального стола, сочиняя телеграммы. Один парень спортивного вида даже сидел в углу на чемодане и, вероятно, писал письмо. Той тишины, которая стоит в обычных почтовых отделениях, здесь не было: где-то ревели самолеты, что-то гудело за стеной, радио то и дело объявляло о посадке и прибытии...

Девушка с дорожной сумкой и с тяжелым блоком черных плотных волос, будто вылепленных из вязкого вара, сочиняла телеграмму, смотрела в потолок, шевелила губами и копалась в сумке. Потом взглянула на стеклянный барьер, схватила свои легкие вещи и встала в очередь. За ней тут же пристроилась девушка без вещей, в широкополой соломенной шляпе, в которых обычно приезжают с юга. А за этой девушкой уже вставала плотная женщина средних лет с сеткой помидоров... Очередь была человек в пятнадцать, но двигалась споро.

Черноволосая обмахивалась телеграммой, как веером. Девушка в соломенной шляпе стояла чуть сбоку, держа свою телеграмму свернутой в трубочку. Женщина с сеткой посматривала на помидоры, боясь их передавить: они были крупные, южные, распираемые соком.

— Вы не скажете, как проехать на проспект Космонавтов? — обернулась черная к соседке.

— Я нездешняя, — ответила та.

— На семнадцатом троллейбусе, — вмешалась женщина с помидорами.

— А вы не из Хабаровска? — спросила черненькая девушку в шляпе.

Вероятно, у них бы завязался обычный дорожный разговор о городах, гостиницах и ценах на фрукты...

Но в этот момент из служебной комнаты вышел молодой человек с красивой черной овчаркой на поводке. В другой руке он держал теннисные ракетки. Собака, не слушаясь хозяина — да хозяин вроде бы ее не особенно и сдерживал, — деловито обежала длинный стол. Овчарка сделала по залу несколько замысловатых фигур, уткнувшись носом в пол, подтащила молодого человека к окошку и побежала вдоль очереди...

Вдруг она рванулась вперед и взвилась на задние лапы, захлебываясь от неудержимого лая, даже не лая, а какого-то рычащего клекота, пытаясь броситься на плечи девушки в шляпе.

— Карай! — крикнул молодой человек и рванул поводок.

Спортивный парень, писавший письмо на чемодане, тут же извлек из-под себя кинокамеру, навел ее на людей и застрекотал.

Удивленная очередь притихла, ничего не понимая. Некоторые улыбались: в конце концов, мало ли какие есть собаки и кинолюбители!

Но девушка в соломенной шляпе резко повернулась и пошла из очереди, словно объявили посадку на ее самолет. Она сделала шагов десять, когда женщина с помидорами швырнула сетку на пол, настигла уходящую и на глазах изумленной очереди схватила ее руку и завернула за спину. Тут же на одном из стеклянных окошек с табличкой «Администратор» отъехала зеленая шелковая шторка, и там оказался еще один кинолюбитель с камерой, который снял уже всю картину — и первого кинолюбителя, и очередь, и девушку в шляпе, уходящую от собаки и кинокамер.

Из служебной комнаты вышел Петельников с двумя работниками аэропорта. Парень на чемодане тоже вскочил. Еще появились откуда-то два оперативника, словно вылезли из-под стола. Молодой человек с ракетками успокаивал собаку.

Девушка в соломенной шляпе оказалась в плотном людском кольце, из которого не было выхода.

— Вот и встретились, — радостно, как старой знакомой, сообщил Петельников. — Все-таки верная пословица насчет третьего раза, которого не миновать.

— Пусть эта мясистая дура отпустит руку, — сказала она низким голосом, оставаясь невозмутимой, будто ее ничто тут не касалось, кроме завернутой руки.

Петельников кивнул, и «мясистая дура», тоже инспектор уголовного розыска, отпустила. Петельников тут же выдернул из этой отпущенной руки телеграфный бланк и показал его работникам аэропорта:

— Товарищи понятые, смотрите, абсолютно пустая бумага.

Понятые кивнули. Задержанная поправила соломенную шляпку. Оперативники, молодые ребята, рассматривали ее с любопытством, как кинозвезду.

— В пикет милиции, — приказал Петельников. — Шумилов, перепиши свидетелей.

Ее так и повели — в людском кольце. Ошарашенные пассажиры смотрели вслед, ничего не поняв, потому что не было ни одного милицейского мундира.

На полу осталось месиво давленых помидоров, издали — как пятно крови на месте преступления.

В это время Рябинин сидел в своем кабинете мрачный. Ничто не шло, другие дела лежали лежнем, все валилось из рук и грызла совесть за тех ребят, которые по его ночной идее томились в аэропорту.

Утром вызывал прокурор и монотонно перечислил его грехи: преступление до сих пор не раскрыто, другие дела лежат без движения, работникам уголовного розыска дано неправильное задание. После указанных конкретных ошибок прокурор перешел на причину, их породившую, — его характер. Рябинин не стал спорить, хотя бы потому, что прокурор дорабатывал последние дни и переводился в другой район. Он не хотел спорить, но и не мог не обороняться.

Потом в канцелярии Рябинин перекинулся словами с Машей Гвоздикиной, сообщив, что в ее годы можно быть и поумней. Затем поспорил с помощником прокурора Базаловой о воспитании детей, доказывая, что, если бы родители не только выращивали, но и воспитывали, преступность давно бы исчезла. И уж под конец поссорился по телефону с начальником уголовного розыска, чего наверняка не надо было делать, чтобы не навредить Вадиму Петельникову.

Он не срывал зло на людях. Как человек крайностей, в тяжелые моменты Рябинин отказывался от компромиссов. Он ни-

когда не ссорился с одним человеком, а уж если рвал с одним, то как-то получалось — и с другими, как в цепной реакции. Поэтому он не ссорился с одним человеком — он ссорился с миром.

Вошел Юрков. Он носил плащ даже в жару, и Рябинин подумал, что почему-то несимпатичные ему люди всегда тепло одеваются.

— Я в плохом настроении, — предупредил Рябинин.

— Я тоже, — добродушно заявил Юрков. — Завтра партсобрание, не забыл?

— Нет.

Ему не хотелось говорить, но Юрков такие мелочи не замечал. Спор с прокурором случился при нем, и, видимо, он пришел утешить. Юрков попытался придумать вступление, но отказался и прямо спросил:

— Знаешь? Прокурор хочет твой вопрос поставить на партсобрании.

— Какой вопрос? — внешне удивился Рябинин, но вообще-то не удивился ничуть — мало ли какие вопросы может придумать руководитель, когда ему не нравится подчиненный.

— Ну о твоем характере...

— Впервые слышу, чтобы характер обсуждался на партсобрании, — теперь действительно удивился Рябинин.

— Да нет, — поморщился Юрков, — вопрос будет называться иначе. Но характер у тебя плохой, это точно.

Юрков хитренько улыбнулся: мол, не спорь, знаем твой грешок.

— Характер у меня не плохой, — спокойно возразил Рябинин, — просто он у меня есть.

— Да зачем он? — житейски заметил Юрков.

— Без характера не может состояться следователь, да и человека нет без характера.

Юрков поморщился, и Рябинин понял его — все, мол, теория, а жизнь состоит из практики.

— Жизнь-то другая, — разъяснил Юрков.

Для многих людей жизнь хороша тем, что на нее можно все свалить. Она вроде бы все списывала. Часто жизнью называли ряд обстоятельств, которые помешали человеку стать лучше. Но Рябинину сейчас не хотелось ни о чем говорить — ни о жизни, ни о смерти.

— Вот спорить ты любишь, — подумал вслух Юрков.

— К выступлению на партсобрании готовишься? — усмехнулся Рябинин.

— А что — не любишь?

— Люблю, черт возьми. Разве это плохо?! — наконец-то вскипел Рябинин. — Испокон веков считалось, что способность к дискуссиям — прекрасное качество.

— Да ты уж больно волнуешься, — возразил Юрков.

Рябинин рассмеялся — зло, как демон. Его упрекали в страстности, а он, как дурак, серьезно говорил с этим человеком,

который с такой же невинностью мог упрекнуть в принципиальности.

— Пожалуй, прокурор о тебе на собрании не заговорит, секретаря парторганизации испугается, — уточнил Юрков.

Секретарем парторганизации была Демидова.

— А вообще-то, я пришел вот что спросить. Ты со мной как-то спорил, что преступника надо перевоспитывать и доверять... Вот поймаешь ее, эту свою неуловимую, — перевоспитаешь за один-два допроса? Будешь ей доверять? А?

Юрков щурил свои хитроватые глаза на большом, широком лице. Рябинин молчал. Видимо, умные вопросы приходят в голову всем.

Честно на вопрос Юркова он ответить не мог, поэтому молчал. Конечно, эту женщину за несколько допросов не только не перевоспитаешь, а и души-то не тронешь. Доверять ей мог только сумасшедший. Получалось, что его слова в споре — красивая болтовня. И верно сказал тогда Юрков, что они для девочек.

Зазвонил телефон. Рябинин снял трубку.

— Сергей Георгиевич, — ухнула трубка, — она у меня в камере!

— Ну-у-у! — даже запел Рябинин и почему-то встал. — Как же?

— Все как по сценарию. Как ты расписал, так она и шуровала.

— Вадим, а она не убежит? Смотри.

— Если только разберет кирпичную стену или сделает за ночь подкоп. Пусть напишет объяснение?

— Ну пусть пишет, — помялся Рябинин. — Ко мне на допрос везите завтра. Возьмусь со свежими силами...

Инспектор знал, что на свои допросы следователь никого не пускает.

— Какая она? — вырвалось у Рябинина.

Петельников помолчал.

— Трудно будет с ней. Да ничего, главное сделано.

— Нет, Вадим, главное еще впереди...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

На следующий день Рябинин готовился к допросу. Он сидел с закрытыми глазами.

У каждого следователя есть десятки приемов, которыми он пользуется, как механик разными гаечными ключами. В принципе приемы можно применять любые, кроме незаконных и аморальных. Но чтобы их применять, нужно иметь отдохнувший ум, который весь допрос обязан быть в живости, деятельности, подвижности... Силы разума, как частицы в синхрофазотроне, надо разгонять до больших энергий, до такой высокой степени сообразительности, которая называлась быстроумием. Найти выход из положения, вовремя ответить, уместно пошутить, неож-

данно одернуть, при случае пожалеть, а при случае быть готовым и к физической обороне. Это быстроумие сродни остроумию, только остроумие проявляется вспышкой, а быстроумие — состояние постоянное, и чуть ослабело оно — допрос гаснет. Ум следователя должен не иссякать, как источник в горах. Об одном и том же он должен уметь спрашивать постоянно, и все по-иному, бесконечно бить в одну точку новым, тут же придуманным оружием, чтобы человеку казалось, что разговор идет все время о разном.

Но Рябинин был тугодум; может быть, обстоятельный, основательный, глубокий, но тугодум.

Закрыв глаза, он решал, на чем же строить допрос, который всегда на чем-то держится, как дом на фундаменте. Двое ресторанных потерпевших, Капличииков и Торба, отпадали, — они не могли ее опознать. На очной ставке она наверняка заявит, что видит их впервые. Получавшие деньги старушки тоже отпадали — разве им опознать? Кузнецова и Гущина ее вообще не видели. Петельников в данном случае не свидетель, работник милиции, лицо заинтересованное. И Рябинин с тоской подумал, что прямых доказательств нет: не смешно ли — столько преступных эпизодов, а доказательства появятся, сама о них расскажет, а он зафиксирует. Не признается — дело будет трудным, и еще неизвестно, чем оно кончится.

Выходило, что допрос лучше строить на Курикине. Он открыл глаза и спрятал в дело заготовленное постановление на ее арест — осталось только получить санкцию у прокурора. Хотел было составить план допроса, что рекомендовала делать криминалистика, но передумал — свободная импровизация у него получалась лучше.

Рябинин услышал тяжелые шаги в коридоре и сразу понял, что волнуется.

В кабинет вошел молодой сержант из райотдела:

— Товарищ следователь, задержанная доставлена из КПЗ для допроса. Вот на нее матерьяльчик.

— А сама где? — спросил Рябинин.

— В машине. Не беспокойтесь, там два милиционера. Такая, вам скажу, птичка.

— Да?

— Типичная прохиндейка, если не хуже.

— Да?

— Ну прямо натуральная «прости меня, господи».

— Да?

— Да. И без юбки.

— Как без юбки? — не понял Рябинин.

— Вот столечко примерно висит.

Сержант на своих ногах показал, сколько у нее висело юбки: действительно, почти ничего не висело.

— Мини, — догадался Рябинин.

— Меньше, полмини. А в камере что вытворяет... Скрутила кофту петлей, зацепила за выступ, встала на нары и замерла.

Ну прямо висит, как утопленник. Меня чуть инфаркт не хватил. Отвечай потом за нее.

— Шутница, -- задумчиво сказал Рябинин.

Он внимательно слушал разговорчивого сержанта, потому что его интересовала любая деталь о человеке, которого предстояло допрашивать.

— Вы с ней помучаетесь, она вами повертит. Не девка, а хлорофос.

В словах сержанта Рябинин уловил не то чтобы недоверие, а что-то вроде сомнения; возможно, сержант не верил в силы тех, кто не был широкоплеч и не носил формы.

— Ничего, — немного хвастливо заверил Рябинин, — не такие кололись. Бывали судимые-пересудимые, а посидишь с ними поплотнее — все начистоту выложат...

— Конечно, у вас особые приемы, — согласился сержант, и Рябинин по голосу понял, как тот тоскует об этих особых приемах, наверняка учится на юридическом факультете и мечтает о самостоятельном следствии.

— Какие там особые... У меня два приема — логика и психология.

— А магнитофон? — не согласился сержант. — Или вот здорово... Начальник сидит, а ему кино показывают прямо в кабинет: где преступник, что он делает и что думает.

Рябинин засмеялся — могучая притягательная сила детектива оплела даже здравый рассудок работника милиции, который ежедневно видит простую и жизненную работу своего учреждения, более сложную и тонкую, чем магнитофоны и кино в кабинете начальника.

— Психология, сержант, посильнее всех этих магнитофонов. А допрос посложнее кино. Ну, ведите ее...

— Есть!

Сержант молодцевато вышел. Рябинин взглянул на часы — было десять утра. Часа два-три на допрос уйдет. И он сразу ощутил тот нервный легкий озноб, который у него появлялся всегда перед борьбой. О том, что допрос — это борьба, знает каждый опытный следователь. Но сейчас предстояла не просто борьба: к чувству напряженности перед схваткой примешивалось любопытство, распаленное долгими поисками и неудачами.

В коридоре послышался топот: казалось, шло человек десять. Или дверь была не прикрыта, или ее сквозняком шевельнуло, но из коридора несся браничливый голос — низкий, грудной, напористый: «Ну-ну! Руки-то не распускай. Н-ну, не подталкивай! Подержаться за меня хочешь — так и дыши. Только я с такими мордастыми не путаюсь...»

Они стояли за дверью, и, видимо, она не шла в кабинет, ошпаривая сержанта словами: «У тебя небось дома жена сидит в три обхвата, студень тебе варит из копыт. Ну-ну, с женщинами надо деликатно, это тебе не в свисток посвистывать, гусь лапчатый».

Наконец дверь распахнулась широко, на полный размах, как

ворота. Они вошли вместе, протиснулись в проем одновременно — сержант прилип к ее боку, уцепившись за руку.

Она замерла у порога, будто в кабинете увидела чудо. Сержант с трудом закрыл дверь, потому что мешала ее спина.

— Она, собственной персоной, Сергей Георгиевич.

Рябинин охватил взглядом невысокую плотную фигуру в коричневом, туго обтягивающем платье, коротеньком, будто на него не хватило материи. Ему хотелось сделать что-нибудь вежливое, располагающее — попросить сесть, улыбнуться или пошутить...

— Здравствуйте, — сказал Рябинин. — Давайте...

Она вдруг всплеснула руками, словно наконец поняла, кто сидит в кабинете, бросилась к столу, радостно улыбаясь:

— Здравствуй, Сережа! Милый мой живчик! Вот ты где притулился... Чего ж больше не заходишь? Или нашел кого помягче?

Рябинин растерянно взглянул на сержанта. Она еще радостней закричала на всю прокуратуру:

— Не стесняйся, жеребчик. К бабам все ходят — и следователи, и прокуроры. Давай поцелуемся, что ли...

Она артистично развела руки и перегнулась через стол, пытаясь обнять следователя. И у нее это получилось бы, потому что ошарашенный Рябинин парализованно сидел на стуле. Но сержант вовремя схватил ее за плечо и оттащил от стола примерно на полшага:

— Ну-ну, не позволяй себе.

— Так я ж его знаю! — удивилась она неосведомленности сержанта. — На прошлой неделе ночевал у меня.

— Все равно не позволяй, — решил сержант, рассудив, что ночевка еще не повод для фамильярных отношений на допросе.

— Да не знаю я ее! — вырвалось у Рябинина.

— Ну как же? — удивилась она такой несправедливости. — Девять рублей заплатил, рублевка еще за ним. Я с работяг беру пятерку, а у кого высшее образование — десятку. Сережа!

Она опять попыталась ринуться через стол, но сержант был начеку:

— Стой нормально.

— Не тычь, неуч! — вырвала она у него руку, и сержант ее больше не тронул.

— Гражданка, прошу вас... — начал Рябинин.

— Ну чего ты просишь, живчик? Сначала рубль отдай, а потом проси.

— Вы можете идти, — сказал Рябинин сержанту.

Тот с сомнением посмотрел на красного, скованного следователя, на веселую девицу, стоявшую посреди кабинета подбоченившись.

— Я буду в коридоре, — полуспросил-полуутвердил сержант.

Рябинин кивнул. Петельников, видимо, наказал сержанту не отходить от нее ни на шаг. Как только за ним закрылась дверь, она сразу сообщила:

— С тебя надо бы меньше взять, хиловат ты оказался. В очках все такие.

— Сержант ушел, людей нет, теперь-то зачем комедиантствовать? — усмехнулся Рябинин, приходя в себя.

— Небось перепугался? — сочувственно спросила она. — Может, и не ты был. Физия-то очками прикрыта.

Не хватило ему того самого быстроумия. Он ожидал всего, только не такого выпада. На допросе, как в боксе, часто первый удар решает судьбу встречи. Но неожиданность для следователя не оправдание. Уж если нет быстрой реакции, то ее нет.

— Садитесь, — нелюбезно предложил он, потому что не мог справиться со своей злостью.

— Почему следователи начинают на «вы», а потом переходят на «ты»? А который до тебя говорил, так прямо чуть не выражался. Ну я ему тоже завернула в бабушку.

Видимо, кто-то из оперативников успел ей высказать свое отношение, хотя Рябинин их предупреждал.

— Я выражаться не буду. Но и вас прошу вести себя прилично, — спокойно сказал Рябинин.

— Прилично? — удивилась она. — Мы что, на свидании?

— Садитесь, — еще раз предложил он, потому что она стояла посреди комнаты, будто зашла на минутку.

Она подумала и села. Рябинин хорошо видел: подумала, прежде чем сесть, — это ее ни к чему не обязывало. Значит, лишнего слова не скажет, не проговорится.

Теперь он ее рассмотрел. Широковатое белое лицо с темносерыми глазами, которые она то сужала до черных щелочек, то расширяла до громадно-удивленных, таращенных, серых. Русые волосы лежали короткой челкой, и видно было, что они свои. Фигура была не полной, как показывали свидетели, но ширококостной, поэтому худой она не казалась. На этом сухощавом теле сразу бросалась в глаза пышная грудь, как у американской кинозвезды.

— Ну как? — спросила она.

— Что... как? — спросил Рябинин, хотя понял ее «ну как?», и она поняла, что он понял.

Не ответив, она чуть отъехала вместе со стулом от края стола, и Рябинин сразу увидел ее ноги, положенные одна на другую. Он даже удивился, что у невысокой девушки могут быть такие длинные бедра — широкоокруглые, удивительно ровненькие, белые, с чуть кремовым отливом, туго налитые плотью, как зерна кукурузы в молочно-восковой спелости.

— Ну как? — спросила она опять.

— А никак, — в тон ей ответил Рябинин.

— Ну да, — усмехнулась она, не поверив.

От женщины скрыть это самое «как» невозможно — она прекрасно видела, какое произвела впечатление своей фигурой. Получалось, что подозреваемая читала по его лицу с бо́льшим успехом, чем он по ее. Рябинин уже много лет безуспешно вырабатывал у себя на время допросов лицо бесстрастно равнодушного

идиота. Такое лицо получалось только тогда, когда он о нем думал. Но на допросах приходилось думать не о своем лице. Поэтому Рябинин махнул рукой и сочинил успокоительную теорию, что бесстрастные лица только у бесстрастных людей.

— Сейчас предложишь закурить, — решила она.

— Это почему же?

— В кино всегда так.

— А я вот некурящий, — усмехнулся Рябинин.

— И сигаретки нет? — спросила она уже с интересом.

Он заглянул в письменный стол, где обычно бывало все: от старых бутербродов до пятерчатки, но сигарет не оказалось.

— Вот только спички.

— При твоей работе надо держать сигареты и валидол, кому плохо станет. Но мне плохо не будет, и не надейся, — заверила она.

— А мне и не нужно, чтобы вам было плохо, — заверил, в свою очередь, Рябинин.

— Да брось меня «выкать». Я не иностранная шпионка. Какое-то слово шершавое: «вы», «вы».

— Хорошо, давай на «ты».

Он сразу понял, что сейчас его главное оружие — терпеливость. Как только он утратит ее, допрос сорвется.

— Тогда свои закурю, — решила она и полезла за лифчик.

Рябинин отвернулся. Он еще не понял, делает ли она это нарочно или вообще непосредственна в поведении.

— Чего застеснялся-то? Людей сажать не стесняешься, а грудей испугался. Дай-ка спичку.

Она закурила красиво и уверенно, откинулась на стуле, сев как-то распластанно, будто возлегла. Обычно в таких случаях Рябинин делал замечание, но сейчас промолчал.

— Фамилия, имя, отчество ваше... твое?

— Софи Лорен. — Она спокойно выпустила дым в потолок.

— Прошу серьезно, — сказал Рябинин, не повышая тона.

Он не сдерживался, действительно был спокоен, потому что сразу настроился на долгое терпение.

— Чего Ваньку-то крутишь? И фамилию знаешь, и отчество, — усмехнулась она.

— Так положено по закону. Человек должен сам назваться, чтобы не было ошибки.

— Могу и назваться, — согласилась она и церемонно представилась: — Матильда Георгиевна Рукотворова.

— Видимо, трудный у нас будет разговор, — вздохнул Рябинин.

— А я на разговор не набивалась, — отпарировала она. — Сам меня пригласил через сержанта.

— Начинаешь прямо со лжи. Не Матильда ты.

— А кто же? — поинтересовалась она, выпуская в него дым.

У Рябинина впервые шевельнулась злоба, но еще слабенькая, которую он придавил легко.

— По паспорту ты Мария. И не Георгиевна, а Гавриловна. И не Рукотворова, а Рукояткина. Мария Гавриловна Рукояткина.

— Какие дурацкие имена, — сморщила она губы и небрежно сунула окурок в пепельницу. — Ну и что?

— Зачем врать? — Он пожал плечами.

— Ты спросил, как я себя называю. Так и называю: Матильда Георгиевна Рукотворова. Это мое дело, как себя называть. У меня псевдоним. Ты можешь звать меня Мотей.

Кажется, в логике ей не откажешь. Рябинин чувствовал, что ей во многом не откажешь и все еще впереди.

— Год рождения?

— Одна тысяча девятьсот первый.

— Попрошу отвечать серьезно.

— А сколько бы ты дал?

— Мы не на свидании. Отвечай на мой вопрос.

— На свидании ты бы у меня не сидел, как мумия в очках. Двадцать три года ровно. Записывай.

Выглядела она старше: видимо, бурный образ жизни не молодит. На хорошенькое лицо уже легла та едва заметная тень, которую кладет ранний жизненный опыт.

— Образование?

— Пиши разностороннее. Если я расскажу, кто меня и как образовывал, то у тебя протоколов не хватит.

— Я спрашиваю про школу, — уточнил он, хотя она прекрасно знала, про что он спрашивал.

— Пиши высшее философское. Я размышлять люблю. Не хочешь писать?

— Не хочу, — согласился Рябинин.

Такая словесная болтовня будет тянуться долго, но она нужна, как длинная темная дорога на пути к светлому городу.

— Тогда пиши незаконченное высшее... Тоже не хочешь? Пиши среднее, не ошибешься.

— Незаконченное? — улыбнулся Рябинин.

— Учти, — предупредила она, — Матильда по мелочам не треплется.

— Учту, когда перейдем не к мелочам. А все-таки вот твое собственное объяснение. — Он вытащил бумагу. — Через слово ошибка. «О клеветал». «О» отдельно, «клеветал» отдельно. Какое же среднее?

— А я вечернюю школу кончала при фабрике. Им был план спущен — ни одного второгодника. Ничего не знаешь — тройка, чуть мямлишь — четверка, а если подарок отвалишь — пятерка. У меня и аттестат зрелости есть.

И она посмотрела на него тем долгим немигающим взглядом, томным и загадочным, которым, видимо, смотрела в ресторане. Рябинин сразу ее там представил — молчаливую, непонятную, скромную, красивую, сдержанно-умную, похожую на молодого научного работника. Он бы сам с удовольствием с ней познакомился, и, молчи она, он никогда бы не определил, кто перед ним.

— Где работаешь?
— В Академии наук.
— Я так и думал.
— Кандидатам наук затылки чешу — самим неохота.
Она его не боялась. Страх не скроешь, это не радость, которую можно пригасить волей, — страх обязательно прорвется, как пар из котла. Рябинин знал, что человек не боится у следователя в двух случаях: когда у него чиста совесть и когда ему уже все равно. Был еще третий случай — глупость. Дураки часто не испытывают страха, не понимая своего положения. Но на глупую она не походила.
— Короче, нигде, — заключил Рябинин.
— Что значит — нигде? Я свободный художник. У меня ателье.
— Какое ателье? — не понял он.
— Как у французских художников, одна стена стеклянная. Только у меня все стены каменные.
— И что делаешь... в этом ателье?
— Принимаю граждан. А что?
— Знаешь, как это называется? — спросил он и, видимо, не удержался от легкой улыбки. Она ее заметила. Рябинин подумал, что сейчас Рукояткина замолчит — ирония часто замыкала людей.
— Будь добр, скажи. А то вот принимаю, а как это дело называется, мне невдомек, — ответила она на иронию.
— Прекрасно знаешь. В Уголовном кодексе на этот счет...
— В Уголовном кодексе на этот счет ни гугу, — перебила она.
Действительно, на этот счет в Уголовном кодексе ничего не было, а кодекс она, видимо, знала не хуже его. Проституции кодекс не предусматривал, потому что она давно исчезла. За всю практику Рябинин не помнил ни одного подобного случая. Ей выгоднее сочинить проституцию, за что нет статьи, чем оказаться мошенницей и воровкой, — тут статья верная.
— Знаешь, я кто? — вдруг спросила Рукояткина.
— Для того и встретился, — сказал Рябинин, зная, что она скажет не о деле.
— Я гейша. Слыхал о таких?
— Слышал.
— Знаешь, как переводится «гейша» на русский язык?
— Знаю: тунеядка, — пошутил он.
— Тунеядка... — не приняла она шутки. — Эх ты, законник. Сухой ты, парень, как рислинг. А домохозяйка тунеядка?
Казалось, они просто болтали о том о сем. Но уже шел допрос — напряженный, нужный, обязательный, когда он изучал не преступление, а преступницу, что было не легче допроса.
— Сравнила. Домохозяйка помогает мужу, воспитывает детей, ведет дом...
— Помогает мужу?! — удивилась Рукояткина, делая громадные глаза. — А если женщина помогает многим мужьям, она

кто? Вот наступило лето, жены с детьми уехали... Куда мужик идет? Ко мне. И живет у меня месяц-два. Я готовлю на него, стираю, убираю, развлекаю... Кому плохо? Какой закон это может запретить? Да ему со мной лучше, чем с женой: я не пилю, ничего не требую, от меня можно уйти в любой момент... Холостяки есть, жениться не хотят, или рано, или квартиры нет. Если мне понравится, пожалуйста, живи. И живут. Кормят, конечно. Так ведь хороший муж жену тоже кормит.

— И принимаешь любого?

— Еще что! — изумилась она. — Если понравится. Бывает такое рыло, что и денег его не надо. Один хотел у меня обосноваться, а я пронюхала, что у него трое детей по яслям сидят. Скрылся от них, как шакал. И не пустила, выгнала в шею, прямо домой пошел. Хотел у меня один мастер с моей прежней фабрики покантоваться — близко не подпустила. Хотя парень ничего, видный...

— Чего ж так?

— Он член партии.

Рябинин молчал, ожидая продолжения. Но она тоже молчала, считая, что уже все сказано. Пауза у них получилась впервые.

— Ну и... что? — наконец спросил он, хотя понял ее, но не понял другого — откуда у этой опустившейся девицы взялись высокие идеалы?

— Эх ты, законник, — брезгливо ответила Рукояткина. — Тоже ни хрена не понимаешь. Да как он... Он же на фабрике беседует с рабочими о моральном облике! Учит их! А сам блудануть хочет потихоньку. Если бы я стала девкам говорить, мол, работайте, учитесь, трудитесь... Кто бы я была?

— Кто?

— Стерва — вот кто!

— В этом смысле ты права, — промямлил Рябинин.

Он не мог спрашивать дальше под напором мыслей. О «члене партии» решил подумать после, может, в ходе допроса, потому что это было серьезно. Его удивило, что Рукояткина свободно рассказывала о таком образе жизни, о котором обычно умалчивали. Тунеядцы на допросах плели о маминых деньгах, бабушкином наследстве, случайных заработках... Рукояткина прямо заявила, как она живет. Рябинин не стал ничего решать, неясно уловив, что вторая его мысль связана с первой и над ними надо еще думать. Но третья мысль обозначилась четко: если ее кормили мужчины, то куда шли добытые деньги, которых набиралось больше семисот рублей. Или она его развлекала...

— А вот еще у меня было... Чего-то я тебе рассказываю? Ты кто — жених мне?

— Врачу и следователю всё рассказывают. Ранее судима?

— Да, банк ограбила.

— Почему грубишь?

— А чего ерунду спрашиваешь? Ведь знаешь, что несудима. Уж небось проверил не раз.

— Прошу быть повежливей, ясно? — строго сказал он.

Рукояткина моментально ответила, будто давно ждала этой строгости:

— А что ты мне сделаешь? Ну скажи — что?! Посадишь? Так я уже в тюряге. Бить будешь? По нашему закону нельзя. Да ты и не сможешь, деликатный очкарик.

Рябинин считал, что мгновенно определить в нем «деликатного очкарика» могли только в магазинах на предмет обвеса или обсчета. Продавцы вообще прекрасные психологи. Рукояткина сделала это не хуже продавцов. Она отнесла его к классу-виду-подвиду, как палеонтолог диковинную кость. Это задело Рябинина, как всегда задевает правда. Его многолетние потуги выбить из себя «деликатного очкарика» ничего не дали.

— Я ж тебе не хамлю, — миролюбиво заметил он.

— Тебе нельзя, ты при исполнении.

— Приводы в милицию были?

— И приводы, и привозы, и даже приносы. Только не в вашем районе.

Это было не началом признания — она просто понимала, что все уже проверено, коли установлена ее личность.

— Как это... приносы? — не понял Рябинин.

— Пешком приводили, на «газике» с красной полосой привозили. А раз отказалась идти, взяли за руки, за ноги и понесли. Мне вся милиция знакома. Между прочим, один из вашего отделения ко мне клеился. Да я его отшила.

— Родители, родственники есть?

— Я незаконная дочь вашего прокурора.

— Опять шуточки, — добродушно улыбнулся он.

— А что — прокурор только не знает. Знал бы — сразу выпустил. А если серьезно, товарищ следователь... Да ты ведь гражданин следователь.

— Это неважно, — буркнул Рябинин.

Он никогда не требовал, чтобы его называли «гражданин следователь», и морщился, если какой-нибудь коллега перебивал по этому поводу обвиняемого, — отдавало чистоплюйством и самодовольством: знай, мол, мы с тобой не ровня. Это мешало тактике допроса, да и не мог он лишний раз ударить лежачего. Не в этом заключалась принципиальность следователя.

— Смотришь в кино, — мечтательно продолжала Рукояткина, рассматривая потолок, — читаешь в книжках... Бродяга оказывается сыном миллионера. Такая, вроде меня, вдруг получается дочкой известной артистки... Или вот еще по лотерее машину выигрывают. А тут живешь — все мимо.

Она хотела говорить о жизни. Рябинину иногда приходилось часами биться, чтобы обвиняемый приоткрылся. Большинство людей не пускало следователей в свою личную жизнь, как не пускают в квартиру первых встречных. Но уж если пускали, то признавались и в преступлении. Это получалось естественно и логично — затем и объяснялась жизнь, чтобы в конечном счете объяснить преступление.

Она хотела говорить о жизни.

— На случай надеяться нельзя, — поощрил он ее к беседе.

— Еще как можно, — оживилась она. — Жила на моей улице одна чувиха. Похуже меня еще была. Как вы называете — аморальная.

— А вы как называете? — вставил Рябинин.

— А мы называем — живешь только раз. Вообще-то костлявая была девка. Идет, бывало, костями поскрипывает. Хоть мода на худых, а мужики любят упитанных, чтобы девка вся под рукой была. Чего ей в башку ударило, или упилась сильно, а может, заскок какой, только решила завязать. Семью захотела, ребенка, чай с вареньем по вечерам да телевизор с экранчиком...

— Неплохое решение, — перебил Рябинин.

— Чего ты понимаешь в жизни-то, — вскользь заметила она, но так убежденно, что он ей поверил — ту жизнь, которой жила она, Рябинин понимал плохо.

— Как ей быть?! — продолжала Рукояткина. — Семью-то как изобразить, кто замуж-то возьмет?.. Решила родить ребенка без мужика.

— Как без мужика? — ничего не понял Рябинин.

— Слушай дальше.

Ему нравился ее язык — свой, острый, с юморком. Такой язык бывает у веселых людей, которые живут в самой людной гуще — в больших цехах, полеводческих бригадах, на кораблях...

— Решила, значит, воспитать ребенка на благо обществу. Людей-то, говорят, не хватает из-за плохой рождаемости, хотя в метро не протолкнуться. Оделась вечером в парчовое платье, накрутила повыше шиньон... С ночи, значит, питательная маска из свежих огурцов... Навела марафет, на плечи кошкой прибарахлилась, бриллианты за целковый на грудь — и пошла. К филармонии, в Большой зал. Купила билет, сделала умную рожу, входит. Сидит, слушает всякие ноктюрны и натюрморты. Потом рассказывала, что легче выдержать вытрезвитель, чем филармонию. В антракте приметила парня — высокий, упитанный, галстучек в форме бабочки. Подошла к нему и вежливо говорит: «Мужчина, извините, что, будучи не представлена, обращаюсь к вам, но к этому вынуждают чрезвычайные обстоятельства, короче, подперло». Парень сначала открыл варежку и никак захлопнуть не может. А потом пришел в себя: о чем, мол, речь, пройдемте, скушаем по коктейлю через соломинку. Скушали. Тут она ему и выдала: «Не могли бы вы со мной провести одну ночку без пошлостей?» Он опять варежку отклячил, стал отнекиваться — сильно, мол, занят. Она уперлась, и все: говорит, сейчас без наследственности никак нельзя. Не рожать же, мол, от ханурика. Если, говорит, здоровье страдает, тогда пардон, поищем на стадионе. Согласился. Пошел к ней, неделю прожил, чемоданчик принес, а потом что, думаешь, сделал?

— Предложение? — улыбнулся Рябинин.

— Без предложения женился. Золотое кольцо подарил, свадьба была с коньяком.

— А как же ее прошлое? — спросил он.

Его очень интересовал ответ. В этих фантастических историях были ее мечты и ее философия.

— Что прошлое... Он ей так сказал — ты людей убивала? Нет. А остальное меня не касается. Я, говорит, не инспектор уголовного розыска.

Значит, Рукояткина допускала любое преступление, кроме убийства. А их и без убийства в кодексе перечислено немало.

— И кто же он оказался, муж-то? — поинтересовался Рябинин.

— Кандидат звериных наук! Бегемота в зоопарке изучил, двести пятьдесят получает, ничего не делает, только смотрит на бегемота, пьет кофе и ест одну морковку. Он ее из зоопарка носит, бегемот недоедает. У них уже ребенок есть, тоже морковку грызет.

— А у тебя, кстати, детей не было?

— На проезжей дороге трава не растет.

Он записал бы эту пословицу — до чего она понравилась, но пока свободную беседу никакими бумажками прерывать не хотелось. Неизвестно, как Рукояткина отнесется к записи. Бывали обвиняемые такие говорливые, но стоило вытащить протокол, как они замолкали.

— Почему же... У твоей знакомой выросла.

— А вот еще какой случай был, — не ответила она на его замечание.

Слушал он с интересом, понимая, что это те самые мещанские истории, которые любят сочинять неудачники. Рассказывала она вполголоса, слегка таинственно, как говорят мальчишки о мертвецах, склоняясь к столу и расширяя свои безразмерные глаза.

— Жила у нас на улице дворничиха, молодая баба, но в доску одинокая. Весь день на ветру да у бачков помойных, вот рожа и красная, пищевыми отходами от нее пахнет — кто замуж возьмет? Опять-таки метла в руках, не транзистор. Однажды подходит к ней вечером участковый: мол, Маруся, на панели пьяный лежит, покарауль, я транспорт вызову. Пошла. Лежит мужичишка потрепанного вида, знаешь, какие у пивных ларьков по утрам стоят. Но лицо у него есть. Смотрит, а он вдруг говорит ей человеческим голосом: «Бабонька, спаси меня от вытрезвителя, век не забуду. Нельзя мне туда по государственным соображениям». Говорить он мог, а передвигаться не получалось. Подняла его Маруся и кое-как доволокла до своей двенадцатиметровой. Уложила спать, дала корочку понюхать, а утром он проснулся, опохмелился и говорит: «Маруся, а ведь я не гопник, а ведь я переодетый...»

— Доктор наук, — не удержался Рябинин, хотя перебивать было рискованно.

— Бери выше. Я, говорит, переодетый директор комиссионного магазина. Остался у нее и до сих пор живет.

— Сама придумала?

— Жизни не знаешь, следователь, — легко вздохнула она.

Все делалось правильно, и законы допроса не нарушались. Но схема «от жизни к преступлению», в которую, как ему казалось, она сама вошла, как овца в стойло, осталась себе схемой. Рукояткина рассказывала о жизни вообще — о своей только заикнулась. Так душу следователю не выкладывают.

— Может быть, перейдем к делу? — спросил Рябинин.

— К какому делу? — удивилась она, расширив глаза, в которых запрыгали веселые чертенята.

Вот этих чертенят он пока не понимал — откуда они в ее-то положении?

— К тому, за которое сидишь.

— А я сижу ни за что, — гордо сказала она и откинулась на стул.

— Так все говорят, — усмехнулся Рябинин и официальным голосом спросил: — Гражданка Рукояткина, вам известно, в чем вы подозреваетесь и за что вы задержаны?

— Нет, гражданин следователь, мне это неизвестно, — вежливо ответила она и добавила: — Думаю, тут какое-нибудь недоразумение.

— А если подумать? — спросил Рябинин, хотя знал, что и думать ей нечего, и вопрос его дурацкий, и не так надо дальше спрашивать...

Она подняла взгляд к потолку, изображая глубочайшее размышление, — его игра была принята. Сейчас начнется комедия, когда оба будут знать, что ее разыгрывают.

— А-а, вспомнила. Я на той неделе улицу не там перешла. Не за это?

— Не за это, — буркнул Рябинин.

— А-а, вспомнила, — после изучения потолка заявила Рукояткина. — Вчера во дворе встретила собаку, с таким придавленным носом, вроде бульдога, и говорю: «У, какой усатый мордоворот». А хозяин обиделся, он оказался с усами, а собака без усов. За это?

— Так, — сказал Рябинин. — Значит, не вспоминается?

— Не вспоминается, — вздохнула она.

— Что вчера делала в аэропорту? — прямо спросил он.

— Зашла дать телеграмму.

— Кому?

— Молодому человеку, офицеру Вооруженных Сил.

— Фамилия, имя, отчество?

— Это мое личное дело. Неужели я назову, чтобы вы его таскали? — удивилась она.

— Почему бланк телеграммы был не заполнен?

— Я еще не придумала текста, дело-то любовное...

— А почему собака безошибочно тебя нашла?

— Это надо спросить у собаки, — мило улыбнулась она.

Все произошло так, как он и предполагал. Оставался только Курикин.

— Как у тебя память? — спросил Рябинин.

— Как у робота, все помню, — заверила она.

Чаще его заверяли в обратном.

— Что ты делала второго июля?

Рябинин не сомневался, что Рукояткина помнит все события, но вряд ли она их привязывала к определенным числам. Спрашивать о прошлых днях вообще надо осторожно — человек редко помнит о делах трехдневной давности, если жизнь ритмична и однообразна.

— Вечером или утром? — спросила она, ни на минуту не усомнившись в своей памяти.

— С самого утра.

— Подробно?

— Подробно.

— Поймать хочешь на мелочах, — усмехнулась она.

— Почему именно на мелочах? — спросил Рябинин, но он действительно хотел ее поймать, и поймать именно на мелочах.

— Всегда так. В книжках, или выступает следователь, обязательно скажет: самое главное в нашей работе — это мелочи.

Когда она наклонялась к столу или перекладывала ногу на ногу, до Рябинина доходил непонятный запах: для духов слишком робкий, для цветов крепковатый. Таких духов он не встречал — вроде запаха свежего сена.

— Нет, Рукояткина, у нас с тобой разговор пойдет не о мелочах. Так что ты делала второго июля?

— Слушай, — вздохнула она. — Очнулась я в двенадцать часов...

— Как очнулась? — перебил он ее.

— По-вашему, проснулась. Башка трещит, как кошелек у спекулянта. Выпила чашечку кофе. Черного. Без молока. Без сахара. Натурального. Без осадка. Свежемолоченого. Через соломинку. Ну а потом как обычно: ванна, массаж, бад-мин-тон. Потом пошла прошвырнуться по стриту. Разумеется, в брючном костюме. Я подробно говорю?

Рябинин кивнул. Этого никто не знает, любуясь экранными волевыми следователями в кино; никто не знает, что он, этот грозный представитель власти, — самая уязвимая фигура, в которую пальцем ткнуть легче, чем в лежащего пьяницу: тот хоть может подняться и схватить за грудки.

Обвиняемый мог издеваться над следователем, как это сейчас делала Рукояткина. Свидетелю мог не понравиться тон следователя или его галстук — он встанет и уйдет: потом посылай за ним милицию. Прокурор мог вызвать и устроить разнос за долгое следствие, за неправильный допрос, за плохой почерк и за все то, за что найдет нужным. Зональный прокурор мог на совещании прочесть с трибуны под смех зала какую-нибудь неудачную фразу из обвинительного заключения. Адвокат мог деланно удивляться, что следователь не разобрался в пре-

ступлении подзащитного. В суде мог каждый бросить камень в следователя, стоило возникнуть какой-нибудь заминке. Эти мысли приходили ему в голову всегда, когда что-нибудь не получалось.

Рукояткина издевалась откровенно и элегантно, как это может делать женщина с надоевшим любовником.

— Потом посмотрела кино, — продолжала она.

— Какое кино?

— Художественный фильм. Широкоэкранный. Широкоформатный. Цветной. Двухсерийный. Звуковой.

— Я спрашиваю, как называется?

— Этот... Вот память-то, зря хвалюсь. В общем, про любовь. В конце он на ней женится.

— А в начале?

— Как обычно, выпендривается. Да все они, про любовь, одинаковы. Девка и парень смотрят друг на друга, как две овцы. А рядом или поезда идут, или лепесточки цветут, или облака по небу бегут.

— В каком кинотеатре?

— В кинотеатре имени Пушкина.

— Нет такого кинотеатра, — сказал Рябинин и под столом левой ногой придавил правую, потому что правая начала мелко подрагивать, будто ей очень захотелось сплясать.

— Нет? Значит, я была в «Рассвете».

— В «Рассвете» шел фильм про войну.

Он специально просмотрел программы, что и где показывали второго июля.

— Про войну? А про войну всегда с любовью перемешано.

— В этом фильме никто не выпендривается и никто в конце не женится. Так где ты была второго июля днем?

— Обманула тебя, нехорошо, — притворно сконфузилась она, отчего грудь колыхнулась. — Не в кино была, а в цирке. На сеансе шестнадцать ноль-ноль.

Верить, сделать вид, что веришь любым ее показаниям... Придавить посильней правую ногу и превратиться в доброжелательного собеседника. Тогда обвиняемый будет врать спокойно, находя понимание, а понимание всегда ведет к психологическому контакту. Пусть этот контакт построен на лжи, квазиконтакт, но это уже брешь в стене молчания и злобы; уже сидят два человека, из которых один говорит, а второй слушает. В конце концов следователь все-таки начнет задавать вопросы. И тогда у обвиняемого возникает дилемма: отвечать правду и сохранить хорошие отношения со следователем или же обманывать дальше и вступить со следователем в конфликт, порвать уже возникшие приятные отношения. Рябинин знал, что обвиняемые скорее шли по первому пути, что рвать контакт психологически труднее, чем его сохранять. Человеческая натура чаще стремилась к миру.

— Другое дело. А то вижу, с кино ты путаешь. Ну и что показывали в цирке?

Тут она могла обмануть просто, потому что цирк он не любил и почти никогда в него не ходил, только если с Иринкой.

— Как всегда... Слоны, собачки, клоуны под ковром.

Его тактика могла иметь успех при условии, что обвиняемый стремится хотя бы к правдоподобию. Рукояткину вроде не интересовало, верит он или нет.

— Может быть, хватит? — не удержался он все-таки на уровне своей теории.

— Чего хватит?

— Врать-то ведь не умеешь.

Он представил дело так, будто она неопытна во лжи, а не просто издевается над следователем.

— Не умею, это верно заметил, — притворно вздохнула она, — а честному человеку трудно.

— Где же ты была второго июля с шестнадцати часов? — беззаботно спросил Рябинин. — Ответишь — хорошо, не ответишь — не так уж важно.

— Наверное, в филармонии. Да, в филармонии.

— Ну и что там было?

О филармонии Рябинин мог поговорить — раза два в месяц Лида приходила после шести часов к нему в кабинет и молча клала на стол билеты — ставила его перед свершившимся фактом. И если не дежурил, и не было «глухаря», и не затянулся допрос, и не поджимали сроки — он безропотно шел на концерт.

— Как всегда, скука.

— Что исполнялось?

— Не была я в филармонии. В кафе-мороженом была.

— Это уже ближе к истине. Но еще далеко.

— Далеко? Ну, тогда в сосисочной.

— Теплее, — улыбнулся Рябинин.

— В пивном баре.

— Горячей.

— А потом скажешь — все, спеклась? Так?! — весело спросила она и вдруг расхохоталась, видимо, представив, как она поглупому «спекается».

Игра в вопросы-ответы пока его устраивала. В любой лжи есть крупицы правды, а следователю редко выкладывают сразу всю правду. Однажды он видел, как пропускали через магнит сахарный песок, чтобы уловить металлические примеси. Потом ему показали улов: одна расплющенная шляпка гвоздя, как клякса, — это на тонны песку. У него пока и шляпки-кляксы не поймано, но он еще и не пропустил тонны.

— Слушай, а по закону я обязана отвечать на твои дурацкие вопросы? — вдруг спросила Рукояткина.

Ей уже надоели вопросы. Она уже задумывалась, как вести себя дальше, понимая, что на этом стиле долго не продержишься.

— По закону можешь и не отвечать, — спокойно объяснил он. — Но тогда я об этом составлю протокол. Это будет не в твою пользу.

— Значит, о моей пользе беспокоишься? — усмехнулась она.

— О пользе дела и о твоей пользе тоже.

Рябинин решил применить усложненный вариант «квазиконтакта» — допроса, который включал резкий перепад его поведения. Сначала он друг, желающий облегчить судьбу подследственного. Но неожиданно сразу его голос крепчал, лицо каменело, придвигался протокол для записи каждого слова. Обвиняемый пугался и стремился вернуться к первоначальному положению. Но вернуться можно было только ценой приятного сообщения. Таким сообщением являлась правда о преступлении. И обвиняемый говорил какую-нибудь деталь, фактик. Следователь сразу оборачивался другом, и опять шла мирная беседа — до следующего острого вопроса. Так повторялось несколько раз. Этот допрос Рябинин называл «слоеным пирогом».

Он чуть-чуть двинул папку в сторону, будто она ему мешала; расстегнул пуговицу на пиджаке и шевельнул плечами, чтобы пиджак распахнулся; сел к столу боком и по-свойски улыбнулся — Рябинин никогда не стал бы так позировать, не заметь, что она любит театральность.

— Рукояткина! Да неужели у тебя нет потребности сказать правду?! У любого человека, даже самого плохого, есть такая потребность. Я же вижу, ты внутри неплохая...

— Во! Внутрь залез, — перебила она.

— Человек не может жить в неправде, — не обратил он внимания на ее реплику. — Как бы ни обманывал, все равно где-то, когда-то, кому-то он должен открыться, очиститься, что ли, от всего...

— Думаешь, ты самый подходящий человек, перед кем я должна открываться, обнажаться, раздеваться?!

— Я вижу, тебе хочется рассказать, да ты боишься, — пустил пробный шар Рябинин, хотя ничего не видел.

— Да ты рентген! — деланно удивилась она. — Тебе бы шпионов ловить, а не нас, грешных.

— Вот у меня случай был...

— Во-во, давай случай из практики, — перебила она. — Только пострашней.

Рябинин начал рассказывать случай, которого у него никогда не было, но у кого-то в городе он был: следователь два дня пересказывал обвиняемому содержание «Преступления и наказания». На третий преступник попросил книжку и прочел в один присест. На четвертый день он во всем признался. Потом Рябинин рассказал случай, который был у него: задержал преступника и два дня по разным обстоятельствам не мог его допрашивать. На третий день тот написал из камеры заявление с просьбой немедленно прислать следователя: так и писал — нет сил молчать.

— Красиво говоришь, — заключила Рукояткина. — Тебя по телевизору не показывали? А то видела такого. Все трепался, что воровать нехорошо. Лучше, говорит, заработать. А не

хватит, так надо экономить. Красиво говоришь, но неубедительно. Есть такие говоруны, что для них все сделаешь. Был у нас в компании Гришка-домушник. Скажет: Матильда, принеси полбанки, а к ней огурчик. Так милиционера ограбишь, а Гришке огурчик принесешь.

Он знал, что убедительно говорить мог только по вдохновению. Оно не могло появиться просто так — что-то должно произойти между ними, чтобы допрос выскочил из нудно-тягучей колеи.

— Я ведь хочу, Рукояткина, чтобы тебе легче было, — мягко сказал Рябинин.

— Трепач, — вздохнула она. — Вот за что вашего брата и не люблю. Надо, мол, правду говорить, и сам врешь. Врешь ведь?!

— Что я вру? — совсем не по-следовательски огрызнулся Рябинин.

— Расскажу тебе свою правду — так что? Отпустишь?!

Она прищурилась и напрягла лицо — только раздувались ноздри прямого тонкого носа. Рябинин взял авторучку и попытался поставить ее на попа́, но ручка не стояла. Тогда он поднял голову и увидел сейф — даже обрадовался, что видит этот металлический здоровый шкаф, на котором можно пока остановить взгляд. Уже повисла пауза, длинная и тягучая, а он все не мог оторваться от сейфа, словно его только что внесли. Как ему хотелось, до челюстной боли хотелось открыть рот и бросить уверенное: «Да, отпущу». Она бы сначала не поверила, но он бы убедил, уговорил: человек быстро верит. Тогда бы она все рассказала, долго и боязливо — как бы не обманул, — подписала бы многолистный протокол, сообщила, где лежат деньги. А потом можно что-нибудь придумать, вывернуться. Сказать, например, что хотел выпустить, да прокурор запретил. Потом... Что потом, было бы уже неважно — доказательства есть и протокол подписан.

— Чего ж замолчал? — не выдержала она.

— Нет, не отпущу, — сказал он и посмотрел в ее ждущие глаза.

— Во, первое правдивое слово. Не отпустишь. Зачем же признаваться? В чем легче-то будет?

Она вдруг показалась ему какой-то обмякшей, словно мгновенно утратила свою буйную энергию. Это было секунду-две, но это было. И Рябинин понял: она еще надеялась, и он одной этой фразой лишил ее этой надежды.

— Твоей душе легче будет, совести, — сказал он, уже думая, как использовать ее надежду в допросе.

— Ах, душе... А у меня, кроме души, и тело есть! Вот оно, вот оно, вот!

Она вскочила со стула и несколько раз хлопнула себя ладонями по груди, плечам и спине. Перед Рябининым мелькнули полные руки, блеснули бедра, взвилась юбка — он даже подумал, что она решила сплясать.

— И неплохое, кстати, — продолжала она, так же стремительно опустившись на стул. — Ты хочешь, чтобы душа ради облегчения заложила тело? Моя душа не такая стерва — она лучше потерпит. Да что там душа... Я же знаю, какая душа всех следователей интересует — у тебя доказательств нет. Вот и нужно меня колонуть.

Рябинин напряг лицо — он не умел врать. А следователю надо, нет, не обманывать, а уметь хотя бы умолчать или мгновенно придумать что-нибудь среднее, абстрактное — не ложь и не правду.

— Ошибаешься, Рукояткина. Теперь без доказательств людей не арестовывают.

— Значит, доказательств маловато. Ну что, не правда? Ну, скажи, если ты честный, — правда или нет?! Чего глазами-то забегал?

Он почувствовал, как покраснел: от злости на себя, на свои бегающие глаза, которые действительно заметались.

— У меня, кроме личной честности, еще есть тайна следствия.

— Личная честность... Тайна следствия... Выкрутился. Все вы так. Только мораль читаете. Я хоть по нужде вру, а ты врешь за оклад.

Никакого «слоеного пирога» не получилось. Допрос не шел. Рябинин застегнул пиджак и посмотрел время — он сидел уже два часа, бесплодных, словно ждал попутной машины на заброшенной дороге. Но бесплодных допросов не бывает. Рябинин мысленно высеял из этих двух часов мусор, и осталось два обстоятельства: она не отрицала свою преступную деятельность, но не хотела о ней рассказывать. И она все-таки боялась ареста, как его боится любой человек. Значит, надо долбить дальше, долбить долго и нудно, без всяких теорий и систем, изобретая, придумывая и выворачиваясь на ходу, как черт на сковородке.

— Болтаешь ты много, и все не по делу, — строго сказал Рябинин. — Время только зря тянем.

— Мне время не жалко. Лучше с тобой потреплюсь, чем в камере-то сидеть.

— Где ты была второго июля с шестнадцати часов? — монотонно спросил он, приготовившись это повторять и повторять.

— Ну и зануда. Как с тобой жена живет!

— Где ты была второго июля с шестнадцати часов?

— Ну что ты попугайствуешь? Надоело.

У него все переворачивалось от грубости, которую он не терпел. Но он заслужил ее: сидел, как практикант, и брал подозреваемую измором. Он даже удивлялся себе — не приходило ни одной яркой мысли, словно никого и не допрашивал.

— Про улицу, кино, цирк говорила... Про кафе говорила, — начал Рябинин и вдруг спросил: — А что ж ты про гостиницу помалкиваешь, а?

— Какую гостиницу? — остро прищурила Рукояткина глаза, и он понял, что она может быть злой, такой злой, какой редко бывают женщины.

— Гостиницу «Южиую».

— А чего про нее говорить?

— Ну, как была, зачем была, что делала?..

— Да ты что! Чего я там забыла? У меия своя коммуналка с раздельным санузлом нмеется.

— А в баре при гостинице ты разве ие была? Вспомни-ка...

— Да что мне вспоминать! Если хочешь знать, я вечером сидела в ресторане.

Рябинин не шевельнулся. Он даже зевнул от скуки — до того ему вроде бы неинтересно. Почему следователям не преподают актерского искусства?

— В каком ресторане? — лениво спросил Рябинин.

— Не все ли равно. А в гостинице не была.

— Если действительно была в ресторане, то в каком?

— В «Белой кобыле».

— Я жду. В каком ресторане?

— Имени Чайковского.

— Значит, ты была ие в ресторане, а в гостинице, — обрадовался Рябинии.

— Господи, да была, была в ресторане весь вечер.

— Тогда в каком?

— Да в «Молодежном» просидела до одиннадцати. Доволен?

Рябинин сделал все, чтобы это довольство не появилось на лице. Он не ожидал, что она так легко скажет про «Молодежный», — ведь это тянуло нитку дальше, к Курикину, к деньгам. Видимо, она путалась в числах, да и в ресторане бывала частенько.

— Что там делала? — спросил он, не теряя выбранного нудно-противного тона.

— Ты что — заработался? Не знаешь, что делают в ресторане? — удивилась она.

— Вопросы задаю я, — отчеканил он.

— Задавай, только правильно их выставляй, — тоже отштамповала она.

— Что делала в ресторане?

— Кушала компот из сухофруктов. Ответы отвечаю я.

— С кем была в ресторане? — наконец спросил он правильно.

— Со знакомым космонавтом. Просил его не разглашать в целях государственной тайны.

— С кем была в ресторане?

— С бабушкой.

— С какой бабушкой? — поймался он легко, как воробей на крупу.

— С троюродной, — начала с готовностью объяснять Руко-

яткина. — Она сразу же после ресторана скончалась. Опилась компоту. А может, подавилась косточкой.

Рябинин прижал правую ногу, которая дернулась, будто в нее вцепилась собака. Он твердо знал, что стоит дать волю нервам, волю злости — и допрос будет проигран сразу. Сильнее тот, кто спокойнее. А пока было так: он давил ногу — она улыбалась.

— С кем была в ресторане?

— А тебе не все равно?

— Зачем же скрывать? Если не была в гостинице, так скажи, с кем была в ресторане. Хотя бы для алиби.

— А мне твое алиби до лампочки, — отрезала она. — Я была в «Молодежном», это все видели.

— Верно, видели, — значительно сказал он.

— Чего видели? — подозрительно спросила она.

— Сама знаешь, — туманно ответил Рябинин и улыбнулся загадочно и криво.

— Чего я знаю?!

— Знаешь, как пропала у женщины сумка с деньгами.

— Чего-о-о?! — зло запела она. — Ты мне нахалку не шей! Не выйдет! Никаких я женщин не видела! Да за моим столиком и женщин-то не было.

— Кто же был за твоим столиком?

— Да с мужиком я была, не одна же!

— С каким мужиком?

— Обыкновенным, в брюках.

— Так, — заключил Рябинин. — Значит, признаешь, что второго июля была в ресторане «Молодежный» с мужчиной.

Неожиданно допрос сдвинулся, как валун с дороги... Он больше двух часов ходил вокруг со стальным ломом, поддевал, надрывался, а глыба лежала на пути не шелохнувшись. Но стоило толкнуть тонкой палкой, как она легко сдвинулась. Тут было три причины. Во-первых, признаться, что была с мужчиной в ресторане, — это еще ни в чем не признаться. Во-вторых, она не знала, в чем ее конкретно подозревают и сколько следствие накопало. И, в-третьих, при такой деятельности, с париками, подставными лицами и чужими квартирами, она боялась не своих преступлений, а тех, которые ей могли приписать, или, как она говорила, «шить нахалку».

— А гостиница-то при чем? — Она вдруг сузила глаза, блеснувшие колючим металлом, будто у нее вместо зрачков оказались железные скрепки. — Подожди-подожди... Ах, гад, узнал все-таки... Ну не паразит ты?! Все обманом, как гидра какая. С тобой надо держать ушки топориком. Больше тебе ни хрена не скажу.

— Скажешь, — решил он показать свою уверенность, — куда тебе деваться.

— Поэтому и не скажу, что деваться некуда, — в тон ответила Рукояткина.

Еще неизвестно, получил ли он что-нибудь этим обманом.

Может быть, выиграл бой и проиграл битву. Она теперь могла замкнуться до конца допроса. Рябинин понимал, что с точки зрения этики его ловушка с гостиницей не совсем безупречна. В допросе нельзя обманывать, как, скажем, нельзя лечить людей, купив фальшивый диплом. Об этих психологических ловушках в юридической литературе не прекращались дискуссии — допустимы ли они? Рябинин знал два случая.

Старший следователь допрашивал взяточника, который подозревался в одном деле. Взяточник рассказал и замолк. «Все?» — спросил следователь и заглянул в ящик стола. Взяточник пугливо заерзал и рассказал про второй случай мзды. Следователь еще раз спросил: «Все?», заглянув в стол. И опять взяточник добавил эпизод. Так повторялось двенадцать раз, пока мздоимец не признался во всех взятках, полагая, что у следователя в столе лежит точная справка. В столе лежала «Война и мир». И первый раз следователь посмотрел в ящик случайно.

Другая история произошла с начинающим следователем, который из старого манометра и суровой нитки соорудил прибор и вызвал на допрос старушку. «Врешь, бабка. Теперь правду показываешь. Теперь опять врешь», — говорил следователь, дергая под столом натянутую петлю. Испуганная старушка рассказала правду. Следователя на второй день уволили.

— Тебе же выгоднее признаться, — сообщил Рябинин.

— Да ну?! — так и подскочила Рукояткина. — Выходит, свою выгоду упускаю?

— Упускаешь. Чистосердечное признание... — начал было он.

— ...смягчает вину преступника, — кончила она фразу. — На это не клюю — дешево очень.

— Дешево? А ты дорогая? — вырвалось у него неизвестно зачем.

— Никак купить хочешь? — обрадовалась Рукояткина, заиграв плечами, а уж от плеч заиграло и все тело. — Денег не хватит.

— Не хами, — вяло сказал он, понимая, что это уже месть за ловушку с гостиницей. — Будешь отвечать? Или я приглашу понятых, прокурора и составлю протокол об отказе дать показания, — пообещал Рябинин.

Строгий тон и угроза прибегнуть к какому-нибудь официальному шагу вроде бы действовали на нее сильнее, чем этические беседы.

— На правильные вопросы отвечу.

— Как фамилия мужчины?

— Я у своих друзей фамилию не спрашиваю.

— Ну обрисуй его.

Она с готовностью вскочила со стула и начала выделывать руками, лицом и всем телом невероятные штуки, показывая того мужчину:

— Рост — во́, современный. Глаза вот такие, вылупленные.

Волосы вот так, цигейковые. Нос как баклажан, а челюсти вроде утюгов — что нижняя, что верхняя...

— Хватит, — перебил он, — ясно. А фамилия?

— Не знаю, — успокоилась она и села на стул.

— А вот я знаю, — сказал Рябинин.

— Ну?! Скажи, хоть теперь узнаю.

— Курикин.

— Как?

— Курикин.

— Кукурикин. Первый раз слышу такую дурацкую фамилию.

— Не Ку-курикин, а Курикин, — поправил он.

— Я и говорю: Ку-ку-ри-кин.

Он знал, что она нарочно будет коверкать фамилию. Но ни одна точка не дрогнула на ее лице. Впрочем, она могла не интересоваться фамилией. Фамилия ей ничего не говорила, но теперь она знала, чем располагает следователь — показаниями Курикина о пропавших деньгах.

Рябинин думал, о чем еще спрашивать. И как спросить. Есть выражение — потерять свое лицо. С Рябининым иногда такое случалось, когда он попадал в совершенно незнакомую ситуацию. Сейчас у него это лицо тоже пропало, хотя он сидел в своем кабинете и занимался своим кровным делом.

— Расскажи, как с ним встретились, где, когда?

— Да не знаю я Кукурикина, гражданин следователь!

— А может, у твоего знакомого и была фамилия Курикин, а? Ты же не спрашивала.

— Он говорил, да я забыла. Только не Кукурикин. Или Ослов, или Ишаков, а может, даже Индюков.

Рябинин решил потянуть цепочку с другого конца:

— А зачем жила в чужой квартире?

— В какой квартире? — сделала она наивно-распахнутые глаза.

— Ну уж дурака валять нечего: сотрудник тебя видел, понятые видели...

— Верно, — усмехнулась она, — тут железно, надо колоться. Подобрала ключи да пожила малость. Просто так, от скуки. Это преступление небольшое.

— Небольшое, — согласился Рябинин. — А парики тебе зачем?

— Парики не мои. Может, хозяйкины, а может, там кто до меня жил. Сейчас все девки в париках.

— Курикин тебя знает, — вроде без связи сообщил он.

— Ну и что? Меня любая собака в районе знает.

— Курикин был у тебя на этой квартире.

— Чем, интересно, он докажет?

— Описал комнату.

— Вот паразит! — искренне удивилась она. — Ну и как он ее описал?

Рябинин достал протокол допроса Курикина, который он составил в жилконторе еще в ту ночь.

— Рассказал, какие вещи где стоят. Например, на стене висит «Даная», — заглянул Рябинин в протокол и для убедительности показал ей строчку.

Она перегнулась через стол, обдав его лесным щемящим запахом, внимательно глянула на подпись.

— Что за «Даная»?

— Картина Рембрандта.

— Голая тетка, что ли?

— Обнаженная, — уточнил он.

— А-а... Так теперь у всех на стенах висят обнаженные. Мода такая, как подсвечники... У кого «Даная», у кого «Данай».

— Курикин сказал, — опять заглянул Рябинин в протокол, — что у тебя там жил кот по имени Обормот. Жил?

— Врет он, твой Курикин. Наверное, был у бабы, да забыл у какой. У меня не кот, а кошка. И звать ие Обормот, а Бормотуха.

— Белая? — спросил он, косясь на прстокол.

— Зеленая.

— «Сзади у нее...» — читал Рябинин.

— ...сзади у нее хвост, — радостно перебила она.

— ...«черное пятно». Верно?

— Вызови и допроси.

Иногда Рябинину казалось, что ее не так интересуют результаты следствия и своя судьба, как разговор с ним. Казалось, что она получает наслаждение от допроса, от этих подковырок, грубости, язвительности и наглости — лишь бы его одолеть в разговоре.

— Зачем хамить? Смотри, я меры приму.

— Какие меры? — насмешливо удивилась она. — Что ты мне сделаешь-то? Стрелять будешь? Да у тебя небось и пистолета нет.

— Почему это нет? — буркнул Рябинин.

— Брось. По очкам видно, что драться не умеешь.

Он вдруг поднялся, быстро вышел из-за стола, шагнул мимо нее к сейфу и резко открыл дверцу. Она не испугалась, только настороженно скосила взгляд в его сторону. Рябинин выдернул из сейфа магнитофон и чуть не бросил на стол перед ее лицом. Она вздрогнула, но не от страха — от грохота. Даже поморщилась. Он включил пленку и стал упорно смотреть в ее лицо, потому что сейчас не мешали никакие вопросы и ответы.

Из магнитофона забурчал ночной диалог. Она могла свой голос не узнать: физиологи объяснили, почему говорящим собственный голос воспринимается иначе. Поэтому опознание по голосу пока не производилось. Но содержание беседы сомнений не вызывало.

Рябинин смотрел в ее широковатое лицо и ничего в нем не видел, кроме того, что оно симпатичное. Только к концу лен-

ты он заметил на нем легкое восхищение — это уж деятельностью Петельникова, сумевшего записать разговор.

Ему вдруг пришла обидная мысль, что Рукояткина психологически сильнее его. Сильней по типу нервной системы, которую она уж, видно, получила от природы. По характеру, который она закалила в своей непутевой жизни, по теперешнему положению, когда ей нечего терять. И может быть, сильней по уму, который не был отшлифован образованием, но силу которого она доказала оригинальными преступлениями.

Тогда никакого допроса не получится, потому что слабый не может допрашивать сильного, как ученик не может экзаменовать преподавателя. Но обвиняемых себе не выбираешь, и они не выбирают следователей. Выход был только один — оказаться сильней: за счет положения, когда у тебя за спиной государство; за счет материалов дела, когда располагаешь большей, чем у преступника, информацией; за счет волевой вспышки в узковременном промежутке, за счет такого напряжения, после которого обмякал даже скелет...

Магнитофон кончил шипеть. Рябинин щелкнул кнопкой и поставил его под стол.

— Интересно, кто это трепался? — игриво спросила Рукояткина.

— Ты с Курикиным, когда ехали к тебе, — угрюмо сообщил он.

— Голос не мой.

— И голос твой, и Курикин комнату описал, и тебя там видели — в общем, это доказано. Советую признаться, чтобы освободиться от грехов и с чистой совестью...

— ...прямо в рай... общего режима, — добавила она и рассмеялась.

Улыбалась она дарственно, как королева, уронившая подвязку перед влюбленным гвардейцем. А вот смеялась несимпатично — громко и мелко, будто ее схватывала частая икота.

— Рай не рай, а признание учтут. Рукояткина, ну как ты не понимаешь...

— Ладно, — перебила она. — Деньги на бочку.

— Какие деньги? — не понял он.

— Сколько за признание годиков скинешь?

— Не я, а суд скидывает.

— А-а-а... В камере рассказывали, как скидывают. Там одна кошелек вытащила, а на суде призналась, что еще квартиру обчистила. Ей два года дополнительно и влепили.

— А не призналась бы, получила больше.

— А не призналась, — быстро возразила она, — никто бы не знал. Судьи, а мозги с дурью перемешаны. Уж если она решилась как на духу, так к чему срок-то добавлять? Осознала ведь.

— По закону за каждое преступление положено наказание, — разъяснил Рябинин.

— По закону... А по человечности?

— Чего ты слушаешь в камере — там наговорят.

— А там люди опытные.

— Судимые, а не опытные. Они научат, — сказал он и пошел к сейфу, где отыскал копию приговора по старому делу. — Вот смотри, прямо напечатано: «...учитывая чистосердечное признание, суд приговорил...»

Она осторожно прочла раза три эту строчку и глянула в конец приговора:

— А все-таки три года схлопотал.

— А разве я тебе говорю — признавайся и пойдешь домой?! Я не обманываю. Нет, домой не пойдешь.

— Тогда на хрена попу гармонь? — усмехнулась она.

— Как на хрена?! — вошел Рябинин в раж. — За срок тебе надо бороться! Чтобы получить поменьше! Рассказать про себя подноготную...

— Голенькую хочешь посмотреть? — поинтересовалась Рукояткина.

— Выражения у тебя, — поморщился он. — Все на секс переводишь.

— А ты не переводишь? — певуче спросила она, заиграв глазами, как клоун. — Все на мои коленки поглядываешь...

— Ничего не поглядываю, — покраснел он.

Рябинин за свою следственную жизнь опустившихся женщин повидал. На них всегда лежала печать образа жизни — несвежие хитроватые лица, разбитные манеры, вульгарно-штампованный язык, неряшливая одежда...

На Рукояткину смотреть было приятно.

Позвонил телефон. Рябинину пришлось под ее взглядом говорить о ней с Петельниковым, пользуясь только двумя словами «да» и «нет». Все-таки они сумели обменяться информацией: Вадим сообщил, что обыск ничего не дал — ни денег, ни вещественных доказательств. Сведения Рябинина были еще короче.

— Все понятно, — невпопад ответил Рябинин и положил трубку. — Ну как, решилась?

— Уговорил, — вздохнула она. — Видать, все на мне сходится. Даже магнитофон. Придется колонуться.

Рябинин вскинул голову — не ослышался ли? Она молчала, но лицо стало другим, грустновато-рассеянным, словно ее мысли ушли назад, к началу жизни. Рябинин ждал этого.

— Пиши, — грустно очнулась она, — расскажу про каждую стибренную булавку.

Спокойно, чтобы не дрогнула рука, развинтил он ручку. Стучать на машинке было неуместно. Он боялся расплескать ее настроение. Не думал, что все кончится так просто. Впрочем, чего ж простого — больше трех часов сидит!

— Пиши, — подняла она затуманенные глаза, не большие и не маленькие, а нормальные человеческие глаза, — в прошлом году, в январе, обокрала пивной ларек. Числится такая кража?

— Надо узнать в уголовном розыске, — ответил Рябинин, не отрываясь от протокола. — Сколько взяла?

— Триста один рубль тридцать копеек.

— Тридцать копеек? — переспросил он.

— Тридцать копеек. В феврале геолога пьяного грабанула.

— Сколько взяла? — поинтересовался он, не поднимая головы.

— А нисколько. Он уже у супруги побывал, чистенький, как после шмона. Одна расческа в кармане, да и та без зубьев.

Рябинин поднял голову и задумался: мелочиться не хотелось, тем более что впереди речь пойдет о крупном.

— Ну это, пожалуй, не считается.

— Пиши-пиши, — тихо, но твердо потребовала она. — Сам говорил, чтобы стала чистенькой. А это покушение на кражу.

Рябинин начал писать — это действительно покушение на кражу.

— Так, — вздохнула она, — не упустить бы чего... Квартиру в марте грабанула... Могу показать дом. Хорошая квартира, кооперативная, санузел на две персоны.

— Что взяла? — задал свой стандартный вопрос Рябинин.

— Пустяки. Бриллиантовое колье и сиамского котенка.

Он усмехнулся, записал про колье, но про котенка вносить в протокол не стал. Вся злость к ней уже пропала.

— Где колье?

— Сменяла на бутылку «Солнцедара» у неизвестного типа.

— Выходит, колье ненатуральное?

— Колье не знаю, а «Солнцедар» был натуральный, градусов девятнадцать.

Он не удивился, если бы она и бриллианты променяла, — ее широкая натура видна сразу.

— А кошка... это Бормотуха?

— Не-е-ет. Бормотуха — простая дворняжка. Гулящая — ужас. Никакого морального кодекса. Так, что дальше было, сейчас вспомню до копеечки...

Рябинин опять не мог справиться с ногой — теперь от радости. К такому саморазоблачению он не был готов. Поэтому слова ложились на бумагу неровно — то сжато до гармошки, то растянутой цепочкой.

— Вот, вспомнила, пиши. На Заречной улице старуха жила. Муж у нее не то академиком работал, не то в мясном магазине рыбу свежую продавал. И вдруг старуха сыграла в ящик. Так это моя работа.

— Как... твоя?

— Так, — печально подтвердила она. — Сто вторая статья, пункт «а», умышленное убийство из корыстных побуждений.

— Поподробнее, — ничего не понимал он.

Она снизила голос и заговорила таинственно, тем полушепотом, которым рассказывала жизненные истории:

— Забрела она в столовую, заказала от жадности комплексный обед, пошла за ложками, а я ей в супешник полпачки

снотворного и бухнула. Старушке много ли надо. Да еще сердечница — сразу за столом и скончалась, даже компот не допила.

— А зачем?

— Зачем?.. — повторила она и хищно ухмыльнулась. — На ней четыре кольца с каменьями, кулон, медальон, серьги — и все караты да пробы. Похоронили ее, а ночью я с лицами, которых не желаю называть, могилку и грабанула. Только это не в вашем районе. На новом кладбище, могилку могу показать.

Рябинин вспомнил, что как-то читал в оперативной сводке о разрытой могиле. И наконец появилось снотворное.

— Вот не знаю, это надо говорить? — вопросительно посмотрела она. — Может, тут ничего и не будет. Поезд я угнала...

— Как поезд? — опешил он.

— Обыкновенно, электричку.

— Зачем же?

— А просто так. Машинисты пошли выпить по кружечке пивка. Я забралась в электровоз, крутанула всякие ручки и понеслась. Страху натерпелась. Не знаю, как он, проклятый, и остановился. На элеватор прикатила. У пассажиров глаза квадратные. Такой ведь статьи нет — угон поездов.

— Но есть другая: дерзкое хулиганство. Слушай, а ты не фантазируешь?

— Слово-то какое, — обидчиво усмехнулась она, — фан-та-зи-ру-ешь. Как на фор-тепь-янах играешь. Где бы спросил — не брешешь? Колюсь-то как — как орешек в зубах у черта. Чувствую, как крылышки на спине набухают.

В конце концов, чем его удивил этот угон? Только тем, что поезд здоровый. Угони она мотоцикл, он бы внимания не обратил. Но ведь она осуществляла преступления куда остроумнее и тоньше, чем угон электрички.

— Да, — вспомнила она, — в июне забралась в зоопарк и украла белую гориллу. Альбинос. Загнать хотела, да никто не взял. Студень из нее не сваришь, дубленки не сошьешь, в сервант не посадишь. Выпустила. Потом эта горилла лотерейные билеты продавала. А потом она хоккеистом устроилась. Центральным нападающим по фамилии Гаврилов. Встречала его. Оно говорило, что, как только читать научится, будет диссертацию защищать...

Он вскочил, словно под ним сработала катапульта. Под столом глухо упал на бок магнитофон. Рябинин отбросил стул и вырвался на трехметровый прямоугольник кабинета. Хотелось выбежать в коридор и ходить там на просторе, а лучше на улицу, на проспект, длинный, как меридиан. Надо бы усидеть, не показать ей свои нервы, но он не смог: челночил мимо нее, косясь на ставшее ненавистным лицо.

Она схватилась за край стола и засмеялась — задрожала телом, зашлась мелодичной икотой.

— А ты думал, я и правда колюсь? — передохнула Рукоят-

кина. — Какой же ты следователь? Ты должеи меня вглубь видеть. А ты обрадовался. Смотрю иа твое лнцо — пишешь ты поживотиому. Тебе человек в таком прнзнается, а у тебя даже очки не вспотеют.

Рябинин не иашел ничего подходящего, как снять очки и тщательно нх протереть.

— Видать же тебя насквозь, — продолжала она. — Запишешь в протокольчик н скорей домой, к супруге. У вас ведь не жены, а супруги. У иас сожителн, а у вас супруги. А еслн тебе всю жизнь рассказать? Пустое дело. Проверила я тебя, голубчика.

Рябинин был несовременно застенчив: никто бы не подумал, что этот человек расследует убийства, изнасилования н грабежи. В быту его легко можно было обмануть, потому что он как в работе исходил из презумпции невиновности, так и в жизни исходил из презумпции порядочности.

В повседневной жизни он был рассеян, незорок и растяпист. Часто терял деньги, утешая себя тем, что, значит, они кому-то нужней. Если покупал молоко, то проливал. Мясо ему рубили такое, что ни один бы специалист не определил, какому животному принадлежат эти пепельно-фиолетовые пленки на костях. В бане оставлял носки и мочалки, а однажды вообще принес не свое белье. Стеснялся женщин, особенно красивых, и презирал себя нещадно — не за то, что стеснялся женщин, а за то, что красивых стеснялся больше. Получая в кассе зарплату, всегда испытывал легкое неудобство, будто не заработал на эту сумму. Он и сам не понимал, перед кем неудобно — перед рабочим у станка или крестьянином у земли?

Но когда Рябинин входил в свой кабинет, то словно кто-то быстро и ловко менял ему мозговые полушария. На работе он ничего не забывал, не терял и не упускал. Здесь он был собран и настойчив; видел близорукими глазами то, что и зоркими не рассмотришь; понимал непростые истины — потом сам удивлялся, как смог понять; чувствовал тайные движения души человека, как влюбленная женщина...

Но иногда случалось, что во время работы он вдруг почему-то переключался на домашнее состояние, будто оказывался в шлепанцах, как сегодня — наивно поверил в ее трепотню.

Зазвонил телефон. Рябинин сел за стол и взял трубку. Лида хотела узнать, когда он придет домой. Рябинин коротко, как морзянкой, посоветовал не ждать. Лида по высушенному голосу всегда угадывала, что он в кабинете не один.

— Из-за меня подзадержишься? — спросила Рукояткина, когда он положил трубку. — Дала я тебе работенку. Небось супруга. Тогда пиши — я любовь уважаю. Пиши: познакомилась я с Курикиным в ресторане «Молодежный» и привела к себе. Пиши.

Рябинин замертвел на своем месте, уже ничего не понимая.

— Тогда я запишу твои показания на магнитофон, — предложил он.

— На магнитофон говорить не буду, — отрезала она.

Тайно применять его он не имел права. Следователь прокуратуры вообще ничего не делает тайно: протоколы, осмотры, обыски — все на глазах людей. Уголовное дело должно отражать документом каждое действие следователя.

Рябинин взял ручку и глянул на Рукояткину.

— Пиши, — миролюбиво разрешила она.

— Поподробнее, пожалуйста. Где и при каких обстоятельствах познакомились?

— С кем?

— С Курикиным.

— С каким Кукурикиным?

— Ну с которым познакомилась в ресторане.

— С кем это я познакомилась в ресторане?

— С Курикиным... Сейчас ведь говорила.

— Я?! Первый раз слышу, — удивилась она.

— Дрянь! — сорвался Рябинин и швырнул ручку на стол, брызнув чернилами на бумагу. Затем схватил протокол, разорвал его на четыре части и бросил в корзинку, хотя уничтожать протоколы, даже такие, нельзя. Руки, которые слегка дрожали, он убрал на колени.

— Уу-у-у, да у тебя нервы бабьи, — заключила она. — Трусцой бегать умеешь? Или вот хорошо: надень на голое тело шерстяной свитер, день почешешься и про нервы забудешь. Теперь мы в расчете. Это тебе за гостиницу, за обман.

— Какая дрянь... — сказал Рябинин, как ему показалось, про себя. — Разные были обвиняемые, но такая...

— А что? — расслышала она. — Я способная. В школе любую задачку в пять минут решала, на один зуб.

— Видел рецидивистов, совершенно падших людей...

— Неужели я хуже? — весело перебила она.

— Под всякой накипью в них все-таки прощупывалось что-то здоровое, человеческое...

— Плохо ты меня щупаешь, следователь, — расхохоталась она. — Работать ваши органы не умеют. Колоть-то надо до ареста. Вызвать повесточкой и поколоть. Тогда бы у меня надежда была, что отпустят. А сейчас что? Сижу уж. Чем ты меня взять можешь? Сопли передо мной будешь размазывать.

— За свою работу я знаешь что заметил? — спросил Рябинин, начиная успокаиваться. — Труднее всего допрашивать дурака.

— А я знаешь что заметила? — в тон ответила она. — Что от дурака слышу.

— Умный человек понимает свое положение, а дураку море по колено, — сказал он уже без всяких теорий и планов.

— Расскажи своей бабушке, — отпарировала она. — Я кто угодно, только не дура. Тебя бесит, что не получается все круг-

лым. Заявление есть, а доказательств нет. Деньги не найдены, свидетелей нет, а мой образ жизни не доказательство.

— Грамотная в чем не надо, — вздохнул он. — А копни: обыкновенная дрянь.

— А тебя и копать не надо, на лбу написано. Хочешь, про твою жизнь расскажу? Утром встанешь, зубы небось чистишь. Потом кофе черный пьешь, сейчас с молоком немодно. Портфельчик возьмешь, галстучек нацепишь — и на службу пешочком, для продления жизни. Прикандехаешь сюда, сядешь за столик, очки протрешь и допрашиваешь, потеешь. Расколешь, бежишь к прокурору докладывать. Сидишь и думаешь, как бы его местечко занять. Чего жмуришься-то? А вечером к супруге. Бульону покушаешь, у телевизора покимаришь, супруге расскажешь, как ты ловко нашего брата колол, — и дрыхать. Вот твоя жизнь. А моей тебе никогда не узнать — башка у тебя не с того боку затесана.

— Каждый преступник окутывает себя ореолом романтичности. Ну что в тебе интересного? — спросил Рябинин, зная, что это неправда: он с ней сидел несколько часов, а она была так же загадочна, как какая-нибудь далекая Андромеда. Оттого, что ее задержали и посадили напротив, ясней она не стала.

— Поэтому и не колюсь, что ты во мне ничего интересного не находишь, — вдруг отрубила она.

Он замолчал, словно подавился ее ответом. Даже смысл дошел не сразу, хотя он почувствовал его мгновенно: человек открывается тогда, когда в нем ищут интересное, как алмазинку в серой породе. Если не находят, значит, не ищут, а уж если не ищут, то не стоит и открываться. Не в этом ли суть любого допроса? Не в этом ли суть человеческих отношений — искать алмазинку, которая есть в каждом?

Рябинин смотрел на нее — столько ли она вложила, сколько он понял? Брякнула где-то слышанное, читанное — или осенило ее?..

Рукоятника поправила прическу, кокетливо выставив локоток.

— А копни тебя, — повторил Рябинин, чтобы задеть ее и дождаться еще сентенции, — безделье, распущенность, выпивки, учиться не хочешь, работать не хочешь...

— Знаешь, почему я тебе никогда не признаюсь? — перебила она. — На все у тебя ответ в кармане лежит.

Опять неплохо. Рябинин сам не любил людей, у которых ответы лежали в кармане вместе с сигаретами.

— У тебя тоже, кажется, есть на все ответы, — усмехнулся он.

— У меня от жизни да от сердца, — мгновенно подтвердила она. — А твои от должности. Хочешь, всю вашу болтологию по полочкам разложу? Это только в кино красиво показывают, для маменькиных девиц, которые на жизнь через телевизор смотрят. Вот ты соседей по площадке наверняка допросил. Этого

дурацкого Курикина никто не видел — верно? А ведь одна видела. И не скажет.

— Запугала свидетеля?

— Я?! Да что я, по уши деревянная, что ли?

— Почему ж не скажет?

— А она вам не шестерка, — отрезала она и начала загибать пальцы: — В уголовный розыск вызовут, к следователю вызовут, в прокуратуру вызовут, да не раз. Потом в суд потащат, а там еще отложат: судья на совещании или у меня будет вирусный грипп. И так раз десять, и все по полдня. Кому охота?

— Честный человек и двадцать раз придет.

— Много ли у вас честных-то?

— Больше, чем ты думаешь. У нас все следствие держится на честных.

— Чего ж тогда и поворовывают, и морды бьют, и хапают? Иль честных не хватает?

— Причина преступности — это сложный вопрос.

— А-а-а, сложный, — вроде бы обрадовалась она.

Допрос свернул на новую колею, но теперь дороги выбирал не он. Разговор вроде бы получался непустячный. Обычно серьезный настрой помогал перейти от жизни вообще к жизни своей, а там недалеко и до преступления... Но к Рукояткиной нормальные законы подходили как расчеты земного тяготения к лунному.

— А хочешь, я тебе весь этот сложный вопрос на пальцах объясню, как обыкновенную фигу? — предложила она и, не дожидаясь никакого согласия, которое ей было не нужно, начала: — Пусть нашему брату это невыгодно, да ладно, я хоть с ошибками, но человек советский. А то вам никто и не подскажет. Знаешь, почему есть преступники?

Рябинин знал, но рассказывать было долго — работали целые институты, изучая принципы преступности. Ей оказалось недолго:

— Я тебе сейчас на кубиках сложу, как ясельному, что воровать можно не бояться. Допустим, грабанула я магазин. Поймаете?

— Поймаем, — заверил он.

— Всех-всех ловите? Только честно дыши.

— Девяносто процентов ловим, — честно признался Рябинин, потому что теперь пошел такой разговор.

— Выходит, что десять процентов за то, что меня не поймают, девяносто риску остается. Поймали... Надо доказать, что это я грабанула. Положим, вы девяносто процентов доказываете, а не закрываете дела. Это еще хорошо, дам тебе фору...

Действительно, она давала фору, потому что Юрков прекращал каждое сомнительное дело.

— Значит, у меня еще десять процентов, — продолжала Рукояткина. — Теперь восемьдесят процентов, что тюрьмы не миновать. Десять процентов, что адвокат все перекрутит и вытащит. Десять процентов, что суд сам оправдает или даст для

испугу. Десять процентов, что пошлют не в колонию, а на стройки, перевоспитываться. Десять процентов, что будет амнистия. Десять процентов, что срок скостят за хорошее поведение. Сколько там у меня шансов набралось по десять процентов-то, а?! Небось больше ста. Так что же вас бояться!

Рябинина удивил ее подход, наивный и формальный, но хватающий суть важной проблемы — неотвратимость наказания. Он всегда считал, что лучше дать год заключения, но чтобы человек его отбыл полностью, чем давать три и через год выпускать. Это порождало неуважение к приговору, да и у следователя опускались руки, когда через годик-второй к нему попадал старый знакомый, досрочно освобожденный.

— Тебе бы социологом где-нибудь в Академии наук сидеть, а не в следственном изоляторе, — усмехнулся Рябинин.

— Ты меня с этими типами не сравнивай, — даже обиделась она. — Читала я про них в газетах...

— Почему не сравнивать? — удивился он.

— Открыли мы с девками раз газетку. Пишет какой-то ученый, — сказала она нормально, но потом изменила тембр и забубнила замогильным голосом, изображая того самого ученого: — «Наш институт установил, что причиной преступности является незнание преступниками наших законов». Ей-богу, так и написано. Мы с девками хохотали, все животы отвалились. Ну скажи, вот ты тут сидишь... Хоть один блатяга тебе сказал — законов не знаю, поэтому гражданам морду бью? Не знал, что нельзя из квартиры телевизор спереть. Или с фабрики ботинки. А ведь целый институт вкалывает. Я бы их всех на завод. Взяла бы одного умного мужика — пусть разбирается. Может этот ученый бороться с преступностью, ежели он ни хрена в ней не понимает? Да ни в жисть!

Теперь у них шел такой разговор: она говорила, а он думал. И удивлялся, почему это он, следователь прокуратуры, юрист первого класса, человек с высшим образованием, в общем-то, не дурак, сидит, слушает воровку, или, как она себя называла, «воровайку», опустившуюся девку, — и ему интересно. Рябинин тоже относился к социологам с подозрением. Как-то он прочел у социальных психологов о лице человека. В работе научно обосновывалось, что, образно говоря, зеркалом души являются не глаза, а губы. Рябинин удивился. На допросах, когда не хотел выдать настроения или мелькнувшей мысли, он закрывал рот ладонью, хорошо зная, что первыми на лице дрогнут губы. Потом нашел эту же мысль у Вересаева. Стоило ли работать научному коллективу над тем, что один человек мог подметить зорким глазом? А недавно он прочел такое начало статьи: «Как установили социологи, наибольшим спросом у читателей пользуется детективная литература...»

Она вытащила расческу и начала взбивать свою ровную челку, смотрясь в полированный стол. Рябинин подумал, что в ресторане с Капличниковым и Торбой она была без парика.

Он не знал, мир ли у них, перемирие. Ее покладистое настроение объяснялось чувством победителя. Она довела его до белого каления и успокоилась — теперь можно поговорить о жизни.

— А ты, пожалуй, не дура, — решил вслух Рябинин.

— Я знаю, — просто согласилась она.

— Рукояткина, — начал он, не выходя из тона, каким беседовали о проблемах, — вот ты, неглупый человек, изучила кодекс... Знаешь, что эпизод с Курикиным доказан: в ресторане тебя с ним видели, на магнитофон ты записана, он показания дал, в квартире тебя засекли, даже халат твой забрали... Какой же смысл запираться? Ну ладно, что не доказано, ты можешь не признавать... Но если доказано-то?!

Она посмотрела на потолок, как ученик у доски, и тут же ответила, потому что испокон веков на потолках бывали ответы:

— Верно, только о себе плохое мнение создаю. Но ни про какие деньги не знаю: не видела и не слышала. Пиши.

Рябинин взял ручку — он знал, что́ сейчас она расскажет. Если признается, что Курикин у нее был, то кража почти доказана: человек вошел с деньгами, а вышел без денег.

— Рисуй смело, — вздохнула она и начала диктовать протокольным голосом.

Рябинин под диктовку показания никогда не фиксировал, а писал в форме свободного рассказа. Но тут решил пойти на поводу, только выбрасывая лишние подробности да жаргонные слова.

— Второго июля, — принялась наговаривать она, как на магнитофон, — в двадцать часов я познакомилась в ресторане «Молодежный» с гражданином Курикиным, который на первый взгляд кажется порядочным человеком. Угостив меня салатом «ассорти», в котором было черт-те что намешано, включая идиотские маслины, которые я не уважаю, Курикин заказал шашлыки по-карски, а также бутылку коньяка «четыре звездочки». Через часа полтора он заказал цыплят табака, которые в детстве болели рахитом — одни сухожилия да перепонки. Ну и еще бутылку коньяка, что само собой разумеется. Затем отбацали четыре твиста. Гражданин Курикин танцует как овцебык. В двадцать три ноль-ноль мы пошлепали на хату, где гражданин Курикин пробыл до ночи. На мой вопрос, куда он прется в такую поздень, гражданин Курикин ответил, что, мол, надо, а то жена обидится. И ушел. Никаких денег я у него не брала и не видела. Все!

Рябинин разлепил пальцы и положил ручку — он писал одним духом, не отрывая пера.

— У меня есть вопросы, — предупредил он.

— Прошу, не стесняйся, — кивнула она челкой, которая шевельнулась, как мех под ветром.

— Коньяк пили поровну?

— Я что — лошадь? Рюмочки две, для кайфа.

— А он?

— Выжрал все остальное.

— Опьянел сильно?

— В драбадан. Но ходули переставлял.

Она сгущала: и коньяк остался на столе, и Курикин сильно пьяным не был. Но она представляла его перепившим, потому что такие ничего не помнят, все путают, да и деньги теряют.

— Расплачивался он при тебе?

— При мне. Хочешь узнать, видела я деньги или нет? — догадалась она. — Не, не видела. Когда мужчина расплачивается, я отворачиваюсь. Чтобы не смущать. Бывают такие жмоты: тащит десятку из кармана, аж лоб потеет.

— Что делали дома?

Она расхохоталась ему прямо в лицо, зайдясь в своей икоте, как в веселом припадке. Только сейчас он заметил, что во время смеха ее серые глаза не уменьшались, не сужались, как обычно у людей. Это выглядело бы неприятно, но губы, все те же губы, сглаживали впечатление.

— О чем говорили, может быть, еще выпивали? — уточнил Рябинин.

— Не выпивали и не говорили. Я с вашим пьяным братом не разговариваю. С вами и трезвыми-то не о чем говорить.

— Курикин говорил, что у него есть пятьсот рублей?

Рябинин все надеялся на какую-нибудь ее оплошность или оговорку.

— У твоего Курикина язык в глотку провалился. Он не только говорить, мычать-то не мог.

— Больше ничего не добавишь? — значительно спросил он, голосом намекая, что сейчас самое время добавить что-нибудь важное.

— Вот уж верно: дай палец — норовит всю руку отхватить. А от тебя палец спрячешь, так ты все равно найдешь и откусишь.

— Про деньги-то придется говорить.

— Пошел ты в баню, мыло есть, — беззлобно ответила она.

— Ну ладно, — тоже мягко сказал он, сохраняя мир, который ему сейчас был важнее признания о деньгах.

Он дополнил протокол. Записал все ее слова и теперь вертел ручку, будто осталось что-то еще незаписанным. Такое чувство на допросах возникало не раз. Рябинин долго не понимал его, думал, что пропустил какое-нибудь обстоятельство или не так записал. Но потом догадался. И ему захотелось привести в кабинет тех людей, которые брюзжат, что нет теперь совести, — пусть послушают допрос. Он никогда не запугивал. Даже свидетеля об ответственности за ложные показания не всегда предупреждал, как это полагалось по закону, — было неудобно. Ему казалось, что честного человека это задеяет, — как пригласить гостя и предупредить, чтобы ничего не крал. И все-таки люди говорили правду. Тогда Рябинин сделал вы-

вод, необходимый каждому следователю, как скальпель хирургу: следствие держится иа совести.

Но есть обвииямые, которые не признаются. Вот молчала и Рукояткиа.

Совесть в преступике существует необязательно в виде признания. Она глубоко, ох как глубоко бывает запрятана под глупостью, предрассудками, страхом, условиостями... Это иеясное, неосязаемое чувство могуче и неистребимо. Как залежи ураиа в земле пробивают лучами толщи пород н заставляют бегать стрелку радисметра, так и совесть прошибает все наслоения, все волевые запреты и вырывается наружу. Следователь всегда ее чувствует. Есть доказательства или иет, признается преступник или не признается, следователь всегда знает о его вине, ио иикогда не сможет объяснить, как узнал. И обвняемый это понимает, и не закрыться ему никаким разглядывaиием полов — гннсь хоть в четыре погибели. Тогда на допросе возиикает то молчалнвое согласне, когда они оба пишут в протоколе одио, а знают другое. Обвииямый говорит «иет», следователь слышит «да». Такой допрос похож иа разговор влюбленных, которые, о чем бы ни говорнлн, все говорят об одном.

— Подпиши, — предложил Рябиини, двигая к ией листок.

Она взяла протокол и начала читать вслух:

— «Второго июля я познакомилась в ресторане «Молодежный» с гражданином Курикиным в двадцать часов». А где «который с вниду показался порядочным человеком»? Я же говорила.

— Необязательно писать в протокол твою оценку, — осторожно возразил он.

— Мон показания. Ясио? Что хочу, то и пишу.

— Ладно, добавлю, — согласился он, потому что показання были действительио ее.

— «Курнкин заказал салат «ассорти», шашлык, цыплят табака и две бутылки коньяка». А почему не записал — в салат было намешаио черт-те что? И про маслииы ие записал. Что цыплята чахоточные, ие записал.

— Зачем пнсать о всяких пустяках?

— В вашем деле иет пустяков. Сами говорите.

— Ну какое имеет значение — чахлые цыплята или иет?

— Имеет, — убеждеиио заявила оиа. — Там индейка была. Я намекала. Так ие взял, дохлые цыплята дешевле. Судьи прочтут протокол н сразу увидят, что он за тип.

— Ну ладно, добавлю, — согласился Рябииии, удивившись ее наивности.

— «Я выпила две рюмки коньяка, а остальиое выпил Курикин, в результате оказался в состоянии сильиого алкогольного опьяиеиия». Ничего завернул! — искрение удивилась оиа. — Я тебе как сказала?! Напился в драбадан.

— Не могу же я писать протокол жаргоном, — иачал опять тихо злиться Рябинин, забыв, что ему все можно, кроме злости. — Ну что такое драбадаи?

— Откуда я знаю — драбадан и драбадан.

— Вот я и написал: снльное алкогольное опьянение.

— Не пойдет. Драбадан сильней, чем сильное алкогольное опьяиенне. Ты напишн, люди поймут. В стельку, в сосиску понимают, н в драбадан поймут.

— Хорошо, — устало согласился он.

— «Раздевшись, мы легли спать», — прочла она и даже подпрыгнула: — Я тебе это говорила?!

— А чего же вы делали? — удивился в свою очередь Рябинии, полагая, что это разумелось само собой.

— Я тебе говорила, что мы завалились спать?! Может, мы селн играть в шахматы! А может, мы ромаис начали петь: «Я встретил вас, несли вы уиитаз»? И подписывать не буду.

Оиа швырнула на стол протокол, который почему-то взмыл в воздух и чуть не сел ему иа голову, не поймай он его у самых очков.

— Ну я добавлю, уточию, — осторожио предложил Рябиниин, зная, что злость опять копится в ием, как двухкопеечные монеты в таксофоне.

— Чего добавлять, все не так нашкрябал. Как тебе выгодно, так и рнсуешь. Это ие протокол, а фуфло.

— Значит, не будешь подписывать? Теперь, Рукояткнна, уже нет смысла не подписывать! Я ведь узнал.

— А протокола нет — не считается.

Это точно: протокола нет — не счнталось.

— Сейчас в твоей квартире идет обыск, деньги найдут, — заверил ее Рябинии.

— Деньги ие петух, кричать ие будут.

Затрещал телефон — это звоиил прокурор. Рябинии не мог объясиить, в чем тут дело, ио ои всегда узнавал его звоиок. В нем слышалось больше металла, словио аппарату добавляли лишиюю чашечку.

— Ну как? — спросил прокурор.

Рябинин быстро глянул на Рукояткиику и ответил:

— Пока иикак.

— Вы, иавериое, Сергей Георгиевич, разводите там пснхологию, — предположил прокурор.

— Нет, не развожу, — сдержаиио ответил Рябииин.

— Не колюсь я! — вдруг крикнула она на весь кабииет, догадавшись, что говорят о ией.

— Это она кричнт? — поинтересовался прокурор.

— Да, Семеи Семенович, — ответил Рябинии и повернулся к ней почти спиной.

— Прокурор, прочел газету?! — грохиула она так, что он прикрыл мембрану ладонью.

— Распустили, — сказал прокурор, все-таки услышав ее. — Вы с ней построже, ие деликатничайте. Где иадо, там и по

столу стукните. Я буду ждать конца допроса. Вам же санкция на арест потребуется.

Голос у прокурора был злой, непохожий. Рябинин положил трубку и с неприязнью взглянул на подследственную.

— Накачал тебя прокурор? Теперь что применишь: ультразвук, рукоприкладство или палача крикнешь?

— Ты и так у меня все выложишь, — сказал Рябинин, затвердевая, как бетон в плотине, которая сдерживала злость.

— Ага, выложу, только шире варежку разевай. Изучила твои приемчики, больше не куплюсь.

— Ничего, голубушка, я и без приемчиков обойдусь. Главный разговор у нас еще впереди.

— Не пугай, милый, я ведь тоже кое-что в запасе имею. — Она вздохнула и добавила: — Да что с тебя, с дурака, возьмешь, кроме анализов. Слушай, мне выйти надо.

— Куда? — не понял он.

— На кудыкину гору.

— А-а, — догадался Рябинин, пошел к двери и выглянул в коридор.

Сержант находился в полудремотном состоянии и довольно вскочил, надеясь, что допрос окончен.

— Проведите задержанную, — попросил Рябинин.

Сержант весело шагнул к ней и взял за локоть, деликатно, но взял.

— Во! Как королева — в туалет под охраной хожу. Скоро в кресле на колесиках будут возить. Или на носилках таскать.

Они пошли. И тут же из коридора на всю прокуратуру раздался ее грудной, с надрывинкой, голос, для которого не существовало стен и дверей: «Опять подталкиваешь, крыч лопоногий?! У тебя не руки, а вилы. Из деревни-то давно, парень?! Ну-ну, не хватай, не для тебя мои формы...»

Голос затих в конце длинного коридора. Рябинин посмотрел на часы — ровно три. Он вздохнул, закрыл глаза, расслабил каждую мускулинку, даже кости как-то размягчил — и безвольно упал на спинку стула, как пустой мешок.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Однажды на совещании следователей Рябинин заявил, что в день должен быть только один допрос, потому что изматываешься и на второй тебя уже не хватает. Все посмеялись, он тоже улыбнулся — допросы бывают разные. Сейчас он думал о допросе, которого и одного на день много. Он с удовольствием перенес бы встречу с Рукояткиной на завтра. Не было у него сил допрашивать. Кончились они. Навалилась усталость.

В детективах частенько писалось, как следователь выматывал преступника. Но мало кто знал, что следователь выматывался намного больше. Потому что обороняться легче, чем нападать. Потому что консервативное состояние, в котором находится обвиняемый, крепче, чем активное, в котором должен быть

следователь. Добыча истины похожа на борьбу с сухой землей за воду: копаешь колодец, но грунт сцепился пластами, как великан пальцами. Конечно, земля уступит; конечно, ей тоже тяжело, когда лопатой по живому телу; конечно, она сама же будет благодарна за эту воду — все так. Но когда копаешь — десять потов спустишь.

Рябинин хорошо знал: пусть подследственный бросается на тебя с графином, пусть оскорбляет, издевается и рвет протоколы — этим допрос еще не загублен. Но если следователь не может найти путей к обвиняемому, то допроса не будет.

Поймать ее оказалось легче, чем допросить. Рябинин не мог припомнить такой яркой несовместимости. В этих случаях рекомендовалось заменить следователя. Возможно, Демидова нашла бы к ней путь быстрее. Может, Юрков «расколол» бы ее за час, стукнув кулаком по столу. И тогда накатывало чувство собственной никчемности.

Рябинин давно заметил, что ему приходилось — он бы и не хотел — больше доказывать, больше думать, понимать, знать и чувствовать. Если он допускал по делу ляпсус, то судья мгновенно брал трубку и звонил прокурору, а над огрехами Юркова мог только посмеяться. Рябинину приходилось доказывать мысль, которая в устах другого казалась очевидной. Не дай бог допустить ему грамматическую ошибку — машинистка оповещала, как о мандаринах, привезенных в буфет. Если Рябинин чего-нибудь не знал, это вызывало удивление. Его неудачная шутка сразу замечалась, хотя Юрков ляпал их запросто, как хозяйка пельмени. К критике прокурор относился спокойно, но только не к рябининской, от которой мгновенно раздражался...

Рябинин выпил из графина теплой воды, проглотив залпом два стакана. И тут же услышал в коридоре настырный голос. «На пятки-то не наступай, не корову пасешь... Ну и работа у тебя, парень, у туалетов стоять. Ты хоть читать-то умеешь? Ну подержись, подержись...»

Когда сержант ее уводил, Рябинин вздохнул с какой-то надеждой, не совсем понимая, на что надеется. Теперь догадался — надеялся, что она убежит: выскочит на улицу, выпрыгнет из окна или пролезет через унитаз в люк на мостовой... Рябинину сделалось страшно — он испугался себя. На него напал тот страх профессии, который мгновенно лишает человека уверенности: вроде бы умеешь делать, но знаешь, что не получится. В памяти блеснуло озеро с интересным названием Якшн-Янгизтау, Хорошее Озеро Среди Гор, где он бродил с экспедицией в годы своей беспокойной юности. Он поплыл через него на спор, забыв, что оно тектонического происхождения и все в ледяных ключах, как дуршлаг в дырках. На середине ему свело ногу. И он впервые в жизни ощутил такой страх, от которого перестали двигаться руки и другая нога, пропал голос, а тело, еще не утонув, начало умирать. Ребята его спасли, но страх

остался. Стоило заплыть подальше и оглянуться на берег, мышцы сразу превращались в вату. На суше такой страх он почувствовал впервые.

— За меня держишься... Используешь служебное положение в личных целях?! Ну, не подталкивай!

Они вошли в комнату, и Рябинин вобрал голову в плечи, будто на него медленно стала падать стена.

— Доставлена в сохранности, — доложил сержант и скрылся за дверью.

— Чего-нибудь новенького придумал? — поинтересовалась она, усаживаясь на стул. — Какую-нибудь подлость?

— Не тебе обижаться на подлость, — буркнул он. — Обман, хамство, ложь...

— А мне можно, — беззаботно перебила она. — Я от себя выступаю, а ты от государства.

— Будешь говорить? — мрачно спросил Рябинин. — Последний раз предупреждаю.

Услышав предупреждение, она удивленно глянула на следователя, перегнулась через стол и поднесла к его носу фигу:

— Во! Видал?!

Нет такого камня, который не источила бы капля. А нервы мягче.

Рябинин вскочил и что было мощи в вялой руке ударил кулаком по столу. И заорал чужим надрывным голосом:

— А ну прекрати! Гопница! Подонок! Проститутка!

Стало тихо. У Рябинина заныла кисть и выше, до самого плеча. Он застыл в ожидании — только очки ритмично подрагивали на носу, как тикали: нос ли дрожал у него, уши ли ходили, или это стучало сердце...

Она удивленно опустила свою фигу, но тут же опять подняла руки и положила на грудь, как певица в филармонии. Ее лицо бледнело — Рябинин видел, — оно бледнело, будто промерзало на глазах. Она открыла рот и глотнула воздух:

— Сердце...

Рукояткина качнулась и стала оседать на пол — он еле успел подскочить и двинуть ногой под нее стул. Она упала на спинку, приоткрыв рот и окостенело уставившись мутными глазами в потолок...

Он метнулся по кабинету. Она лежала бездыханно — теперь и глаза закрылись. Рябинин схватил обложку уголовного дела, вытряхнул бумаги и начал махать у ее лица. Вспомнив, швырнул папку и включил вентилятор, направив струю в рот. Дрожащими пальцами расстегнул ворот платья — стеклянные пуговки выскальзывали, как льдинки. Затем бросился к графину, плеснул в стакан воды и попытался капнуть между посиневшими и потоньшавшими губами, но вода только пролилась на подбородок. Он выдернул из кармана платок и склонился, вытирая ее мокрое лицо. Он уже решил звонить в «неотложку»...

Чьи-то руки вдруг обвили его резиновыми жгутами, и он ткнулся лицом в ее грудь, как в ароматную подушку. Сначала

Рябиииу показалось, что на него напали сзади, но это казалось только миг — она держала его, прижимая к себе с неженской силой. И тут же в его ухо врезался визгливый крик:

— Ой-ой-ой! Помогите! Ой-ой!

Его руки оказались прижаты к ее животу, и он никак не мог их выдернуть из-под себя. Они возились секунды, но Рябинину казалось, что он барахтается долго, вдыхая странные духи.

— Помогите! А-а-а!

Он вытащил свои руки к груди и рванул их в стороны, сбрасывая ее гибкие кисти. Рябинин выпрямился — в дверях окаменел сержант с абсолютно круглыми глазами и таким же круглым приоткрытым ртом. Рябинин не нашел ничего лучшего, как вежливо улыбнуться, чувствуя, что улыбка плоска и бесцветна, как камбала. Он поправил галстук, который оказался на плече, и попытался застегнуть рубашку, но верхней пуговицы не было.

— Пользуется положением... Нахал... Пристает, — гнусаво хлюпающим голосом проговорила Рукояткина, поправляя одежду.

У нее было расстегнуто платье, задрана юбка и спущен один чулок. Видимо, юбку и чулок она успела изобразить, пока он бегал к столу за водой.

— Кхм... — сказал сержант.

— Все в порядке, — ответил ему Рябинин, и сержант неуверенно вышел, раздумывая, все ли в порядке.

Она вытерла платком слезу, настоящую каплю-слезу, которая добежала до скулы, тщательно расчесала челку и спросила:

— Ну как?

Рябинин молчал, поигрывая щеками, а может быть, щеки уже сами играли — научились у правой ноги.

— Сегодня я нашкрябаю жалобу прокурору города, — продолжала она. — Напишу, что следователь предлагал закрыть дело, если я вступлю в связь. Стал приставать силком.

— Так тебе и поверили, — буркнул он.

— А у меня есть свидетель — товарищ сержант.

— Разберутся.

— Может, и разберутся, а на подозрение тебя возьмут. Тут я вторую «телегу» — мол, недозволенные приемы следствия, обманным путем заставил признаться в краже.

— Там разберутся, — зло завернул Рябинин.

— Разберутся, — согласилась она, — а подозрение навесят. Тут я еще одну «тележку» накачу, уже в Москву, генеральному прокурору. Так, мол, и так: сообщила я гражданину следователю, где лежат деньги, а их теперь нет ни при деле, ни у Курикина. Поищите-ка у следователя.

— Не думай, что там дураки сидят.

— Конечно, не дураки, — опять согласилась она, — обязательно проверят. Во, видел?

Она кивнула на дверь. Та сразу скрипнула, но Рябинин успел заметить кусок мундира.

— Это мой свидетель, — разъяснила она. — Он тоже не дурак. И не поверил ору-то моему. А все-таки подозревает. Жалобы-«телеги» как пиво: пил не пил, пьян не пьян, а градусом от тебя пахнет. Здорово я придумала, а?

Придумано было здорово, он мог подтвердить. И в словах ее была правда. От напраслины защищаться труднее, чем от справедливых обвинений, — обидно. Рябинин мог спорить, доказывать, объяснять, когда упрекали в ошибках, потому что ошибки вытекали из его характера. А с наветом не поспоришь, это как бритвой по щеке — только время затянет. Он будет краснеть, молчать, возмущаться, пока проверяющий окончательно не решит: нападал не нападал, но что-то было.

— Да, от тебя можно всего ждать, — задумчиво сказал он.

— Уморился ты сильно, — довольно подтвердила она. — Вон очки-то запотели как.

— Несовместимость у нас с тобой. Может, у другого следователя ты бы шелковой стала.

— Шелковой я буду только у господа бога, да и то если он засветится, — отрезала она.

Рябинин себя злым не считал. Но иногда им овладевала злобность, глупее которой не придумаешь. На обвиняемого, как на ребенка или больного, обижаться нельзя.

Он вспомнил Серую, кобылку буро-грязной масти, которая изводила его в экспедиции. Она не могла перейти ни одного ручья — ее переносили. Выпущенная пастись, лошадь уходила, и потом ее ловили на автомашине с веревками, как дикого мустанга. Эта лошадь могла вдруг свернуть с дороги и зашагать по непроходимой чащобе — тогда Рябинин с рюкзаком и геофизическим прибором повисал на дереве, а кобыла шла дальше с его очками на лбу. Она могла сожрать хлеб или крупу. А однажды выпила кастрюлю киселя-концентрата, что для лошади уж совсем было невероятно. Рябинин мечтал: как получит за сезон деньги, купит эту лошадь и будет каждый день бить ее палками...

Сейчас он смотрел на Рукояткину и думал, с каким наслаждением размахнулся бы и ударил кулаком в это ненавистное лицо; ударил бы он, Рябинин, который не умел драться, которого в детстве и юности частенько били и на счету которого не было ни одного точного удара... Ударил бы обвиняемую, подследственную, при допросе; ударил бы женщину, когда и на мужчину никогда бы не замахнулся, а вот ее ударил бы так, как, он видел, бьют на ринге боксеры с приплюснутыми носами... Чтобы она завизжала и полетела на пол, а потом написать рапорт об увольнении...

— Чего глаза-то прищурил? — с интересом спросила она.

Значит, темная злоба легла на его лицо, как копоть, — даже глаза перекосила. Рябинин понял, что вот теперь он должен заговорить. Пора.

— Сделать тебе очную ставку с Курикиным, что ли? — безразлично спросил он.

— Зачем? И видеть его не хочу.

— А-а-а, не хочешь, — протянул Рябинин новым, каким-то многозначительно-гнусавым голосом.

— Чего? — подозрительно спросила она.

— А ведь ты артистка, — осклабился он, напрягаясь до легкого спинного озноба. — Ни один мускул на лице не дрогнул...

— А чего им дрожать-то? — возразила она, тоже застывая на стуле, чуть пригнувшись.

— Так. Не хочешь очную ставку с Курикиным... А я знаю, почему ты ее не хочешь.

— Чего ж тебе не знать, — сдержанно подтвердила она, — пять лет учился.

— Знаю! — крикнул Рябинин, хлопнул ладонью по столу и поднялся.

Она тоже встала.

— Садись! — крикнул он предельно высоким голосом, и она послушно села, не спуская с него глаз.

Рябинин обошел стол и подступил к ней на негнувшихся ногах, сдерживая свое напряженное тело, будто оно могло сорваться и куда-то броситься.

— Строишь из себя мелкую гопницу, Мария? — прошипел Рябинин. — Но ты не мелочь! Так позвать Курикина?!

— Чего возникаешь-то? — неуверенно спросила она.

Тогда Рябинин схватился за спинку стула, согнулся и наплыл чуть не вплотную на ее красивое лицо. Она отпрянула, но спинка стула далеко не пустила. Отчетливо, как робот, металлически рублеиным голосом сказал он, дрожа от ненавсти:

— Второго июля — в три часа ночи — Курикин — во дворе дома — был убит ножом в спину!

Рябинин набрал воздуху, потому что он чуть не задохнулся, и крикнул высоко и резко:

— Подло — ножом в спину!

Стало тихо: его высокий крик в невысоком кабинете сразу заглох. Она не шевелилась, не дышала, слепо раскрыв глаза, в которых мгновенно повис страх: не расширялись и не сужались зрачки, не меняли цвета радужные оболочки. Рябинин слегка отодвинулся и понял — страх был не только в глазах, а лежал на всем лице, особенно на губах, которые стали узкими и бескровными.

— Как... убит? — неслышно спросила она.

— Изображаешь? А ты думала, меня эти дурацкие пятьсот рублей интересуют?

— Как же... Он вышел от меня...

— Выйти он вышел, да не ушел.

— Ты же читал его протокол допроса...

— Я успел его допросить в жилконторе. И отпустил. Он дворами пошел, на свою смерть пошел. Рассказывай!

— Чего... рассказывать?

— Хватит лепить горбатого! Кто соучастинк, где он сейчас, где нож, где деньги?! Все рассказывай!

— Так ты думаешь... что я...

— И думать нечего, — осек он ее. — Поэтому в той квартире и денег не нашли при обыске.

— Почему?..

— Да потому, что ты денежки передала через черный ход, — их не могло быть в квартире. Потому, что ты наводчица. Познакомилась, увидела деньги, привела, дождалась ночи и выгнала во двор. Если удается — берешь деньги сама, не удается — он уж действует наверняка: нож в спину. А Курикина убрали, как свидетеля. Понятно, чуть не попались. Могу рассказать, как все было: ты взяла деньги и смылась через черный ход, предупредила своего напарника, чтобы Курикина не упускал. Тот и дождался. Это мы дураки — надо бы Курикина отвезти на машине. Да теперь что говорить... Одного вы не учли: что я успею его допросить в жилконторе.

Рябинин вытер вспотевший лоб и шевельнул плечами, чтобы отлепить со спины рубашку. Ему захотелось сбросить пиджак, но он уже не мог ни остановиться, ни прерваться.

— Неужели я буду сидеть с тобой из-за пятисот рублей весь день?! Да в этом бы и участковый разобрался. Неужели ты раньше не сообразила, что прокуратура мелкими кражами не занимается?! Ты все-о-о сообразила... Так где убийца?

— Да ты что! Разве я пойду на мокрое дело?

Она была парализована страхом. Слова, которые раньше сыпались из нее неудержно, теперь кончились — их поток где-то перекрылся. Даже лицо изменилось: вроде бы то же самое, но как-то все черты сгладились, расплылись, как четкий профиль на оплавленной монете.

— Отвечай, где соучастник убийства? Тебе же выгодно все рассказать первой. Помоги следствию поймать его — только этим можешь искупить свою вину...

— Зарезать живого человека... Да ты что... Он был у меня, это верно... Деньги взять у пьяного могу. Конечно, теперь это дело мне легко пришить...

— Время не ждет, Рукояткина, — перебил он.

Сейчас бы Рябинина никто не узнал. Легкая задумчивость, из-за которой он казался повернутым не к жизни, а к самому себе, сейчас пропала в каком-то жару. Этот жар все внутри стянул, высушил лицо, опалил губы, замерцал в глазах, и даже очки сверкнули, будто на них пал отблеск глаз. Жар все накапливался и мог разорвать его, как цепная реакция. Ему казалось, что теперь он все может: заставить признаться подследственную, убедить преступника и перевоспитать рецидивиста. У психиатров такое состояние как-то называлось, но у них все человеческие состояния имели названия.

— Время не ждет, Рукояткина, — повторил он. — Чем

быстрее его поймаем, тем для тебя лучше. Не найдем — одна пойдешь по сто второй статье.

— Да ты что... Не знаю я про убийство.

— Это расскажи своей бабушке, — перебил он, а он сейчас только перебивал. — Поэтому ты о деньгах и молчала. Сообщи о деньгах — надо рассказывать и про убийство. Не так ли?! Наверное, с деньгами и ножичек лежит, а?

— Зря шьешь мне нахалку... Не могу я пойти на мокрое, я ведь...

— Тогда поедем.

— Куда?

— В морг, — негромко сказал он, потому что это слово не выкрикивалось, но, приглушенное, оно действовало еще сильней.

— Зачем? — Теперь ее страх перешел в тихий ужас, который невозможно было скрыть.

Рябинин швырнул трубку, не добрав нужного номера, и опять бросился к ней, к ее лицу, от которого он теперь не отрывался.

— Предъявлю тебе на опознание труп Курикина, — выдохнул он так, как в мультфильмах Змей Горыныч выдыхал огонь.

Рукояткина вскочила со стула — он даже отпрянул. Она сплела руки на груди, смотрела на следователя, а руки извивались у ее шеи, хрустя пальцами:

— Не надо! Не поеду! Ну как мне объяснить? По характеру я не такая, пойми ты...

Она теперь тоже заходила по кабинету. Рябинин, чтобы не терять ее лица, двигался рядом, и они были похожи на двух посаженных в клетку зверей.

— Ну пойми ты хоть раз в жизни! Разберись ты... Я вижу, что на мне сходится. Но ты же следователь, ты же должен разобраться. Я все могу, кроме убийства. Ну как тебе... Я же детей люблю.

Страх прилип к ней, как напалм. Рябинин знал, что такое прилипчивый страх, не тот, не животный, который его охватывал в воде, а умный страх, на который есть свои причины и которого боится любой здравый человек.

— Не убивала! — рявкнул он, прижимая ее взглядом к стене. — Если бы не убивала, давно бы выложила про деньги... Врешь ты, милая!

Она метнулась глазами, потом метнулась заячьей петлей по кабинету и, выламывая руки, невнятно предложила:

— Давай расскажу про деньги.

— Теперь дело не в деньгах, — отрезал Рябинин.

— Я расскажу все, и ты поймешь, что не я Курикина...

Он каким-то прыжком оказался у стола, выдвинул нижний ящик и выдернул чистый бланк протокола допроса — уже третий. Взяв ручку, Рябинин швырнул протокол на стол и коротко приказал:

— Пиши сама. Посмотрим. А потом поговорим об убийстве.

Она схватила ручку, как в известной пословице утопающий хватает соломинку, села и сразу начала писать крупным разборчивым почерком. Рябинин молча стоял за ее спиной, как учитель во время диктовки; только ничего не диктовал — смотрел через ее плечо на прямые строчки, которые складывались в криминальные эпизоды. Она писала сжато, самую суть, упуская всяких цыплят табака и драбаданы. Эпизод шел за эпизодом, описала четыре кражи в ресторане — на одну больше, чем знал Рябинин. Потом две махинации в аэропорту. В конце описала какую-то оригинальную кражу из квартиры, но Рябинин уже не стал вникать.

Рукояткина кончила писать, о чем-то раздумывая.

— Вот и я думаю... Они у меня спрятаны на кладбище, а никак... Я лучше покажу.

— Сколько денег?

— Все.

— Как все?

— Почти все. На еду только брала. Я ведь копила на черный день, безработная же, тунеядка. Телевизор цветной хотела купить...

Рябинин хотел что-то сказать, вернее, хотел о чем-то подумать, но останавливаться ему было нельзя, как марафонскому бегуну на дистанции.

— Что подсыпа́ла в водку?

— Гексинал.

— Ого! Внеси в протокол, — потребовал он.

Рукояткина аккуратно вписала своим чистописанческим почерком, пугливо посматривая на него снизу.

— Теперь подпиши каждую страницу.

Она расписалась и протянула листки. Он взял их, сел на свое место и теперь внимательно пробежал еще раз — записано было все, хотя и немного сжато. Рябинин взял у нее ручку и размашисто подписал последний лист.

— Ой, забыла, — рванулась она к протоколу, — забыла написать, что убийства-то я не совершала. Дай дополню.

В дверь постучали: он уже знал, что так официально-настойчиво стучал только сержант. Видимо, ему надоело сидеть. На крик Рябинина: «Да-да!» сержант приоткрыл дверь и просунул голову в щель:

— Товарищ следователь! Для очной ставки явился гражданин Курикин. Ждет в коридоре.

Он хотел еще добавить, но, видимо, что-то заметил в их лицах, поэтому провалился в щель, скрипнув дверью. Рябинин схватился за стол и глянул на Рукояткину...

Она с ужасом смотрела на него, но не с тем ужасом, который у нее появился при известии о смерти Курикина. Новый ужас был с оттенком изумления и гадливости, будто она вместо следователя увидела огромного мохнатого паука или какого-нибудь неописуемого гада. Так смотрит пугливая женщина в лесу на змею под ногами — хочет крикнуть, а сил нет. В кабинете

было тихо, как в морге. Рукояткииа хотела что-то сказать, он видел, что хотела, у нее даже рот был чуть приоткрыт, — н не могла.

Рябнннн еще держался за стол, когда она иачала медлеино и прямо, почтн не сгибая туловнща, поднниматься, словно начала расти. Он на секунду прикрыл глаза — сейчас она должиа его ударить. Он это понял по ее рукам, которые поднимались быстрей тела, да н по лнцу понял, на которое теперь легла еще и иенавнсть. Сейчас оиа ударит, и Рябинии не знал, что он тогда сделает. Надо бы снять очки, которые от удара шмыгнут с лица в угол. Надо бы закрыть глаза... Отпряиуть бы надо... Он знал, что будет делать — иичего: прнмет удар как должный; примет, как осознавший преступиик выслушивает заслужеиный прнговор.

Рукояткииа подиялась, прижала рукн к бокам н встала даже на иоски, сделавшнсь выше ростом. Рябинин глубоко набрал воздуху. Она все тянулась куда-то вверх, будто хотела взлететь, а он непроизвольио сгибал колени, стараясь врасти в пол...

Вдруг она вскрикнула и упала грудью на стол, как переломнлась в пояснице. Рябнннн отшатнулся, ошарашенный еще больше, чем ударом бы по лицу. Рукояткина рыдала, размазывая слезы по обложке уголовного дела, иа котором лежала ее голова. Игра кончнлась. И допрос кончнлся — плакал человек.

Рябинин забегал по кабинету, заплетаясь в собственных ногах. Слез он ие переносил, особенно детских н женских. Сам мальчишкой в войну поплакал вместе с много плакавшей, похудевшей матерью.

Слезы для следователя священны, потому что он должен откликаться на горе. А если они его не трогают, то надо уходить работать к металлу, к камню, к пластмассе.

Рукояткина плакала навзрыд, толчками, даже стол вздрагивал. И вздрагнвал Рябиннн, ошалело вертясь около нее. Она что-то приговаривала, бормотала, но слов было не разобрать.

— Ну перестань, — сказал он и не услышал себя.

Рябииин боялся слез еще по одной прнчине, в которой он век бы никому не признался: когда перед инм плакали — ему тоже хотелось плакать, будто он мгновенно оказывался там, в затемненном, голодном детстве своем.

— Перестань, слышишь, — погромче сказал Рябиннн и легонько дотронулся до ее рукн.

Оиа ие обратила вниманиия. Тогда он взял ее за локоть, чтобы оторвать от стола. Неожиданно оиа подняла голову н прильнула к его плечу — Рябнннн застыл, чувствуя сквозь пиджак ее горячий лоб. Но так было секунду-две: она гляиула на него стеклянными от слез глазами, в ужасе отшатиулась н опять упала на стол. Теперь Рябнннн разбирал некоторые ее слова н два раза услышал «какая подлость». Он н сам знал, что это подлость, которая расценивается как нарушение социалистической законности.

— Извиии, — буркнул он.

Она плакала неудержнмо. Виднмо, прорвалось то, что копилось весь день, а может быть, и не однн день. Рябиннн склонился к ней, беспомощно озираясь:

— Разозлнла ты меня... Такая тактика... В общем, прости, — бормотал он над ее ухом.

Видимо, она услышала его слова, потому что теперь в ее всхлнпах он уловнл слова про его тактику. Рябиниин хотел иазвать ее по имени, но как-то не повернулся язык. И уж совсем не хотелось назвать по фамилин.

— Перестань же... Ну ошибся я.

Рябинин подумал, что лучше бы отвесила пощечину. И еще подумал, что все плачущие жеицииы похожн на малеиьких девочек.

— Ну можешь ты успокоиться?! Я же извиияюсь перед тобой, — чуть не крикнул ои.

— На одну женщину, — всхлипывала она, комкая мокрый платок, — н милиция... и прокуратура... все государство и еще обмаи... подлнчают...

Рябиинн обрадовался, что оиа заговорила членораздельио. Он решительио схватил ее за плечи, оторвав от стола. Оиа села безвольио, как огромная тряпичная кукла. Рябииии выдернул из кармана платок, который сегодня дала Лида, и сунул ей в руку. Она взяла, приложив его к багровым векам н покусанным губам, — словно иочь металась в бреду.

— Зря я так сделал, — быстро заговорнл он. — Довела ты меия. Простн, что так получнлось...

Теперь оиа тихо плакала. Рябииии вытер рукавом вспотевший лоб.

— Всю жизиь не везет, — бормотала она, всхлипывая между каждым словом, — вот уж... правду говорят... судьба...

Ои зиал, что она говорнт не ему. И не себе. К кому мы обращаемся, когда ропщем иа судьбу, — иензвестно. Плакала Рукояткнна не только от обмана следователя: сейчас перед ней встала вся ее жизнь. И теклн слезы сами, потому что о будущем мы думаем разумом, а прошлое нам сжимает сердце.

— Ннчего ие было... ии детства... ни роднтелей... — хлюпала она носом.

— Ты без родителей?

Она молчала, водя по лнцу платком. Не слышала его и не видела. Но всхлипывала уже меиьше, будто слезы иаконец кончилнсь. Рябиинн взглянул на мокрую обложку дела и подумал, что столько пролитых слез ои еще ие видел. Вряд ли она плакала только по прошлому — эти слезы лились и по будущему.

— Ну хоть что-иибудь... ничего... даже матери... — всхлипнула она потнше.

— Роднтелн умерлн? — еще раз спросил Рябииин, не узиавая своего голоса.

Или этот изменившийся голос повлиял, или она уже пришла в себя, но Рукояткииа отрицательио качнула головой.

— Значит, родителн у тебя есть? Да успокойся ты.

Она опять качиула головой, н Рябинни теперь уже ничего не поимал про родителей.

— Дай воды... весь день не пила...

Он бросилсн к графину. Оиа медлеино выпила два стакана — весь день не пнла, да н не ела весь день. Еда ладно, но в такую теплынь без воды, н даже не спроснть... Чувство собственного достоинства — Рябниин понимал его. Это была цельная натура. Если оиа воровала, то воровала много и красиво. Еслн нмела врага, то иеиавидела его люто. Если врала иа допросе, то врала все — от иачала до коица. Если ее допрашивал враг, то оиа не могла опуститься до просьбы, потому что в любой просьбе всегда есть капля уииження. Если плакала, то плакала с горя в три ручья. Но если начинала говорить правду, то говорнла всю, как она написала ее в протоколе. И если бы она работала, дружила нли любила, то она бы это делала прекрасио — работала, дружнла или любила.

После воды Рукояткина всхлипывала изредка, угрюмо уставившись в пол.

— Я ие поиял, родители живы у тебя или иет? — осторожио спросил Рябиинн.

— Живехоньки, — глубоко вздохнула она, чтобы прижать воздухом слезы, рвущнеся наружу.

— И где они?

— Отец где-то шатается, я его век ие видела, вообще никогда не видела... А мать... Вышла замуж за другого, меня отдала в детдом, — иеохотно сообщила оиа.

— А дальше? — спросил Рябииии, взял второй стул и сел рядом: за стол сейчас идти не хотелось.

— Дальше, — мрачио усмехиулась она и бесслезно всхлнпнула, — сиачала мать ходила, я даже помню. А потом вообще отказалась. А дальше всего было: и детдом, и интернат, и колоння для «трудных» подростков...

— И мать с младенчества не вндела?

— То-то и обидно, что живет от меня в двух трамвайных остаиовках. Случайность. Нашлась няиька из детдома, показала мне ее. Мать-то... Приличиая жеищииа. Одевается, как манекеи. Собачка у иее с кошку ростом, курчавистая. А муж здоровый, по внешности на инженера тяиет.

— Зайтн ие пробовала?

— Раз пять подходила к дверн... И не могу. Ну что я ей скажу?! Зареву только. А на улице встречу ее, меня аж в жар бросит...

— Может, все-таки объявиться ей? — предположил Рябннин.

— Ну как оиа может жить... Как может водить собачку на веревочке... Когда где-то ее ребеиок мается. Я бы таких матерей не зиаю куда девала... Вот ты меия за деиьги сажаешь. А оиа человека матери лишнла. И ннчего, с собачкой гуляет.

Рябнннн представил, с какой бы снлой это было сказано раньше, до слез, но сейчас она сидела вялая, будто ее сварили. У не-

го тоже осталось сил только на разговор. Допрос кончился. Протокол подписан.

— Ожесточилась ты. Таких, как твоя мать, единицы, — сказал Рябинин и подумал, что, знай он раньше ее семейную историю, так жестко допрашивать не смог бы.

— Единица-то эта мне попалась, — скорчила она гримасу, попытавшись улыбнуться.

— Трудно тебе, — согласился Рябинин, хотя это было не то слово. — Но всех матерей этой меркой не мерь. Впрочем, я тебя понимаю.

— Понимаешь? — вяло спросила она.

— Понимаю. Но ожесточаться нельзя. Здесь такая интересная штука происходит: обесточился человек — и погиб.

— Почему погиб?

— Как тебе объяснить... Злобой ты закроешься от людей. Тебя обидел один человек, а ты злобу на всех. И не смогут они к тебе пробиться. А одному жить нельзя. Вон я сколько к тебе пробивался, целый день.

— Ты, может, и пробивался, а другим начхать на меня. Да и тебе-то я нужна для уголовного дела. Жил бы рядом, соседом, тоже небось мимо проходил.

— Не знаю, может, и проходил бы.

— Хоть правду говоришь, — усмехнулась она, теперь уже усмехнулась, но сидела пришибленная, тихо, прерывисто вздыхая.

Она вернула платок. Он посматривал на нее сбоку и думал, какой бы у него получился характер и кем бы стал, если бы мать не узнавала его.

Рябинин всегда с неохотой брал дела, где обвиняемый был несовершеннолетний. И сколько он ни искал причину, почему мальчишка сбивался с пути, она всегда в конечном счете оказывалась одна — родители. Много у Рябинина накипело против плохих родителей...

Рукояткина, словно услышав его мысли, задумчиво заговорила:

— Если бы я была приличной, знаешь бы что сделала... Взяла бы ребятишек штук шесть из детдома на воспитание. Вечером мыла бы всех... Ребенок смешной... Ничего нет в семье, и вдруг — человек. Крохотный. Берешь его на руку, а он... умещается. Соврать ему нельзя. Вот говорят про совесть... Я ее ребенком представляю. А как чудесно пахнет ребенок, теплом, не нашим, другим теплом...

Она умолкла, о что-то споткнувшись в памяти.

— Говори, — предложил Рябинин.

— Может, ты бездетный, тогда это тебе до лампочки.

— Дочка у меня, во второй класс перешла.

— С косичками?

— Вот с такими, — показал он косички. — Сейчас за городом. Смешная — ужас! Звонит мне как-то на работу такая радостная. Папа, говорит, я в школе макаронами подавилась. Спра

шиваю, чем дело кончилось. Я, говорит, их проглотила. А ты, спрашиваю, полтиинник взяла, который я тебе на стол положил? А на что же, отвечает, я, по-твоему, подавилась?

— Ты тоже детей любишь? — с сомнением спросила она.

— Кто же их не любит.

— Кто любит детей, тот убить никогда не может, — решительно заявила она.

Они молчали, сидя рядом, как измотанные боксеры после боя. Или как супруги перед разводом, когда имущество уже поделено и осталось только разъехаться.

— Ты вот сказала, что тобой никто не интересовался... Неужели так все и проходили мимо? — спросил он.

— Были, интересовались. Вон участковый чуть не каждый день интересуется. Беседует со мной по душам. Но я-то вижу его, просвечивает он, как пустая бутылка. Делает вид, что мне верит. Когда говоришь по душам, положено верить. А у меня такой характер: как увижу, что только один вид строит, — начну грубость ляпать. Как тебе. У нас в доме один есть, все хочет меня воспитывать. Вы, говорит, при ваших физических данных могли бы выйти замуж даже за морского офицера и жить на благо родины семейной жизнью. А сам все за кофту глазами лезет. О жизни иногда вот как хочется поговорить, — вздохнула она.

— Та́к уж и не с кем, — усомнился Рябинин не в словах, а в ситуации, где она не смогла найти собеседника. — По-моему, о жизни люди говорят с удовольствием. Особенно пожилые.

— Говорят, — вяло согласилась она. — Да все нудно. Я ведь раньше работала на обувной фабрике. Мастер был, дядя Гоша. Все меня наставлял. Наша жизнь, говорит, есть удовлетворение материальных потребностей, поэтому мы должны работать. Неужели я только для того на белый свет родилась, чтобы удовлетворять свои материальные потребности?

— А для чего?

— А ты согласен? — чуть оживилась она. — Для жратвы да шмуток существуем?

— Нет, — ответил Рябинин, немного подумав.

— Вот и я — нет. А для чего, и сама не знаю, — вздохнула она. — Иногда о жизни правильно говорят, разнообразно, хотя и теоретически.

— Почему теоретически? — спросил он и подумал, хватит ли у него сейчас сил беседовать о жизни. И на каком уровне с ней говорить — опускаться до ее понимания нельзя, предлагать свой уровень было рискованно, не поймет, а значит, и не примет. Да и как говорить с человеком, который не был знаком даже с первым кирпичиком — трудом...

— Почему же теоретически? — повторил Рябинин, потому что она синхронно замолкала, стоило ему задуматься.

— О труде хотя бы. Как можно любить работу? Я вот на фабрике вкалывала — занудь.

— Значит, эта работа не по тебе. А ее нужно найти, свою

работу. Я вот юридический кончил заочно. До этого работал в экспедициях рабочим. Придешь с маршрута, рубашка вся мокрая, хоть выбрасывай. От жажды задыхаешься, рукн и иоги отваливаются — стоять не можешь. А приятно. Ты хоть раз потела от работы?

— От жары.

— Тогда не поймешь, — вздохиул оп. — Вот какая несправедлнвость: сколько стихов пишут про листочки, цветочкн, почки. А о мокрых рубашках не пишут. Поэтичио бы иаписалн, как о цветах. Так бы н иазвали: «Поэма о взмокшей рубашке».

— Я в колонии напишу, — горько усмехнулась оиа. — Поэму о взмокшем ватнике.

Рябинин ощутил силу, которая возвращалась, как откатившаяся волиа. Ои распрямился на стуле и чуть окрепшим голосом продолжал:

— Это про работу руками... А тут у меня работа с людьми, психологическая. Тут другое. Руки вроде бы свободны, ничего в нних, кроме авторучки...

— У тебя работа психованная, — вставила она.

— Но тут другое удовольствие от работы. Попадется какаянибудь дрянь, подонок...

— Вроде меия, — ввериула она, и Рябииин ие уловил, так ли она думает о себе или к слову пришлось.

— Ты ие подоиок, ты овца.

— Какая овца? — ие пояяла она.

— Заблудшая, — бросил Рябинин и продолжал: — Вот сидит этот подлец с иаглой усмешкой... Преступление совершил, жизнь кому-то испортил, а ухмыляется. Потому что доказательств мало. Вот тут я потею от злости, от бессилия.

— Посадить человека хочется? — спросила она, ио беззлобно, с интересом, пытаясь понять психологию этого марсианского для нее человека.

— Хочется, — честно призиался Рябинии, схватываясь все больше тем жарким состоянием, когда человек в чем-то прав, но ие может эту правоту внушить другому. — Очень хочется! Вот недавио был у меня тип. Одну жеищнну с ребенком бросил, вторую с ребенком бросил, детям не помогает, жеищни бил. Женился иа третьей. И вот она попадает в больиицу с пробитой головой. Сама ничего не помнит. А он говорит, что оиа упала и ударилась о паровую батарею. Свидетелей иет. Все поиимают, что ои ее искалечил, а доказательств иет. Вот и сидит он передо миой: хорошо одетый, усики пошлые, глаза круглые, белесые, блестящие. Что меня злит? Ходит он меж людей, и ведь никто не подумает, что подлец ходит. Ну кто им будет заниматься, кроме меня? Где ои будет держать ответ, кроме прокуратуры?

— Перед богом, — серьезно сказала она.

— Знать бы, что бог есть, тогда бы я успокоился, припекли бы его иа том свете. Вот я и решнл: раз бога нет — значит я вместо него.

— Ты вместо черта, — ухмыльнулась она.

— Потел, потел я сильно, — не обиделся на реплику Рябинин, потому что это было остроумно да и слушала она внимательно. — Пригласил физика, который рассчитал падение тела. Сделал следственный эксперимент, провел повторную медицинскую экспертизу. И доказал, что удариться о паровую батарею она не могла. И посадил его.

— Если не посадишь, то и радости у тебя нет? — серьезно спросила она.

Рябинин усмехнулся: знал бы кто, чтó значит для него арестовать человека, даже самого виновного, но ведь ей объяснять не будешь.

— Придет письмо из колонии — радость. Человек все понял, значит, не зря я работал.

— Я тебе прямо телеграмму отстучу.

— Или выходит человек на свободу — и ко мне.

— Это зачем же?

— Бывает, спасибо сказать. Поговорить, посоветоваться, жизнь наметить. Матери приходят, просят помочь с подростками. Разве это не здорово: получил подростка-шпану, повозился, попотел с ним года два-три, и смотришь — входит к тебе в кабинет человек, видно же, человек.

— А я никакую работу не любила, — задумчиво сказала она. — Да и нет, наверное, работ по мне.

— Почему же, — возразил Рябинин, — одну я уже знаю: воспитывать детей.

— Я?! — дернулась она и повернула к нему уже обсохшее лицо.

— Ты.

— Ха-ха-ха, — фальшиво захохотала она. — Умора.

Но Рябинин видел, что никакой уморы для нее нет, — опять что-то задето в ней, как это всегда бывало, когда упоминались ребята.

— Я воспитываю детей? — с сарказмом спросила она.

— Ты воспитываешь детей, — убежденно ответил Рябинин.

— Кто же мне их доверит?

— Сейчас никто.

— А когда выйду из колонии — доверят?

— Не доверят. Но если ты поучишься, поработаешь, докажешь, что ты человек, — доверят. В тебе есть главное: ты любишь чужих детей. Это не такое частое качество.

Она вдруг растерялась и вроде бы испугалась, взглянув на него беспомощно, будто он ее оскорбил.

— Говоришь это... для воспитания? — тихо спросила Рукояткина.

— Да брось ты... Я как с приятелем.

— Правда? — грудным голосом, придушенным от тихой радости, спросила она и вскочила, заходив по кабинету. — Господи! Да если бы мне детей! Да я бы... Ночи не спала. Каждому бы сказку рассказала. Каждому перед сном пяточку поцелова-

ла... Они же глупые. Многие не знают, что такое мать. С детьми бы...

Рябинин увидел, как перспектива, даже такая призрачная, которая сейчас мелькнула перед ней огнями на горизонте, изменила ее мгновенно. Лицо у Рукояткиной сделалось добрым и сосредоточенным, даже интеллигентным, и пропал тот заметный налет вульгарности; она прошлась перед ним по-особенному, стройно и строго, как ходят молодые учителя. На один миг, а может, на два-три мига представила она себя воспитательницей, и Рябинин испугался — имеет ли он право дразнить человека перспективой, как дразнят голодного куском хлеба... Не издевательство ли — обещать благородную работу человеку, у которого впереди суд и колония... Ну а чем ей тогда жить в этой колонии, как не мечтой? Он должен показать ей будущее, кроме него — некому. Показать так же настойчиво, как он разбирал и показывал ее прошлое.

Рукояткина думала о будущем. Это удивило Рябинина и обрадовало: он-то считал, что ей начхать на все.

— Главное, понять и не повторять. У тебя еще жизнь впереди.

— Жизнь-то впереди, — согласилась она, но в голосе не было никакой уверенности. — Жизнь впереди, да начала нету.

— Ну-у-у, — вырвалось у Рябинина, и он махнул рукой, рассекая воздух. — Что начало... Многие жизнь начинают красиво. Надо не на это смотреть, а как они потом живут. Красивых свадеб много, а красивых семей не очень. Студентки тоже красивые ходят, в брючках, модные, высокие, с тубусами... Студенты такие здоровые, спортивные, смелые, всё знают, собираются жизнь перевернуть... А придешь в НИИ — посредственные инженеры корпят. Ни взлета, ни страсти, ни смелости... Куда что делось! Потому что красиво начинать легко, а вот жить красиво...

— Тебе просто говорить... Не каждый может.

— Каждый! Каждый может, и все может — вот в чем дело.

— Чего же не каждый делает, если может?

— Знаешь почему? Человек сам ставит себе предел. Вот до этой черты я смогу, а дальше у меня не получится. И живет, и достигает только этой черты. Вот ты. Шла сюда на допрос. Не признаться следователю — вот твоя черта. А могла бы черту приподнять повыше. Скажем, все рассказать, осознать, чтобы меньше получить. А могла бы черту еще поднять: отбыть наказание, завязать, пойти работать. А могла и еще выше. Учиться начать, забыть прошлое, стать педагогом. Да эта черта беспредельна, как духовное развитие человека.

— Это на словах только просто.

— Я не говорю, что просто. Трудно. Для тебя в сто раз труднее.

— Не в моих условиях эти черточки рисовать, — не согласилась она.

— Условия?! Человек должен плевать на условия. Теперь

все на условия валят. И ты: мать, мастер, дураки кругом, никто тебя не понимает... А что ты значишь сама как личность?! Впрочем, что это я морали тебе читаю, — спохватился он.

Самолюбие начинающего следователя частенько тешилось властью. Шутка ли сказать: иметь право вызывать людей, допрашивать, обыскивать, предъявлять обвинение и даже арестовывать. Рябинин считал, что следователь обладает еще более ответственным правом, чем допрос или арест, — правом учить людей. Как раз это право начинающие следователи не считали серьезным, поучая вызванных с завидной легкостью.

Поэтому Рябинин не учил образу жизни. Он мог поговорить только о ее принципах. Вспомнился спор двух летчиков в аэропорту, да и спора-то не было, а была хорошая умная фраза. Один молодой, пружинистый, высокий, с фотогеничным лицом и дерзким взглядом, лазерно смотрящий на людей. Второй в годах, седоватый, уже не прямой, но спокойный и медленный, как время. Молодой ему с час говорил, сколько он налетал километров, какого он класса, на каком счету и чего добьется в воздухе. Второй летчик слушал-слушал и сказал: «В воздухе-то многие летают, а ты вот на земле полети».

К этому Рябинин ничего бы не смог добавить: где бы человек ни был, он должен везде летать.

— А почему ты с фабрики ушла?

— А-а, надоело все. Работа неинтересная, семьи нет, друзей нет... Люди чем-то интересуются, в музеи ходят, на музыку... А я, как услышу по радио — скрипит известный скрипач, — сразу выключаю. Вот какая идиотка. Ни космос меня не трогает, ни политика разная. В кино вот бегала. Книжки только про убийства читала. А то бы вообще от скуки можно сдохнуть.

— Скучная жизнь у скучных людей, — громко бросил Рябинин.

Она подошла к окну и посмотрела на улицу. В доме через проспект зажигались окна. Рябинин удивился — было вроде бы светло. Он глянул на часы и удивился еще больше, потому что рабочий день кончился. Но сейчас он жил вне рабочего дня. Обвиняемый и следователь не кибернетические машины — они не могут оборвать допрос вдруг, потому что допрос есть человеческий разговор.

— Когда мне было шестнадцать, — задумчиво сказала она,— я любила ходить по городу и смотреть на вечерние окна. Только вот не как сейчас, при свете, а осенью. Окна казались мне загадочными, таинственными... Казалось, что там сидят сильные благородные мужчины. Или красивые женщины... Пишут книги или стихи сочиняют. Или философ размышляет о нас, грешных... Или художник рисует этих красивых женщин... Или изобретатель чего-нибудь изобретает... А теперь выросла. Теперь знаю, что за окнами смотрят телевизор.

— Ни черта ты не выросла! — подскочил Рябинин. — Нет интересных людей! А откуда же берутся интересные вещи?! Их ведь делают интересные рабочие. Откуда берутся интересные кни-

ги, фильмы, песни? Интересные мысли, машины, открытия, изобретения? Неужели ты думаешь, что все это могут сделать скучные люди?

— Что ж, и скучных, по-твоему, нет? — повернулась она к нему.

— Сколько угодно. И везде. Обывательщина живуча, как вирусы. Но разве на них надо смотреть? Разве они делают жизнь? Да ведь ты сама интересный человек.

— Я?! Чем? — удивленно спросила она и опять села рядом.

— Неглупая, имеешь оригинальные взгляды, характер у тебя есть, внешность выразительная, да и судьба твоя по-своему интересна. И способная — вон как про окна сказала поэтично.

— Господи боже мой, — тихо вздохнула Рукояткина.

— Нет интересных людей... Да они всегда рядом. У нас работает следователем Демидова. Ей шестьдесят три года — и все работает. Следователь должен быть энергичным, быстрым, шустрым. Молодые не справляются, а она раскрывает преступления, перевоспитывает подростков. Пришла в прокуратуру — ей было восемнадцать. Заочно кончила юридический, специально кончила педагогический, чтобы заниматься малолетками. Всю жизнь работает допоздна, без выходных, без праздников, весь интерес в работе. Вышла когда-то замуж. Муж посидел дома один — и ушел. Так без мужа и прожила жизнь. Выехала однажды на место происшествия, женщину током убило. А в углу сын плачет, девять лет. Ни родных не осталось, ни знакомых. На второй день работать не может: стоит у нее в голове мальчишка — забился на кухню и плачет. Бросила все и поехала усыновлять. А через год умерла ее родная сестра — еще взяла двоих. И всех воспитала. Потому что живет увлеченно, со смыслом, на полную душу...

Настойчиво стукнул сержант и тут же распахнул дверь. Рябинину было неудобно перед ним — держал человека в коридоре целый день.

— Товарищ следователь, — спросил сержант и замолчал, увидев их сидящими рядком, как супругов у телевизора.

— Скоро кончим, — устало сообщил Рябинин.

— Да я не про это. Курикин спрашивает, ему ждать или как.

Вот про кого он забыл совершенно, хотя весь день только о нем и говорил.

— Скажите, что сегодня очной ставки не будет. Потом вызову.

Сержант закрыл дверь, и Рябинин крикнул вдогонку:

— Извинитесь за меня!

— Противный он, как подтаявший студень, — вдруг сказала она.

— Сержант? — не понял Рябинин.

— Да нет, Курикин. Начал раздеваться, вижу, бумажник проверил и в другой карман переложил. У тебя сколько внутренних карманов?

— Ну, два.

— А у него три, третий где-то на спине пришит. Будет хороший человек третий карман пришивать? Не подумай, я не оправдываюсь. Положил туда бумажник, вижу, хоть и пьяный, а меня боится. Зло еще больше взяло: пришел к женщине насчет любви, а за кошелек держится. Да не ходи к такой. А уж пришел, так не прячь, не озирайся. Ну и решила. Полез он на диван, а я бумажник быстренько слямзила и на кухню, да как забарабаню в дверь ногой. Меняюсь в лице и вбегаю в комнату: «Ой-ой-ой, муж пришел!» Он как вскочит, пиджак на плечи и не знает, куда смыться. Сразу протрезвел. Я его поставила за дверь, открыла ее, потопала — якобы муж прошел — и вытолкнула на лестницу. Черный ход не захотела открывать. Так и выпроводила. Ему уж было не до бумажника.

В протоколе она записала короче, официальнее. Но в протоколах еще никто не писал художественно.

— И тебе нравится общаться вот с такими ловеласами? — осторожно спросил Рябинин.

— С кем? — не поняла она.

— Ловеласами... Ну, мужчинами легкого поведения.

— Во — ловеласы! — удивилась она, оттягивая юбку к коленям, потому что они сидели рядом, уже не было допроса, и Рукояткина теперь стеснялась. — Гулящих женщин зовут нецензурно. А гулящий мужчина — ловелас, донжуан. Красиво! Знаешь, кого я больше всего не люблю на свете?

— Следователей, — улыбнулся Рябинин.

— Мужиков! — отрезала она.

— Как же не любишь? Только ими и занималась.

— Ничего не занималась, — опять отрезала она. — И пить я не люблю, да и нельзя мне — гастрит.

— Ну как же? — повторил Рябинин, впервые усомнившись в ее словах с тех пор, как преломился допрос.

— Да наврала я тебе про ателье-то. Есть захочется, познакомлюсь с парнем, наемся в ресторане за его счет и сбегу. Или обчищу, ты знаешь. Я в комнату к себе никого не водила. Мне украсть легче, чем с мужиком.

— Чего ж так? — глуповато спросил Рябинин.

— А противно — и все.

Ее лицо заметно сделалось брезгливым, и он поверил, что «противно — и все». Наверняка и здесь жизнь сложилась не так, и здесь жизнь пересек кто-нибудь, не понятый ею или не понявший ее.

— Друг у тебя... есть? — неуверенно спросил Рябинин.

— Да был один морячок-сундучок, — вяло ответила она.

— Понятно, — вздохнул Рябинин. — Ну хоть была в твоей жизни любовь-то хорошая?

— Чего-о-о-о?! — так чегокнула она, что Рябинин слегка опешил — вроде ни о чем особенном он не спросил.

— Тебя кто-нибудь любил, спрашиваю? Или ты?..

Она повернулась к нему всем телом так, что Рябнину пришлось отодвинуться, иначе бы она уперлась в него коленями.

— А что такое любовь? — с ехидцей спросила она.

Труднее всего отвечать на простые вопросы. Что такое хлеб? Мучнисто-ноздреватый продукт — и только-то? Что такое вода? Водород с кислородом, но кто этому поверит? А что такое любовь?..

— Когда люди любят друг друга, — дал он самое короткое определение и улыбнулся, потому что ничего не сказал этим.

Рукояткина тоже усмехнулась. Она все-таки знала о любви, потому что была женщиной. Но он знал больше, потому что был следователем. А определения он не знал. Да и кто знал: пятьдесят процентов людей употребляют слово «любовь», не понимая его значения; другие пятьдесят даже не употребляют. В его сознании давно сложилось два представления о ней.

Первое шло от жизни. У этой любви было другое, короткое, как собачья кличка, название — секс. Он пользовался этим определением, как пользуются рабочим халатом или инструментом, потому что следователь обязан понимать любые человеческие уровни.

Второе понимание любви было свое, о котором он говорил с редкими людьми и говорил редкими невнятными словами, потому что внятных не хватало, как для пересказа музыки. В этой любви секс оскорблял женщину. Пусть он себе есть, но пусть он имеет отношение к любви не больше, чем серый холст к написанной на нем рафаэлевской мадонне. Его тихо передергивало, когда кто-нибудь говорил, что любовь держится на сексе, — чувство, которое заставляет боготворить и плакать, вон, оказывается, на чем держится. Он не признавал любви простой и веселой — только трагедия, потому что испокон веков любовь страдает от непонимания, но больше всего страдает от глупости, как, впрочем, и все в жизни. Любовь должна быть трагична потому, что в конце концов смерть обрывает ее. Она должна заключать в себе весь мир и быть в жизни единственной — или ее не надо совсем.

Такой идеал любви у него был лет в восемнадцать. Ему давно перевалило за тридцать, но ничего не изменилось. Он понимал, что его любовь в общем-то несовременна и романтична. Но что такое любовь, как не романтическое состояние души?

Он смотрел на Рукояткину сбоку: на четкий нос, который в профиль не казался широковатым; на маленькие, почти детские уши; на безвольно-легкую грудь, которая, казалось, от прикосновения растает; на стройные ноги. Не могла она не знать о любви.

— Знаешь ты о ней.

— Знакома с этой пакостью, — согласилась она.

— Почему пакостью?

— Говорила тебе, был у меня морячок. Любовь — это как

бог для старушек: говорят-говорят о нем, а никто не видел.

Вот и было определение.

— У тебя и тут пустота, — с сожалением сказал Рябинин.

— Раньше, когда еще хорошие книжки читала, тоже ждала по вечерам любовь. Все надеялась. Дура была... Думала, что женщина должна любить, помогать, жалеть, угождать. Женщина, которая не может пожалеть мужчину, — кому нужна: только производству. Душа-то у меня что такси — садись каждый, кто хочет. И сел один, морячок. Насмотрелась я на него. Вообще мужики нахальные, глаза навыкате, всегда «под газом», хамы, в общем. Как жена уехала — напиться ему и бабу. Кого они замуж берут — знаешь? Думаешь, умную, образованную, которая ноты изучает или в очках ходит? Или у которой лицо правильной красоты? Или которая интересная сама по себе, вроде твоей Демидовой? Ни фига подобного! Возьмут, у которой здесь во, здесь во, а здесь во!

Она вскочила и выразительно стукнула себя по груди, бедрам и пониже спины, как она стучала днем, объясняя соотношение в себе духа и материи. В ней каким-то образом уживалась наивность с грубостью и женственность с вульгарностью.

— А что здесь, — она звонко хлопнула себя по лбу, словно он был пластмассовый, — ни одного дьявола не интересует. Вот девка и думает: а зачем мне учиться и всякие диссертации писать, — я лучше мини закатаю повыше, и он пошел за мной. Знаешь, что я тебе про любовь скажу? Ее придумали для семнадцатилетних дур. Выросла девка, ей уже парень нужен. Ходить к нему стыдно, нужен красивый предлог. И придумали — любовь. И пошло́, и пошло́. Песни посыпались про любовь связками, как сардельки. Слушать противно. Как песня, так про любовь. Будто у нас про любовь только все и думают. И петь будто не о чем. Вот о твоей Демидовой песню не сложат. Песня есть «Помогите влюбленным». Видишь ты, влюбленным самим не справиться... Да я лучше больному помогу. Не напишут песню «Помогите инвалиду» или «Помогите старушке», «Помогите, кому нужна помощь»... Да и кто ее, любовь, видел-то? Вроде атома — есть, говорят, а никто не видел.

— Знаешь, — задумчиво сказал Рябинин, — вот взять карту местности. И взять копию ее на кальке, такой прозрачной бумаге. И наложить эту кальку на оригинал. Совпадет точно. Но стоит край сдвинуть на миллиметр — и все не совпадет: ни города, ни реки, ни леса.

— Ты это обо мне?

— Говоришь ты о многом верно, даже интересно. Но все сдвинуто в сторону. Не совпадает. Вот и про любовь не совпало.

— А с чем не совпало-то? С Ромео и Джульеттой?

— А хотя бы и с Ромео.

— Интересно, где ты их видел. Уж не во Дворце ли бра-

косочетаний? Я такая-сякая, но до такой пошлости я бы не дошла. Стоять в очереди на женитьбу! Выпялятся, расфуфырятся, машины с кольцами, народ толпится — что это? Личное счастье на люди тащат, как бельем трясут. Я вот знаю одну девку. Замужем уже была, ребенок есть, и решила второй раз замуж. А Дворец ее не бракует: мол, сочеталась уже, теперь иди в загс. Так она взяла отношение из месткома: норму выполняет, общественную работу ведет, просим браком ее сочетать. Ну скажи, что ей надо — любовь или Дворец? Показуха ей нужна, а не любовь.

Рябинин мог под этими словами подписаться, как под протоколом.

— Откровенно говоря, — сказал он, — к этим Дворцам у меня тоже симпатии нет. Но ты не о любви говоришь, а о Дворцах.

— Где ж ее искать?

— В шалашах. Любовь ищут в шалашах.

— А я вот, считай, в шалаше живу, а любви нет и не было, — убежденно ответила она.

Его удивило, что в пользе труда, в необходимости цели в жизни он вроде бы убедил ее скорее; на любви он споткнулся, или она споткнулась, или они споткнулись. Там она верила на слово — тут у нее было выстрадано. Да и обидно ей: красивой молодой женщине в одиночестве.

— Нет, говоришь, любви... Ты ночь просидела в камере. А знаешь, что за стенкой парень сидит за любовь?

— Убил девку, что ли?

— Никого не убивал. Сидит буквально за любовь.

— Такой статьи нет, — усомнилась она.

— Статьи нет, — согласился он. — Задержан за бродяжничество. Три года не работает, не прописан, катается по стране, живет кое-как, вот с такой бородой.

— Я его видела. Он у дежурного просил книжку.

— Вот-вот. На заурядного тунеядца не похож. Часа три я с ним сидел, не по работе, а просто интересно было. Все молчал. А потом рассказал. Жил в нашем городе, любил девушку, по-настоящему любил. Собирался уже в этот самый Дворец идти... И вдруг сильная ссора. Неважно из-за чего. Она любит, но не может простить, и не может быть вместе, не может жить в одном городе — вот как интересно. И она с горя уезжает на стройку. Он бросает институт и едет за ней. Она в это время переехала на другую стройку. Он туда. Она опять по каким-то причинам уезжает. Он ее потерял. И начал искать по стране. Представляешь?! Ездил по стройкам, где есть работы по ее специальности. Почти три года. Восемь раз приезжал только в наш город, искал тут, среди знакомых, по справочному, через милицию... И вот нашел: в Хабаровском крае. Заработал денег на дорогу, вагоны разгружал. Едет, добирается, находит общежитие, стоит в проходной, бледный, сам не в се-

бе: говорит, еле стоял. И вдруг подходит к нему незнакомая девушка и спрашивает: «Вы меня вызывали?»

— Не она?

— Не она. Совпали фамилия, имя, год рождения... Он вернулся сюда — и вот арестован как бродяга.

— Как же так? — Она вскочила с места и встала перед ним, словно он был виноват в этой истории. — За что же? Господи...

Рябинин представил ее в кино: наверное, охает, хватается за грудь, дрожит и плачет.

— Я его спрашиваю: что ж, ты без нее жить не можешь? Нет, говорит, могу, вот сижу в камере — тоже ведь живу.

— И ты ничего не сделал? — спросила она, прищуривая глаза, как прищуривала их в начале допроса.

Но Рябинин уже забыл про начало допроса — это было утром, а сейчас наступил вечер. Над универмагом загорелись зеленые буквы. На его крыше вспыхнула реклама кинопроката, призывающая посмотреть фильм о любви — еще одну стандартную вариацию на вечную тему. И опять на улице не было темноты, только посерело и поблекло, будто обтаяли острые углы домов и крыш. Даже свет горел только в половине окон домов, и неоновые буквы магазина, казалось, светились вполнакала.

— Им занимаюсь не я, — ответил он. — Но сделал: ребята из уголовного розыска нашли ее адрес. Ему отдам. А завтра схожу к судье и расскажу его историю, сам-то он наверняка промолчит.

Она устало села на стул, сразу успокоившись:

— Какой чудной парень. Вон люди за что сидят, а я за Куркина.

— По-моему, — вставил он, — этот парень сильнее Ромео.

— Много ли таких, — вздохнула она.

— Больше, чем ты думаешь. Вот мы с тобой одного уже нашли.

Рябинин смотрел в ее бледное лицо, в серые глаза, влажные и блестящие, как осенний асфальт, потому что слезы стояли где-то за ними и уж, видно, просачивались. Лицо все бледнело, глаза все темнели — свет в кабинете не зажигался. Незаметно пропало время, будто он повис в космосе без ориентиров и часов. И оно ему, занятому своим парнем, было не нужно, словно сидел не в кабинете и был не следователем. Ни зеленые буквы напротив, к которым он привык за много лет; ни стальная громада сейфа, которую он иногда задевал рукой; ни круглая вмятина в стене, которую он выдолбил локтем, не возвращали его к работе — он сейчас был просто человек и говорил с другим человеком.

— Да у меня у самого любовь, — вдруг сказал он, не собираясь этого говорить.

— Настоящая?

— По-моему, настоящая.

— Расскажи, а? — попросила она так просто, что Рябинин не удивился и даже не подумал отнекиваться.

— Да вроде бы и рассказывать нечего. Не о чем... Ни метров, ни килограммов, ни рублей — мерить нечем. Тут надо бы стихами, — тихо начал Рябинин и осекся: говорить постороннему человеку о Лиде он не мог. — Да неужели у тебя ничего не было похожего?

Она не ответила. Может быть, она копалась в своем прошлом. Может быть, просто не говорила, потому что в сумерках хорошо молчится.

— Похожее, — наконец сказала Рукояткина, и Рябинин понял: что-то она нашла в своей жизни; не вспомнила, а выбрала, посмотрев на все иначе, как иногда глянешь на вещи, которые собрался выбросить, но увидишь одну и подумаешь — ее-то зачем выбрасывать?

— Вроде было. Мне исполнилось семнадцать, еще на фабрике ученицей работала. Парнишка один, слесарь, все меня у проходной ждал. Пирожки с мясом покупал, эскимо на палочке, в кино приглашал. А я не шла. Я тогда по морякам надрывалась. Смылась с фабрики, думала, что с парнишкой завязано. Смотрю, торчит у ворот дома с пирожками. Ко мне тогда стал похаживать тот морячок с фиксой, лоб под потолок. Ну и дал он по шее парнишке. Думала — все, отстанет. Нет, на улице меня перехватил, покраснел, заикается. Уговаривает вернуться на фабрику, мол, собьюсь я с пути. Велела ему нос почаще вытирать. Смотрю, сейчас заплачет. И что-то шевельнулось во мне, защемило в груди, как от брошенного ребенка. Повела к себе, недели две ходил, пока морячок опять не вытурил его...

— Дура ты, прости господи! — вырвалось у Рябинина.

— Дура, — вздохнула она. — Денег у меня уже не было. А он придет, пельменей притащит, колбасы «докторской»... Уйдет, пятерку оставит. Глаза у него такие... лохматые, в пушистых ресницах. Водку не пил. Жениться предлагал. Слова красивые говорил. А ведь женщина любит ушами. Говорил, что без меня у него жизнь получится маленькой. Тихий был, стеснительный. А мне тогда нахальные нравились. И тут его в армию взяли. Не стала перед службой-то корежиться. По-человечески на вокзал проводила, с цветами. Писем получила штук двадцать. И писем давно нет, и где он сам, не знаю, а стишок из письма помню. Сказать?

— Скажи.

Она тихонько откашлялась и начала читать, будто просто говорила, не изменив ни тональности, ни выражения:

Месяц сегодня, родная, исполнился,
Как провожала ты друга.
День тот печальный невольно мне вспомнился,
Моя дорогая подруга.

Вспомнил вокзал я, букет гладиолусов —
Скромный подарок прощальный.
Как ты от ветра пригладила волосы
И улыбнулась печально.
Поезд ушел, потекли дни за днями.
Место мое у ракеты.
Слезы от ветра, а может, и сами.
Где ты, любимая, где ты?

Она помолчала и добавила:

— Всему поверил... Даже где-то печальную улыбку нашел.

— Знаешь... это хуже кражи, — заключил Рябинин.

— Хуже, — согласилась она.

— А что ж говорила, что не видела любви? Он же любил тебя, дуру.

В который раз Рябинин убеждался в правоте банальной сентенции о том, что счастье человека в его собственных руках. В каждом из нас есть способности. У каждого золотые руки. Каждый способен на любовь, подвиг и творческое горение. Все мы в молодости похожи на строителей: стоим на пустой площадке и ждем стройматериалов. Они подвезены, может быть, в разной пропорции — кому больше кирпича, а кому цемента, — но подвезены-то всем. И строим. А не получается, то говорим — такова жизнь. Рябинин заметил, что жизнью часто называют ряд обстоятельств, которые помешали чего-нибудь добиться.

— Знаешь, — сказала она, — когда блатные будут говорить тебе, что, мол, жизнь их заела, — не верь. Сами не захотели. Как и я. Украсть легче, чем каждый день на работу ходить.

Они думали об одном. Рябинин оценил ее совет. Она имела в виду тех, которые начинали искать правду, попав в колонию; начинали писать в газеты и прокуратуры, в органы власти и общественным деятелям. Они обличали, предлагали и восклицали. Но эти «правдолюбцы» истину не искали, когда тащили, прикарманивали, приписывали...

— Сколько мне дадут? — спросила Рукояткина.

— Не знаю, — честно сказал он.

— Ну примерно?

— Все учтут. Несколько краж, не работала, плохие характеристики — это минусы. Ранее несудима, полное чистосердечное признание — плюсы.

— А условно не дадут?

— Нет, — твердо ответил Рябинин.

— Другим-то дают, — падающим голосом сказала она.

— Дают, — согласился он. — Если одна кража, человек работает, возместил ущерб, хорошие характеристики. Когда он не арестован — это тоже плюс. Значит, прокуратура верит, что он не убежит, не посадила его. В общем, когда много плюсов и мало минусов.

— Мало плюсов, — как эхо отозвалась она.

— Тебе надо бороться за самое минимальное наказание. Короче, чтобы поменьше дали.

Она кивнула головой. Но он видел, что ей, в общем-то, не так важно — побольше ли, поменьше. Это сейчас неважно, а когда окажется в колонии, ох как будет мешать каждый лишний месяц, день. Там они будут все лишними.

— Ты знаешь мой самый сильный страх в жизни? — спросила она. — Когда увидела в аэропорту собаку. Я сразу поняла — меня ищет. И дала себе клятву... Вот пока она бежала по залу, дала себе клятву: завязать до конца дней моих. Ни копейки не возьму. Поклялась, что вспорю себе вены...

— Странная клятва, — буркнул он.

— А чем мне клясться? Ни родных, ни знакомых, ни друзей... Поклялась, что вспорю себе вены, если вернусь к этой проклятой жизни. Ты веришь, что я завязала? — спросила она каким-то беспомощным голосом, как пропела.

— Верю, — убежденно ответил Рябинин.

— Верю, что ты мне веришь, — вздохнула она и тут же нервно и неестественно хохотнула. — Смешно, сейчас живот отвалится. Теперь ты у меня, пожалуй, самый близкий человек. Ни с кем так не говорила. Единственно близкий человек, да и тот следователь. Ты мне веришь, что я завязала? — опять спросила она, переходя на тот тихий, падающий голос.

— Я же сказал — верю, — повторил Рябинин.

Он понимал, как ей важна его вера, чья-нибудь вера в нее, в ту клятву, которую она дала в аэропорту. И об этой клятве должны знать люди, иначе это была бы только ее личная клятва.

— Дай мне слово, что веришь. Какое у тебя самое надежное слово?

Она наплыла на него лицом, потому что сумерки становились все гуще и уже можно было гримасу лица принять за улыбку. Он считал, что у него все слова надежные, потому что следователю без них нельзя. Но одно было еще надежнее, чем просто надежные слова.

— Честное партийное слово, что я тебе верю.

Она облегченно отодвинулась, замолчав, будто взвешивая всю серьезность его слова.

— Ты прости... Издевалась я.

— Ничего. И ты извини за приемы.

— Ты говорил со мной и все время думал, что ты следователь. А про это надо забыть, когда с человеком говоришь, — просто сообщила она.

— Возможно, — согласился Рябинин.

Как же он не понял этого сразу... Вот где лежала отгадка, лежал ключ к ней и допросу. Но как же он?! Смелая, гордая, самолюбивая женщина... Да разве она допустит унижения! Будь перед ней хоть Генеральный прокурор, но говори как с равной, вот так, рядом на стуле, как они сидели весь

вечер. Она не могла допустить, чтобы ее допрашивали, — только человеческий разговор.

— Есть хочешь? — спросил Рябинин. — Хотя чего спрашиваю.

— Мороженого бы поела.

— Я тоже мороженое люблю.

— Разве мужики едят мороженое? — удивилась она. — Вот все весну любят, песни про нее поют, а я люблю осень. Войдешь в осенний лес, а сердце ёк-ёк.

— Мне осенью нравятся темно-вишневые осины.

— Правда? — опять удивилась она, как и мороженому. — Это мое самое любимое дерево. Такое же пропащее, как я.

— Почему пропащее? — не понял он.

— Все листьями шуршит, как всхлипывает. А листочки у нее вертятся на черенках, вроде как на шнурочках. Люди ее не любят. Осина не горит без керосина.

— Поздней осенью хорошо в лесу найти цветы, — сказал Рябинин. Перед глазами у него уже стоял лес, о котором он мечтал одиннадцать месяцев и куда уезжал на двенадцатый.

— Я цветы пышные не люблю. Разные там гладиолусы, которые по рублю штучка. Ромашки хороши. Вот лютики никто не любит, а я люблю. Жалко мне их.

— Есть такой белый цветок или трава, — вспомнил Рябинин, — называется таволга. Мне очень запах нравится.

— А я такая странная баба, духи не люблю. Вот понюхай. Да не бойся, платье понюхай.

Он мешкал секунду — просто стеснялся. Затем склонился к ее груди, вдохнул терпкий воздух и тихо дрогнул от запаха лугов, от того двенадцатого месяца, которого он ждал все одиннадцать. И догадался, почему вспомнилась таволга, — от платья пахло и таволгой, вроде бы и сурепкой с клевером пахло, и травой скошенной, как на июльском вечернем лугу.

— Ну, какой запах? — с любопытством спросила она.

— Сеном свежим.

— Травой, а не сеном, — поправила она. — Сама эти духи изобрела. Ты в лес ходишь один или с компанией?

— Бывает, с компанией, но больше люблю один.

— Правда? Я компании в лесу не признаю. Зачем тогда и в лес идти? Осенью одна по лесу... хорошо. О чем хочешь думаешь.

— И тишина.

— Ага, тихо до жути, — подхватила она.

Они помолчали. Теперь эти паузы не тяготили, как во время допроса; он даже видел в них смысл.

— Тебя зовут-то как? — вдруг спросил он.

— Не Марией и не Матильдой. На фабрике звали Машей. А тебя Сергей?

— Сергей.

Опять сделалось тихо, но пауза стала другой, замороженной н чуть звонкой. Может, она выпрямнлась не так или шевельиулась как-то по-особенному, но Рябинин вдруг заметил в ней что-то другое и почувствовал, что сейчас эта заморожениая звонкость нарушится необычно — лопнет, тресиет или взорвется.

Но оиа спокойно спросила:

— Суд будет скоро?

— Вряд ли. Через месяц, а то н позже.

— Сережа, отпусти меня.

Рябинин глянул на сейф, но это явно сказал не он. Могло послышаться, могло показаться в полумраке после трудного голодного дия. Или это мог прошипеть иа проспекте по асфальту протектор автобуса.

Она встала и склонилась к нему. Он увидел ее глаза у своих — вместо зрачков светнлись зелеиые неоновые буквы.

— Сережа... Не сажай меия до суда... Пусть как суд решит. Это же у вас называется мера пресечеиия, чтобы человек ие убежал. Ты же веришь, что я не убегу... А мпе иужно... Я завтра утром прииесу тебе все деньги — у меия будет добровольиая выдача. На работу устроюсь ззвтра же, на свою фабрнку — там возьмут. Приду на суд не арестоваиной... Работающей... Смотри, сколько плюсов... Ты же сам говорил...

— Да ты что? — оттолкнул ее Рябинин, и она плюхнулась иа стул.

Он встал и щелкнул выключателем. Лампы дневного света загудели н нехотя вспыхнули. Жмурясь, Рябиинн взгляиул иа иее.

Согнувшись, как от удара в живот, сидела в кабинете жеищина неопределенного возраста, с осуиувшимся зеленоватым лицом. Оиа похудела за деиь — он точно видел, что щеки осели н заметно повисли на скулах.

— Ты что, — уже мягче сказал Рябиннн, — думаешь, это так просто? Взял арестовал, взял отпустил. У меня есть прокурор. Да и какие основания... Вот меия спросят, какие основания для освобождения? Что я скажу?

— Я утром прннесу деньги и завтра же устроюсь на работу, — безжнзненным голосом автоматически повторила она.

— Это невозможно. Вон прокурор ждет протокола допроса.

— Но ты же мне веришь, — обессилеино сказала оиа.

— Верю.

— Ты же давал партийное слово, — чуть окрепла она.

— Давал, — согласился Рябинии, ио теперь сказал тише.

— Так в чем же ты мне веришь? Как пьяных чистила — веришь? Как воровала — веришь? А как я буду завязывать — ие веришь? О чем же ты давал партийное слово?!

Рябинина вдруг захлестиула дикая злость. Она была тем сильней, чем меньше он понимал, на кого злобится. Его шаг,

и без того неровный, совсем повел зигзагами, и он налетел на угол сейфа, ударившись коленом. Рябинин пнул его другой ногой, тихо выругался и захромал по кабинетику дальше, посматривая на железный шкаф. Теперь он знал, на кого злится — на этот бессловесный железный сундук, который стоял здесь много лет. Он повидал на своем веку человеческих слез и бед. Пусть он стальной и неодушевленный, но каким же надо быть стальным, чтобы не одушевиться от людского горя.

— Э-э-эх! — вдруг крикнула Рукояткина и дальше начала не говорить, а выкрикивать все нарастающим, тонко дрожащим голосом, как приближающаяся электричка. — Раз в жизни! Поверила! Поговорила по душам! Всего раз в жизни поверила следователю! Кому?! Следователю! Раз в жизни!

— Да пойми ты! — Он рванулся к ней. — Невозможно это! Ну а как другим тебя объясню?!

— Ах, какая я дура... Душу выворачивала...

— Лично я тебе верю! — крикнул Рябинин.

— Веришь, а сажаешь?! Да я...

Он не дал досказать — схватил ее за плечи и тряхнул так, что она испуганно осела на стул. И заговорил быстро-быстро, глухим, безысходным голосом:

— Маша, не проси невозможного. Я все для тебя сделаю. Деньгами помогу, передачи буду посылать, потом на работу устрою... Войди и ты в мое положение. Меня же выгонят.

Она кивнула головой. Она согласилась. Видимо, он двоился у нее в глазах, потому что слезы бежали неудержимо и уже обреченно.

— Есть у тебя просьбы? Любую выполню.

— Есть, — всхлипнула она.

— Говори. — Он облегченно распрямился.

Рукояткина вытерла рукавом слезы, тоже выпрямилась на стуле и посмотрела на него своим гордым медленным взглядом, мгновенно отрешаясь от слез:

— Купи мне эскимо. За одиннадцать копеек.

— Заткнись! — рявкнул Рябинин и двумя прыжками оказался за столом.

Неточными пальцами вытащил он из папки заготовленное постановление на арест и остервенело порвал на мелкие клочки. Нашарив в ящике стола бланки, начал быстро писать, вспарывая пером бумагу. Потом швырнул две бумажки на край стола, к ней.

— Что это? — почему-то испугалась она.

— Постановление об избрании меры пресечения и подписка о невыезде.

Он встал и официальным голосом монотонно прочел:

— Гражданка Рукояткина Мария Гавриловна, вы обязуетесь проживать по вашему адресу, являться по первому вызо-

ву в органы следствия и суда и без разрешения последних никуда не выезжать.

— Отпускаешь... — прошептала она. — Отпускаешь?!

— Отпускаю, отпускаю, — буркнул он, тяжело вдавливаясь в стул.

Она схватила ручку, мигом подписала обе бумаги и впилась в него взглядом.

— А теперь что? — опять шепотом спросила она, будто они совершили преступление.

— Приходи завтра в десять, приноси деньги, оформим протокол добровольной выдачи. И на работу. Если надо, то я позвоню на фабрику. Придешь? — вдруг вырвалось у него, как вырывается кашель или икота.

— Запомни: если не приду — значит подохла.

— Тогда иди.

— Пойду.

— Иди.

— Пошла.

— Иди.

— Спасибо не говорю. Потом скажу. Я верная, как собака.

Рябинин выглянул в коридор, где томился милиционер. Тот сразу вскочил и, довольно разминая засидевшееся тело, пошел в кабинет. Рябинин удивился: почти за каждой дверью горел свет — значит, его товарищи ждали результатов допроса; ждали, сумеет ли он добиться признания.

— Можно забирать? — спросил сержант. — Ну, пойдем, милая, наверное, по камере соскучилась.

— Товарищ сержант, — сухим голосом сказал Рябинин, — я гражданку из-под стражи освобождаю.

— Как... освобождаете? — не понял сержант и почему-то стал по стойке «смирно».

— Освобождаю до суда на подписку о невыезде.

— А документик? — спросил милиционер.

Рябинин вытащил из сейфа бланк со штампом прокуратуры и быстро заполнил графы постановления об освобождении из КПЗ. Сержант повертел постановление, потоптался на месте и вдруг сказал:

— Сергей Георгиевич, скандальчик может выйти. Нельзя ее освобождать. Пьяных обирала, не работала. Мы ее всем райотделом ловили.

— Она больше пьяных обирать не будет, — отрезал Рябинин и глянул на нее.

Рукояткина прижалась к стене и страшными широкими глазами смотрела на сержанта.

— Кто... Матильда? — усомнился сержант.

— Теперь она не Матильда, а Маша. Гражданка Рукояткина, вы свободны! — почти крикнул Рябинин.

Она испуганно шмыгнула за дверь. Сержант качнулся, будто

хотел схватить ее за руку, но устоял, спрятал постановление в карман и сделал под козырек:

— Все-таки я доложу прокурору.

— Доложите, — буркнул Рябинин.

После ухода сержанта он прошелся по комнате, потирая ушибленное колено. Что-то ему надо было сделать, или вспомнить, или продолжить какую-то мысль... Он глянул на часы — девять вечера. Потом взял дело, швырнул в сейф и запер, оглушительно звякнув дверцей. И сразу заболела голова тяжелой болью, которая пыталась выломать виски частыми короткими ударами. Он сел на стол лицом к окну, разглядывая вечерние огни. Зазвонил телефон: Рябинин знал, что он зазвонит скоро, но телефон зазвонил еще скорее.

— Сергей Георгиевич, это правда? — спросил прокурор.

— Правда, — сказал Рябинин и подумал, что прокурор не пошел к нему и не вызвал к себе, хотя сидел через кабинет.

— Почему? Не призналась? Или нет доказательств? — пытался понять прокурор.

— Полностью призналась.

Прокурор помолчал и прямо спросил:

— Что, с ума сошли?

— Нет, не сошел. Я взял подписку о невыезде. Она завтра придет и принесет все деньги.

— Почему вы не поговорили со мной? — повысил голос прокурор. — Почему вы приняли решение самостоятельно?!

— Я следователь, Семен Семенович, а не официант, — тоже слегка повысил голос Рябинин, но сильно повысить он не мог: не было сил. — Я фигура процессуально самостоятельная. Завтра она придет в десять и принесет деньги.

— И вы верите, как последний ротозей? — крикнул прокурор.

— А следователю без веры нельзя, — тихо, но внятно ответил Рябинин. — А уж если обманет, то завтра в десять я положу вам рапорт об увольнении.

— Не только рапорт, голубчик, — злорадно сказал прокурор, — вы и партбилет положите.

— Только не на ваш стол! — сорвавшимся голосом крикнул Рябинин и швырнул трубку на рычаг.

Он хотел поглубже вздохнуть, чтобы воздухом сразу задуть худшее из человеческих состояний, которое затлевало сейчас в груди, — чувство одиночества. Но сзади зашуршало, и он резко обернулся.

Она стояла у самодовольного сейфа, поблескивая волглыми глазами, — слышала весь телефонный разговор.

— Ты чего не уходишь? — строго спросил Рябинин.

— Не пойду. Зачем тебе неприятности?

— Иди, — тихо сказал он.

Она не шелохнулась.

— Иди домой! — приказал он.

Она стояла, будто ее притягивал сейф своей металлической массой.

— Немедленно убирайся домой! — крикнул Рябинин из последних сил.

Она дернулась и шагнула к двери.

— Стой! — сказал он. — Еда дома есть?

— Э-э, — махнула она рукой, — и по три дня не едала.

Рябинин нашарил в кармане пятерку, отложенную на книги, и спрыгнул со стола.

— Возьми, пельменей купишь. Бери, бери. Из тех ни копейки нельзя. А мне из получки отдашь.

Он засунул деньги в ее кармашек и открыл дверь. Она, видимо, хотела что-то сказать; что-то необыкновенное и нужное, которое рвалось из груди, но никак не могло вырваться: не было слов — их всегда не бывает в самые главные минуты жизни. Она всхлипнула, бесшумно скользнула в коридор и пошла к выходу мимо дверей с табличками «Следователь», «Прокурор»...

Рябинин хотел опять сесть на стол, но затрещал телефон — теперь он будет часто трещать.

— Сергей Георгиевич, — услышал он обидчиво-суховатый голос Петельникова, — как же так?

— Вадим, и тебе надо объяснять? — вздохнул Рябинин и тут же подумал, что ему-то он как раз обязан объяснить.

— А если она не придет? — зло спросил инспектор голосом, каким он никогда с Рябининым не разговаривал.

— Тогда, значит, я не разбираюсь в людях. А если не разбираюсь, то мне нечего делать в прокуратуре.

— Я, я, я, — перебил Петельников. — А мы? Мы разве не работали? Начхал на весь уголовный розыск! Это знаешь как называется?

— Как же ты....

— Отпустил! Пусть погуляет до суда! Думаешь, что суд ее не посадит?!

— Посадит, — согласился Рябинин, — но она должна пойти в колонию с верой в людей, в честное слово и с верой в себя...

— Это называется... — не слушал его Петельников.

— Вадим! — перебил Рябинин. — Остановись! Потом будет стыдно! Я тебе расскажу...

Сначала он услышал, как брошенная трубка заскрежетала по рычагам, пока не утопила кнопки аппарата.

Стук в виски усилился, но теперь добавилась боль в затылке. Ему хотелось лечь или пробить в голове дырочку, чтобы из нее вышло все, что накопилось за день. Он выпил стакан воды и вытер сухие, шершавые губы. И опять взялся за трубку, чтоб позвонить Лиде, хотя она ждать привыкла. Набрав первую цифру, Рябинин ошалело уставился на диск: он забыл номер своего

домашнего телефона. И никак не мог вспомнить. Рябинин расхохотался отрывистым смехом и вдруг понял, что и Петельников, и прокурор по-своему правы. Он им ничего не объяснил. Да и что объяснять — надо было видеть ее и сидеть здесь, пока стрелки часов не опишут полный круг. Прокурор прав — следователь выпроваживает преступника на все четыре стороны, то бишь на подписку о невыезде. Но прокурор был и не прав: разве следователь может отказаться от воспитания человека? И не цель ли нашего права — воспитание? Тут следователю надо верить. Верить — или вообще не подпускать к следствию.

Звериное чувство того одинокого волка, воющего в снегах под сосной, опять докатилось до головы. Рябинин не терпел его — эту тоску заброшенности. Не понял прокурор, но ведь и друг не понял, а друзья обязаны понимать. Да и кто бы понял, не побывав в его шкуре и не побыв им, Рябининым?

Иногда ему казалось, что юристом, врачом и учителем можно работать только до тридцати лет, пока не затвердело сердце. Иногда казалось... Когда очень тяжело, когда опускались руки, когда обида превращалась в жалость к себе и катилась к глазам — вот тогда казалось, что нужен человеку только гуманизм, а без всего остального можно обойтись.

У двери появился Юрков, заглянул, но почему-то не вошел: видимо, лицо у Рябинина было такое, что тот не решился.

Заперла дверь Демидова и прямо зашагала к нему — ее печатный шаг он знал хорошо.

— Сережа, — решительно сказала она, — дай руку.

— Почему? — спросил он и протянул вялую ладонь.

— Молодец! Поймал ее и расколол. Я специально сидела и ждала. В общем, молодец! — заявила она и так тряхнула его руку, что он чуть не свалился со стула.

— Не все, наверное, знаешь, — усмехнулся он.

— Все. Вот что скажу: я не берусь судить, правильно ты поступил или нет. Но я точно знаю, что это твое дело и больше ничье. Даже Генеральный прокурор не должен вмешиваться в такие вопросы.

Теперь Рябинин пожал ее руку, которой она все еще держала его ладонь.

— В общем, не переживай, — закончила она. — В случае чего заступимся. А почему здесь сидишь?

— Прихожу в себя.

— Иди к жене, — велела Демидова и пошла, печатая шаг, по коридору.

Она его допечатала до выхода и, как показалось Рябинину, вернулась. Но чем ближе она подходила, тем иначе звучали шаги в пустом коридоре. Это была не демидовская поступь, но тоже твердая, мужская.

Он знал, что идут к нему; сейчас могли ходить только к

нему. У кабинета шаги на секунду смолкли, но тут же, после этой секунды, дверь широко распахнулась...

Рябинин увидел высокую сильную фигуру и зеленый, как неоновые буквы на универмаге, галстук; увидел черные, чуть навыкате глаза и улыбку, которой вошедший передал все, что хотел передать. Да и что может быть лучше человеческой улыбки — может быть, только истина.

Поздний гость сел к столу, запустил руку в карман и достал пакет, в котором оказались бутерброды с колбасой и сыром, явно купленные в каком-нибудь буфете. Из брюк он извлек бутылку мутного теплого лимонада, отсадил металлическую пробку об угол сейфа и поставил перед Рябининым:

— Подкрепись. А то домой не доберешься. Не ел ведь...

ОБ АВТОРАХ

Дань вечному морю

Имя писателя Валеитииа Пикуля хорошо известио широкому кругу читателей. Его книги не залеживаются на прилавках, а в библиотеках за ними очередь. И мы ие погрешим против истииы, если скажем, что популяриость писателю принесли прежде всего его исторические романы, и в первую очередь такие, как «Пером и шпагой», «Слово и дело», «Битва железиых канцлеров». Как «Фаворит», издаиный в прошлом году и момеитальио исчезиувший из магазиинов.

Это вполие объясимо. Интерес советского читателя к истории иашей Родииы никогда ие ослабевал, и Валентин Пикуль своим трудом виовь привлекает внимание соотечественников к событиям, которые составляют живые пласты нашего иациоиальиого созиаиия.

Но всякое историческое событие под пером лнтератора может претерпеть самые иеожиданные метаморфозы; романы, потеряв стержеиь историчиости и приобретя тендеицнозиость, могут стать всего лишь развлекательиым чтивом, набором расхожих аиекдотов и личностных представлений.

Валентин Пикуль избежал этого. Его исторические романы — это оргаиический сплав труда историка и писателя. Тщательиые документальные розыскаиия отмечеиы у Пикуля не меиее тщательным аиализом, а то и другое — зорким литературным взглядом и зрелым писательским мастерством.

Вспомиим, когда на страиицах иашей печати впервые появилось его имя. Для этого нам придется вериуться на тридцать лет назад, в год 1954-й — именно тогда в из-

дательстве «Молодая гвардия» вышел двухтомный роман Валентина Пикуля «Океанский патруль», рассказывающий о действиях нашего Северного флота в годы Великой Отечественной войны, о беспримерных походах рыбацких траулеров, ставших в силу военной необходимости боевыми кораблями, о лейтенанте Артеме Пеклеваном и его друзьях.

Сам писатель впоследствии говорил, что не считает роман своей удачей, но нам это признание не так уж и важно. Важнее другое — именно от «Океанского патруля» потянулась ниточка читательского интереса к его автору, к отметкам его судьбы, к тому, что же заставило Валентина Пикуля обратиться к морской теме. Оказалось, сама жизнь, обстоятельства личного характера: ведь и дед и отец Пикуля были моряками, и сам он, воспитанник школы юнг на Соловецких островах, уже в 1943 году, в пятнадцать лет приняв воинную присягу, служил на эсминцах Северного флота, воевал. А это уже судьба, призвание. Пятнадцатилетние приходят на флот не по призыву. И это намертво связывает их с морем и кораблями.

Намертво связан с морем и Валентин Пикуль. И пусть он давно уж не служит на флоте, ощущение моря постоянно живет в нем.

Не потому ли спустя почти двадцать лет после «Океанского патруля» был написан «Моонзунд», а вскоре и «Реквием каравану PQ-17», ныне публикуемый «Подвигом»?

Трагическая судьба каравана PQ-17, разгромленного фашистами на пути следования из Исландии в Архангельск в июле 1942 года, не раз привлекала к себе историков и писателей, как зарубежных, так и советских. Еще в 1968 году Воениздатом был выпущен роман английского писателя Алистера Маклина «Корабль его величества «Улисс», в основу которого были положены факты, связанные с тем конвоем. Через три года в нашей стране появилась книга соотечественника Маклина Дэвида Ирвинга «Разгром конвоя PQ-17», где скрупулезно разбирались обстоятельства гибели двадцати трех судов каравана и делались попытки отыскать виновников катастрофы.

Вполне естественно, что и Валентин Пикуль, воевавший в те годы в тех же водах, не мог не обратиться к трагедии каравана PQ-17, особенно потому, что буржуазная пресса, в основном английская и западногерманская, в свое время подняла вокруг всей этой истории тенденциозную шумиху, пытаясь фальсифицировать документально подтвержденные факты и обелить тех, кто повинен в гибели десятков судов и сотен людей.

На первом, самом трудном этапе войны помощь, которую оказывали Англия и США нашей стране в сражении с фашизмом, состояла главным образом в поставках вооружения, боеприпасов, медикаментов и продовольствия. Доставлялись эти грузы морскими караванами из Англии и Исландии. Причем до острова Медвежий их сопровождали корабли эскорта союзников, а до Мурманска и Архангельска транспорты шли под охраной эсминцев и подводных лодок нашего Северного флота.

Первый такой караван прибыл в наши порты в августе 1941 года. Прибыл без потерь, и этому отчасти содействовало то обстоятельство, что согласно гитлеровскому плану «Барбаросса» «молниеносная» война с Советским Союзом должна была кончиться уже в октябре 1941 года. Когда же план этот рухнул и вермахт потерпел под Москвой сокрушительное поражение,

Гитлер в январе 1942 года приказал командующему германским флотом адмиралу Редеру покончить с караванами на Севере. Выполняя приказ, Редер сосредоточил в норвежских портах мощные силы — линкоры «Адмирал Тирпитц» и «Адмирал Шеер», тяжелые крейсеры «Принц Ойген», «Лютцов», «Адмирал Хиппер», легкий крейсер «Кёльн», поддерживаемые авиацией и подводными лодками из «стаи» адмирала Деница.

Результаты сказались не сразу, но уже в мае 1942 года караван PQ-16 понес ощутимый урон. Однако в Исландии, в Хвальфьорде, уже формировался новый караван, и британское адмиралтейство, сознавая угрозу, которая может возникнуть при встрече каравана с фашистской эскадрой, отрядило в эскорт силы, которые впятеро превышали мощь германских кораблей. Казалось, PQ-17 благополучно дойдет до цели. Но дальнейшие события неожиданно опрокинули все расчеты оптимистов.

Выйдя из Хваль-фьорда 27 июня, конвой через четыре дня был обнаружен немцами. Но это еще не говорило ни о чем, и гибель в последующие дни всего лишь двух транспортов из тридцати восьми еще не была катастрофой. Она разразилась 4 июля, когда командование конвоя получило из Лондона ошеломляющий приказ: кораблям эскорта отойти на запад, транспортам рассеяться и следовать в порты назначения самостоятельно. Что из этого получилось, читателям «Подвига» поведал в своей повести Валентин Пикуль.

Какие выводы делает Валентин Пикуль в своем «Реквиеме»? Их два. Первый: разгром каравана PQ-17 был заранее спланированной акцией английского адмиралтейства, действовавшего по указке своего правительства. Второй: измышления западной прессы по поводу якобы неудачной атаки Лунина на линкор «Тирпитц» не имеют под собой никакой почвы.

Вспомним и мы некоторые обстоятельства этого дела.

Сообщение своего адмиралтейства о трагедии с караваном PQ-17 британский кабинет министров слушал 1 августа 1942 года. Тогда первый лорд адмиралтейства адмирал Паунд заявил, что принял решение отозвать корабли эскорта на основании полученного разведдонесения о том, что в ночь на 4 июля линкор «Тирпитц» якобы вышел со своей стоянки в Альтен-фьорде в море. Поскольку караван в это время охраняли лишь крейсеры, а линкоры и авианосец находились западнее, Паунд и решил сгруппировать свои силы, чтобы затем сообща обрушиться на «Тирпитц». Все как будто логично, если бы не одно «но». Как выяснилось уже после войны, никакого разведдонесения о выходе «Тирпитца» в море 4 июля не было. Оно было получено лишь 6 июля, когда караван уже был разгромлен.

В чем же тогда дело? Почему Паунд пошел на эту ложь? Серьезные исследования объясняют это тем, что разгром каравана был выгоден британскому премьеру Уинстону Черчиллю. Это было отличным поводом для отказа от арктических караванов, что Черчилль и сделал 18 июля 1942 года в письме Сталину. Сетуя на невозможность дальнейшего посыла караванов в Советский Союз, Черчилль обещал взамен открытие второго фронта в 1943 году. Но фронт этот англо-американские войска собирались открыть в... Северной Африке. По-русски это называется «в огороде бузина, а в Киеве дядька». Какое отношение имела далекая Северная Африка к страшной войне, которую практи-

чески один вел Советский Союз против фашизма? Весьма отдаленное.

Именно об этом, о недопустимости неисполнения союзнического долга, и говорилось в ответном послании И. Сталина британскому руководителю. Настойчивая позиция СССР вынудила Черчилля в конце концов возобновить отправку караванов.

И еще один штрих. Уже упоминавшийся нами английский историк Дэвид Ирвинг свидетельствует, что, «отправив последнюю радиограмму о рассредоточении каравана, Паунд звонил по телефону Черчиллю и доложил ему о принятом решении». Черчилль, оправдываясь, утверждал, что он узнал о приказе Паунда только после войны. Но этого просто не могло быть уже потому, что именно Черчилль отдал 28 июля 1942 года распоряжение относительно расследования обстоятельств разгрома каравана PQ-17.

Теперь о «Тирпитце». Почему в его корабельном журнале, попавшем после войны в руки союзников, нет записи от 5 июля 1942 года, когда линкор торпедировала советская подводная лодка К-21?

Выводы Валентина Пикуля по этому поводу полностью соответствуют имеющимся ныне выводам исследователей и специалистов, занимавшихся этим вопросом. Да, запись в журнале или умышленно не была сделана, или была изъята позже. С какой целью — читатели «Подвига» уже знают, и нам остается рассказать лишь о подробности, которая доказывает результативность атаки К-21, и поведать о дальнейшей судьбе крупнейшего линкора гитлеровской Германии.

Пилот английского разведывательного самолета, наблюдавший «Тирпитц» после атаки Лунина, сообщил, что он движется со скоростью 10 узлов. А до атаки скорость фашистского флагмана была 22 узла. Почему он вдруг замедлил ход? Это могло произойти по одной-единственной причине: «Тирпитц» был поврежден и не мог идти с прежней скоростью.

И последнее. 12 ноября 1944 года английская авиация действительно уничтожила «Тирпитц» на его стоянке в Альтен-фьорде. Это общеизвестно. Но далеко не все знают, почему это стало возможным. Ведь, по данным разведки, «Тирпитц» собирались перебазировать из Альтен-фьорда. Однако не перебазировали. И лишь потому, что 10 февраля 1944 года линкор бомбила советская авиация и он получил столь серьезные повреждения, которые воспрепятствовали его выходу в море. Так что успех английских летчиков был обусловлен и действиями авиации Северного флота и, в частности, Героя Советского Союза капитана Елькина, который произвел аэрофотосъемку Альтен-фьорда и «Тирпитца».

Таковы факты. Книга В. Пикуля — существенный вклад в дело торжества правды о войне и ее героях, как увенчанных славой, так и оставшихся безымянными. И пусть, как сказал моряк и писатель Джозеф Конрад, «...это будет дань вечному морю, кораблям, которых уже нет, и простым людям, окончившим свой жизненный путь...».

Борис ВОРОБЬЕВ

«Нам внятно все...»

Негромок, но чист голос Бориса Ряховского в нашей литературе. И я надеюсь, что с новой публикацией число читателей и почитателей этого своеобразного, остро думающего прозаика заметно увеличится.

Одних, наверное, увлечет динамичный, изобилующий неожиданными поворотами сюжет повести «Человек с картой», написанной с явным учетом законов приключенческого жанра, с ориентацией на опыт как классической, так и современной литературы. Других порадует возможность пополнить и освежить свои представления о том, как утверждалась Советская власть на дальних окраинах бывшей Российской империи, как постепенно складывался и обретал права социально-нравственной нормы новый тип взаимоотношений между людьми и народами нашей многонациональной державы. Третьи, я думаю, подивятся тому, как точно, с каким родственным пониманием проникает русский писатель в самые заповедные тайники и пределы казахского национального характера, веками формировавшегося в условиях, совсем непохожих на европейские.

Последнее обстоятельство кажется мне принципиально важным, и на нем стоит задержаться. Дело в том, что, рисуя облик иноязычной культуры и национально-психологическую специфичность своих «нерусских» героев, наши беллетристы, особенно в книгах, посвященных былому, не так уж редко соскальзывают на путь наименьшего сопротивления. Они либо преизбыточно орнаментируют свое повествование и свой словарь «экзотическими» деталями и выражениями, так что художественное произведение начинает напоминать что-то вроде иллюстрированного пособия по этнографии. Либо попросту и без затей «переоблачают» собственных земляков в чалмы, войлочные халаты или черкески с газырями, так что достаточно бывает порою чуть-чуть смыть грим с лица иного такого «Магомеда» или «Курбана», чтобы обнаружить привычные славянские черты Степана или Петра.

Учитель Нурмолды, басмач Жусуп, простодушный силач Абу или его девяностолетний дед в повести Бориса Ряховского — казахи, и именно казахи, причем, как, наверное, заметил читатель, прозаику удается выявить весьма тонкие психологические различия между этими персонажами книги и татарином Рахимом, туркменкой Сурай, узбеком Мавжидом, принадлежащим к той же единой в принципе, но внутренне очень и очень дифференцированной культурно-исторической общности. Борис Ряховский знает и понимает своих героев, помнит, что воспроизведение логики социально-классовых взаимодействий, всего исторического процесса в целом окажется верным лишь в том случае, если будут приняты во внимание и национальные традиции на-

рода, и его религиозные верования, и особенности бытового уклада, и передающиеся от поколения к поколению моральные установки.

Напомню, что действие повести происходит в конце 1930 года, то есть тогда, когда в стране уже осуществлялся первый пятилетний план, была в основном завершена коллективизация сельского хозяйства, проведена культурная революция, накоплен опыт жизни в новых исторических условиях. А здесь, в Бегеевской волости, все только-только начинается. Еще дают о себе знать отголоски старинной распри из-за пастбищ между туркменами и казахами из рода адаев. Еще отправляются в басмаческие набеги аульские парни, чтобы подсобрать калым для женитьбы. Еще смущают народ муллы и запоздалые провозвестники некоего «Туранского государства», в котором под зеленым знаменем пророка будто бы могли объединиться все мусульмане Средней Азии. Но...

Но уже с карандашами и рулонами обоев вместо карт и писчей бумаги спешат к дальним становьям отчаянные ликбезовцы... Но уже пустила надежные ростки молодая власть, а отряды ГПУ все плотнее и плотнее замыкают государственную границу...

Острым клином, беспощадными в своей бесчисленности зубцами врезается новый день в слежавшуюся за века и тысячелетня толщу народного бытия, и на свежих срезах ярче и яснее, чем когда бы то ни было, видится и то, что будет сохранено, приумножено в грядущем, и то, что неминуемо искрошится, растолчется, уйдет в распыл.

Борис Ряховский, верный принципам художественного историзма и традициям «всемирной отзывчивости» русской литературы, равно внимателен как к уходящему, так и к остающемуся, закрепляющемуся. Дело, быть может, еще и в том, что Казахстан для автора повести не случайное, наудачу выбранное место действия очередного историко-революционного «боевика» с погонями и перестрелками, а нечто вроде второй и издавна любимой «малой родины». Так получилось, что писатель, родившийся перед Великой Отечественной войной на Урале, отроческие свои годы провел в Западном Казахстане, и с тех пор, давно уже перебравшись в Москву, он не порывает живой связи с казахами и казахской культурой.

Следы и плоды этой связи, этой озабоченности судьбою братского народа — в книгах Бориса Ряховского.

Например, в предназначенной для детей полушутливой-полусерьезной повести «Счастливый дом», где рассказывается о приключениях и злоключениях уральского мужичка, приехавшего в казахстанские степи за счастьем...

Или в автобиографической по многим приметам повести «Отрочество архитектора Найденова», вызвавшей при своем появлении на страницах журнала «Новый мир» активный отклик читателей и литературной критики...

Или, наконец, в цикле «Тополиная роща», где, по признанию писателя, его «задачей было рассказать об извечных исторических связях русского и казахского народов, об их труде в освоении неподнятой целины казахстанских степей на рубеже XIX—XX веков и позже, до нашего времени».

«Человек с картой» — из упомянутого цикла, но несомненно и самостоятельное литературное значение этой работы

Вориса Ряховского. В остросюжетной истории о том, как ликбезовец Нурмолды Утегенов спас род адаев от насильственного увода в Персию, отразились, словно в капле воды, и казахский национальный характер, и жестокое время социально-классовых битв с его аскетизмом и громозвучной патетикой, с его высоким понятием о смысле и невысоким — о цене человеческой жизни, с его представлениями о чести и бесчестии, наследственной гордости и чувстве собственного достоинства.

Не будем торопиться со словами, что это время ушло, оставшись только в памяти народа и в литературе, которая тоже, если разбираться, есть не что иное, как овеществленная народная память. Та мощная вспышка национального, а порою и националистического самосознания, которая прокатилась по миру во второй половине двадцатого века, заставляет нас с особым вниманием прислушиваться к непримиримым идейно-мировоззренческим спорам убежденного, хотя и малограмотного, интернационалиста Нурмолды и идеолога пантюркизма, русофоба Рахима, взвешивать на невидимых весах социальной справедливости историческую правоту одного и соблазнительную неправоту другого.

Мы знаем, кто из бывших друзей волею жизни победил в этом споре. Но мы знаем и то, что великие истины гуманизма и братства народов всегда — и особенно в пору ожесточенной идеологической конфронтации — нуждаются в подтверждении, закреплении, наполнении живой и свежей кровью. В этом смысле прямую актуальность обретает маленькая повесть Бориса Ряховского — нелишний, хотя и скромный по своему значению, аргумент в незатухающей полемике о том, как должно людям и народам жить на нашей неспокойной планете.

Сергей ЧУПРИНИН

Увлеченность

Так же как и для читателей «Подвига», мое знакомство с творчеством ленинградского писателя Станислава Родионова началось с только что прочитанной вами повести о пресечении следователем Рябининым преступной деятельности хитрой и ловкой мошенницы. Правда, опубликованное впервые десять лет назад, это повествование состояло из двух самостоятельных произведений — «Криминальный талант» и «Допрос». В первом из них шел рассказ о том, как поймали преступницу. А второе — уже и не детектив, а психологическая драма (не случайно впоследствии родился и ее сценический вариант), где шла упорная интеллектуальная схватка, в которой торжествует уже не только мастерство сыщика, а и воплощение в образе следователя Рябинина морально-нравственное превосходство нашего мира чести, правды и труда над всепродажным, лживым мирком преступности.

То, что ныне эти повести уже и композиционно объединены в одну книгу, представляется мне весьма символичным. К этому столь долгожданному в остросюжетной прозе единству профессионализма криминалиста с интеллектом психолога, воспитателя и политика привели Родионова его жизненный опыт и зрелость его литературного таланта и писательского мастерства.

Станислав Родионов пришел в литературу трудным путем. Он пережил голодное военное детство. После окончания школы не смог учиться дальше и, чтобы зарабатывать на жизнь, работал истопником, затем землекопом. Важным этапом для становления его личности и накопления жизненного опыта была его работа в геологических партиях, где был он поначалу рабочим, а потом техником-геофизиком.

В появившихся позже книгах С. Родионова часто встречаются герои геологи, люди, знакомые с тяжким трудом и лишениями, обладающие обостренным чувством мужской дружбы и непоказно-глубокой морально-нравственной чистотой. Люди, которые до конца дней сохраняют бескорыстное романтически преданное отношение к своей профессии и к своему конкретному делу в ней. И в жизни они романтики тоже.

Работая, Родионов учился, заочно окончил юридический факультет Ленинградского университета и затем довольно долго был следователем прокуратуры. Эта работа дала ему огромный опыт познания человеческих душ. Она-то, вероятно, главным образом и повлияла на то, что, начав писать и печататься довольно рано, он в конце концов стал профессиональным писателем.

Начав писать, он поначалу весьма удачно выступал как юморист. В 1974 году послал на конкурс журнала «Крокодил» рас-

сказ и неожиданно для себя получил первую премию. Вскоре он издал уже сборинк рассказов под тем же оказавшимся счастлнвым названием «С первого взгляда». Позже вышлн еще трн сборника рассказов С. Роднонова, и он был прннят в Союз писателей СССР.

Но все же подлинным рождением настоящего писателя, иашедшего свою тему, своего героя, свое творческое лицо н почерк в литературе, следует, мне думается, счнтать выход в свет первого сборннка остросюжетных повестей С. Родионова — «Следователь прокуратуры», объедннеиных одннм героем, следователем Рябининым.

В последующие десять лет Станислав Родионов напнсал еще 15 повестей о следователе Рябннине. И в каждой из них герой раскрывается все ярче, все глубже, конкретнее н многостороннее.

Это не супермен. Внешне даже скорее наоборот: Рябинин иеказист, порою неловок, мешковат, близорук. Он любнт пошутить, в том чнсле н над самим собой, отнюдь ие уверенный в том, что он всегда прав. И в то же время это человек, способиый проявнть железную твердость и высочайшую принципиальность там, где этого требуют его долг, работа и его иравственная позиция.

Отвечая на письма читателей статьей «Почему мне нравится детектив», С. Родионов писал в журнале «Аврора»: «Иногда мие кажется, что настоящий мужчина сегодня... нет, не вымер, а как-то притих. Мне же хочется чаще встречать мужчин, горящих на работе, делающих свое дело поглощенно и сильно, как и должно мужчине. Я соскучился по мужчнне, который готов положнть свою жизиь за истину. Я что-то редко вижу мужчин, уступающих место женщиие. Я стосковался по мужскому голосу в вокально-ннструментальных ансамблях. И я давио ие встречал в наших романах героя — иет, не в смысле главиого действующего лица! — а героя, отвечающего основному смыслу этого слова, то есть борца.

Впрочем, нет, встречал. В детективиой литературе. Герой там обязательно борец и боец. Потому что он постояиио вступает в бой не только с преступииком, ио и со всеми и со всем, что мешает людям жить...»

Именно таков и родиоиовскнй Рябинин, человек высокой нравствеииости, гражданствеииости — рыцарь Доброты и Человечности.

Но, несмотря на то, что к образу Рябинипа применимы этн высокие понятия, ои ие становится от этого ходульным, плакатио-назидательиым. Во всех повестях он восприннмается как живой человек со своими слабостями и виутренней силой, свойствеииой настоящему человеку.

Через два года после первого сбориика остросюжетных повестей Роднонова, в 1978 году, вышел новый — «Глубокие мотивы», еще четыре новые повестн. В 1981 году появилась его кннга «Долгое дело» — большая миогоплановая повесть, нтог жизненных наблюдений пнсателя, в которой ои наиболее полно и беспощадно высказал свою позицию по отношеиию к мещанской безнравственности, накопительству, вещизму.

В 1984 году вышел сборник «Запоздалые нстины», состоящий уже нз шестн новых повестей. Две из них — «Отпуск» и «Диско-бар» — уже без Рябнниа. Их герон — инспектора уголов-

ного розыска (автор пользуется старым термином, теперь работники этой службы называются оперативными уполиомоченными) — капитан милиции Петельников н лейтенаит Леденцов. Читатель уже зиает их как постояиных спутииков Рябинииа. Как н в жизни, следователь работает вместе с оперуполиомоченными. Раскрытие преступлення — дело коллектнвиое.

Станислав Родионов доскональио знает следствеииую практику, поэтому все его персонажи и нх действия предельио точны. Но это вовсе не маиекеиы, проигрывающие для зрителей ситуации процессуального кодекса. Это литературиые герои. Автор выявляет и усиливает в них те черты, которые помогают ему создать обобщенный образ их професснн. Если Рябииин наделен функцией осмысления, психологического исследования преступления, то Петельннков как бы представляет собой часть сложного, постоянно действующего механизма его раскрытия. И в целом автор создал и продолжает создавать образы людей цельных, чистых, самоотверженных, жизненный интерес которых на редкость точно совпал с потребностями нх службы.

Увлечеиность делом — главное качество героев Станислава Родионова.

Татьяна ЛАВРОВА

СОДЕРЖАНИЕ

Под редакцией
О. ПОПЦОВА, Б. ГУРНОВА

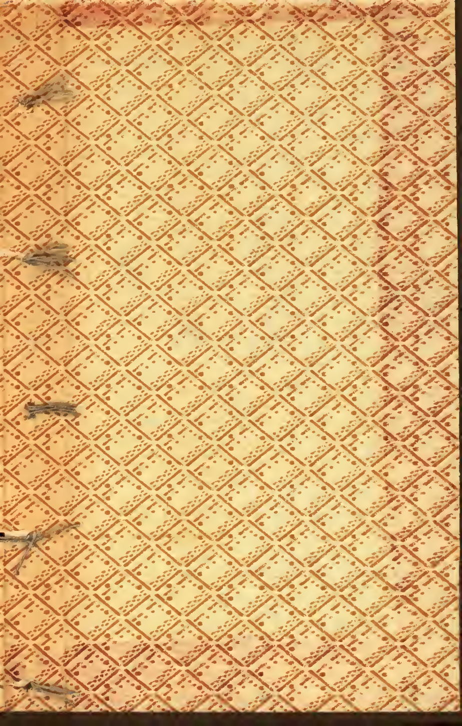
В. Пикуль — «Реквием каравану PQ-17». В этой книге, жанр которой автор определил как «документальная трагедия», в художественной форме рассказана история гибели одного из союзнических караванов, ходивших в годы войны северными морями к берегам Советского Союза.

Б. Ряховский — «Человек с картой». Повесть о становлении Советской власти в Казахстане, о борьбе с басмачеством и трудном преодолении пережитков прошлого, о подвиге народного учителя.

С. Родионов — «Криминальный талант». Одна из повестей цикла, объединенного одним героем — следователем прокуратуры Рябининым. «Следователю нельзя без веры в человека», — говорит Рябинин, пытаясь каждый раз разглядеть, пробудить хорошее даже в правонарушителе. Вернуть человека обществу — это значит сделать сильнее общество. Так понимает свою задачу главный герой повести.

Редактор Б. Гурнов
Главный художник Н. Михайлов
Обложка В. Мочалова
Рисунки М. Ермолова, В. Мочалова, О. Мыльник
Оформление А. Шипова
Художественный редактор А. Ким
Технический редактор Л. Коноплева
Сдано в набор 17.07.85. Подписано к печати 10.09.85. А00900. Формат 84 × 108¹/₃₂. Гарнитура «Школьная». Печать высокая. Бумага типографская № 2. Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 20,79. Уч.-изд. л. 27,2. Тираж 370 000 экз. Цена 1 р. 60 к. Заказ 1371.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.



35 коп.
Подвиг